

4

ЖО В Ы И
М И Р

ЖО В Ы И
М И Р

1975

4



1975



ИЗВЕСТИЯ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1975 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЭХО ПОБЕДЫ — Гайнан Амири. Служба связи; Сердце солдата. Перевел с башкирского Валерий Краско.— Ст. Золотцев. «ПО-2»; След зверя; Красуха.— Ибрагим Кэбирли. 1942 год. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин.— Владимир Савельев. И по следу телеги пришла к нам победа...— Михаил Шлаин. Воспоминания о войне; Письма мамы во время войны... Стихи	3
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Книга первая	12
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Капля Волги, стихи	114
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Персидские стихи. Перевел с аварского Яков Козловский	118
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ — Габор Гаран. Камень у заводских ворот; Надпись на стене; Встающие в самую рань.— Иштван Ваш. Знамена; Знаю.— Дюла Шипот. Из записок революционера.— Имре Дьере. Когда о Вольности повел я речь...— Иштван Шимон. Не бойся и твори, покуда хватит сил...— Ласло Беньямин. Борцы за социализм; Наши песни. Перевел Александр Големба	125
РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ	
Ф. Н. Смехотворов. Стоять насмерть! — Л. И. Баркович. Ладожский экзамен.— Ф. В. Монастырский. Десант под Новороссийском — П. А. Ротмистров. Танковое сражение под Прохоровкой.— Я. Д. Хардинов. В Уральском добровольческом.— И. Х. Баграмян. Операция «Багратион»	135
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
П. КОЗЛОВ — «Илы» летят на фронт	171

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГЕНРИХ БОРОВИК — Май в Лиссабоне. Записки о первых днях португальской весны. Окончание. Послесловие В. Владимирова	203
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
И. БРАЙНИН — Из писем В. И. Ленину	236
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ — С. С. Смирнов. Книга мужества.— Василь Быков. Правда войны	244
<i>К 70-летию Михаила Александровича Шолохова</i>	
Леонид Новиченко. Уроки большого художника.— Степан Щипачев. Перечитывая роман.— Юрий Рытхэу. Талант вдохновляющий.— Ануар Алимжанов. Певец родной земли	249
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лазарев. Люди в огне.— Вяч. Саватеев. Один из многих.— И. Салимон. Новь венгерской литературы.— А. Нуйкин. Фантомы модернизма.	258
<i>Политика и наука</i>	
В. Шишкин. Как работал Ленин.— Р. Португальский, В. Назаренко. Через всю войну...— Вл. Кузнецов. Унификация прессы.	271
КОРОТКО О КНИГАХ — Евгений Кригер.— Виктор Степанов. Венок на волне. Повести. ♦ В. Бродер.— Василий Ванюшин. Повесть о комиссаре Груданове. ♦ Евгений Рейн.— Н. Злотников. Ночные стрельбы. Забытая музыка. Стихи. ♦ Ю. Ляхов.— Емилиан Буков. Дерево жизни. ♦ В. Сквозников.— Словарь литературоведческих терминов. ♦ И. Усок.— Л. Г. Фризман. Поэзия декабристов. ♦ Павло Мовчан.— Лесь Танюк. Марьян Крушельницкий. ♦ В. Пронин.— Т. Л. Мотылева. Первый антифашистский роман. «Верноподданный» Генриха Манна. ♦ Е. Полякова.— А. Каменский. Вернисаж	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЭХО ПОБЕДЫ

ГАЙНАН АМИРИ



Служба связи

С башкирского

В начале сентября 1942 года под Сталинградом на Волге фашистские летчики подожгли, разбомбили и потопили пароход, в котором дети города эвакуировались на левый берег.

Поэзия моя,
В тиши природы
Ты обрела свободу мирных дней,
Ты стала и спокойней и сильней,
И кажется — грохочущие годы
Ушли, как говорится, в мир теней.

Все реже раны старые тревожат,
Все реже снится смерть,
Но иногда
Вдруг — оглянувшись — смотришь на года,
Дымящиеся в зареве бомбежек...

Воспоминанья, вы — сильнее лет,
Больнее боли, выше вдохновенья:
Вот мой дружок, хрипя в кровавой пене —
Еще живой (его давно уж нет), —
Мне шепчет, исчезающий вдали,
Кровавыми губами: «Пристрели...»
И зори, окровавленны, горят,
Сгорают, задыхаются в закате,
И солнце — словно раненый солдат,
Ночующий в далеком медсанбате...

Давно уже воскресли в бытии
Послевоенном
Зданья-исполины,
Но в памяти — безмолвные руины,
Но в памяти — бессонные бои...
Благословенна влага волжских вод,
Приволжская земля — необозрима,

В сердце его вибрируют
Целой страны сердца!

Значит, не для могилы он,
Путь его лишь туда,
Где полыхают милые
Села и города,

Чтобы Земля не плакала
Кровью людской навзрыд,
Сердце — подобьем факела
Данко — в груди горит!..

Перевел ВАЛЕРИЙ КРАСКО.

СТ. ЗОЛОТЦЕВ

★

«**ПО-2**»

Марине Павловне Чечневой.

Кусок фанеры и перкаля,
мишень, притертая к винту...
Но крылья воздух рассекали
и подминали высоту.

Кусок перкаля и фанеры,
челнок, стоящий на шасси...
Но было время — сталь горела,
когда он в тучах колесил.

Капот покрыт музейной пылью,
мотор промасленный молчит.
В его израненные крылья
простор уже не застучит.

Он отдал все. Он весь залатан,
как верный друг его седой,
что поднял ввысь его когда-то
на бой с коричневой ордой.

Но реактивные красавцы —
птенцы сверхзвуковых времен —
едва ль смогли б небес касаться,
когда б не он, когда б не он...

СЛЕД ЗВЕРЯ

За деревней всю ночь взрывы полыхали,
и еще пять ночей охала земля,
и еще пять ночей женщины вздыхали,
по грибы ребятам выйти не веля.
Десять дней взрывов гарь
лезла в лисьи норы,
десять дней смерть рукой
трогали саперы
и рвались по лесам смерти семена.
...Десять лет,
как прошла в том краю война.

Это было в краю, хвойном и озерном,
где в лесах пацанам в рот глядят грибы.
А грибница растет —
над металлом черным!
И несут на погост детские гробы...
Это было в краю, где мои погодки,
что и помнить и знать не могли войны,—
каждый пятый, считай, от грибной находки
пальцев, рук или глаз были лишены.
Это было в краю, где в войну потела
красным потом земля в белизне костей,
где прошла по лесам линия «пантера»
и ржавела в полях сталь ее когтей.

И когда взрывы мин за деревней смолкли,
стало тихо опять в этой стороне.
Тишина... Тишина!
Навсегда ли только?!
Край лесной потонул в этой тишине.

КРАСУХА

1

Ни приметы людского жилья, ни черты...
Только медленно, медленно, медленно
открывается э т о:
сначала кусты,
мелколесье, ольшаник да вербины
вслед за ними, слоями, берез белизна,
кровель хвойных над ней крутизна —
все раскрыто для глаза и слуха.
Только некому видеть и слышать!
Лишь глухо
ивы стонут. Огромные ивы без сна
над дорогой застыли.
И медленно, сдавленно
выступают из трав бывших изб фундаменты.
Н и к о г о!!!

Лишь в гранитном бессилье старуха
на бугре. И лицо ее слезным дождем залито.
Но ведь было же что-то, за что
это место звалось — К р а с у х а!

2

Дождь прошел. Ветер затих.
От колес придорожье клубится.
На траву, на глаза мне, на губы ложится
свежий пепел братьев моих.

ИБРАГИМ КЭБИРЛИ



1942 год

С азербайджанского

Запечатлелась гулкая гроза
В моих глазах.
Огонь вошел в мой взгляд.
И раненные вьюгой голоса
В ушах моих простуженно дрожат.
Средь дыма,
Средь железного жнивья
Дорога пополнения пролегла.
Как ты и я,
Так родина моя
Осколками изранена была.

Из края в край война огнем прошла —
И разлучились, словно на века,
Тропа с тропой, с душой родной душа,
Глаза с глазами
И с рукой рука.

В те дни гудел стальной и грозный шквал.
Из мин росли железные кусты.
Из уст тот ветер песни вырывал
И из сердец — влюбленные мечты.

Моя отчизна ранена была —
Прошла по ней железная пурга —
Изранены леса ее, луга,
Дороги от села и до села.

Мои глаза лишь видели ее,
А уши только слышали ее.

Она была прекрасной все равно —
Ей облика иного не дано.

И в травы, и в луга,
И в пыль дорог
Вросли следы подкованных сапог.
Чужие песни и чужая речь
Дробились по проселкам,
Как картечь.

Повсюду туполобых «тигров» лязг,
Они дороги втоптывали в грязь,
Сгорали мы на яростных кострах,
Проклятье запекалось на губах.

В степи, как будто пламя,— ковыли,
Дым к облакам
Прибил столбы свои.
Казалось мне, что неба вышина
Обрушится вот-вот на пламена...

Лежат противотанковые рвы
На теле моей родины,
Как швы.
Гром пушек заглушил гуденье гроз,
И на деревьях нет ни птиц, ни гнезд.

Растерзана металлом тишина,
И не была весной ее весна.
Ложались в землю пули — не зерно...
Но родина прекрасна все равно.

Пускай поля изрыты,
Пуст очаг,
Пускай разрывы светятся в печах,
В одно судьбою верить мне дано —
Что родина прекрасна все равно.
Всегда ей быть прекрасной все равно!

1945.

Перевел ВЛАДИМИР ЦЫВИН.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

★

.

И по следу телеги пришла к нам победа,
и по следу весны, и по следу огня.
До сих пор не забыл я слепого соседа,
самосадам разжившегося у меня.

На разошедшемся ящике из-под снарядов
мы девятого мая сидели вдвоем.
И, казалось, сверкнул он отчаянным взглядом:
— Жалко, Гитлера не захватили живьем!

Мой сосед — ордена, гимнастерка измята.
плаха левой ладони подперта клюкой.
То ли ругань смирял в нем дымок самосады,
то ли стон, то ли хрип, то ли кашель сухой.

Вот блеснуло опять из-под век — и морозом
дерануло меня, пацана, по спине...
Те нелегкие слезы, те давние слезы,
точно луны, заходят и всходят во мне.

Как о нынешнем дне я сужу о победе:
всходят в памяти слезы — и в этот же миг
все, что было и есть или будет на свете,
словно в зрячих глазах, отражается в них.

МИХАИЛ ШЛАИН



Воспоминания о войне

Скоро будет тридцать лет Победе,
Заалекют флаги по стране.
...Тридцать лет живут на белом свете
И воспоминанья
о войне.

Сколько их — от края и до края!
И растет их свиток с каждым днем...
С мемуаров
маршальских

считая
До хмельных рассказов за столом.
Для себя их временно итожа,
Замечаю ясно в эти дни —
Друг на друга
с возрастом

похожи
Медленно становятся они.
Все прошел солдат и все изведаль!
Но с годами

в нем всего сильней
Ощущенье вихря и победы,
Миссии
взаправдашней
своей.

Как-никак он полстраны протопал,
Ставил пограничные столбы,

В двадцать лет пришел он в центр Европы!
 В двадцать лет был пик его судьбы!
 Он сейчас отец, работник, житель,
 Пенсия идет или оклад.
 Победитель и освободитель
 Был он тридцать лет тому назад!
 Помнятся санбаты и землянки,
 Отступленье, долгий ряд могил.
 Но острее он помнит — как на танке
 Он в Берлин поверженный входил!
 В двадцать лет — врагу отмстить клянутся
 Под короткий траурный салют.
 Но пока живыми остаются —
 В двадцать лет! — живут, живут, живут!
 ...Как лежал он на переднем крае,
 Ждал ракеты, ночь светлым-светла.
 Да, была война, еще какая...
 Но какая молодость была!

..*

Письма мамы во время войны,
 В декабре сорок первого года.
 Семь страниц из великого свода
 Белой книги родимой страны.

Я нашел их в ночной снеговой
 В нашем старом комоде, под низом,
 А выходит, что свет этих писем
 Тридцать лет шел до крыши моей.

Пишет мама отцу моему,
 Как они добрались до Урала,
 Как впервые она задремала
 После тьмы эшелонной в дому.

Как она оказалась права,
 Что взяла свои лучшие платья.
 Обменяла на хлеб и дрова,
 Ненадолго — а все-таки хватит.

Пол-отчизны во прахе, в дыму.
 Черный снег в Подмосковье и в Бресте.
 Пишет мама отцу моему
 Эту исповедь с весточкой вместе.

Не про жгучее пламя в крови,
 Не про страстные муки и вины —
 Пишет мама моя о любви
 Так, как в песне поется старинной.

О станках... разгружали с трехтонок,
 Даже спать не ложились два дня.
 Пишет мама, что будет ребенок.
 Это, значит, она про меня.

Может, эти стихи не нужны?
Не смешно ль говорить как о чуде,
Что в России во время войны
Жили-были хорошие люди.

И кому не писала семья!
Да еще без ответа нередко.
Это мама писала моя,
В сорок первом моя однолетка.



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая

I

Воскресный день, встававший над Москвою, начался для Коро-
стылевых не так, как обычно начинались у них воскресные дни.

В то время как двое из четверых, составлявших семью — от-
ставной полковник Сергей Иванович и его мать Елизавета Григорьев-
на, старая и больная женщина, — как будто еще спали, двое других —
жена Юлия и дочь Наташа — сидели на диване в большой комнате и
вполголоса, но оживленно разговаривали. Событие, о котором они
говорили, должно было волновать всех в доме; но сильнее оно вол-
новало все же их, особенно Наташу. Розовая ото сна, она смотрела
на мать с тем счастливым выражением, как могут смотреть только
радующиеся жизни молодые люди, для которых будущее — как одно
бесконечно повторяющееся утро. То, что испытывала дочь, передава-
лось матери, и на полном лице Юлии было то же выражение счастья.

— Вы чего расшумелись в такую рань? — неожиданно крикнул
из спальни Сергей Иванович, который, впрочем, давно прислушивал-
ся к голосам жены и дочери. — Мать разбудите.

Но он напрасно беспокоился за мать. Елизавета Григорьевна про-
снулась еще раньше, чем поднялись Юлия и Наташа, и разговор их
не тревожил ее; она чувствовала себя так, будто к ней вдруг верну-
лась прежняя ее крестьянская жизнь, и радовалась этому. Ей каза-
лось, что она лежит у себя в Старой Мнихе, и рассвет, занимавший-
ся теперь над Москвой, занимался в полях за тем ее маленьким дере-
венским окном, и что вот-вот в комнату войдет сын Сергей, приехав-
ший за ней, и скажет: «Вставай, мам, пора, а то к поезду опоздаем.
Вставай, а я пока за подводой схожу».

В то утро она не дождалась, когда войдет сын, а встала сама,
оделась и в сумраке, щуря близорукие глаза и вглядываясь в пустые
углы, обошла избу. Вещи были уже собраны в дорогу, и она не узна-
ла своей избы. Странно и непривычно было ей видеть оголенные бре-
венчатые стены. Еще более пустынно и голо показалось ей в сенцах
и во дворе. Она долго стояла на крыльце, когда все уже было уло-
жено на подводу и увязано, и затем молча и ни на кого не глядя села
в телегу. Она завидовала соседкам, что оставались в деревне, а те зави-
довали ей. «Вот кому повезло, вот счастье подвалило», — говорили они,
восхищаясь, главное, ее сыном, Сергеем. В новенькой гимнастерке,

ремнях, полковничьих погонах и при орденах, каким в ту весну появился в отцовской избе, он произвел на сельчан впечатление, будто и в самом деле достиг такого положения и почета, таких высот, за которыми нет ни нужды, ни забот, а есть только одни человеческие блага. «Что ж тебе одной жить,— писал он матери, когда еще лишь уговаривал переехать к нему.— У нас все под боком: и магазины и все. Комнату тебе выделим». И Елизавета Григорьевна думала, что ей действительно нечего волноваться, что у нее будет меньше забот, если переедет к сыну. Умом, рассудком она во всем соглашалась с Сергеем; но вместе с тем хотя и не могла объяснить себе, но чувствовала, особенно теперь, в день отъезда, что есть нечто высшее, что стоит и над заботами и над удобствами: привычка ли, уклад ли деревенской жизни, могилы ли отца, матери, свекра, свекрови, мужа (она полагала, что и после смерти ей захочется быть вместе со всеми, ближе к родным). Она сидела на телеге так, что покидаемая ею Старая Мниха была все время у нее на виду; она мысленно прощалась со всем, на что смотрела, с полями и соломенными крышами, словно подрезанными как раз этою зеленою кромкою полей, и ей казалось, что ее отрывают от жизни; позднее, вспоминая об этом дне, она говорила — но не снохе, не Юлии, с которой у нее так и не сложились сердечные отношения, не сыну и не внучке Наташе, а подружке по шумному городскому двору, старой Устиновне, о которой только и знала, что у нее есть правнук и что за правнуком тем нужен глаз да глаз,— именно старой Устиновне так и рассказывала, что будто ее отрывают от жизни.

«Ну чисто лежу в гробу, и все уплывает, уплывает как во сне».

«Обижают?» — выслушав Елизавету Григорьевну, спросила Устиновна.

«Кто?»

«Сноха али сын».

«Нет, с чего им обижать меня?»

«Ну так тогда что же, тогда и слава богу».

Нет, Елизавету Григорьевну никто не обижал в доме: ни внучка, ни сноха, ни сын; она никогда не жаловалась на это; ей просто непривычно было видеть, как протекала жизнь в семье сына. Ей казалось странным, как может взрослый и сильный мужчина иногда целыми днями валяться на диване, томясь, не находя занятий и, главное, не испытывая при этом никакого угрызения совести, будто так и должно все быть и ведется спокон веку; она чувствовала, что сын живет какою-то своею, обособленною жизнью, которая течет в нем самом и в которую он не допускает никого, даже ее, мать, что и у снохи своя, а у Наташи своя жизнь, и что нет между ними ни общего горя, ни общей радости, а что объединяют всех лишь стены и кухонный стол, за которым время от времени, большей частью по воскресным дням, собираются они вместе, и жизнь эта представлялась Елизавете Григорьевне неестественной, ложной; но она видела так же, что все было будто довольно таким бытием, и потому не вмешивалась ни во что и никому не говорила, что волновало ее. «Может быть, я не знаю новой жизни,— думала она.— В деревне одно, а здесь, у них,— другое». Она привыкла к тому, что начинался день — начинались заботы с первых же минут, как только спущенные с кровати ноги касались выскобленных и обычно настывавших за ночь половиц; летом ли, зимою ли, в стоптанных башмаках или валенках, надетых наскоро, на босую ногу, она, взяв полотенце и оцинкованное ведро, шла в коровник, и вместе со звонко ударившей струею молока уходили, рассеивались остатки сна, сама собою как бы сбрасывалась месяцами, годами копившаяся усталость, и некогда

было ни горевать, ни думать; всеми движениями и помыслами Елизавета Григорьевна втягивалась в будто неторопливый, размеренный ритм начинавшегося дня, и десятки дел, перед тем как пойти на колхозное поле, выполняли ее руки. Она успевала почистить коровник и подбросить сена в ясли, если это происходило зимой, или выгнать со двора и пустить в стадо корову (так бывало с появлением первой зеленой травы и до глубокой осени), затопить печь, процедить молоко и сбегать к соседке на сепаратор, потом на приемный пункт, чтобы сдать сливки, а вернувшись в избу, напоить обратом телка, бросить зерна курам и после всего этого, позавтракав, вместе с подружками-соседками шагать на бригадный стан, чтобы до самого позднего вечера ворошить сено или окучивать картофель. Она не представляла себе дня без постоянных забот и волнений; деревенская жизнь с детства, с тех пор, как начала помнить себя, окружала и входила в нее; в этой жизни было все понятно, расставлено по своим местам, главное, понятие был смысл, для чего является на свет человек; здесь же, в семье сына, не было этого смысла; она с грустью смотрела на Сергея, по-своему истолковывая его постоянную задумчивость, и сокрушаясь, и жалея его; она видела, что у него не было полного счастья, что не было этого счастья ни у снохи, ни у внучки Наташи, но что-либо изменить в доме было не в силах Елизаветы Григорьевны; все попытки даже просто поговорить в первые же месяцы были решительно и с заметной резкостью пресечены, и она, как и все в доме, притихла, замкнулась, видя и понимая все и в то же время смиряясь, и помалкивая, и плача по ночам втайне от сына, от всех семейных, чтобы не нарушать общего кажущегося покоя и благополучия. Она мучилась этой жизнью, а после того, как не стало во дворе старой Устиновны, и вовсе ослабела и слегла в постель.

Она лежала уже пятый месяц, с самой зимы, не вставая, и за это время все в доме так привыкли к ее болезни, что Наташа иногда по два, три дня не заходила к бабушке в комнату. Да и Юлия и сын Сергей лишь на несколько минут присаживались возле ее постели, и оттого Елизавете Григорьевне казалось, что все ждали ее смерти. Сознать это было обидно и больно ей. С горечью она говорила себе: «Уж прибрал бы господь, что ли, чтобы никому не мешать и не быть в тягость». Она ждала смерти и была готова к ней, но никак не могла предположить, что именно в это весеннее майское утро, когда, проснувшись и не чувствуя ни ломоты, ни слабости, ни желания что-либо поесть, не чувствуя, в общем-то, ничего, что было связано с теперешним ее состоянием, а переместившись в воспоминания и воображая и видя себя молодой, даже будто дышала тем воздухом, каким дышала, выбегая по вечерам на луг в Старой Мнихе,— что именно в это весеннее утро наступит ее последний ожидаемый час. В то время как она не могла ни повернуться, ни пошевелить рукою, а ноги, укутанные в теплое пуховое одеяло, бесчувственно холодели, в сознании происходила эта неожиданная вспышка жизни, будто Елизавете Григорьевне хотелось непременно теперь, перед концом, охватить весь прожитый с детства мир. Она чуть скосила глаза на Юлию, принесшую ей завтрак — жиденько разлитую на блюдечке манную кашу,— и стук двери, и наклоненное низко круглое лицо Юлии, и вопрос: «Как спалось, мам?» — на который Елизавета Григорьевна ничего не ответила,— все-все было для нее только каким-то одним посторонним звуком, который ее, бегавшую босиком по мягкому некому лугу, на секунду остановил и привлек внимание; она будто повернулась в ту сторону, откуда послышался звук, но ничего, кроме плетней, баньки, заросшего огорода, и двора, и избы за этим огородом, не увидев, помчалась дальше к реке. Юлия ушла, уловив, одна-

ко, что с матерью что-то произошло, но, не вникая в суть, что именно, не придавала этому значения, так как день только начинался и было достаточно времени, чтобы вернуться, присмотреться и обдумать все; лишь сказала мужу: «Что-то мать вроде повеселела, глаза оживились» — и, услышав в ответ уже не раз говоренное: «Весна на дворе, все пробуждается, все тянется к жизни» — и не желая дослушивать, ушла на кухню. Сергей Иванович же вошел к матери гораздо позднее, попив чаю и полистав утреннюю газету, и для Елизаветы Григорьевны эти минуты покоя, пока никто не появлялся в ее комнате, были минутами жизни.

В памяти ее возникали не только радостные события детства; да и радость деревенской жизни большей частью заключалась для Елизаветы Григорьевны лишь в ощущении природы — солнца, полей, реки со склоненными над водою ивами; но чем более выросла она, тем жестче и колючее становился для нее мир, и первым тронувшим ее сердце горем была смерть свекра. Он умер неожиданно и какою-то странно, не мужицкою, как говорили, смертью. Утром по морозу пошел почистить коровник и так и остался там, присев с вилами в руках у стены на корточки, уронив на грудь голову, словно решив подремать; его ждали к столу, несколько раз свекровь, открывая дверь и выпуская клубы пара на улицу, окликала мужа, затем попросила Лизу: «Оденься да сбегай-ка, чего это старый там колдует»; и все воспоминания Елизаветы Григорьевны теперь начинались с этих минут, как она, прохрустев валенками по расчищенной от снега дорожке, подошла к коровнику и, заглянув в приоткрытые ворота, крикнула: «Тять, к столу зовут!» Но никто не ответил. Она позвала громче: «Тять!» — и опять лишь только стоявшая на привязи лошадь, повернув на зов рыжую, с наостренными ушами морду, брякнула кольцами недоуздка о ясли. Лиза вошла и несколько мгновений осматривалась в полусумраке, отыскивая глазами свекра. Увидев его сидящим на корточках возле стены, в третий раз уже с заметной досадою в голосе проговорила: «Тять» — и, подождав и подумав, что он, наверное, задремал, решила подойти и растормошить его. Но едва притронулась к остывшему и будто зачерствевшему на морозе дубленому полушубку свекра — молчаливо сидевший, он странно покачнулся и, не разгибая ни ног, ни рук и не двигая будто одеревеневшими плечами, медленно повалился на пол. Шапка упала с его головы, оголив обескровленную, синюю до самого затылка лысину. Он лежал неудобно, в неестественной для живого человека позе; в полосе струившегося понизу от дверей света было хорошо видно его окаменевшее лицо с остановившимися и отливавшими пугающе-холодным блеском глазами и раскрытым, как у рыбы, глотающей воздух, ртом; на губах, на опавших щеках и лбу уже проглядывал, как пушок, сизоватый и колкий иней. Но Елизавета Григорьевна теперь, как, впрочем, и тогда, в то морозное зимнее утро, обратила внимание не на иней, а на то общее выражение лица, какое всегда бывает у мертвых; она вскрикнула, не столько осознав, как почувствовав, что случилось страшное и непоправимое со свекром; не в силах оторвать глаз от него, с ужасом пятилась к двери; вся бледная (ей казалось, что она кричала, и крик тот бесконечным пугающим эхом: «А-а-а» — отдавался сейчас в ее голове), она вбежала в избу и долго не могла ничего толком рассказать свекрови; и хотя через день сама запрягла лошадь и отвозила гроб с покойным свекром на кладбище, но ей представлялось теперь, будто она с детьми, которых к тому времени было у нее четверо — мал мала меньше, — стояла и смотрела, как сани с гробом и несколько знакомых мужиков и повязанных шальями баб удалялись по деревенской улице, обволакиваемые белой снежной

поземкой. «Господи, миленькие»,— твердила она, прижимая к себе и ощупывая рукою худенькие и теплые под пальтишками плечи испуганно примолкнувших ребят.

Елизавета Григорьевна не вспоминала о своем муже Иване; он как бы выпадал из ее жизни; и не потому, что она не любила или не хотела помнить о нем; просто в тот год, когда умер свекор, Ивана не было в Старой Мнихе; его вообще почти восемь лет не было дома, то он воевал с германцами, то лечился в госпиталях, то опять воевал, но уже с колчаковцами, которые подступали к Белебею; не думала Елизавета и не пыталась уяснить, каким образом война неожиданно подкатилась под самый порог ее осиротевшей и засугробленной в ту зиму избы; все внимание ее сосредоточивалось не на чужом, а на своем горе, и потому ей страшно было вдруг снова почувствовать, как пальцы прикоснулись к мертвому на печи телу свекрови. Смерть ее была чем-то похожа на смерть свекра. Елизавета всего лишь хотела разбудить заспавшуюся старуху, и ужас, какой пережила тогда, взобравшись на печь, теперь еще осязатее обдавал холодом ее ввалившуюся и прикрытую одеялом грудь. Она будто вновь сидела у гроба свекрови вся в слезах и нехороших предчувствиях, а потом увозила на кладбище и хоронила ее. А потом наступили для Елизаветы еще более тревожные дни. На пятый ли, на восьмой или на двадцатый день после похорон свекрови неожиданно среди ночи кто-то настойчиво постучал в ее окно.

Она и теперь как бы замирала в ожидании этого стука и мысленно крестилась, будто этим можно было предотвратить, что произошло и неминуемо должно было повториться; желание остановить минуту так сильно овладело ею, что она, произнося «господи», даже слегка шевельнула уже почти безжизненными, сухими и сморщенными губами. Но она не могла ничего остановить; события приближались и нарастали, и она так же, как в ту декабрьскую морозную ночь, не зажигая света, и не зная, кто бы мог проситься в такой поздний час, и чувствуя недоброе в этом настойчивом стуке, словно кто-то хотел с улицы высадить оконную раму, и подавляя испуг, почти прислонилась лицом к морозному, в узорах стеклу; подышав на него и потеряв теплой ладонью, попыталась разглядеть в образовавшуюся проталину, кто был во дворе, но ничего не увидела в студеной темноте ночи. Лишь отдаленно и глухо донеслось до нее: «Уходи!»— и этот тревожный голос показался ей будто знакомым. Может быть, потому-то и решила она выйти во двор и спросить, что случилось; в промерзлых сенцах долго нащупывала и отодвигала засов, а когда открыла дверь— ни во дворе, ни под окнами избы никого уже не было; в слабом лунном свете, хорошо различимые на белом снегу, двигались по дороге бойцы и повозки. Елизавета поняла, что это отходили свои, наши, но почему ночью, спешно, без выстрела? Она стояла, почти не чувствуя заплывавшего под одежду и платок холода, и в голове ее, как отзвук только что дребезжавших стекол, вторялось короткое и резкое: «Уходи!» Она добавляла к этому (слышанное или придуманное самою, а может, подсказанное всем ходом развивавшихся тогда событий): «Отомстят! Иван-то твой не по воробушкам целится... отомстят, вырежут, порубят»,— и ей казалось, что не она, а кто-то другой, невидимо стоявший рядом с нею, произносил это. Вдруг спохватившись и забыв даже прикрыть в сенцах за собою дверь, она кинулась будить ребят. Ничего не понимавших спросонья, одного за другим поднимала на лавку, одевала и обвязывала старыми шарфами и шальями; когда все четверо, закутанные так, что не было видно ни глаз, ни щек под нахлобученными шапками, стояли посреди избы, торопливо пошла запрятать лошадь...

Неподвижно лежа теперь на кровати, глядя на сухие, желтые, холодеющие на белом пододеяльнике руки и не видя этих рук, не видя ничего, что окружало ее в комнате, и вообще не чувствуя и не сознавая, что происходит с ней, движение за движением повторяла в мыслях все, что и как делала в ту памятную для себя далекую ночь. То она чувствовала в руках тяжелый настывший хомут и, поднимая и разворачивая его, по-мужски властно и грубо покрикивала на лошадь, которая, впрочем, и без того покорно представляла под хомут голову; то ладонь ее ложилась на мягкую и теплую под гривую шею; и тогда, проникаясь все той же мужицкой нежностью к лошади, уже ласковее просила: «Ну, ну, входи»,— заводя в оглобли лохматую и низкорослую, еще свежком прозванную (за белую полосу на лбу) Лысухой лошадь; то как бы вдруг видела себя со стороны идущей рядом с саними, и бревенчатые, в сугробах избы Старой Мнихи, когда оглядывалась, все более отдаляясь, сливались в узкую и темную по горизонту черту. Вокруг безмолвно лежали облитые лунным светом заснеженные поля; где-то впереди были свои, наши, кого Елизавета догоняла, а позади, за скрывавшейся из виду Старой Мнихой — чужие, колчаковцы, от которых убегала; она то и дело по-сматривала на распластанный на санях мужний тулуп, под которым лежали дети; время от времени, отворачивая полу, спрашивала: «Не задохнулись?» — и, услышав детское и протяжное «не-е-е», продолжала шагать по дороге, хрустя и разминая валенками сухой снег. Она не думала, правильно или неправильно сделала, что покинула деревню; ее обжигало лишь одно материнское чувство — спасти детей,— и все поступки определялись этим чувством. Умиравшая, Елизавета Григорьевна и теперь, выхватывая из прошлого и представляя степь, сани, размолотую солдатскими лаптями и сапогами колею, жила только этим порывом — спасти их, и громче, казалось, покрикивала на Лысуху, когда та, вся запаренная и заиндеветшая, останавливалась передохнуть, резче дергала и размахивала над ее крупом вожжами, а когда бралась за оглоблю, налегала всем корпусом, чтобы помочь сдвинуть сани.

Она обрадовалась, как только увидела впереди на дороге черные силуэты людей. Сразу же предположив, что это свои, заспешила к ним. И это действительно были свои — отставшие от отряда сани с ранеными бойцами; обессиленная лошадь их, рухнув в снег, околевала, и солдат-возница, отчаявшийся уже поднять ее, с винтовкой наперевес поджидал Елизавету. Она не помнила подробностей, как все произошло, как солдат, взяв из ее рук вожжи и отстранив ее, перепряг Лысуху в свои сани и уехал, а Елизавета осталась одна среди степи, в ночи, на морозе, между околевавшей в снегу чужой брошенной лошадью и своими с растопыренными оглоблями саними, в которых, все так же не шевелясь, лежали, согреваясь под тулупом, ее четверо сыновей; в ушах еще звучал голос солдата: «Ты, баба, не гневись, ты доберешься, а нам нельзя оставаться. Эко вон прет, нам никак нельзя». Елизавета не кинулась за удалявшимися саними и не упала затем в отчаянии и слезах на дорогу; никто не слышал — ни дети, ни подгонявший Лысуху солдат-возница — ее надрывного крика: «Ироды!» — который сейчас, ей казалось, прокатывался по всей до горизонта заснеженной степи. Постояв в оцепенении, пока сани скроются из виду, и оглядевшись, она подошла к брошенной и околевавшей в снегу лошади. Нагнувшись над беспомощно вытянутой конской мордой, она заглянула в большие и круглые лошадиные глаза, втайне хватаясь, как за соломинку, за ту маленькую надежду, которая вдруг затеплилась в душе, что скотина жива, что можно еще отходить и поднимать ее, но — круглые глаза загнанной лошади

лишь холодно поблескивали безжизненно выпученными белками. Сняв варежку, Елизавета потрогала ладонью обледенелые конские ноздри, пыгаясь уловить хоть маленькое дыхание жизни; затем уже для чего-то торопливо подошла к своим саням и, обойдя их и ничего не говоря детям и ни о чем не спрашивая, подобрала и подоткнула свисавшие полы тулупа. Она снова и снова ходила вокруг саней, поправляя тулуп на детях и не зная, что еще делать, на что решиться, бежать ли назад в деревню и звать на помощь, но Старая Мниха далеко, и ребята замерзнут, пока она будет ходить туда и обратно; она уже не думала о колчаковцах, а боялась, что и сама и дети замерзнут в степи, и в отчаянии продолжала метаться около саней. «Господи,— наконец припав на колени и обращаясь в глухоту ночи, проговорила она.— Господи, спаси нас»; и она начала молиться, шепотом и страстно произнося слова, крестясь и кланаясь. Она не замечала, что луна не светила, и наступившая непроглядная темнота только усиливала в ней общее беспokoйство. Но хотя Елизавета как будто вся была поглощена молитвой, она вместе с тем прислушивалась к каждому звуку, каждому скрипу и шороху и, прерываясь и настораживаясь, оглядывалась по сторонам, не идет ли кто или не едет по дороге. Вся во власти воспоминаний, она и сейчас, когда на пороге ее комнаты в раскрытых дверях появился Сергей Иванович, чуть скосила глаза на него лишь потому, что в шарканье шагов входившего к ней сына уловила знакомые и теперь ожившие звуки морозной ночной степи.

Нарядный, в крахмально-белой рубашке и галстукe, и от этого, как ему казалось, посвежевший, Сергей Иванович подошел к железной, со старомодными хромированными шарами кровати, на которой лежала мать, и остановился перед нею.

— Ну-ну, как себя чувствуешь? — спросил он, наклоняясь над подушками и лицом матери.— Н-ну? — повторил он, тоном голоса стараясь поддержать, более всего в самом себе, ту бодрость, с какою вошел в комнату. Помня слова Юлии, что мать вроде повеселела, глаза оживились, он вглядывался теперь в лицо матери; но он не увидел того, что заметила и о чем сказала утром Юлия, а, напротив, что-то особенно тревожное было, как ему показалось, во всем виде матери.— Что же мы молчим? — добавил он, направляясь к окну, к форточке, и уверяя себя, что ошибается, что Юлия должна быть права и что на дворе так много солнца, что ничего дурного не может случиться в этот день.

Он открыл форточку и несколько раз прошелся по комнате, искося и внимательно поглядывая на мать и стараясь уяснить, что же было тем особенно тревожным во всем виде матери, что в первую минуту, как только увидел ее, взволновало его. Ему казалось странным несоответствие между выражением глаз и выражением лица матери, какое он все более замечал сейчас. «Если ей стало хуже,— подумал он,— то отчего этот удивительно живой блеск в глазах? Если же стало лучше,— продолжал он,— то почему так неподвижно лицо и почему она не произносит ни звука?» На стуле, у изголовья, стояло блюдо с давно остывшей и загустевшей манной кашей. Сергей Иванович обратил внимание и на это, что она даже не притронулась к еде; но главным оставались для него глаза и лицо матери, вся ее утонувшая в подушках крохотная и неподвижная головка с клочковато короткими, редкими, совсем почти выпавшими, так что и расчесывать было уже нечего, седыми волосами, и он не мог оторвать взгляда от подушек и этой ссыхавшейся крохотной головки на них. Когда он шел от стены к окну, видел только налившееся мертвенным светом

лицо матери; когда же возвращался от окна к стене, вновь и вновь поражали вспыхнувшие жизнью ее глаза, и ему становилось не по себе от вида этих неестественно оживших глаз.

— Да ты плачешь,— без напускной бодрости, от которой давно уже ничего не осталось, а участливо и озабоченно проговорил он, заметив накопившиеся в уголках у переносицы и поблескивавшие теперь слезы.— Ты ничего не поела, что с тобой, мам? — Он снова наклонился над ней и скомканным в пальцах концом пододеяльника вытер эти ее слезы.

Ему трудно было стоять у постели матери, потому что видел, что с ней совершалось то, чего он, да и все в доме опасались и ждали; но как раз теперь, когда уже нельзя было ничего изменить, сильнее, чем когда-либо, Сергей Иванович почувствовал желание предотвратить это, что совершалось, и, решив, что надо непременно вызвать врача, направился к двери. Но прежде чем выйти, еще раз оглянулся, и его опять поразило несоответствие между выражением глаз и выражением лица матери. «Странно»,— подумал он, задерживаясь в дверях и продолжая смотреть на мать.

Для Елизаветы Григорьевны же не было ничего странного в том, что происходило с нею; входивший сын не нарушил ее воспоминаний; она не видела ни его наклоненного лица, ни того, как он открывал форточку и ходил по комнате; вокруг нее по-прежнему была ночная заснеженная степь, брошенная солдатами и околевавшая на дороге лошадь и сани, на которых под заиндевшим мужним тулупом лежали дети; ей казалось, что она все еще молилась, вдавливая коленками снег, тогда как давно уже тихо сидела, приткнувшись к саням, замерзая и не чувствуя, что замерзает, а, напротив, ощущая какое-то будто разливавшееся по телу тепло. Но ни она, ни ее ребята не замерзли в ту ночь (сыновья ее, кроме Сергея, погибли позже, на фронте); проезжавшие на санях из Старой Мнихи и тоже спасавшиеся от колчаковцев сельчане подобрали их, и Елизавета Григорьевна хорошо помнила, как недоуменно вглядывалась в бородатое лицо деда Ерошина, который тряс ее за плечи, стараясь разбудить и поставить на ноги. Она и теперь ждала именно этой минуты, когда дед Ерошин возьмет ее за плечи и она, очнувшись, поймет, что опасность миновала, что все позади, совсем не думая, что прикосновение Ерошиных рук будет для нее последним мгновением жизни.

II

Юлия (от нее отчасти и Сергей Иванович) хотя и не была посвящена во все тайны дочери, но знала многое и ждала, что Арсений, о котором все чаще и чаще говорила Наташа дома, вот-вот сделает предложение ей. И волновалась за дочь, ожидая этого. Волновалась потому, что Наташе уже исполнилось двадцать пять и давно пора было выходить замуж, и еще потому, что лучшего жениха, чем Арсений (судила же о нем только со слов Наташи), нельзя было придумать для нее. Арсений читал курс древней истории в институте, был кандидатом наук, доцентом, в общем, успел в свои годы занять то положение в жизни, когда можно было не беспокоиться за будущее Наташи, если она станет его женой.

Накануне этого воскресного дня, вечером, Арсений сделал наконец предложение Наташе. Утром, когда мать и дочь сидели на диване со счастливыми лицами, они как раз обсуждали это событие.

В девятом часу, перебрав платье и надев то, которое сегодня более всего подходило ей, но оставшись все же недовольной собою, Наташа отправилась на улицу Горького в дамский салон, чтобы сде-

лать прическу. Там же, на Горького, ее обещал встретить Арсений, и затем они вместе должны были приехать к Наташиным родителям. Юлия ждала их к половине двенадцатого и готовилась к этому часу. Полная, но не от хорошего здоровья, а от сердечной, как говорили врачи, недостаточности, она то и дело присаживалась то на стул, когда находилась на кухне, то на диван, когда появлялась в большой комнате, и одутловатые щеки ее покрывались нездоровым и пугавшим Сергея Ивановича румянцем.

Она покрывала обеденный стол скатертью, когда Сергей Иванович, выйдя от матери, сказал, что ей стало хуже и что надо вызвать врача.

— Ты не ошибся? — спросила Юлия, не поворачиваясь к мужу, занимаясь своим.

— Нет. Думаю, нет.

— А по-моему, ты ошибаешься. Я же была у нее. Она выглядит сегодня гораздо лучше, у нее такие оживленные глаза.

— Глаза, но не лицо.

— Ты хочешь испортить праздник дочери? — Она опустила руки и взглянула на мужа. — Вызывай.

Сергею Ивановичу не совсем понятно было, почему нельзя вызвать врача к больной матери и что заключалось в этом нехорошего для Наташи и Арсения (в нем невольно шевельнулась неприязнь к Арсению), но, несмотря на всю очевидную нелогичность рассуждений жены, подумал, что в словах ее, как всегда, есть, наверное, своя неопровержимая правда, с которой он минутою раньше или минутою позже, но непременно вынужден будет согласиться; чтобы избежать лишнего разговора, главное же, чтобы успокоить начавшую уже тревожиться Юлию, он в знак согласия, как это делал обычно прежде, притронулся ладонью к ее белой и пухлой руке и принялся не спеша вышагивать вдоль дивана к стене и обратно. Когда проходил мимо материной комнаты, искоса, мельком посматривал на закрытую дверь; он все еще не мог отделаться от впечатления, какое осталось у него от глаз и лица матери, и перед мысленным взглядом его то и дело как бы порознь возникали то удивительно ожившие глаза матери, то совсем будто окаменевшая и с желтовато-синим оттенком, как это бывает у покойников, сухонькая ее головка, проваленная в подушках; он старался сравнить то, какой видел мать сегодня, с тем, какой видел ее вчера, позавчера, третьего дня и неделю назад, и пытался убедить себя, что ничего особенного не изменилось, что и вчера и еще раньше она так же лежала молча, ничего не отвечала на его вопросы, лишь следила взглядом, как он подходил к окну, открывал форточку и шел обратно; но вместе с тем как он выискивал, что бы могло успокоить его, ощущение, что в доме происходит что-то нехорошее и что он ничего не предпринимает, чтобы предотвратить это нехорошее, сильным и прежде никогда не испытанным беспокойством заползло в душу. И чем более он ходил, хмурясь и наклоняя голову, тем явственнее нарастало в нем это беспокойство.

До появления Наташи и Арсения оставалось меньше часа, Юлии же предстояло еще многое сделать, но она, присев на диван, продолжала смотреть на мужа, не замечая, как по круглому и гладкому лицу ее, особенно щекам, пятнами вспыхивая и угасая, пробежал болезненно-яркий румянец.

— Костюм надел бы, что ли, — сказала она наконец.

— Хорошо, хорошо, сейчас надену, — согласился Сергей Иванович и направился в спальню за костюмом.

Когда вернулся, Юлии в комнате не было. Оглядевшись и не найдя, к чему приложить отчего-то мешавшие ему теперь изнеженные

и с пухлыми и мягкими ладонями руки, он подошел к письменному столу, который стоял у окна, приткнувшись к зеленым, с тяжелой подкладкой и бахромой шторам. На столе еще с прошлого воскресенья лежала раскрытая газета с опубликованной статьей Сергея Ивановича, называвшейся «Последний водный рубеж». Несколько мгновений он смотрел на стол и газету, как будто читая давно знакомый и приятный ему заголовок; но то, что занимало его всю прошлую неделю и занимало особенно вчера, когда редакция переслала первые письма читателей, теперь не только не трогало сознания отставного полковника, но было так далеко от него, вернее, сам он был мыслями так далек от вчерашних дум и забот, что взгляд его, не задерживаясь ни на чем, лишь скользнул по начавшей уже желтеть газете и уткнулся в складки свисавших до пола штор. Неторопливо и нервно протарабанив по стеклу, покрывавшему стол, он повернулся и снова, как только что, когда Юлия еще находилась в комнате, зашагал мимо закрытой материнной двери к дивану, стене и обратно. В синем в полоску костюме, непривычно ссутулившийся, он, уже не останавливаясь, продолжал шагать и шагать из угла в угол, держа руки заложенными за спину и ни на что не глядя, а весь обращенный внутрь себя, ко все нараставшему в душе нехорошему предчувствию. «Все сразу, — морщась и поджимая губы, про себя произносил он с недовольством, словно обращаясь к кому-то определенному, кто находился за его спиной. — Все в один день, в один час». Раздражение непременно должно было вырваться наружу, и Сергей Иванович, в сущности, поджидал лишь случая, на кого бы обрушить поток накипавших в голове слов. В этом возбужденном состоянии и застал его неожиданно и громко прозвучавший в коридоре над входной дверью звонок.

Вздвогнув и оглянувшись, Сергей Иванович выжидающе посмотрел в полусумрачный коридор.

Для Юлии, которая была на кухне и возилась с закусками, звонок над входной дверью явился как бы преградой, за которой вдруг остались все ее домашние заботы, и она, думая только об одном — чтобы все было пристойно и соответствовало минуте, с улыбкою и все теми же нездоровыми пятнами на лице, но уже от радостного возбуждения, вышла в большую комнату и тоже выжидающе посмотрела в полусумрачный коридор. В руках она держала серый льняной фартук, снятый с себя; чувствуя, что он лишний, что надо было оставить его на кухне, и желая куда-нибудь приткнуться теперь, но не видя и не находя места, куда бы положить его, собирала и комкала перед собою белыми короткими пальцами.

— Что же ты стоишь? — сказала она наконец Сергею Ивановичу. — Принимай. — И, сунув в угол дивана фартук, двинулась вслед за мужем к входной двери.

— Просим, проходите, пожалуйста, — через секунду уже слышался ее голос, один на всю квартиру, неестественно звонкий и со льстивою и ложною интонацией, как она никогда не говорила прежде, но происходившей явно от желания угодить будущему зятю; она и сама чувствовала эту фальшь в голосе, но, как певец, взявший нотою выше, не могла остановиться и продолжала тем же тоном: — Наташа, приглашай гостя в комнату, что же вы остановились здесь? — И, отстраняя рукою Сергея Ивановича к стене и сама отстраняясь, открывала дорогу Наташе и Арсению, который впервые переступал порог их дома.

Все чувствовали себя неловко и тесно, но не столько потому, что коридор был узким и все топтались, по существу, на одном месте, уступая каждый другому и не решаясь шагнуть первым, сколько от

возбуждения и бестолковой суеты Юлии и от ее звонкого и оглушавшего всех голоса; хотя она и прижимала мужа и сама будто прижималась к стене, но в этой суете, и ненужной поспешности, и в череде поклонов, протягивания и пожатия рук, в напускных улыбках и смущенных движениях ни Сергей Иванович, ни тем более сама Юлия не могли как следует разглядеть Арсения. Юлия, вся в порыве желания угодить гостю (желание это заглушало в ней в эту минуту здравый рассудок), видела только, что он высок, худощав, что воротничок белой рубашки и костюм — все выглядит элегантно, и что большие квадратные роговые очки очень подходят к сухому и в полусумрачном коридоре казавшемуся совсем моложавым лицу Арсения; хотя он, представляясь и здороваясь, как делают это обычно все люди, почтительно наклонял голову, но Юлия видела в этом движении то особенное, что должно отличать людей образованных и культурных от малообразованных и малокультурных, и это приятно возбуждало ее женское и материнское чувство; она смотрела уже не на Арсения, который по настоянию всех должен был все же первым пройти по коридору в комнату, а старалась встретиться глазами с дочерью, чтобы безмолвно, взглядом передать, что одобряет ее выбор и рада и счастлива за нее. Сергей Иванович же, не умевший так быстро переключаться от одного состояния к другому, как Юлия, и всегда удивлявшийся этим ее неожиданным переменам в настроении, хотя и был тоже захвачен общою суматохою и сутолокою, но старался разглядеть за толстыми и выпуклыми стеклами очков глаза Арсения, которые казались маленькими, круглыми и бесцветными и производили нехорошее впечатление на Сергея Ивановича; может быть, оттого, что он ожидал встретить молодого человека, — глядя сейчас на именно моложавое, но отнюдь не молодое и дышащее здоровьем лицо, испытывал не то чтобы разочарование, но смущение, и протянутая холодная и костистая рука Арсения, которую Сергей Иванович машинально, подчиняясь общей и ненужной поспешности, обхватил своею широкою и горячею ладонью, показалась прямо-таки дряблой и старческой. В дополнение ко всему Сергею Ивановичу почудилось знакомым лицо Арсения, особенно его квадратные очки с выпуклыми стеклами и маленькие и бесцветные круглые глаза за ними, и он от удивления и неожиданности даже слегка склонил голову набок.

Спокойно, с достоинством, соответствующим минуте, и распространяя вокруг себя ту уверенность, с какою привык входить в студенческие аудитории, Арсений прошел в комнату и остановился чуть поодаль дверей, поджидая Наташу и ее родителей, которые — Юлия справа, а Сергей Иванович слева обходя гостя — проталкивались вперед, чтобы затем выстроиться по другую сторону большого и накрытого скатертью стола лицом к Арсению и Наташе. Для чего нужно было это противостояние молодых у порога и пожилых в глубине комнаты, никто из присутствующих не мог бы объяснить; но всем представлялось, что все так должно было быть, что без этого нельзя, что надо непременно пройти через эту сковывающую всех неловкость, и потому наступившее молчание воспринималось всеми естественным и необходимым ритуалом.

Первым, и все понимали это, должен заговорить Арсений, и потому взгляды всех были устремлены на него; он же, держа перед собою в прозрачной целлофановой обертке три только-только распустившиеся белые розы, которые были приобретены им с превеликими, как сам бы Арсений выразился, трудностями, не начинал разговора потому, что, глядя на родителей Наташи, как бы определял, кто из них главный в доме и от кого будет зависеть окончательное и благожелательное решение всего дела; несколько раз он оглядывался

на стоявшую рядом Наташу, словно спрашивая ее: «Так к кому же?» — и снова переводил взгляд на Сергея Ивановича и Юлию, буд-то с расчетливостью не впервые попавшего в подобное положение человека размышляя, кто у кого под пятой. А Наташа, как все, наверное, девушки в таких случаях, казалась растерянной и глупой; в ней происходила та борьба, когда ради своего желанного будущего она должна была перешагнуть через необъяснимую, но положенную для такой минуты стыдливость, и решительность, с какою делала это, отражалась на ее круглом, как у матери, но молодом, счастли-вом и смущенном как раз от наплыва счастья лице. Она была так красива в этом своем волнении, так необыкновенно хорошо были причесаны ее волосы и так к лицу было шитое недавно и считав-шееся вначале неудачным бежевое с кокеткою и светлой отделкою понизу платье, что Юлия невольно загляделась на дочь; Арсений же, весь освещенный теперь ярким оконным светом, представлялся ей лишь дополненным к дочери; она не всматривалась в его седые и при-крытые широкими дужками очков виски и не присматривалась к на-метившимся уже морщинам на застарело-смуглом и удлинненном от ранних залысин лбу, а видела лишь общую его по-юношески худую и стройную фигуру в новомодном (это-то она отметила про себя сра-зу), с одною пуговицею костюме, и, как и в коридоре только что, но теперь с большим желанием старалась передать дочери, что да, выбор замечателен и что нельзя и грешно желать лучшего. Ей было радостно еще и оттого, что за всем общим щегольским видом понравивше-гося ей Арсения, она знала, стоит еще и достаток, положение в об-ществе, признание, все то, к чему сама Юлия (разумеется, вместе с Сергеем Ивановичем) шла долго и трудно; о том, что Арсений может быть несвободен, она не подумала, потому что само состояние во-сторга, в каком находилась, лишало ее возможности думать и сопос-тавлять. «Что же вы стоите? Садитесь, ради бога», — хотелось сказать Юлии, и она, с трудом удерживая эти готовые вырваться слова, беспокойно оборачивалась к мужу. Но Сергей Иванович не замечал этих как бы подталкивающих к немедленной деятельности взглядов жены; он не смотрел и на дочь, на щеках которой от напряжения ли, от затянувшегося ли молчания, как и на одутловатых щеках ма-тери, вспыхивали и угасали тенями красные пятна; внимание его бы-ло приковано к знакомому в очках с толстыми стеклами Арсению, к его маленьким, круглым и теперь казавшимся хитроватыми глазам, и он, невольно роясь в памяти, беспрерывно задавал себе один и тот же вопрос: «Где я видел этого человека?» Все более всматриваясь в Арсения, он с изумлением отмечал черты старости и утомления на его лице, и оттого ему особенно виделось что-то непристойное за той встречей, которую он так настойчиво старался вспомнить сейчас; это ощущение непристойности вызывало в нем нескрываемую брезгли-вость и неприязнь к Арсению. В то время как Наташин жених, решив-ший наконец для себя, что нужно делать, подошел к Юлии и подавал ей уже освобожденные от целлофановой обертки белые розы, — в сознании Сергея Ивановича все отчетливее прояснялось, где он видел этого человека. «У Старцева, — подумал он, вспоминая такой же свет-лый, как эта комната в ярком весеннем солнце, кабинет школьного директора и бывшего своего однополчанина Кирилла Семеновича Старцева. — Ну да, где же еще, — решил он, наблюдая за тем, как уч-тиво, с подчеркнутой и в то же время будто естественной почтитель-ностью наклонял голову Арсений, поясняя что-то Юлии, слушая ее и улыбаясь ей. — Да, да! — уже почти восклицая, продолжал думать Сергей Иванович, именно по этим подчеркнуто-почтительным покло-нам окончательно восстанавливая в памяти, где и при каких обстоя-

тельствах виделся с Арсением.— Он приходил к Кириллу насчет своего сына, которого за что-то забрали в милицию, ну да, просил за сына». Не сводя глаз с Арсения и проникаясь негодованием к нему, он с нетерпением ждал, когда тот, закончив любезничать с тяжело дышавшей от радостного возбуждения Юлией, подойдет к нему.

— Я вас знаю,— строго и с нескрываемой неприязнью в голосе сказал Сергей Иванович, как только перед ним появилось улыбающееся, в квадратных очках и с маленькими и бесцветными глазами лицо Арсения.— И даже очень,— добавил он, но уже с той непроницаемой холодностью, как разговаривал в годы армейской службы с провинившимися подчиненными, когда нельзя было выказывать раздражения и он как бы накидывал на свои чувства ледяную маску спокойствия; это ощущение ледяной маски лишь усиливало в нем сознание правоты того, что он говорил и собирался сделать сейчас.— Вы пришли просить руки моей дочери? — спросил он, вновь и еще отчетливее замечая черты старости и утомления на лице Арсения. «Да ты же в отцы ей!» — тут же подумал он, мысленно возмущаясь теперь более не тем, что Арсений был женат, а тем, что он был старик и не мог стать мужем Наташи.— Вы пришли...— снова было начал он.

— Да, чтобы просить руки вашей дочери,— подтвердил Арсений.

— Вы же в отцы ей... В отцы! — неожиданно и громко сказал Сергей Иванович то, что только что думал об Арсении.— Вон,— затем тихо и зло прошептал он.— Вон,— повторил он, шагнув вперед, на Арсения, как в пространство.

Он не видел ни побледневшего лица Наташи, ни испуганно округлившихся глаз Юлии; в нем не было уже и того сдерживающего ледяного спокойствия, которое только что позволяло мыслить и руководить поступками; наступая на Арсения и твердя лишь «вон», он отсеснял его в полусумрачный коридор, к двери.

— И ты вон! — закричал он на дочь, когда Арсений был уже за порогом.— Вон!

— Вот наглец,— произнес он, вернувшись разгоряченный и с чувством правоты.— Ведь он женат, сук-кин сын,— продолжил он, чуть выждав и понимая, что должен объяснить все Юлии, которая не дыша, с ужасом и прижатými к груди руками смотрела на него.

Оглушенная всем происшедшим, она не в силах была вымолвить ни слова, но испуганные и как бы остановившиеся глаза ее ясно выражали, что она никогда не сможет ни понять, ни простить этого мужу.

— У него семья, сын, он же сам старик, старик,— повторял Сергей Иванович уже не столько для Юлии, как для себя, чтобы сильнее утвердиться в справедливости того, что он только что сделал.

Не глядя ни на Юлию, ни на что вокруг и рывками отстраняя стулья с дороги, он еще энергичнее, чем до появления Арсения и Наташи, принялся вышагивать по комнате. Он ходил и говорил почти одно и то же, что Арсений — прохвост, обманщик, что он просто опутал доверчивую Наташу и что Юлии как матери давно бы следовало разобраться в этом; он упоминал и Кирилла Семеновича Старцева и несколько раз, выходя в коридор к стоявшему на низенькой тумбочке телефону, пытался дозвониться ему, но на другом конце провода никто не снимал трубку.

— Да мы совсем забыли: мать же больна и к ней нужно вызвать врача,— наконец сказал он, остановившись посреди комнаты.

Пока он вышагивал из угла в угол, он весь был занят оправданием своего поступка и полагал, что Юлия, опустившаяся на диван, слушала и соглашалась с ним; теперь, остановившись — он остано-

вился как раз напротив жены уже более или менее успокоенный,— увидел, что Юлия не сидела, а полулежала на диване, неестественно и безвольно опрокинув голову и разбросав руки, и на щеках ее, обычно покрытых красными пятнами, появилась мертвенная бледность.

— Юля,— позвал Сергей Иванович.— Юля,— снова проговорил он, еще не двигаясь, не приближаясь к ней, лишь всматриваясь в ее будто омертвевшее лицо и с тревогою начиная осознавать, что не то, что произошло (что он выгнал Арсения), было главным и ожидавшимся им нехорошим событием, которое он предчувствовал утром и не сумел предотвратить, а это — сердечный приступ Юлии, что он видел теперь.— Ты что, Юля, что с тобой? — уже машинально, лишь бы что-то произносить, повторял он, наклоняясь, трогая ее лицо, руку и не улавливая ни дыхания, ни пульса. Он заглянул в ее открытые и тоже будто неподвижные глаза, стараясь разглядеть хоть малейшее проявление жизни, и молча, с не менее побелевшим, чем у Юлии, лицом кинулся к телефону вызывать «скорую помощь».

III

Минуты, пока Сергей Иванович ждал машину «скорой помощи», были мучительными для него; когда же молодой и высокий врач, спросив: «Где больная?» — энергично вошел в комнату, и особенно когда, наскоро осмотрев Юлию, произнес: «В больницу»,— Сергей Иванович не просто почувствовал облегчение, но все вокруг него будто снова обрело смысл и движение; разница была лишь в том, что он сейчас не думал и не распоряжался ни собою, ни тем, что делалось в доме, а, весь как бы отдавшись во власть людей в белых халатах — врача и санитаров, которые укладывали Юлию на носилки,— старался предугадать, чего они хотят, и предупредить их желания. Он был так ошеломлен неожиданным сердечным приступом жены, что совсем позабыл о больной матери. В синем в полоску костюме, надетом еще для встречи Арсения, в белой рубашке с крахмальным воротничком и галстукe он выглядел нарядным, спускаясь следом за носилками и врачом по лестничным клеткам, и, чувствуя свою неприличную для такого случая парадность, сутулился и сжимался, будто это могло сделать его незаметным. Он не спрашивал у врача — ни в комнате, ни потом в машине — о состоянии Юлии; он боялся услышать обычное: «Будем надеяться» — и все время всматривался в спокойное, даже как будто холодное и равнодушное лицо врача.

По тому движению людей, которое началось сразу же, как только Юлию внесли в приемный изолятор городской больницы, Сергей Иванович, оставленный, чтобы забрать вещи жены, понял, что с Юлией сделалось так плохо, что все занялись спасением ее жизни. Он смотрел на каждого, кто входил и выходил из бесшумно открывавшихся белых и высоких дверей, и мешал врачам и сестрам; он пытался остановить кого-нибудь и спросить, что с Юлией, но никто почему-то не останавливался и не разговаривал с ним, и он мучился, чувствуя себя в пустоте и неведении; ему хотелось, чтобы движение людей в приемной прекратилось, и в то же время страшно боялся, что оно вдруг оборвется.

— Вы чего ждете? — спросил словно выросший наконец перед Сергеем Ивановичем пожилой, в пенсне и с седыми висками доктор, который как раз и принимал Юлию и оказывал ей необходимую помощь.— Вы получили вещи жены?

— Нет,— ответил Сергей Иванович, хотя сверток со всеми вещами Юлии давно уже был у него в руках.

— Как же, а это?

— Ах да, извините.

— Кризис миновал, теперь беспокоиться нечего. Идите домой, голубчик,— беря под локоть Сергея Ивановича и направляясь с ним к выходу, продолжал мягко и утешительно доктор.— Идите, голубчик, все будет хорошо. Во вторник день свиданий и в воскресенье с четырех до шести, идите спокойно домой, ступайте, ступайте, голубчик.

Как ни утешительны были слова пожилого доктора, Сергей Иванович вышел из больницы с тяжелым чувством; он долго еще видел перед собою непрерывно открывавшиеся и закрывавшиеся высокие двери изолятора, и все пережитое в приемной вновь и вновь возвращалось к нему. С ним происходило то, чего никогда не происходило раньше, когда на неделю или на месяц он укладывал жену в больницу,— чем далее отходил от знакомого, с бетонным козырьком у входа здания, не спокойнее, а мрачнее становилось на душе. Он не задавал себе вопроса, хорошо ли, плохо ли было ему с Юлией, но за все совместно прожитые с ней годы впервые вдруг как бы ощутил черту, за которой разом, в одно мгновение могло оборваться все устоявшееся и дорогое, что люди обычно называют семейным счастьем; он понял, что может остаться один, и в голове его происходило то смешение часов, дней и событий, когда хотелось и разобраться в том, что случилось сегодня, и оглянуться на прожитую жизнь, что в ней было хорошего, что плохого и что надо изменить, чтобы отдать эту ужасно возникшую и все еще будто стоявшую перед глазами черту. Обычно умевший сосредоточиться на одном и главном, он чувствовал теперь, что мысли его непослушно растекались в разные стороны, и оттого, шагая по тротуару, он беспрестанно оглядывался вокруг себя, как будто искал что-то. То ему вспоминалось далекое осеннее утро сорок первого года, когда он из-под Дорогобужа вместе с другими офицерскими женами отправлял Юлию в эвакуацию, и небольшая лесная станция, более похожая на разъезд, с бревенчатой избою и кирпичной будкою стрелочника, с поляной перед избою, залитой слоем густого, утреннего, молочного, стекавшего к орешнику и березняку в балке тумана, с красными товарными вагонами в тупике, машинами и суетящимися людьми возле этих машин и вагонов,— все это прояснялось, разворачивалось и наполнялось звуками плача, объятий и наставлений, которые, раз услышав, никому и никогда не дано забыть, и наполнялось, главное, в душе Сергея Ивановича неповторимым, казалось тогда, чувством расставания и утраты, которое было созвучно ему теперь. Он видел всю маленькую станцию с вытянувшимся вдоль поляны и готовым к отправке эшелонном и видел Юлию, которая была беременна и стояла в раскрытых дверях вагона, положив белые и красивые тогда руки на перекладину, и старалась улыбнуться, в то время как слезы, крупные и прозрачные, каплями скатывались по ее молодым и тоже красивым тогда и горевшим от возбуждения щекам. «Береги себя!» — кричал ей снизу, с насыпи, Сергей Иванович, щеголевато перетянутый ремнем и портупеей лейтенант, командир стрелкового взвода, и крик этот не просто повторялся сейчас в душе Сергея Ивановича, но, оглядываясь на уже скрывающееся за углом знакомое, с бетонным козырьком у входа здание больницы, он как бы снова и с большей надеждою просил Юлию об этом. То вдруг виделся заваленный снегом подмосковный лес, рассыпанные в маскхалатах бойцы его роты на опушке и сам он — тоже в маскхалате поверх полушубка, прислонившийся спиной к высокой, надломленной взрывом сосне и читающий первое полученное письмо от жены, в котором она сообщала, что родилась де-

вочка и что она уже назвала ее Наташей; раскрыв планшет и припав на колено, Сергей Иванович тут же написал ответ, но он не вспоминал сейчас, что рассказывал о себе, а отчетливо видел в конце испанского тетрадного листка слова: «Береги себя и Наташу», — и опять то, о чем заботился тогда, было созвучно с этим, что заботило его теперь. Наутро — это было 5 декабря, в тот самый день, когда наши войска перешли под Москвой в контрнаступление, — под грохот разрывов он вывел роту на волжский лед и с ходу, не останавливаясь, не залегая, ворвался в засугробленную и отовсюду дышавшую огнем деревушку, название которой уже выветрилось из памяти — будто Святогорка, но будто и по-другому, что-то от церкви или монастыря, — а потом его, истекавшего кровью, на санках по тому же волжскому льду везли обратно к лесу и палаткам, куда свозили всех раненых, но это, что касалось его самого, возникало лишь отдаленно и смутно полоской, потому что он никогда, как ему казалось, не думал о себе и не боялся, что не может случиться с ним, а опасался только за них, Юлию и Наташу. Ему нужно было сейчас перейти улицу и подняться по ступенькам вверх, чтобы сократить дорогу к дому, но едва он взглянул на восходившие из грубо отесанного серого гранита ступени, ему вспомнились другие, тоже убегавшие вверх, но с площадками и лозами вьющегося в нишах винограда по обе стороны площадок, и, главное, — маленькая, нарядная, вся освещенная солнцем Наташа, несущаяся по этим ступенькам к готовым поймать ее отцовским руками, и Юлия вверху, на площадке. Ему не важно было сейчас, где это происходило; батальон стоял тогда в Потсдаме, и Юлия каждый день уходила с Наташей гулять в парк Сансуси, к Домику на виноградниках, как назвал свою летнюю резиденцию любивший и почитавший все французское, но сидевший на немецком престоле Фридрих II; важно было, что все это происходило и что всякий раз, оставляя жену с дочерью в парке у Домика на виноградниках, он говорил: «Смотри, чтобы с лестницы... долго ли... береги...» — и это береги, как огромный, обросший событиями ком, тяжело перекачивалось сейчас в голове Сергея Ивановича. Он не перебирал свои перемещения по службе, но вспоминал переезды и квартиры, которые получал, прибывая к месту нового назначения, и вся та любовь и то желание, с какими Юлия принималась обставлять комнату и что представлялось обиденным тогда, теперь вызывало нежное чувство у него. В памяти всплыли небольшие, затерявшиеся в сосновых лесах Порочи — наш деревянный городок, как в шутку часто и потом называла лесную деревушку Юлия, где они прожили не одну зиму и не одно лето, когда он уже командовал полком, и деревянный городок тот с рекою, елями, дубами и липами, подступавшими к огородам, вызвал в нем новое чувство теплоты к Юлии. Они поселились тогда в крестьянской избе, хозяйка которой умерла, а сыновья погибли на фронте (изба до вселения стояла заколоченной досками), и, к удивлению Сергея Ивановича, Юлия увлеклась огородом и хозяйством. Он не думал сейчас, отчего вдруг вспыхнуло в ней это увлечение крестьянской жизнью, но с удовольствием вспоминал, как в праздники, когда он, строгий и требовательный полковник Коростылев, приглашал к себе близких своих помощников — офицеров полка с женами, Юлия накрывала стол и подавала приготовленные ею кушанья с той особенной гордостью хозяйки, когда все (и гости знали и ценили это) не просто было приготовлено, нарезано, уложено на блюда ею, но было своим, домашним, сорванным и выкопанным на своем огороде. Как человеку в прошлом деревенскому, жизнь в Порочах была по-особому дорога Сергею Ивановичу, и он, прижатый сейчас к стенке вышедшей из кинотеатра толпой и пережидавший

эту толпу, с изумлением думал, как все изменилось в семье с тех лет. Наташа давно стала взрослой и охотнее разговаривала с матерью, чем с ним; Юлия пристрастилась к чтению исторических романов, которые в достатке приносила ей дочь из библиотеки, и часами могла, закрывшись в спальне, сидеть у окна, не поднимая головы и не разгибая спины; да и сам он более занимался писанием своих мемуаров, чем общию семейною жизнью. «Странно»,— про себя повторял он, стараясь понять и осмыслить то, что, в сущности, было простым, естественным и неизбежным течением жизни.

В то время как Сергей Иванович приближался к дому, мысленно и невольно приближался к тому событию, которое так потрясло его в это весеннее и солнечное воскресное утро.

Он подумал о Наташе и подумал об Арсении, сухощавое лицо которого, как только возникло перед глазами, сильнее, чем утром, вызвало брезгливое отношение; он напрягал память, желая вспомнить, когда впервые было произнесено имя Арсения в семье: до того, как Сергей Иванович ходил к Старцеву, или позже, хотя что могло прояснить такое уточнение и вообще для чего нужно было уточнять это, Сергей Иванович, если бы его вдруг спросили, вряд ли смог бы сказать что-либо вразумительное. Он искал, в сущности, то, чего нельзя было найти, не имея и не потеряв прежде, так как между днем, когда было впервые произнесено имя Арсения в семье, и нынешним утром, когда тот появился на пороге, в душе Сергея Ивановича лежала пустота, которую он и старался заполнить сейчас. Пустота была по отношению к дочери потому, что в то время проходила первая и дорогая Сергею Ивановичу статья в газете (отрывок из его воспоминаний), и это было главным, что занимало его; все рассуждения жены о будущем зяте-доценте забывались сразу же, как только он садился за письменный стол, примкнутый у окна к зеленым, с бахромой шторам, потому что говорилось об Арсении только хорошее, а до самого дела, до свадьбы, казалось, было так далеко, что не хотелось удручать себя излишними хлопотами. «Поживем — сообразим»,— в оправдание себе говорил он. Зная и чувствуя теперь за собою эту вину, но не желая признаться в ней, он злился не на себя, а на Арсения, на дочь, даже на Кирилла Семеновича Старцева, который, считаясь другом, ничего не сказал тогда ни об Арсении, ни о его сыне. Сергей Иванович снова видел себя как будто входящим в светлый кабинет директора школы, и все приветственные слова Старцева: «О-о, в кои веки, рад, рад, как же, присаживайся, а мы тут в своих школьных делах...» — несмотря на уличный шум, оглушавший неторопливо шагнувшего по тротуару Сергея Ивановича, отчетливо слышались ему. Он хмурился, вглядываясь в глаза и лицо Старцева, каким запомнилось в первую минуту встречи и как преобразилось потом, когда неожиданно и будто без стука вошел Арсений. «Что же он сделал для его сына? — думал Сергей Иванович, припоминая, что какой-то нехороший осадок остался у него и тогда, после ухода Арсения.— Почему он ничего не рассказал о нем? Хоть бы назвал имя или фамилию»,— продолжал думать он, считая, что в таком случае можно было бы предотвратить всю эту разыгравшуюся сегодня утром гнусную и непристойную, как он полагал, комедию сватовства. Все более горячась и озлобляясь, он чувствовал, что если бы все повторилось сейчас, не колеблясь проделал бы то же, что и утром, но уже не просто просил бы выйти Арсения, а схватив за шиворот, с негодованием вышвырнул бы его вон из комнаты.

За всю дорогу, пока Сергей Иванович шел от больницы домой, он передумал обо всем, о чем только можно было в его состоянии, и лишь ни разу не вспомнил о матери, потому, наверное, что она не

была причастна к сегодняшнему утреннему событию; но как бы поверх всех дум, и он поминутно ощущал это, лежало какое-то тяжелое и всю дорогу то настораживавшее, то угнетающее его беспокойство, которое он не знал, отчего происходило, но которое, отчетливо сознавал, было нехорошим предзнаменованием, будто он должен был, но не сделал чего-то очень и очень важного. И важным этим оказалась сразу же сковавшая его мысль о матери, едва он, переступив порог, очутился в привычно полусумрачном коридоре своей квартиры.

Не переобуваясь и не выпуская из рук свертка с вещами жены, он кинулся в комнату матери.

Первое, на что посмотрел Сергей Иванович, были глаза и лицо матери, насторожившие его,— различие между неестественно мертвенным выражением лица и странно ожившим выражением глаз,— и он прежде всего старался разглядеть теперь это, что тогда не понравилось ему, но что сейчас должно было быть признаком жизни. Он подходил осторожно, приподнимаясь на носках и придерживая дыхание, как входят к только что заснувшим детям или к тяжело больным, когда не желают потревожить их сон, хотя уже у порога, едва взглянул на мать, понял, что того различия, которое хотелось ему увидеть, не было, что раскрытые глаза матери были сейчас так же неподвижны и мертвы, как и все сухонькое, маленькое и окаменело лежавшее на подушках ее старушечье-сморщенное лицо. Выронив сверток и не заметив этого, не заметив, что сверток с вещами жены оказался у него под ногою, он наклонился над матерью и взял ее руку; рука была безжизненна и холодна, и он почувствовал это. Он еще не сказал себе, что опоздал, и мучительное раскаяние, которое минутою позже охватит его, еще только нарождалось, но холод от материнской руки, передавшийся ему, так угнетающе сильно подействовал на него, будто в нем самом вдруг на мгновение осталась жизнь. Весь бледный и не желающий верить в то, что произошло, он притронулся к ввалившимся материным щекам, и опять непривычное и страшное ощущение холода прокатилось по телу. Он не видел мучений на ее лице; и лицо и раскрытые глаза матери выражали одно и то же чувство — покоя и удовлетворения. Сергей Иванович не думал, отчего было это спокойствие и удовлетворение, потому что не знал, с какими мыслями она уходила из жизни, что последним промелькнувшим в ней светом было сознание выполненного материнского долга; ему лишь надлежало сейчас закрыть эти успокоенные глаза, но он, не в состоянии сделать этого, продолжал всматриваться, будто в блеклых и застывших зрачках могли еще затеплиться признаки жизни.

Он не помнил, сколько времени простоял возле покойной; не помнил, как бродил затем по комнатам, то бессмысленно оглядывая празднично накрытый скатертью большой обеденный стол, то оглядывая приготовленные закуски, когда появлялся на кухне; он понимал, что должен что-то делать, но не в силах был сообразить, куда пойти и кому позвонить, и только одно отчетливо и ясно представлялось ему: что все, что предшествовало этой минуте — Арсений, Наташа, сердечный приступ Юлии.— все было поправимо, а это, смерть матери, придавило таким грузом, который, он чувствовал, теперь никакими оправданиями не сможет сбросить с себя.

IV

Очутившись вместе с Наташею на улице, Арсений оказался в том затруднительном положении, когда не только не знал, как ему поступить теперь, но не находил слов, что сказать Наташе. Он видел,

что после всего случившегося она не хотела возвращаться домой, к отцу и матери; но еще яснее было ему, что он не может сейчас взять ее с собой; хотя он давно уже был разведен с Галиной, но продолжал жить в общей с нею квартире, в отдельной, оставленной для себя комнате, и ему не то чтобы нельзя было, но не хотелось приводить Наташу туда. Он рассчитывал сразу же после свадьбы привезти ее в новую квартиру в кооперативном доме, который еще в январе как будто был готов к сдаче; но ордера до сих пор не выдавали, и это было самым страшным и непредвиденным обстоятельством для Арсения. Однако он старался не показывать сейчас своего замешательства перед Наташей. Он стоял на освещенном теплым весенним солнцем тротуаре — мрачный, подавленный, но оттого еще более дорогой для Наташи; она любила в нем именно это, что укладывалось в понятие несправедливости жизни к нему, и все чувства ее, казалось, только и заключались в том, чтобы сделать его счастливым. Она так же не в состоянии была произнести ни слова, но готовые вот-вот наполниться слезами глаза ее, когда поднимала их на Арсения, ясно выражали, что она хотела сказать будущему своему мужу.

Они вошли в сквер и сели на скамейку, где обычно присаживались, когда Арсений по вечерам провожал ее. За деревьями проглядывал дом, из которого они вышли, и подъезд, возле которого (пока они еще сидели молча) остановилась машина «скорой помощи». И Арсений и Наташа видели эту светло-бежевую с красными крестами на дверцах машину, как видели все, что стояло и двигалось по улице и в сквере, но с тем же душевным безразличием ко всему происходившему вокруг, как они смотрели на дом и подъезд, когда возле него стояла машина «скорой помощи», — смотрели и потом, когда машина уже отъехала и лишь темным провалом зияли оставленные распахнутыми входные двери.

— Я не хочу, чтобы ты была несчастной, — сказал наконец Арсений, повернув к Наташе свое в квадратных очках, худощавое и с чертами устоявшейся усталости лицо. — Ты знаешь, как я отношусь к тебе, и потому не хочу, чтобы ты была несчастной, — повторил он, недовольно хмурясь оттого, что не мог сказать ей, что на самом деле беспокоило его. — То, что у меня была жена и есть сын, которого, впрочем, я никогда не считал и не считаю своим, — добавил он, — никуда не скроешь. Ты знаешь об этом, у тебя ко всему этому свое отношение, а у родителей твоих, очевидно, свое, и они по-своему правы.

— Они ничего не знают.

— Почему?

Наташа не ответила.

— Почему? — снова спросил Арсений. — Тогда и вовсе непонятно. Но как бы там ни было, а со ссоры с родителями начинать нельзя, — заключил он. «Что я хочу сказать ей этим? — тут же подумал он, торопливо и взволнованно подгоняя слова. — В чем хочу убедить? Ведь я просто не могу взять ее к себе, ведь все в этом: мне некуда взять ее!» — Они по-своему правы, — продолжал он. — И на их месте...

— Не надо, Арсений, — сказала Наташа. Глаза ее опять и еще заметнее готовы были наполниться слезами. — Прошу тебя.

— Но я...

— Прошу тебя.

— Ну хорошо, но зачем слезы? Глупая ты моя, — добавил он, обнимая ее и притягивая к себе. — Зачем плакать? — Он достал платок и вытер им глаза и щеки Наташи. — Для чего плакать?

Было странно: чем больше он говорил ей, чтобы она успокоилась, чем ласковее смотрел на нее, тем сильнее слезы катились по ее ще-

кам; в то время как она отвечала: «Да, милый, я уже не плачу, все, все»,— с нею происходило противоположное тому, что она говорила; Арсений впервые видел ее такой и с удивлением чувствовал, что ему приятны были эти ее слезы, приятны тем, что он понимал, отчего они.

— Все обойдется,— сказал он, веря сам в эту минуту, что все обойдется, что не может не обойтись, потому что тому, что переполняло его и что переполняло Наташу, нельзя, невозможно противостоять, как невозможно, противоестественно и неразумно противостоять добру; ему казалось, что если бы сейчас они (он имел в виду прежде всего Наташиного отца, но вместе с тем с одинаковой доверчивостью думал и об ее матери),— если бы сейчас они увидели, что оно происходило здесь, на скамейке в сквере, увидели особенно свою дочь, которая никак не могла унять катившихся по ее щекам крупными каплями слез (разумеется, как видел и понимал он), мнение их изменилось бы тотчас и все (все — означало для него жизнь) двинулось бы в том спокойном и счастливом для всех направлении, какое было желанным и давно обдуманном и обговоренным им и Наташей.— Да, да, поверь, все обойдется,— взволнованно и нежно продолжал он, как будто ни сдержанность, ни холодность никогда не были присущи ему.— Лучший распорядитель всему — время, и оно распорядится, я убежден, достойно и справедливо. Да! — воскликнул он, оживляясь.— Я ведь не сказал тебе: жеребьевка прошла и я уже ходил и смотрел нашу квартиру.— Как только он произнес это, Наташа подняла голову и взглянула на Арсения. После огорчений, слез и всего, что передумала и что слышала от Арсения, слова его «я смотрел нашу квартиру», особенно «нашу», неожиданно вновь как бы вернули ее в мир надежд, и она хотела лишь убедиться, взглянув на него, не ослышалась ли. Она всегда представлялась ему красивой, но такой, как выглядела теперь, он еще не видел ее, и, почувствовав, что будто какой-то поворот произошел в ее душе, и, главное, уловив, что поворот этот был просветлением, нежно и восхищенно и с проступавшею будто сквозь очки теплотою несколько мгновений рассматривал ее. Но он не различал сейчас ни цвета ее глаз, ни длинных и черных ресниц и черных бровей, а воспринимал только то беспокойство мысли, какое выражали они; беспокойство это было созвучно с тем, что испытывал он сам, и потому глаза Наташи казались ему как никогда особенными и прекрасными.— Комнаты отдельные.— между тем не останавливаясь говорил он,— одна из них угловая, с двумя окнами.— Он продолжал смотреть на нее, не различая и не разглядывая отдельные черты лица, а видел лишь близко щеки с бороздками непросохших слез, шею между забранными вверх волосами и отложным воротником бежевого платья и открытые и как украшение (на что всегда было ему удивительно и приятно смотреть) прижатые к волосам маленькие и красивые уши с удлинявшими лицо серебряными сережками, и все это, представлялось ему, было наполнено ожиданием счастья, какое он мог и должен был дать ей.— Одно из окон выходит на восток,— продолжал он,— и по утрам комната будет залита солнцем.— Он старался припомнить подробности и впечатление, какое произвела на него квартира, когда он только перешагнул порог, и старался теперь передать эти подробности и впечатление Наташе, и чем дольше говорил, тем спокойнее становилось ее лицо и спокойнее становился он сам; омрачавшее их событие незаметно отдалилось, и Наташа чуть улыбнулась, когда Арсений заговорил о письменном столе и стенке, которую специально собирался заказать для книг.

— Но где ты ее закажешь? — сказала Наташа, улыбаясь, потому что уже не раз говорила ему это.

— Найдем где.

— Можно шкафы...

— Что ты! Столько книг, вся комната сейчас у меня завалена ими.

Для Наташи разговор о шкафах и книжной стенке имел то значение, что она, еще не став женою и хозяйкою, отчасти уже чувствовала себя ею; разговор сближал ее с будущим, и ей приятно было это. Арсений же, — как только он упомянул о книгах, он сейчас же вспомнил свою небольшую комнату в общей с бывшей женою квартире и вспомнил Наташиного отца и все оскорбительное, что было связано с ним и чего, Арсений сознавал, если даже все уладится, долго не сможет простить ему; он вдруг понял, что весь этот разговор о квартире, шкафах и книгах был всего лишь самообманом и самоутешением и что все мрачное и нерешенное по-прежнему оставалось мрачным и нерешенным. Ему было очевидно, что Наташа не хочет возвращаться домой, но он даже на мгновение не мог представить, чтобы она очутилась в одной с Галиной квартире и на глазах у нее; мысль эта была не просто неприятна, но омерзительна ему. «Нет! — торопливо и болезненно восклицал он, понимая, что обстоятельства складываются так, что он вынужден будет сделать это. — Нет! Ее... Туда...» Но в то время как Арсений все более возвращался к исходному и подавленному состоянию, Наташа продолжала спокойно говорить с ним; не то чтобы она не уловила тревоги, пробежавшей по его лицу, но она не знала, что мучило Арсения, и подумала, что он вспомнил про унижение, которое пришлось вынести ему от ее отца, и ей жалко и обидно стало за него. В середине так хорошо начавшегося и теперь затухавшего разговора она будто неожиданно и для себя и для Арсения сказала, взглянув на него:

— Ты опять?

— Что?

— Ты же знаешь.

— А-а,— протянул Арсений, только-только будто догадываясь, о чем просила Наташа.— Знаю, и рад бы.— И он, поджав губы, усмехнулся той своей запомнившейся Наташе усмешкою, какую она сегодня, когда выходили из дома, уже видела на его лице и которую не хотела видеть снова теперь.

Арсений, встав, несколько раз прошелся вдоль скамейки, и Наташа следила за ним взглядом; когда он опять сел рядом, уже не он, а она принялась утешать и успокаивать его. Они как будто поменялись ролями, и Арсений, сколь ни противно ему было сознавать себя в этой новой роли (он видел всю ложность и неестественность своего положения), отвечая Наташе, не изменял принятого недовольного и обиженного тона. Он не хотел открывать ей то, что на самом деле угнетало его, и чувствовал себя в тупике, выйти из которого мог, только воспользовавшись теперешним состоянием Наташи; слушая ее, он думал, что сейчас она подчинится всему, что он скажет, и что хотя это непристойно и оскорбительно—воспользоваться ее доверчивостью, но что сделать так все же придется, потому что еще оскорбительнее, чем это, будет другое: если он приведет ее к себе; он должен был решиться на то, что было противно чувству, но что подсказывалось разумом, и, морщась от сознания, что совершает непростительное, старался развести разговор к тому, чтобы Наташа сегодня, сейчас же вернулась к отцу и матери.

— Но ведь и им не легче,— говорил он, соглашаясь с Наташей.

Он как будто теперь только и делал, что во всем соглашался с ней.

— Да, пожалуй,— подтвердил он, когда Наташа сказала, что, главное, не с матерью, а с отцом придется говорить ей.

— Ну разумеется,— снова подтвердил он, когда она, продолжая о том же, добавила, что нельзя и что она не будет откладывать этого разговора.

— Ты согласен? — спросила она, несмотря на то, что он отвечал ей.

— Да, вполне.

Он первым встал со скамейки, но ему казалось, что он поднялся вслед за Наташей. Держа ее под руку, он подошел с ней к подъезду, двери которого все еще были распахнуты настежь. Она что-то еще говорила ему, он отвечал, но, отвечая, думал лишь о том, чтобы только Наташа не изменила своего решения; он видел, что пора было прощаться и уходить, и мысленно торопил себя, но в то же время медлил, не прощался и не уходил, потому что не хотел, чтобы у Наташи появилось впечатление, будто он стремится поскорее отделаться от нее. Он слышал, как она сказала: «До завтра»,— что всегда говорила, прощаясь с ним, но продолжал еще выжидающе смотреть на нее. Даже после того, как она, по-своему истолковав его нерешительность и радуясь в душе этой нерешительности, быстро и прощально поцеловала его, боязливо оглядевшись сперва, нет ли кого в подъезде, Арсений не сразу вышел на улицу. Шагая затем по тротуару, он несколько раз останавливался и смотрел на стоявшую в проеме дверей Наташу; он чувствовал себя так, словно унижен был не он отцом Наташи, но будто сам совершил что-то нехорошее, от чего поспешно и с оглядкою удалялся сейчас.

V

Лицо Арсения, пока он шел домой, да и потом, когда с заложенными под голову ладонями лежал на кушетке, все время оставалось сосредоточенным и угрюмым; но душевное настроение его менялось в зависимости от того, о чем он думал и что вспоминал. Он слышал, как прошла по коридору вернувшаяся откуда-то Галина; он понял, что это она, потому что с тех пор, как они разошлись, она никогда не снимала туфель у порога и, проходя к себе, стучала каблуками о паркет так, будто хотела подчеркнуть, что она хозяйка в этом доме и что потому, пусть он слышит, может позволить себе это; он слышал еще, как раздался какой-то вскрик на кухне, куда вошла Галина, и слышал какие-то расточаемые ею угрозы в сочетании со словами «господи» и «боже мой», несомненно относившиеся, и Арсений хорошо знал это, к сыну Юрию, которого, он знал и это, не было сейчас в доме; до него доносились звуки чего-то передвигаемого и переставляемого, но он не интересовался тем, что происходило за дверью; там была своя жизнь, которая не касалась его и от которой он упорно стремился отгородиться, а здесь, в его комнате, в нем самом — другая, полная иных раздумий и переживаний. Он то и дело возвращался к вопросу, который занимал его давно, когда он только еще присматривался к Наташе. Каждый раз, стоя в подъезде и глядя на лифт, увозивший ее, он спрашивал себя: «Возможно ли, чтобы я женился на ней, или невозможно?» Разница в годах между ним и Наташей — пятнадцать лет — смущала и останавливала его; но несмотря на то, что он говорил себе: «Возможно ли?» — продолжал, однако, встречаться с ней и думать о ней. Ему всегда казалось, что почтение, с каким относились к нему студенты и коллеги-преподаватели по кафедре, — всего лишь дань уважения к его знаниям (он заканчивал докторскую диссертацию) и никак не относится к возрасту: седым вискам, залысынам и постоянной усталости, особенно старившей его лицо; он не только не чувствовал своих лет, но, напротив,

часто ловил себя на том, что привычки и желания в нем оставались теми же, какими были пять, десять и пятнадцать лет назад; он ощущал в себе те же силы для жизни и деятельности, как и в молодости, и хотя этого никто не мог видеть и знать, кроме самого Арсения, он полагал, что это было естественным и очевидным для всех. «Нет, каждый человек для другого загадка»,— говорил себе Арсений теперь, вспоминая снова и снова, что произошло в доме Наташи, как отец ее, зло шурясь и произнося: «Вон, вон»,— надвигался и теснил его к двери. «Что он?»— продолжал размышлять Арсений, охватывая всю свою жизнь и вместе с тем это, встречу с Наташиным отцом; он искал связь между событиями, которые в разное время пришлось пережить ему, с этим, что случилось сегодня, и никак не мог уловить очевидной будто бы (во всяком случае, так представлялось ему) и последовательной связи. Обычно умевший владеть собою, он находился сейчас в положении кучера, выронившего вожжи; но он не стремился найти и поднять их, потому что важно было ему не то, куда и зачем несут его кони и что подстерегает повозку, в которой сидит он, а другое— что Наташа осталась позади на пыльной дороге и что, несмотря на все обнадеживающее, что она обещала сделать— рассказать отцу и матери о нем,— он видел, что расстояние с каждой минутой (с каждой новой мыслью) все увеличивалось, что так же, как он не сможет остановить коней и повозку, Наташа не сможет догнать его, и что, самое ужасное, та новая жизнь, к которой готовился Арсений и которая была уже вот, перед ним, снова отдалялась на неведомые и бессрочные времена. «Отчего все так?— думал он, мысленно обращаясь к тому доброму и высокому, что жило в нем и что он готов был раскрыть и отдать людям, но чего не замечали и не хотели принимать они («люди»— был для него отец Наташи).— Отчего я, желающий всем добра, получаю в ответ только холодность и равнодушие? Разве я сделал что-либо плохое в жизни? Кому? Когда? Нет на мне темных пятен. Нет»,— повторил он, потому что в разводе с Галиной тоже не считал себя виноватым.

Он не любил возвращаться к своему прошлому, но оно само вставало сейчас перед ним, и вставало так, будто он очищался перед будущим своим тестем.

«Отец твой был славным и добрым человеком,— когда-то давно-давно говорила Арсению бабушка, которая любила и баловала его.— Когда начали открывать в деревнях школы, он поехал в деревню и взял всех нас с собой: мать, тебя, меня». Она рассказывала обычно неторопливо и с охотой, как все матери говорят о своих сыновьях, и хотя Арсений как будто часами сидел и слушал ее, но он не помнил ни названия деревни, где протекало его раннее детство, ни школы— бывшего поповского пятистенника,— где собирал и учил крестьянских ребятишек его отец, ни избы, вернее той передней половины низкой бревенчатой избы, где они жили: бабушка, отец с матерью и он, худенький и диковатый— шел ему тогда пятый год— мальчик Арсений; то первое, с чего начиналась его память, было связано не с деревней, а с временем, когда они уезжали оттуда, с железнодорожными станциями, переполненными разным и шумным народом, с видом чемоданов и тюков, бесконечной толчей, спешки, движения, со звоном алюминиевых кружек и чайников, криков: «Где кипятки?»— и пресного вкуса этого дорожного питья; он хорошо помнил вагон, в котором ехал вместе с отцом, матерью и бабушкой, и нижние полки, сдвинутые как нары, из-под которых как раз в одно серое дорожное утро и вытащили мертвого и посиневшего отца. Бабушка с обезумевшим, перекошенным от горя лицом и растрепанными седыми

волосами причитала: «Господи, люди», мать, склонившись над телом отца, проводила пальцами по его холодным и впалым щекам, а за ее спиной и за спиной бабушки безмолвно стоял в проходе вагонный люд, и Арсений, трепетно съезженный в комочек на полке-нарах, с замиранием и страхом смотрел на все происходившее перед ним. Он не знал, от чего умер отец и что заставило его прятаться под полкой-нарами; не знал и того, зачем и куда ехали; в его детской памяти запечатлелось лишь утро, когда вдруг выяснилось, что отец мертв, и запечатлелось еще, как вместе с покойником высадили их на какой-то станции, где они долго ожидали чего-то на перроне, изнывая под высоким палящим азиатским солнцем; бабушка сидела на чемодане, отец недвижно лежал возле тюков и корзин, а мать бегала в маленькое глиняное здание вокзала и обратно, пока не появились наконец санитары с носилками; их негромкое «н-ну», когда они поднимали носилки, и то покачивание носилок в такт шагам, и покачивание самих санитаров, которые, удаляясь и унося тело отца, скрылись в дверях вокзала, отчетливо жило в детском сознании Арсения и повторялось всякий раз, когда он, подрастая, прислушивался к разговорам и спорам взрослых.

«По глупости умер,— рассуждала бабушка.— Так уж, видно, суждено было,— добавляла она.— Честному человеку — ему всегда уютно и тесно на земле».

«По трусости,— возражала мать Арсения.— Зачем нужно было соваться не в свое дело? Он заступился, а за него?»

«Доброту, да еще покойного, чего же осуждать?»

«Помолчали бы с добротой-то своей. В чем она? В сиротстве вот этом?»

В Другой раз бабушка говорила:

«Зря из деревни тронулись. Жили бы и жили, перебились бы, как другие».

«Из деревни — не знаю, а вот из города в деревню — зря»,— уточняла мать Арсения.

Разговоры и споры между бабушкой и матерью возникали так часто, что все прожитые в жарком туркменском городке годы памяти были Арсению только этими разговорами и спорами. Он припоминал еще, что мать работала на известковом заводе и всегда возвращалась домой обсыпанная белой, будто мучной пылью, а бабушка, тосковавшая по родным местам, переписывалась с племянником Федором Иванцовым, сыном покойного брата, и постоянно просила его вызволить их отсюда; но ни мать, ни бабушка не дождались племянника и умерли (от малярии), прежде чем он приехал за ними. Иванцов увозил лишь совсем осиротевшего Арсения, и отъезд этот, и похороны матери, которая скончалась на месяц раньше бабушки, и похороны бабушки накануне отъезда — все было памятно Арсению; но более, чем это, памятно было ему все же утро, когда отец распластанно лежал в проходе вагона, и чаще и болезненнее он вспоминал именно об отце. «Ischein serebrum brain»,— много лет спустя и будучи уже историком произносил он то, что было когда-то записано в заключении врача, вскрывавшего труп отца, но произносил не потому, что отыскал в архивах и прочитал это заключение, а потому, что знал название той нелепой, унижительной и ужасной смерти, какою умер отец. «Каротис интерно, сонная артерия... Острая ишемия головного мозга... Да, бывает: измученный и обессиленный человек неудобно прилег в тесноте, придавил сонную артерию и... через пять минут уже мертв»,— иногда и вот так сам с собою рассуждал Арсений, не догадываясь, однако, что эти же примерно слова говорил врач мате-

ри, когда, подавленная и растерянная, она стояла перед ним и безмолвно спрашивала глазами: «Отчего же?» Восстанавливая силою воображения многие и многие подробности, Арсений с годами составил себе вполне целостную картину, как и что случилось с отцом, как отец разбудил мужика-соседа, у которого какие-то вошедшие в вагон парни, полоснув бритвой по голенищу, пытались вытащить спрятанные в сапог деньги, и как затем эти воры, пригрозив отомстить отцу, с шилом в руках подкарауливали его у дверей и в проходе вагона, и картина эта выглядела настолько достоверной, что Арсений и сам позднее не мог отличить, что было настоящим и что придуманным в ней. Но главное, что волновало его, было не внешней стороной дела, а сутью, которая заключалась во всей этой истории. Он представлял отца в минуту, когда тот будил мужика-соседа, и понимал отца, и чувствовал, что сделал бы то же, видя, как обкрадывают; но еще более, как ему казалось, он понимал отца, когда тот, запуганный и беззащитный, вынужден был лезть под полку-нары, и Арсений чувствовал эту беззащитность так, будто стоял перед надвигавшеюся и неодолимою стихией. «Куда смотрели люди? — думал он. — А проводник? А дорожная милиция?» Он был убежден, что мать непременно бегала на вокзал и приводила дежурившего по перрону милиционера, но в той толчее и неразберихе, в той тесноте, когда не только в вагоне, но и в тамбурах — всюду было полно спешившего и галдевшего люду, милиционер ничем не сумел помочь отцу. «Видимо, это даже усугубило дело», — думал Арсений. Он осуждал отца за трусость и никогда и никому не рассказывал о его смерти; но именно потому, что осуждал, и потому, что считал смерть его унижительной и постыдной, сам боялся столкнуться с подобной силой и жил с постоянной и скрываемой от людей душевной оглядкою; он как будто делал все, чтобы избежать встречи, но каждый раз дело оборачивалось для него так, что он, как на стену, наткнулся на эту словно роковую силу и оказывался в положении отца. Он чувствовал, что сила эта была в Галине, но разглядел и понял все не в те дни, когда женился на ней, студентке-первокурснице экономического факультета (сам он заканчивал тогда третий курс исторического), а позднее, когда уже жил с ней и увидел отношение к себе ее многочисленных и по-разному приспособившихся к жизни родственников; в еще большей степени он почувствовал эту силу в отчине бывшей своей жены, Акиме Акимовиче, но опять-таки не в первые годы знакомства, когда Аким Акимович представлял собою лишь одну сплошную добродетель, а позднее, когда вдруг выяснилось, что взгляды его и взгляды Арсения на жизнь и будущее не только не совпадали, но во многом были противоположны друг другу; силу эту он все явственнее чувствовал в Юрии, особенно в последние недели, когда отправленный к деду на воспитание семнадцатилетний и бросивший школу «милый», как прежде называла его Галина, мальчик вернулся домой и вел еще более разгульный, к огорчению и отчаянию Галины и не меньшему огорчению Арсения (хотя он старался не замечать и не думать о сыне), образ жизни. Разводясь с женою и бросая сына, Арсений отдаленно и смутно сознавал, что делает то же, что и отец, — забирается под полку-нары, не решаясь противостоять злу; но, отгораживаясь от одной с и л ы, он почувствовал сегодня, что в Наташином отце сталкивался с другой, и не менее грозной и неодолимой, и предположение, что вместе с женитьбою на Наташе все однажды пройденное и пережитое может вернуться, было самым мучительным из всего, что он вспоминал и о чем думал сейчас, лежа и ворочаясь на кушетке.

VI

В пятом часу, спустившись и пообедав в столовой, где он обедал всегда и где знавшая и обслуживавшая его официантка, подавая блюда, и улыбаясь ему, и не замечая его мрачного настроения, говорила, что в Серебряном бору вчера, в субботний день, было так много купающихся, что к раздевалкам невозможно было пробиться, и что, как ни странно, после теплой, малоснежной и слякотной зимы весна была такой зеленой и бурной, что она, по крайней мере, не в состоянии припомнить, когда еще была такая зеленая и бурная весна, и чтобы в мае было так много солнца, и особенно купающихся (что, видимо, более всего волновало ее) на пляже в Серебряном бору,— Арсений, как это всегда случается с людьми, как бы прикоснувшимися к чужой и радостной жизни, вернулся домой несколько успокоенным; те утешительные слова, что все обойдется и что время — лучший и справедливый судья и распорядитель всему, как бы сами собою приходили на ум, и он, поддаваясь этой простой и самой обыденной житейской логике, не хотел думать иначе; для него достаточно было того, что он успел уже пережить за сегодняшний день и что сделало его рассеянным, мрачным и опустошенным. Он искал, чем бы ему заняться теперь, и, прохаживаясь по комнате и глядя на сгрудившиеся у стены книги, думал, что вторую неделю в комнате никто не убирал и не стирал пыль с книг и что сегодня, поскольку почти весь день он находился дома, надо было бы пригласить тетю Машу — пожилую, ворчливую и частенько выпивавшую дворничиху, которой всегда щедро платил за услуги и которая оттого охотно приходила к нему; но тут же, не успев завершить соображения о дворничихе, вспомнил, что еще три дня назад должен был посмотреть курсовую работу студента, которого считал перспективным и выделял среди других, но в ту минуту, как он доставал и раскладывал на письменном столе рукопись, мысли опять были уже направлены на другое, как он завтра же утром, еще до лекции, войдет к председателю жилищного кооператива, чтобы осведомиться насчет ордера, и фразу за фразой произносил то, что и как скажет ему.

Он еще принимался за разные будто неотложные и важные дела, рылся в ящиках стола, перебирал папки, ходил по комнате и снова начинал ворошить в ящиках, когда вдруг понадобилось для чего-то заглянуть в недавно сделанную им запись по поводу древнегреческого философа Диогена, полководца Александра и умонастроений некоторой части нынешней молодежи (что он готовил к ближайшей лекции), и хотя запись эта несколько раз попадалась ему в руки, но потому, что он не вчитывался в бумаги, на которые смотрел, главное же, потому, что более, чем рассуждения о Диогене, занимали его иные мысли, он не мог найти то, что искал; в очередной раз повернувшись и отходя от стола, он с изумлением увидел, что дверь его комнаты раскрыта и что в дверях, как видение, освещенная призрачно-синим от окна вечерним светом, стоит Наташа. Оттого, что Арсений не ждал ее и не слышал, как она вошла, он не поверил, что перед ним Наташа, и, не произнеся ни слова, снял очки и принялся протирать их; несмотря на все те занятия, какими он старался нагрузить себя в этот вечер, он не переставал думать и вспоминать о Наташе, и потому, стоявшая в дверях — в бежевом платье, вся та, как он оставил ее в подъезде,— она показалась ему лишь средоточием его воспоминаний и мыслей о ней. «Только этого еще недоставало», — подумал он, протирая толстые стекла очков и нахмуренно глядя на них добрыми близорукими глазами.

Пока он проделывал это, Наташа молча смотрела на него. Она

была бледна и взволнованна оттого, что решила прийти к нему, и не замечала, что стоит в дверях и что впустившая ее женщина из глубины коридора неприятно-оценивающе оглядывает ее. Для Наташи главное было, как примет ее Арсений. Ей казалось, что весь день с того часа, как он оставил ее, она думала только об этой минуте и готовилась к ней, и потому ничего не существовало для нее, кроме того, что должно было произойти сейчас. В то время как Арсению она представлялась видением, средоточием воспоминаний и мыслей о ней, она следила за движениями его пальцев, не понимая, отчего он медлит и не подходит к ней; то, что рисовало ей воображение, как Арсений встретит ее, и то, что она видела теперь, было настолько противоположно и неожиданно, что она не знала, как поступить и что сказать Арсению; она готова была сейчас же броситься к нему, если бы он проявил хоть малейшее желание, и готова была, оскорбившись, выбежать отсюда, чтобы уже никогда больше не встречаться с ним и забыть о его существовании; но она не делала ни того, ни другого, лишь глаза ее, только что счастливо смотревшие на Арсения, отражали возникавшее в ней беспокойство.

Она не была дома и не рассказала отцу и матери, о чем просил Арсений и что обещала ему; поднявшись на лифте на шестой этаж, она лишь безмолвно постояла перед дверью своей квартиры, затем медленно спустилась по лестнице и вышла на улицу. Так же, как странно и нелепо было бы честному человеку оправдываться перед людьми за свою честность, так странным и нелепым представлялось Наташе оправдываться перед отцом и матерью за свою любовь к Арсению; она сводила все к этому — что должна оправдываться, тогда как настоящая причина заключалась в том, что ей неловко и стыдно было сказать им, что Арсений был женат и разведен. Хотя сама Наташа не только не находила ничего дурного в том, что Арсений был разведенным и намного старше ее, а, напротив, видела лишь одно хорошее, что была способна дать счастье этому умному и неустроенному в жизни человеку, но та неприятная сторона, как могли истолковать ее замужество другие (как истолковал сегодня отец), — не только теперь, после отцовского: «Вон, вон», что особенно возмущало Наташу, но и прежде иногда настораживало и тревожило ее; но тревога рассеивалась каждый раз, когда она встречалась с Арсением. Медленно удаляясь в это утро от дома и не думая о цели, куда и зачем идет, она вышла к Никитским воротам и Тверскому бульвару, где жил Арсений. Он не раз приводил ее сюда, показывал свой дом, Наташа знала номер его квартиры, и первым ее желанием, как только она попала на Тверской бульвар, было сейчас же зайти к Арсению. Она все еще находилась под впечатлением, как он ласково успокаивал ее в сквере, когда она вся в слезах, заплаканная, прижималась к нему, и как внимателен и нежен был с ней в подъезде, когда прощался и не хотел уходить; но как бы в противовес этому впечатлению непрощено поднималась в душе Наташи вся ее жизнь с отцом и матерью, и перед ней невольно возникал вопрос, что для нее важнее: Арсений и значение разговора с ним (будущей жизни с ним — это подразумевала она) или отец, мать и то дорогое, что было связано с родным домом? Вопрос этот был естественным и так или иначе, рано или поздно возник бы перед нею; но теперь он имел для нее особую и мучительную сторону, так как, сделав выбор и уйдя к Арсению, она сразу отрубала все нити, до сегодняшнего дня соединявшие ее с семьей и со всеми теми воспоминаниями детства и юности, которые трогательной теплотой шевелились в ней сейчас. Все смятение ее незаметно свелось к этому — что она должна решиться на что-то определенное, но так как ей жалко было родителей, главное мать (о бабу-

шке она не думала), и жалко было Арсения, который еще более, как представлялось Наташе, нуждался в ней, она медленно и бесцельно, не заходя к Арсению и не возвращаясь домой, бродила по бульвару. Несколько раз у Никитских ворот она присаживалась на скамейку — не потому, что чувствовала усталость в ногах, а от тяжести душевных переживаний; она видела дом Арсения и не видела свой, обращенный двором к старым графским, а теперь посольским, особнякам, но близость одного и отдаленность другого пока еще как будто не мешали ей одинаково думать, в каком состоянии находились отец и мать, ожидавшие ее, и в каком состоянии был Арсений («Из-за меня же», — говорила себе Наташа), который тоже, конечно, нуждался в утешении. «Как я могу сидеть здесь в такую минуту», — думала она, все чаще вскидывая сухие и встревоженные глаза на дом Арсения. Она больше волновалась и думала о нем, и когда вспоминала, как он рассказывал ей о своей жизни в первые дни знакомства, еще острее, чем прежде, чувствовала, как она была нужна ему; ей все более начинало казаться, что они (родители Наташи), кто мог и должен был понять ее, не смогли и не захотели сделать этого, не захотели принять ее счастья, тогда как он, будто бы совсем посторонний для нее человек («Ведь так», — убеждала она себя), понял все-все и был, как преувеличенно восклицала Наташа, в тысячу раз роднее и ближе ей, чем он и; в сущности, она давно была готова сказать себе это, и хотя долго еще в нерешительности сидела на скамейке, но то, что она уже никогда и ни за что не вернется домой, она знала твердо, и сознание того, что может поступить так (может не простить обиды даже отцу и матери), наполняло ее гордостью. Она воображала, как будет жить с Арсением, и как будет счастлив он, понявший ее, и воображала, как будут несчастны и унижены они, кому не понравился он, ее муж, и незнакомое прежде злое и торжествующее ликование охватывало ее. Она как бы сбросила груз, который замедлял движение ее машины, и подложила под буксовавшее колесо то, что увеличило сцепление с землей, с будущей ее жизнью, и это радовало ее. Она не замечала взглядов, какими окидывали ее гулявшие по бульвару прохожие, и не замечала того, что солнце давно уже скрылось за высотными, еще в строительных лесах, зданиями Нового Арбата и от земли, от асфальта, от песчаной дорожки с рядами скамеек, от зеленой и мрачневшей в преддверии вечера листвы на деревьях — от всего веяло сыростью и прохладой; с уверенностью и гордостью, словно все непреодолимое и тяжелое было позади, она поднялась со скамейки и направилась к дому Арсения; она пошла быстро, и ей казалось, что она оставляла за спиною прошлое, которое не только не интересовало, но и не будет уже никогда интересоваться ее. «Но что же он?» — думала она, продолжая теперь стоять перед Арсением и с беспокойством смотреть на него. Ей странно было видеть, как он неторопливо и старательно протирал квадратные стекла больших роговых очков и не поднимал на нее глаз, будто ее вовсе не было здесь; ей хотелось сказать, что как он может, ведь пришла она, но после уверенности, с какой входила к нему, после радости, какую испытала, когда Галина, впустив ее, сказала, как обычно говорила студентам, посещавшим бывшего мужа: «Сюда, пожалуйста», — Наташа находилась в том оцепенении, когда не могла произнести ни звука.

Арсений же, надев очки и все еще не веря, что перед ним не видение, не средоточие воспоминаний и мыслей о ней, а сама Наташа, именно вся та, какой он оставил ее в подъезде, — не двигаясь к ней, а лишь изумленно глядя на нее, спросил:

— Ты?

Он не хотел видеть ее здесь, но теперь, когда она пришла, все прежние опасения, что ее нельзя приводить сюда, мгновенно отступили, будто их не было; напротив, он обрадовался, что она пришла, и, не давая ничего ответить ей и воскликнув: «Да это же ты!» — шагнул к ней и взял за плечи. «Ты вся застыла», — затем негромко добавил он, обнимая и согревая ее. Он потянулся, чтобы закрыть дверь, и невольно выглянул в коридор, где все еще полуобернувшись стояла Галина с насмешливым и понимающим выражением, и хотя Арсений тут же отвернулся от нее, однако радость его от встречи с Наташей была уже несколько испорчена этим подглядыванием. Он быстро и беспокойно обернулся к Наташе, желая узнать, заметила ли она что-либо, и, ничего не говоря ей, снова обнял и, согревая, повел к столу и усадил в рабочее кресло.

Оконный свет упал на лицо Наташи, осветил его, и взгляду Арсения открылись все отдельные черты знакомого и дорогого ему лица; он увидел глаза Наташи, смотревшие на него, и понял, что они хотели сказать ему; он не спрашивал, заходила ли она домой и разговаривала ли с отцом и матерью, потому что вопросы эти были ненужными, лишними; уже тем, что она здесь, — она все сказала ему. Он понимал ее, как понимают старшие и познавшие все младших и познающих все впервые, но вместе с тем — он только не замечал и не следил за собою — испытывал то же волнение, что и Наташа, и ему хотелось теперь же, не откладывая, сделать что-нибудь особенное и приятное для нее: и за то, что она пришла, и во искупление своего греха перед нею, о котором он вспомнил (как утром с нехорошей поспешностью уходил от нее), но он только спросил: «Ты обедала?» — и, поняв по ее взгляду, что она ничего не ела весь день, предложил спуститься в ресторан или кафе и поужинать.

— Конечно, — сказал он, беря ее за руку, как бы помогая подняться с кресла. — Хотелось не так. Но пусть будет так. Может быть, оно и лучше, что так, — добавил он. — Ты не пойдешь к ним, я не отпущу тебя. В понедельник, во вторник, самое дальнее — в среду у нас будет ордер, и мы уйдем из этой моей холостяцкой, — он усмехнулся, произнося это, — кельи.

Они ужинали в маленьком кафе, которое было как бы спрятано в проезде неподалеку от Никитских ворот. Негласно кафе это именовалось таксистским, и Арсений не любил бывать в нем из-за шума, суеты и спешки, которую обычно создавали подъезжавшие шофера; но теперь, в этот воскресный и еще непоздний вечерний час, может быть, оттого, что здесь не подавалось ни вино, ни пиво, занято было всего несколько столиков, и Арсений с Наташей, проходя мимо, зашли в кафе (по просьбе Наташи) и выбрали для себя удобное, у окна и в углу место. Наташа сидела спиной к стойке и ко всем находившимся в зале людям; она была в свитере, который Арсений предложил надеть ей поверх платья, и стеснялась, что он был мужской и был велик ей; но когда они вышли из кафе и особенно когда шагали по бульвару, где было темнее, чем на освещенных фонарями тротуарах, неловкость эта, что все будто видят, в каком она толстом и грубом, только для лыжных прогулок свитере, прошла, и она чувствовала лишь, что ей было тепло и уютно в нем; чувство это усиливалось тем, что свитер был с его плеча и хранил и передавал ей тепло его тела. Согревшаяся от этого свитера, от ужина и от нежных, как ей казалось, слов Арсения, которые он говорил ей, она все более перемещалась в то состояние, когда не чувствовала, что идет, и не сознавала, что думает, а все ощущение жизни было лишь течением, которое подхватило ее и которому она охотно отдавалась;

это течение несло ее к той минуте близости с Арсением, о которой она не разрешала себе думать и о которой не думала теперь; но минута эта приближалась, чем скорее они подходили к дому, и потому она почти не слушала Арсения, а находилась вся под впечатлением этой неведомой, еще не пришедшей, пугавшей и привлекавшей ее минуте. Наташе представлялось, что Арсений говорил ей много и нежно, но на самом деле он лишь несколько раз повторил то, с чем она уже была согласна: что завтра же они пойдут в загс и подадут заявление и что завтра же — пока он будет выхлопывать ордер, она отправится в магазины и купит себе все необходимое для жизни (деньги он даст, это разумелось само собой); он говорил еще что-то в этом роде, но большее время шагал молча, обняв Наташу, и хотя он не чувствовал себя плывущим по течению и не был, как она, взволнован приближением той минуты, когда он станет ее мужем, но он тоже испытывал нечто схожее с чувством Наташи, и это нечто заключалось для него в том, что женитьбою на Наташе он отрезал от себя прошлое, которое было противно ему и тяготило его, и что, в сущности, оно уже было отрезано и оставалось самое малое, чтобы завершить все.

— Ты ляжешь здесь, на кушетке, — сказал Арсений, когда они уже сидели в его комнате и он видел, что пора было укладываться; отчего он решил и сказал так, он не знал; за минуту до этого он даже не думал, что скажет так. Но когда слова были произнесены, он почувствовал, что ему вдруг стало как-то свободнее и легче дышать. В этом доме, где он жил с Галиной (хотя она была теперь никто для него, но она находилась здесь, за стеною), ему казалось, было что-то непозволительное и кощунственное лечь сейчас вместе с Наташей. Эта своя мысль так занимала его, что он не заметил, как восприняла все Наташа.

Приготовив ей постель, он смотрел, как она вынимала серебряные сережки из своих маленьких и красивых ушей и как затем, освободившись от шпилек, упали на плечи ее густые темные волосы и закрыли уши; потом он отвернулся и смотрел уже на грудюю возвышавшиеся у стены книги, и только по тому шороху, как она снимала платье и ложилась под одеяло, чувствовал, что происходило за спиной. Сам же он лег возле двери, расстелив на полу пальто и положив несколько книг под голову, но перед тем, как потушить свет, поцеловал и пожелал спокойной ночи Наташе.

VII

Понятие дня и понятие ночи в смысле движения жизни и замирания жизни менее всего применимы к Москве; схваченные, как обручания, четырьмя замкнутыми кольцами дорог улицы, проспекты и площади этого огромного города никогда не погружаются во мрак и к полуполночному часу освобождаются от машин и людей ровно настолько, чтобы теплый ветер с подольских лесов или северный от Клязьминского водохранилища и тоже лесных и комариных мест, просквозив вдоль кирпичных и бетонных громад, мог подхватить и вынести за пределы города отработанный и серый от выхлопных газов и поднятой пыли воздух и заполнить проезды, переулки и улицы пусть слабым, пусть еле уловимым настоём хвои, запахом трав, зацветшей березы, орешника, грибной и всякой иной пряной и неповторимой лесной прели, и как ни едок, как ни стоек бензиновый дух асфальта, как ни холодны и ни мертвы застывшие глыбы домов — по утрам все вокруг кажется обновленным, отдохнувшим и свежим, и в эту свежесть, спеша поглотить ее, устремляются разбуженные толпы людей и машин.

Нет, жизнь Москвы не замирает ни на час, как это бывает в деревнях или районных центрах, где по ночам только сельповские сторожа, сидя на деревянных крылечках в тулупах и с двустволками между сомкнутых рук и колен, покашливают иногда для остротки в минуты пробуждения, или как в небольших городах, где в станционных залах ожидания томятся и ворочаются до рассвета на отшлифованных задрами и спинами уютнообразных дубовых скамьях одинокие и семейные, куда-то и зачем-то отбывающие и прибывающие пассажиры; окруженная аэродромами и гудящими, как весенние ульи, вокзалами, на которых ежеминутно прибывают и с которых ежеминутно отбывают сотни поездов и электричек, увозящих и привозящих тысячи людей, которые затем, каждый со своею нуждою, болью и радостью, как река в излучине, разбившись на рукава и струйки, устремляются к автобусным и троллейбусным остановкам, выстраиваются в очереди у стоянок такси и нескончаемую лентой текут вверх и вниз по эскалаторам метро, — Москва только чуть замедляет ритм к ночи, как пульс у спящего человека; и этот ночной ритм, все движение в центре и вокруг сливаются в один непрерывный звук, который, стоит только положить голову на подушку, по стенам, от пола, по деревянным и металлическим ножкам кроватей сейчас же передается слуху; он исходит как будто от самого центра земли, и от него нельзя избавиться; иногда он раздражает, иногда успокаивает, создавая впечатление сопричастности малого с большим, судьбы одного человека с жизнью и судьбою общей массы людей, но чаще, как это было теперь с лежавшей на кушетке Наташей, трудовое ворчание ночного города воспринимается как нечто привычное и вошедшее в быт так же, как все окружающее, естественное и необходимое человеку: воздух, еда, жилье, одежда, работа; оно просто не замечается и не слышится ими. Для Наташи в эти минуты не существовало ничего, кроме мира, который не от желания и воли, а от принуждавших к тому обстоятельств складывался в ее сознании. Мир этот не был целостным, и жизнь в нем текла не с той последовательностью, как она текла на самом деле, а перескакивала с одного на другое, то унося далеко вперед, в будущее, которое представлялось полной согласия и понимания совместной жизнью с Арсением, то отбрасывая назад, где тоже было много дорогого, с чем Наташа рассталась, но что именно оттого, что казалось недоступным теперь, с особою силою притягивало ее; то вдруг не было ни будущего, ни прошлого, а все сосредоточивалось лишь на том, что вот-вот в темноте подойдет Арсений, и временами она даже будто слышала, как он встает и направляется к ней. Она не поняла и не вдавалась в подробности, почему он постелил себе у двери; она только думала, что все, наверное, было бы не так и она, наверное, испытывала иные чувства, если бы этой ожидавшейся ею минуте предшествовало то возвышенное и торжественное, что люди называют свадьбой. От желания восполнить недостающее она старалась представить, как и что было бы на ее свадьбе, если бы она состоялась, и это как и что начиналось для Наташи с ателье, куда вместе с матерью и Арсением она пошла бы заказывать белое свадебное платье; она видела довольные и одобряющие (одобряющие Наташин выбор) глаза знакомой портнихи, слышала ее голос и чувствовала прикосновение сантиметра и пальцев, когда та принялась измерять у Наташи бюст, талию и бедра; то, что Наташа знала по рассказам и что видела сама, когда случалось проходить через Александровский сад у Кремлевской стены, ей казалось, происходило теперь с нею и Арсением: будто они на голубой, с обручальными кольцами на дверцах «Волге», обогнув Манежную площадь, подъехали ко входу в Александровский сад и остановились в том месте, где останавливались все свадебные машины; как сотни

молодоженов до них, подойдя к памятнику Неизвестному солдату и положив на мраморные плиты цветы, затем в минутном молчании смотрели на будто вырывавшееся из-под плит пламя вечного огня (свадебный ритуал этот был новою, только прививавшеюся тогда традицией в Москве),— она видела перед собою и круглую чашу, и огонь над нею, переливающийся красными и черными языками, и цветы, которые она и Арсений положили на зеркально-гладкие, вобравшие историю поколений и навечно застывшие теперь плиты мрамора. Для чего приезжали сюда другие, почему должна была приехать сюда и она с Арсением, Наташа не думала; она лишь чувствовала, что не ради крепости семейных уз приходили к памятнику молодые, что в поклонении вечному огню и плитам, хранившим историю, было нечто большее, чем только клятва в любви друг другу; она не знала, что было этим нечто большим и притягивало людей, но то ощущение, что в обряде этом заключалось какое-то светлое таинство приобщения, было ясно для нее. Приобщения к чему: к вечности, непрерывности жизни, к силе и духу народа, к прошлому и настоящему родной земли? Она не знала и не могла знать, не испытыв этого приобщения, но в то время как она представляла себя выходящею вместе с Арсением из Александровского сада,— она чувствовала, что в душе ее произошло обновление; ей не ясно было, в чем состояло это обновление, но что обновление было и что она видела и воспринимала все вокруг теперь по-иному, она как будто отчетливо сознавала; она чувствовала, что и с Арсением произошло обновление и что по тому, как они подходят к машине и садятся в нее, все видят, понимают и радуются за них: и мать, и отец, и даже бабушка, которая, поправившись к тому времени, как думала теперь Наташа, непременно поехала бы на это таинство приобщения. Наташа так увлеченно думала обо всем этом и так живо представляла себе все это, что не могла уловить, где начиналось и где кончалось реальное и воображенное. В коридоре за дверью раздавался чей-то ворчливый голос, кто-то кричал, падал, вставал, кого-то будто волокли по полу, но все эти звуки, как и передававшийся через подушку гул незатихавшей ночной жизни Москвы, не интересовали Наташу; она ничего не слышала и не хотела слышать, кроме того, что жило в ней, что было ее миром и поднимало ее над землей и опускало ее на землю.

Так же, как и Наташа, Арсений не спал, и не потому, что непривычно и неловко было ему на полу у двери и что ночное ворчание Москвы, обычно и прежде мешавшее засыпать, передавалось сильнее по жестким под голову книгам; он был взволнован не менее, чем Наташа, и, возвращаясь то к прошлому, то к настоящему, мысленно шагал сейчас по своему коридору жизни, где было множество знакомых и незнакомых дверей, в одни из которых он заходил, на другие только смотрел, проходя мимо; он никогда не представлял свою жизнь вот так, гудящим коридором с дверьми, сравнение это было странно и непривычно ему, но как он ни старался отделаться от этого сравнения, сколько ни говорил себе: «Глупо, чертовщина»,— продолжал шагать по этому воображенному коридору; едва он открывал первую дверь, как сейчас же вся с детства запомнившаяся обстановка серого дорожного утра стуком и грохотом колес обрушивалась на него; он открывал еще дверь и видел дом Федора Иванцова, где все обращались к Арсению с подчеркнутой, но именно потому болезненно воспринимавшейся им добротой; открывал следующую— и перед глазами распахивались годы жизни с Галиной, которые он охватывал все разом, как вращающийся шар, и видел отчима ее, Акима Акимовича, и родственников, которых было так много, что Арсений никак не мог запомнить их ни по именам и отчествам, ни по занимаемым ими

должностям; он знал только, что были среди них бухгалтеры, экономисты, слесари, был журналист, упорно называвший себя, однако, кинокритиком. В квартире у этого кинокритика, в Пензе, хранились прикрепленные стоймя к стене (в туалете) фанерованные под дуб детали разборного гроба; Арсений не видел, но знал об этом со слов отчима Галины; он не помнил весь рассказ, но хорошо помнил заключительные слова отчима: «Я его спрашиваю, какая тебе разница, в каком гробу похоронят, так он — своя, брат, философия! — отвечает: а вот такая — одних в печь, других под земляные холмики, а третьи в мраморные склепы норвят, отчего бы это, а?» Осуждал ли Аким Акимович своего родственника — кинокритика — или, напротив, восхищался какою-то тонкостью, которая содержалась в ответе, невозможно было уловить, так как отчим Галины вообще имел привычку заканчивать разговор вопросом; он ничёго не утверждал, а лишь обращал внимание, что вот существует и такое мнение, и просил не торопиться с возражениями и подумать, и оставлял за собою это же право не торопиться и подумать, потому что не бывает, дескать, в жизни дыма без огня. «Да», — мысленно и с усмешкою подтвердил теперь Арсений. Ему неприятны были подробности отношений с Акимом Акимовичем, как неприятна была вся обозримая — год к году — и встававшая перед глазами жизнь с Галиной, и оттого он спешил захлопнуть эту дверь воспоминаний; но, захлопнув, продолжал еще стоять возле нее и слышать и чувствовать, что происходило за нею. Но он уже, в сущности, прислушивался не к тому, что делалось за воображенной дверью, а к тому, что на самом деле творилось в коридоре его квартиры.

Он не уловил момента, когда пришел сын, а поднял голову и повернулся к двери, когда Галина уже кричала на Юрия. Сначала Арсений подумал, что это была обычная сцена, какие она устраивала всякий раз, когда сын поздно и пьяным возвращался домой; но, вслушиваясь в поток изливаемых ею слов, выбирая из них главные и непрерывно повторяемые и выстраивая их в более или менее связную речь, он вдруг понял, что дело состояло не только в том, что Юрий опять пришел пьяным; он воспользовался отсутствием Галины и Арсения и вместе с друзьями вынес из квартиры холодильник, отвез куда-то и продал его. «Вор, — кричала Галина, — вор!» Она еще добавляла слово «компания», которое Арсению сперва не совсем было понятно, но которое, когда он вдумался в него, многое приоткрыло ему. «Компания» — были грузчики, не то работавшие, не то просто околачивавшиеся у мебельного магазина и зашибавшие (слово это не раз произносил в доме Юрий) на доставках; в какой степени Юрий был связан с ними, Арсений не знал, потому что жизнь сына, как и жизнь Галины, считал отмежеванной от себя; но то, что они надумили Юрия выкрасть холодильник и затем вместе с ним выносили и увозили его, было ясно Арсению. «На холодильник заранее нашли покупателя и доставили ему; на все другое, что бы еще пришло им в голову украсть, пришлось бы искать покупателя». Арсений не сказал себе, что все отвратительное, что есть в мире, он уже видел в своем доме и что не хватало только воровства, но почувствовал это и, негодуя вспыхнув, хотел было встать, выйти за дверь и сделать что-то; но он лишь приподнялся на локтях и замер, вспомнив о Наташе. «Вот оно», — мысленно проговорил Арсений, острее, чем прежде, сознавая, что ей нельзя было оставаться здесь. Он опасался не того, что Наташа подумает, узнав все; внешняя сторона, как могут осудить люди бросившего семью отца, не пугала Арсения, потому что падение сына он связывал не только с разладом в семье; причина заключалась в другом и была глубже, шире и упиралась в деда Акима Акимовича,

в тот образ жизни и мыслей, который был неприемлем Арсению и от которого он старался уйти, чувствуя бессилие изменить что-либо; он боялся не осуждения, а того, что спавшее на кушетке дорогое ему и чистое существо могло соприкоснуться с этим грязным миром и что осадок, который затем останется у нее, будет всю жизнь преследовать и омрачать душу. Он уже не слышал, как Галина (что ей оставалось еще?) уложила сына; в доме все стихло, но он не только не мог заснуть — он не мог вернуться к тому воображенному коридору жизни, где оставалось еще много нераскрытых и манивших к себе дверей, а все поминутно как бы смыкалось в нем на поразившем его событии, что сын — вор. И как ни убеждал себя Арсений, что Галина и сын живут отдельно и самостоятельно и что он не станет вмешиваться в их жизнь, но вместе с тем чувствовал, что случившееся сегодня не может пройти бесследно для него, что он, как отец, вынужден будет вмешаться и предпринять что-то. «Ордер,— думал он.— Самое верное — ордер, и поскорее отсюда».

В комнате не было так темно, чтобы Арсений не мог ничего видеть, но он был без очков и потому различал только очертания предметов, на которые смотрел; он то обращал внимание на черную гору книг у стены, то переводил взгляд на стол и кушетку, на которой спала Наташа, то, щурясь, начинал приглядываться к свету, который как бы пронизывал с улицы не очень плотные на окне синие шторы, и старался определить по силе этого проникавшего света, была ли еще глубокая ночь или время приближалось к рассвету; но он не мог определить, который час; все оставалось неподвижным, как неподвижными казались мысли его, то стекавшие и замиравшие у слова «вор», то у слова «ордер». Он как будто не закрывал глаз; но он не увидел, когда Наташа встала, а заметил ее, когда она уже стояла посреди комнаты. Напрягая близорукие глаза, всматриваясь и понимая, что это она, он вместе с тем продолжал еще несколько мгновений лежать, прислушиваясь к странно звучащему в нем второму голосу, который говорил: «Она спит, ты не видел и не слышал, как она встала, почему же думаешь, что это она?» Он подумал, что хорошо бы надеть очки. Но очки лежали на столе, до которого он не мог дотянуться рукой, а надо было подняться и сходить за ними; но подойти к столу нельзя было, не пройдя мимо Наташи, а проходя мимо, невозможно было не остановиться возле нее.

— Ты почему не спишь? — сказал он, положив ладонь на ее руку и продвигаясь по этой голой и теплой ее руке к плечу.— В постель, в постель.

Но в то время как он произносил это, он делал совершенно противоположное тому, что говорил; ему не только не хотелось отпустить Наташу, но он не в силах был отпустить ее; он не слышал ни сдерживающего внутреннего голоса и не помнил о цели, для чего встал и пошел; не было ни сомнений, и не существовало ни Галины, ни сына за стеною; он чувствовал лишь, что опять будто попал в гудящий коридор жизни, где было множество дверей, но в каждой из них, куда бы он ни поворачивал голову, видел только лицо Наташи, ее глаза, волосы, которые гладил и целовал теперь.

VIII

Все, что думала и чувствовала Юлия, очнувшись в палате, было для нее сном, который не то чтобы повторялся, но, как вращающийся барабан, был весь на виду от той минуты, когда Наташа и Арсений вошли в комнату, и до той, когда за ними захлопнулась дверь; она видела возле себя врачей и сестер и видела белые стены палаты, но

и стены, и все белое, непривычное и создававшее пустоту, постоянно заполнялось как раз этим воспоминанием, как она готовилась встретить будущего зятя и чем все закончилось потом. Ее не спрашивали, она ни о чем не рассказывала; окруженная вниманием прежде незнакомых ей людей, но не сознавая и не чувствуя этого внимания, а воспринимая все как должное, она продолжала жить своею оставшеюся жизнью, которая была для нее теперь и смыслом и целью всего происходившего с ней и вокруг и делала состояние ее тяжелым. К вечеру она опять потеряла сознание, и всю ночь возле ее кровати дежурила сестра с кислородной подушкой; всю ночь — неведомо для дочери и неведомо для мужа — Юлия находилась на грани, когда каждая минута могла оказаться для нее последней, и всю ночь для врачей и сестер центром больничной жизни была палата, в которой лежала она.

Все, что делал в этот день, вечер и ночь Сергей Иванович, оставшись один в квартире с покойной матерью, он делал машинально, сознавая лишь, что надо делать это и что никто не может подменить его. Позвонив в «скорую помощь» и выяснив, что смерть матери должен засвидетельствовать лечивший Елизавету Григорьевну участковый врач, но что для этого нужно дождаться понедельника и что потом уже, получив справку, следует начинать хлопоты по организации похорон, он позвонил еще Кириллу Семеновичу Старцеву и, рассказав о своем горе (умолчав только о дочери), попросил приехать его. Как протекал разговор с бывшим однополчанином, Сергей Иванович не помнил; все как будто было правильно, и он, слушая Старцева, понимал, почему тот не может приехать, а вместо себя пришлет — сегодня, сейчас же — какую-то свою дальнюю родственницу из Дьякова; Сергей Иванович не только соглашался с ним, не только отвечал: «Да, да», — но и благодарил старого фронтового друга; но когда положил трубку, от всего разговора осталось лишь скверное впечатление обманувшегося в надеждах человека. «Дьяково», — несколько раз повторил он, оглядывая молчаливый на тумбочке телефон и стараясь восстановить, в связи с чем произносилось это слово и что оно могло значить в общей цепи событий и дел, которые обрушились на Сергея Ивановича и которые предстояло ему решить теперь. «Это по Варшавке, на Каширу, это далеко, — подумал он, продолжая еще искать связь, к чему было сказано это слово, но в то же время точно зная, кто и для чего должен приехать к нему из Дьякова. — Ну что ж», — добавил он, чувствуя безнадежную безвыходность своего положения. Хмуро глядя под ноги, он зашагал в комнату матери, не представляя, однако, для чего нужно ему туда; остановившись возле кровати, он принялся смотреть на покойницу; он смотрел на нее так, словно хотел запомнить все отдельные черты маленького и ссохшегося лица ее, и сантиметр за сантиметром медленно продвигался взглядом по глубоким и застывшим в мертвенной синеве складкам кожи на лбу и щеках; он думал о матери, но кто-то как будто с пугающей ясностью и простотою говорил ему, что смерть страшна не для того, кто умирает, а для того, кто остается жить, что так же, как колесо, из которого вынута спица, не может более представляться цельным и законченным, так и жизнь его, Сергея Ивановича, уже не может быть полной; он чувствовал, что вместе с матерью отрывалась и уходила из жизни частица его души, и в то время как многими канатами он, казалось, был еще крепко привязан к жизни, один из них, и он отчетливо сознавал это, с телом матери должен был опуститься в могилу; канаты уже сейчас как бы растягивали Сергея Ивановича, и самым страшным было для него то, что он знал, что чувство это долго будет преследовать его.

— Ну что же,— проговорил он, успокаивая себя и отходя от матери. Он еще возвращался к ней и выходил от нее; когда он останавливался на кухне или в спальне у окна или присаживался на диване, он более думал о жене, дочери, об Арсении и о том, что произошло утром и было причиной всему; но как только появлялся перед кроватью матери — центр тяжести его разрозненных мыслей и переживаний сейчас же перемещался опять к тому, что он думал о матери. Иногда он вдруг с тревогою оборачивался, смотрел в коридор и прислушивался к звукам, которые доносились или могли доноситься с лестничной площадки. Он ждал дочь и при каждом шорохе или стуке полагал, что это она вышла из лифта и что вот-вот раздастся звонок; но когда наконец действительно прогремел звонок и Сергей Иванович открыл дверь — он увидел перед собою не Наташу, а двух незнакомых и траурно одетых пожилых женщин.

Женщины эти приехали из Дьякова. Одна из них, что выглядела помоложе и назвалась Никитишной, была та самая родственница Кирилла Старцева, которую он обещал прислать вместо себя; вторая, имя которой Сергей Иванович не расслышал, была соседка и подруга Никитишны и приехала помочь ей обмыть и нарядить покойницу. Как только они вошли в квартиру, тихие и пустые комнаты сразу будто наполнились их широкими темными юбками и темными платками и кофтами. Неторопливые в разговорах и движениях, женщины вместе с тем создавали впечатление не то суеты, не то полноты жизни вокруг себя, и Сергей Иванович сейчас же почувствовал это; из чего складывалось такое впечатление, он не знал; он только постоянно ловил на себе окидывающие взгляды то Никитишны, то ее подруги и с удивлением думал: «Чего это они так суетятся?» Он проследил, как Никитишна включила свет, хотя в комнатах было еще довольно светло, и затем вместе с нею и ее подругою вошел к покойной матери. По тому, как Никитишна покачала головой, и по тому восклицанию: «Господи!» — какое услышал Сергей Иванович, он понял, что вид покойницы ужаснул ее; но по тому, как Никитишна, склонившись над маленьким, в застывших морщинах лицом, решительно и ловко, будто это было привычным и знакомым ей делом, закрыла глаза покойнице, и по тому, как с той же решимостью попыталась скрестить ей на груди холодные и неподвижно вытянутые поверх белого пододеяльника руки, понял и другое: что между тем чувством, какое испытывал он к умершей матери, и тем, какое было у Никитишны и было у ее подруги, лежало пространство, которое Сергей Иванович не мог ни измерить, ни преодолеть; пространство это то сокращалось, то увеличивалось оттого, обращались ли женщины к нему или молча делали свое неведомое прежде Сергею Ивановичу, но необходимое и положенное для такой минуты дело.

— Ты уж оставь нас, мы уж сами,— говорила Никитишна, выпроваживая его за дверь, в большую комнату, и Сергей Иванович послушно выполнял то, о чем просили его.

Он предоставил самой Никитишне открыть гардероб и поискать нижнее и верхнее, во что нарядить покойницу, и смотрел от дивана, где он стоял, опустив руки, как женщины перекладывали, разворачивали и снова сворачивали рубашки и платья, подбирая нужное и советуясь меж собой; он видел затем, как они, взяв одежду, полотенце и таз с теплой водой, ушли в маленькую комнату, и слышал, как хлопала вода и выжималось полотенце, и как что-то будто тяжелое поднимали и поворачивали с боку на бок; он не думал о том, что они делали за полуприкрытой дверью, но по выражению лица Никитишны, когда она выходила, по сосредоточенности и устремленности ее движений чувствовал, что то, что они делали, было приготовлением

к чему-то очень и очень важному, без чего нельзя проводить в последний путь умершую мать. Ему казалось, что он однажды уже видел такое сосредоточенное выражение лица, какое было теперь у Никитишны, и смутно припоминал, где и когда это было: вот так же с полотенцами и теплой водою в тазу из большой комнаты в меньшую выходили и входили женщины, но тогда за дверью лежала роженица, и тишина и волнение, охватывавшее всех, было ожиданием жизни; теперь же за дверью находилась покойница, и все, что делалось там, было не приговлением к жизни, а приготовлением к похоронам, но Сергей Иванович чувствовал, что была как будто какая-то связь между тем, что он вспоминал, и тем, что происходило сейчас; он не мог объяснить, в чем заключалась связь и в чем был весь смысл приготовления, но что связь и смысл были, не сомневался ни на секунду; странным представлялось ему, что как он раньше никогда не задумывался над этим.

Закончив все и прибрав таз и полотенце, Никитишна пригласила Сергея Ивановича посмотреть на свою работу, и он так же послушно, как выходил из комнаты матери, теперь снова вошел в нее. Он вошел с тем волнением, что увидит что-то особенное, что было совершено с матерью; но он увидел все то, что видел прежде, и потому, обернувшись, недоуменно посмотрел на женщин, которые стояли за его спиною. «В чем же весь смысл того, что вы сделали?» — взглядом спросил он их. «А ты приглядишься», — взглядом же ответила ему родственница Кирилла Старцева, и Сергей Иванович совершенно ясно для себя прочитал этот взгляд. Он снова принялся смотреть на мать, не находя, однако, ничего изменившегося в ней, кроме того, что она была накрыта не одеялом, а только простынею и что голова ее лежала не на подушках, а на чем-то более ровном и жестком, и что глаза были закрыты, и еще было видно, как бугрились под простынею сложенные на груди руки. Пока он смотрел на мать, Никитишна, видя, что он не может сообразить, что же сделано ею и помогавшей ей старухой, шагнув и потеснив Сергея Ивановича, отвернула простыню с груди и рук покойной; жест ее был настолько очевиден, что Сергей Иванович даже почувствовал неловкость оттого, как он мог усомниться в том, что было сделано ею; он торопливо проговорил: «Хорошо, хорошо» — и почувствовал еще большую неловкость оттого, что произнес эти слова. Но для Никитишны они явились как раз тем одобрением, какое она хотела услышать и услышала от Сергея Ивановича, и потому, успокоенная, довольная, уже не обращая внимания на него, начала разговаривать со своей молчаливой и безропотно выполнявшей все помощницей.

— Чего еще? Вот и все, — говорила Никитишна. — Поезжай домой. Дорогу-то знаешь? На метро до «Автозаводской», а там на шестьдесят четвертом. Ну, с богом, с богом, — продолжала она, потирая ее.

Затем, когда та уже была готова к выходу, Никитишна, потянув Сергея Ивановича за рукав, шепнула ему:

- Что ж так-то отпускаешь? Дать надо.
- Кому? Что?
- Ну как же, ну...
- А-а, да, да, сейчас.

Он достал бумажник и развернул его. Он не знал, сколько дать, и чувствовал, что неудобно было спросить об этом; Никитишна же, хорошо усвоившая, что в такие минуты люди обычно не считают денег, с уверенностью, как она делала все, взяла бумажник из рук Сергея Ивановича, извлекла из него две пятирублевые и, сказав:

«Хватит ей», — пошла к стоявшей и ожидавшей ее у двери старухе; одну пятирублевую она сунула себе за пазуху, другую отдала помощнице и, говоря: «С богом, с богом», — выпроводила ее за дверь.

После ужина и чая, который Никитишна пила с удовольствием и вприкуску с сахаром, она вызвалась подежурить возле усопшей и заснула тотчас, едва опустилась в мягкое, поставленное у изголовья кресло. Она заснула потому, что ничто не беспокоило ее; дело, ради которого она пришла и осталась на ночь в чужом доме, представлялось ей благородным, а скомканно лежавшая за пазухой пятирублевая бумажка, которую она, просыпаясь, ощупывала иногда пальцами, была лишь задатком и напоминала о будущем вознаграждении, какое она, когда все закончится, получит за свой труд. Слова «с богом», которыми Никитишна выпроваживала помогавшую ей соседку из Дьякова и которые затем не раз употребляла в разговоре с Сергеем Ивановичем, произносила не потому, что была набожной; сказать «с богом» ей все равно было, что сказать человеку «с добром»; она не зажигала в руках покойной свечу и не читала молитв, что придавало бы хлопотам ее сейчас особую и выгодную окраску; все понятие о жизни и смерти укладывалось для нее в самые обычные, ежедневно и десятки раз повторяемые людьми фразы вроде «никого не минет чаша сия» или «каждому свой час», и думала, что придет когда-то и ее час, и готова была, как ей казалось, со смирением принять его; но пока — час этот наступал для других, а ей приносил лишь заработок и удовлетворение; она чувствовала себя здоровой и бодрой, и вся забота ее состояла только в том, чтобы родные покойных всегда оставались довольными ею. Она и сегодня все делала с охотой и старательно, и в мягком кресле ей было теперь тепло и уютно; лишь изредка, будто вдруг услышав свой громкий храп, она вскидывала голову, оглядывалась по сторонам и на дверь, потом снова закрывала глаза и засыпала с выражением кротости и удовлетворенности на лице. Сергей Иванович же, которого Никитишна, руководившая им и всем в его доме в этот вечер, отправила отдохнуть, сидел на диване в большой комнате и не спал. Так же, как час назад, он чувствовал пространство, которое будто лежало между тем, что испытывала Никитишна и что испытывал он к умершей матери, и так же, как понимал связь и смысл приготовления, когда еще женщины обмывали и наряжали мать, думал, что было что-то важное и в том, что Никитишна сидела теперь у изголовья покойной. Он как будто не искал объяснения ничему, что происходило вокруг матери, потому что не впервые видел смерть и не впервые приходилось хоронить ему; но то, что он видел, были смерти солдатские, в бою, которые не требовали объяснений; он знал, за что солдаты отдавали жизни; смерть же матери была естественной и потому бессмысленной для Сергея Ивановича, и оттого все происходившее вокруг матери он постоянно стремился подтянуть к чему-то возвышенному, что как раз и должно было объяснить ему все и принести облегчение и успокоение. Минутами ему казалось, что он достигал нужной «высоты», но при этом не только не чувствовал облегчения, а, напротив, тревожнее и тяжелее становилось на душе. Иногда сквозь одолевавшие его мысли он слышал, как в комнате, где находилась Никитишна, раздавался храп; он настороженно подавался вперед, веря и не веря тому, что доносилось до него, но как только делал движение, чтобы встать, пойти и посмотреть, храп обрывался, и Сергей Иванович отчетливо слышал, как в тишине на кухне отстукивали время настенные часы; потом исчезал и стук часов, и он снова, как во что-то мягкое и бесформенное,

погружался в свои размышления, по второму, по третьему, по четвертому кругу повторяя то, что было важно постичь и осмыслить ему.

В середине ночи Сергей Иванович неожиданно принялся ходить по комнате. Он с растерянностью спрашивал себя, отчего налаженная и, казалось, устроенная семейная жизнь его вдруг, при одном лишь каком-то прикосновении, не просто дала трещину, но, как выроненная из рук чашка, разбилась на черепки, которые уже вряд ли возможно собрать и склеить. Когда он подходил к письменному столу с развернутой на нем газетой, той самой, в которой была опубликована глава из его мемуаров, называвшаяся «Последний водный рубеж», ему вспоминалось все хорошее и дорогое, что было связано с работой над рукописью, первой публикацией и первыми читательскими письмами, но все это, что еще вчера представлялось незабываемым, он ясно чувствовал, было теперь так далеко от него, словно годы лежали между вчерашним и сегодняшним днем. Когда он, возвращаясь, останавливался возле двери спальни, он думал о жене, и та теплота, с какою Юлия всегда относилась к нему и с какою он относился к ней, обиденная и не замечавшаяся прежде, теперь, как нечто недостающее, утерянное, тоскою отзывалась в сознании Сергея Ивановича. Диван, мимо которого он проходил и на котором обычно спала Наташа, был пуст и непривычен для глаза; дверь в комнату матери, мимо которой он тоже проходил, была открыта, и он видел кровать, белую простыню на матери, мягкое кресло и Никитишну в нем; ему страшно было видеть происшедшую в доме перемену, все вокруг представлялось опустошенным, и сам он все более чувствовал бессилие и опустошенность в душе.

Лишь под утро, когда он, устав ходить, снова опустился на диван, он ненадолго забылся беспокойным сном.

IX

Весь следующий день Сергей Иванович был занят хлопотами по организации похорон.

Утром он вызвал по телефону участкового врача и затем несколько часов провел в томительном ожидании, пока тот явился, осмотрел мать и выписал справку; затем со справкою в кармане, с красными от бессонной ночи глазами, желтым, осунувшимся и помятым лицом он дождался приема в загсе и в бюро похоронных процессий; лишь к вечеру, завершив все необходимые формальности, оплатив гроб, венки, крематорий и доставку гроба и венка к дому и покойной к крематорию (похороны были назначены на вторник, на четыре часа), совершенно разбитый вернулся домой. Но едва он присел и перебросился несколькими фразами с Никитишной, как позвонили рабочие, доставившие гроб и венки, и вся эта процедура, пока вносили и устанавливали гроб на столе в большой комнате, и ощущение холодного и твердого тела матери, когда он вместе с Никитишной поднимал и переносил ее, и запах, исходивший от нее, — все так подействовало на Сергея Ивановича, что ему сделалось дурно; чувствуя приступ тошноты, бледный, пошатываясь и придерживаясь за косяк и стену, он вышел на кухню, не дождавшись, пока все будет закончено с матерью, и, открыв окно, принялся глотать втекавший с улицы воздух. «Что же это я раскис так, — думал он, стараясь собраться с силами, — что же это происходит со мной?»

— Ну вот, теперь по-людски все, — войдя вслед за Сергеем Ивановичем на кухню, сказала Никитишна, которой непременно хотелось подчеркнуть, что то, что было сделано сейчас ею, с ее помощью

и по ее совету, было сделано хорошо, пристойно, что гроб с обряженной покойницей на столе, ковер под гробом (он был снят со стены в спальне), расправленный ею венок из бумажных и восковых цветов и остальное вокруг (остальное — была крышка гроба, обитая красным и черным ситцем и удачно, как Никитишне казалось, пристроенная ею у изголовья покойной) — все выглядело торжественно, как и полагалось для такой минуты. — Вы бы чаю выпили, — добавила она. — Все легче.

Она не спрашивала у Сергея Ивановича, где его жена, потому что еще Кирилл Старцев, посылая ее сюда, сказал, что Юлия в больнице; но что у Сергея Ивановича есть дочь и что, кроме смерти матери и того, что жена в больнице, что-то еще может тяготить его, Никитишна не знала и, видя, как он мучается, про себя и по-своему жалела его; она не думала, чем могла помочь ему, но опыт и чутье подсказывали ей, что она должна решительнее руководить им. Она усадила его за стол и налила чаю; заметив, что он ничего не ест, сказала, что ему обязательно нужно подкрепиться. В то время как он молча сидел за столом, она принялась рассказывать ему, что тоже хоронила мать и тоже мучилась и переживала, но что с годами все прошло, притупилось, потому что живой человек всегда думает о живом.

— И то сказать, нам-то, женщинам: поплакал — и все со слезами вон, а ты вот, смотрю-смотрю, вторые сутки, а глаз не смочил, — говорила она.

Сергей Иванович как будто слушал и согласно кивал ей; но на самом деле он более прислушивался к себе и в середине разговора вдруг прервал Никитишну вопросом:

— Никто не приходил?

— Нет, — сказала она.

Он еще не раз и так же неожиданно спрашивал ее об этом, но когда Никитишна решила узнать, кого он ждет, ничего не ответил ей.

Как и накануне, он не заметил, когда стемнело и наступил вечер; он вошел в большую комнату, когда были уже зажжены огни. Люстра, висевшая над столом, а теперь — над гробом и маленьким, сморщенным и мертвым лицом матери, обычно заливавшая комнату ярким светом, была сейчас укутана, словно темным платком, черной густой марлей, принесенной Никитишной, и Сергей Иванович на минуту остановился, увидев это. Свет, проникавший сквозь крашеную марлю, производил впечатление не света и не падавшей с потолка плотной тени, а какого-то мягкого, неестественно-приглушенного свечения, и все под этим свечением казалось каким-то другим, необычным: и диван, и стулья, и обои на стенах, и стол с гробом посередине комнаты, как бы со всех сторон обтекавшийся этим темным свечением, и даже причесанная головка матери, на которую Сергей Иванович с удивлением посмотрел теперь. Как ни был он удручен и как ни был занят своими мыслями, он сразу же отметил про себя, что все это, что сделала Никитишна, было и торжественным и уместным, и он повернулся к ней с тем выражением, будто хотел сказать что-то; но он ничего не сказал, а прошел к дивану и сел на свое привычное, в углу у подлокотника, место. То, как Никитишна восприняла его одобрительный взгляд, он не видел; в тишине, в этом мягком темном свечении, в котором и сам он казался похудевшим и постаревшим, в окружении будто знакомых и как бы изменившихся теперь предметов, которые, чем пристальнее он всматривался в них, тем отчетливее вызывали в нем чувство отдаленности жизни и близости мрака и небытия, он не заметил, как задремал и заснул. Он не слышал звонков в коридоре; когда же, разбуженный каким-то внутрен-

ним ходом запутанных мыслей, открыл глаза — рядом с ним на диване и на стульях, установленных по обе стороны гроба, сидели люди. Первое, о чем он подумал, было: кто они и для чего здесь? Но в то время как он всматривался в их лица, он все более узнавал их. Это были жильцы дома, соседи по подъезду и лестничной площадке, с которыми Сергей Иванович встречался только у лифта и только раскланивался с ними; он не интересовался их жизнью так же, как они, ему казалось, не интересовались его; но они сидели сейчас у него в комнате, и это было неожиданно и было странно Сергею Ивановичу.

— Если нужна помощь, — шепнул пожилой мужчина, имени и фамилии которого Сергей Иванович не знал (знал лишь, что тот на лифте всегда подымался выше шестого этажа), — ради бога, я завтра свободен.

— Спасибо, — ответил Сергей Иванович. — Буду признателен.

Кто-то еще предлагал помочь завтра, и Сергей Иванович опять говорил «спасибо» и «буду признателен». Он не вставал и не провозжал никого (делала это Никитишна), лишь чуть наклонял голову, а потом смотрел в спину, пока выходившие не скрывались в глубине коридора. Но как только за ними захлопывалась дверь и как только в комнате снова устанавливалась тишина, он видел одну и ту же сидевшую напротив себя совсем неизвестную ему, но, очевидно, хорошо знакомую покойной матери старую женщину, на лице которой было удовлетворение, будто она постоянно восклицала: «Господи, торжество-то как!» Сергей Иванович ясно видел это удовлетворение, и оно невольно возвращало его к тем вчерашним размышлениям, когда происходившее вокруг матери он стремился подтянуть к чему-то возвышенному; в нем опять возникала потребность объяснить все, чтобы легче было принять смерть матери, и появление соседней постепенно перестало казаться ему странным, а, напротив, воспринималось как часть общего и положенного приготовления. Он сидел неподвижно, но куда бы ни поворачивал голову, через минуту опять видел перед собой старую женщину, лицо которой как бы притягивало его; он не знал, что так же, как она в молодости завидовала пышным свадьбам, какой не было у нее самой, завидовала теперь столь же пышным, как ей представлялось, похоронам, каких, она понимала, не будет у нее, но Сергей Иванович чувствовал эти ее восхищение и зависть; он не знал, что главное впечатление производила на нее затянутая черной марлей люстра, но, чувствуя передававшееся волнение, обращал внимание именно на темное свечение, которое было необычным и для него и создавало как раз всю атмосферу торжества и значимости похорон; он не знал, что женщина попросилась у Никитишны остаться на ночь, и ждал, когда она встанет и, как и все другие, поклонившись, выйдет за дверь, но она не вставала и не уходила, и Сергей Иванович, помимо всех и без того тяготивших его мыслей, все время находился в каком-то тревожном возбуждении. Только когда Никитишна увела его в спальню и когда он перестал видеть перед собою женщину с удовлетворенным лицом, — это будто не связанное с похоронами тревожное возбуждение отпустило его.

— Вы бы легли, — сказала Никитишна. Не дожидаясь согласия, она принялась стягивать костюм с плеч Сергея Ивановича. — Завтра еще столько дел, столько хлопот.

— Да, пожалуй. — Он опустил на кровать и лег поверх покрывала на подушку.

Может быть, потому, что Никитишна плотно задернула на окнах шторы, Сергей Иванович спал долго; когда он проснулся, было уже около десяти утра. Он поднялся с тем ощущением силы и бодрости,

как он обычно прежде начинал день; но как только он вспомнил о матери и предстоящих похоронах, как только подумал о том, что до похорон надо еще проведать Юлию в больнице и что дочь так и не приходила домой, — все то гнетущее состояние, которое чувствовал вчера и позавчера, вернулось к нему. В помятых брюках, помятой рубашке и съехавшем набок галстукe, с непричесанными, взъерошенными волосами он вошел в большую комнату; ему надо было пройти в ванную, чтобы умыться и прибрать себя, но он задержался в дверях, потому что то, что увидел, опять поразило его необычно переменно. Люстра не горела и, обернутая марлей, была похожа на повисший под потолком черный ком; все предметы были освещены только с одной стороны, от окна, и выглядели совсем по-иному, чем вчера, словно с них сдернули украшавшее их покрывало. На диване, уронив голову на грудь, дремала Никитишна, а напротив нее на стуле сидела та самая пожилая женщина, лицо которой Сергей Иванович постоянно видел вчера перед собою; лицо это, как и вчера, выражало какое-то странное удовлетворение всем происходившим, и Сергей Иванович сейчас же отвернулся от него. «Зачем она здесь?» — подумал он. Он еще не раз вспоминал это лицо, когда шел уже в больницу к Юлии, вспоминал с раздражением, будто женщина в чем-то уличала его.

В больнице Сергей Иванович пробыл недолго. Всего несколько минут разрешили ему посидеть возле Юлии. Он ничего не сказал ей; только на молчаливый вопрос, который прочитал в ее мокрых от слез глазах: «Что Наташа?» — отрицательно покачал головой. «Отблагодарила», — затем мысленно добавил он. Сергею Ивановичу не хотелось и трудно было думать плохо о дочери; если бы ему раньше сказали, что когда-нибудь он сможет вот так испытывать неприязнь к ней, не поверил бы этому; но неприязнь к дочери с такой отчетливостью теперь возникала в нем, что он терялся и чувствовал себя неловко перед Юлией. Утомленное лицо его сделалось еще более напряженным и бледным, и как он ни старался казаться спокойным, не мог скрыть того, что происходило в нем; но он сидел спиной к окну, лицо было в тени, и это несколько выручало его. Он не знал, как Юлия восприняла сообщение (что она поняла, не сомневался); слезы, как они лились до того, как он отрицательно покачал головой, еще обильнее, казалось, лились по ее полным щекам и после, и хотя для Юлии это были уже иные слезы, не горя, а радости, что Наташа не вернулась и осталась с Арсением, Сергей Иванович не в силах был понять этой перемены; он так и ушел от жены с тяжелым сознанием, что не облегчил, а только углубил ее страдания. «Час от часу... одно к одному...» — думал он, выходя из больницы, вливаясь в поток прохожих, но продолжая жить своим и все заполнившим вокруг миром. «Нельзя было, нет-нет, нельзя», — продолжал думать он, находясь уже в троллейбусе и глядя сквозь стекло на знакомое, с бетонным козырьком у входа здание больницы. Он еще и еще мысленно возвращался в палату к Юлии; но в то время как он отъезжал от больницы, сильнее начинало беспокоить его другое, что будто не имело прямого отношения к Юлии, но вместе с тем было связано, как он полагал теперь, с нею. Ему странным казалось, как смотрел на него врач и как смотрела сестра, сопровождавшие его, и как оглядывали больные, толпившиеся в коридоре: и когда он шел к жене и когда уходил от нее. Взгляды их, несомненно, о чем-то говорили, и это о чем-то как раз и старался понять Сергей Иванович. Он смутно догадывался, что врач не сказал ему всего, что было с Юлией. «Почему? — думал он, вспоминая подробности разговора с врачом. — И почему я должен не ве-

рить ему?» — продолжал Сергей Иванович, полагая, что у врача не было оснований что-либо скрывать от него. Но несмотря на эти рассуждения, беспокойство, что от него утаили что-то, не только не отпустило, но острее, едва он представлял, как шел по коридору к палате Юлии, охватывало его. «Да, что-то было... с Юлией», — опять начинал он, боясь предположить худшее, что могло быть с нею, и вместе с тем думая именно об этом худшем. Он не знал, что в палате, куда поместили Юлию, накануне умер старик-сердечник и что всю ночь врачи и сестры дежурили около него, вносили и выносили кислородные подушки, и внимание всей больницы было приковано к этой палате; еще прежде в ней скончалась молодая женщина, в бессознательном состоянии привезенная сюда, и над ней тоже несколько суток хлопотали врачи; теперь это повторялось с Юлией, и все в отделении опять жили напряженной жизнью. Больные же, которым всегда все известно лучше, чем кому-либо, считали вопрос с ней предрешенным, ожидали лишь часа, когда все закончится, потому и смотрели на Сергея Ивановича как на обреченного, когда он проходил мимо них. Он сейчас, казалось, понимал их взгляды, и предчувствие чего-то еще большего, чем горе, которое уже обрушилось на него, заставляло его растерянно смотреть на людей в троллейбусе.

X

Двери коростылевской квартиры были раскрыты.

В комнате, где лежала покойница, уже собрались соседи, большинство женщины, из тех, что приходили вчера и молча сидели на стульях по обе стороны гроба. Тут же, среди них, находился и тот мужчина, что накануне вечером предлагал свою помощь Сергею Ивановичу. Этот мужчина с огромной круглой и бритой головой все время поживался и посматривал то на дверь, то на окна; он чувствовал, что в комнате сквозняк, и старался найти причину, отчего происходил он. Ему казалось, что на дворе было суше и теплее, чем здесь, в комнате. Сквозняк же этот устроил Кирилл Старцев, распорядившись, как только вошел, открыть окна в спальне и на кухне. «Ты что же, — сказал он своей дальней родственнице Никитишне тем тоном, как сказал бы жене или сказал бы техничке, убравшей и не проветрившей кабинет. — Дышать нечем». Он стоял теперь на кухне как раз напротив распахнутого окна и, полуобернувшись к Никитишне, слушал, о чем она говорила. Привыкший к свету, шуму, к виду озорных детских лиц и всей той атмосфере движения и радости жизни, какою бывают как бы заполнены коридоры и классы любой школы, он с трудом вошел в чужую ему и унылую атмосферу похорон. На чисто выбритом и румяном лице его не только не было, но, казалось, не могло быть печали; оно, это лицо, распространяло вокруг себя ту уверенность и силу, когда жизнь и счастье жить представляются еще бесконечными и человек не только не экономит здоровье и время, но и не думает, что когда-то однажды, спохватившись, вынужден будет делать это; привезенная еще с войны седина на висках, за все эти годы так и не поднявшаяся выше по густым, черным и всегда аккуратно зачесанным назад волосам, придавала лицу его выражение соединенной молодости и мудрости, что, он знал, считалось модным, красивым и выгодно будто отличало его от других людей; но он носил эти седые виски с тем чувством, словно носил биографию на лице. «Легко сказать», — говорил он, вклиниваясь в разговор, в то время как Никитишна объясняла ему, как болезненно переживает смерть матери Сергей Иванович. «Э-э, легко сказать», — через минуту снова повторял Старцев, как будто больше и глубже

понимал состояние Сергея Ивановича, чем понимала это Никитишна. Но хотя он с трудом входил в чужую ему и унылую атмосферу похорон, с появлением его в доме все руководство похоронами сразу же и будто само собою перешло в его руки, это почувствовали все, и первой почувствовала Никитишна, которая сейчас на кухне как бы отчитывалась перед ним. Она старалась говорить душевнее и мягче, чем было свойственно ей, и делала так потому, что, во-первых, хотела подчеркнуть свое уважение к Кириллу и, во-вторых, и главное, для того, чтобы Кирилл не заподозрил обыденности в ее чувствах и не подумал, что она пришла заработать на похоронах матери его друга. Она знала, что Кирилл догадывался о ее делах; но она была уверена, что он не знал размаха ее деятельности, и теперь ей особенно хотелось выглядеть бескорыстной.

— Молчит, все про себя держит,— заключила она, говоря о Сергее Ивановиче.— А ведь груз-то на сердце, он тяжелее, чем на плечах.

— И сбросить не сбросишь.

— Можно.

— Чем? Ну-ну?

— Слезами, Кирилл.

— Э-э, легко сказать,— в третий раз произнес Старцев казавшееся ему точным выражение, не замечая, что повторяется.— Легко сказать «можно», легко рассуждать, а ведь чужую шкуру на себя не натянешь. Мать в гробу, жена в больнице... Он не говорил, как Юлия там?

— Нет, Кирилл. Да я и не спрашивала.

— Славная женщина его жена. Очень славная,— заметил Старцев.— А вот что он в больницу пошел сегодня, то напрасно, зря. Она — сердечница, а у него всегда все на лице, я же знаю, ну как же, всегда все на лице. Как букварь,— добавил он.

— Но что было делать? — спросила Никитишна.

— Ничего не надо было делать,— ответил Кирилл.— Тут вмешиваться бессмысленно. Я думаю,— чуть помедлив, продолжил он,— тебе следует остаться здесь, когда мы вынесем. (Он не сказал, что вынесем, потому что слова «гроб» и «покойница» никак не совмещались с тем чувством жизни, какое он не мог и не хотел заглушать в себе; он тяготел более к тому, что было за окном — к шуму и движению, потому и стоял у окна и во все время разговора с Никитишной то и дело поглядывал на весело залитый майским солнцем сквер и дома на противоположной стороне улицы.) Тебе обязательно надо остаться,— подтвердил он, отрываясь наконец от окна и ближе подходя к Никитишне, чтобы она яснее слышала, что он говорит.— Пока мы там то, се, накрой стол и приготовь что-нибудь для поминок. Надо, надо, я говорю,— видя, что она хочет что-то возразить, поспешил перебить ее Кирилл.— Ты поняла?

— Да чего уж,— сказала Никитишна.

— И этих пригласи, ну, этих.— Он кивком головы указал в сторону большой комнаты, имея в виду тех пожилых женщин, что пришли проститься с покойной матерью Коростылева.— Чтобы все, знаешь! — И он сделал руками жест, как бы показывая объем и широту, как все должно быть на поминках.

— Да чего уж,— повторила Никитишна.— Пришел,— затем сказала она, услышав, как кто-то по коридору входил в квартиру; она подумала, что это Сергей Иванович, потому что пора было уже прийти ему.

— Ну хорошо, делай свое, я встречу,— распорядился Кирилл и, опережая Никитишну, вышел в большую комнату.

Все намерение его было — поддержать в беде Сергея Ивановича. Задача эта, пока Кирилл находился на кухне с Никитишной, не представлялась ему сложной. Он рассуждал про себя: «В таких ли переплетах бывали, то ли привелось пережить»,— и слова эти собирался сказать теперь ему; но, увидев его измученное и постаревшее лицо, был настолько поражен переменою, что не знал, как и с чего начать разговор. Сергей Иванович так же, как он растерянно посмотрел на гроб и женщин, сидевших и стоявших в комнате, как посмотрел на мужчину с бритой головою, который слегка поклонился ему в знак сочувствия и приветствия,— так же, словно на незнакомого, посмотрел на Кирилла, еще более поразив этим и встревожив его. «А, ты»,— затем произнес он, узнав наконец друга; но произнес так, что нельзя было разобрать, одобряет или не одобряет он, что Кирилл пришел к нему. Стоя посреди комнаты, Сергей Иванович, казалось, мучительно соображал, как поступить, подойти ли к изголовью матери или сделать что-то другое, что связано с общею процедурою похорон; он будто соображал еще, что было этой общею процедурою, в то время как Кирилл, взяв его под руку, провел на кухню. Здесь, при ярком свете (окно выходило на южную сторону, а солнце уже перевалило за полдень), еще заметнее было, как изменился за эти дни Сергей Иванович. Он сел на стул, и Кирилл встал перед ним. «Что-нибудь с Юлией»,— думал Кирилл. Ему хотелось спросить Сергея Ивановича об этом, но он не спрашивал, видя и понимая, что вопрос этот причинит ему боль; он видел также, что нельзя было произносить и те приготовленные фразы: «в таких ли переплетах...», «то ли пережить...» — что они прозвучали бы теперь неуместно и неестественно. «Надо на днях зайти к нему,— продолжал думать Кирилл.— И к Юлии в больницу. Или послать к ней жену». Понимая, что неловко молчать, что он должен хоть что-то сказать Сергею Ивановичу, он придвинулся к нему и, проговорив: «Ну? Ну чего так уж»,— положил руку на его ссутуленную спину.

— Ты все оформил? Во сколько машина? Ну-ка достань бумаги,— затем сказал он, почувствовав (как почувствовала в первые же минуты Никитишна), что Сергеем Ивановичем надо руководить и что он, Кирилл, для того и здесь, чтобы взять на себя роль распорядителя похорон. Эту роль, в сущности, он уже взял на себя еще до прихода Сергея Ивановича и теперь, развернув и рассматривая поданные им квитанции, лишь сильнее входил в нее; ему важно было чем-то заняться и определиться к чему-то, что отвлекло бы его от возникавших тревожных дум, и хлопоты распорядителя, суэта и желание поспеть везде и всюду более всего подходили ему. Однако он так же, как и Сергей Иванович, не знал, с чего нужно было начинать сейчас; но выяснив из квитанций, что кремация тела назначена ровно на четыре, и что заказанная для похорон машина с рабочими прибудет минут за сорок — пятьдесят к дому, а вернее, к трем, и что до прибытия машины остается уже меньше получаса, и что пора приступить к прощанию, он снова приблизился к Сергею Ивановичу и, наклонившись над ним, сказал: — Пора, Сергей. Хотя погоди минуту,— тут же добавил он,— я сейчас.— Спрятав квитанции в карман, он пошел спросить Никитишну, как быть, и с этого мгновения и до конца похорон уже ни секунды не оставался в покое.

Ничего не выяснив толком у Никитишны, поняв только, что над гробом следует произнести какие-то слова и что в этом и заключается весь смысл обряда прощания, он объявил сидевшим и стоявшим в комнате людям, что сейчас начнется гражданская панихида и что

каждый, кто хочет, может сказать о покойной и попрощаться с ней,— той же суетною походкой, как только что вышел из кухни, поспешил обратно за Сергеем Ивановичем.

— Ну,— сказал он ему,— пойдём.— И повел в большую комнату.

Они подошли к столу, на котором возвышался гроб, и Сергей Иванович остановился напротив лица матери. Он хорошо видел маленькое лицо ее, и видел белую вмявшуюся подушку под ее головою, и широкий и топорщившийся воротник коричневого платья на худой и в синих морщинах шее, и все внимание его, казалось, было приковано к матери и к минуте прощания с ней; он понимал, для чего стоял перед гробом; но вместе с тем он не чувствовал, что прощается с матерью; впечатление, какое осталось у него от свидания с Юлией в больнице, мысли о дочери и неприязнь к ней, и сознание, что у него нет больше налаженной семейной жизни,— все сливалось сейчас в нем в одну отупляющую боль, которая и заставляла его неотрывно смотреть на мать и не замечать никого вокруг. Кирилл произносил какие-то слова, но Сергей Иванович не слышал их; несколько женщин, называя покойную то Лизаветой, то Григорьевной, вытирая платочком глаза и щеки, подходили к гробу и отходили от него, но ничего этого не существовало для Сергея Ивановича; он не пошевелился и не спросил, что случилось, когда в коридоре возникла суета (это приехали с машиной рабочие, и Кирилл занялся ими); он очнулся от оцепенения, только когда все тот же Кирилл, подойдя к нему, произнес над самым его ухом:

— Пора, Сергей, прощайся.

Сергей Иванович прикоснулся губами к холодному лбу матери, затем его оттеснили к стене, к дивану, и он видел, как гроб с покойной, поднятый на руки знакомыми и незнакомыми людьми, как бы поплыл вместе с головами этих людей к двери.

Крематорий располагался на Шаболовке и глухой своей стеною почти примыкал к Донскому монастырю. К широкому входу его вела аллея. Каждые десять — пятнадцать минут на асфальтированной площадке, откуда начиналась аллея, останавливались машины с красно-черными траурными полотнами по бокам, шофера открывали задний борт, и прибывшие выгружали расцвеченные венками и цветами гробы и группами, процессия за процессией, то больше народа, то меньше, направлялись к распахнутым впереди дверям. Около четырех часов дня ничем не выделявшаяся среди других въехала на площадку машина, из которой первым выпрыгнул на землю Кирилл Старцев. Он помог слезть Сергею Ивановичу и еще нескольким женщинам и затем принялся суетливо руководить теми, кто снимал гроб с телом Елизаветы Григорьевны. От того места, где происходила выгрузка, была хорошо видна потемневшая с годами кирпичная труба крематория; над нею, то чуть ослабевая, то становясь гуще и заметнее, поднимался дымок, а выше, в небе, медленно плыли с юга на север белые весенние облака; они как будто были специально выпущены в голубое небо, чтобы именно здесь и в эти минуты напомнить людям о покое и вечности; то же впечатление покоя и вечности создавали устремленные крестами ввысь купола монастырского собора; и хотя никто вроде не обращал внимания на облака, небо и на подновленно блестящие на солнце позолоченные главы старого собора, но все чувствовали эту особенную минуту похорон, едва ступали на аллею, ведущую к дверям крематория, как почувствовали ее и Кирилл и Сергей Иванович, который все еще с прежней отупляющей болью смотрел только на гроб и желтую сухую головку матери в нем. Он двинулся вслед за гробом, когда подняли и понесли его. Шли мед-

ленно по самому центру аллеи, рассекая встречный поток людей, уже отдавших свои ноши крематорию. У дверей произошла первая заминка: выяснилось, что пришли раньше положенного, что надо пропустить кого-то вперед, и Сергей Иванович, не понимавший ничего этого (ходил и узнавал все Кирилл), лишь видел, что, в то время как он стоял, слева, обтекая его и всю его процессию, сначала проплыли ордена и медали на черных бархатных подушечках, потом венки с траурными лентами, потом крышка гроба, украшенная черными и красными из сатина цветами и такую же черно-красной гофрированной каймой; из желания разглядеть, кому отдавались такие почести, Сергей Иванович круче повернул голову и неожиданно для себя увидел стоявшую за его спиной Наташу. В первое мгновение он не поверил, что это она, и отвернулся; но затем снова посмотрел на нее. Она была в незнакомом ему темно-синем шерстяном трикотажном костюме и нейлоновой кофточке, белый стоячий воротничок которой отчетливо выделялся на ее высокой и красивой шее; на голову поверх прически она накинула черный кружевной шарф; она как бы заслонялась им от солнца, и свет, cedившийся сквозь волнистые края этого шарфа и падавший на лоб и щеки, делал лицо ее особенно бледным и печальным; этот cedившийся свет сейчас же напомнил Сергею Ивановичу вчерашнее свечение, которое происходило от закутанной марлею люстры, и потому он удивленно смотрел на Наташу. Он как будто не мог определить своего отношения к ней и ничего не говорил ей; но вместе с тем — еще в первое мгновение, как только увидел ее, — почувствовал, что дочь была будто чужая ему; в том, что она пришла в незнакомом ему наряде, и в том, что не поднимала глаз на отца, Сергей Иванович видел лишь подтверждение всему, что он испытывал к ней. «Явилась», — подумал он, как еще никогда не говорил и не думал о ней. В это время подняли гроб, все двинулись, и Сергей Иванович двинулся вместе со всеми; и хотя он уже не обращивался и не смотрел на дочь, но неприятное беспокойство, что она за спиной, не отпустило его, пока не наступила последняя минута прощания с матерью.

В зале крематория между тем происходило то же движение, что и на аллее: одни группы людей, то ставя гроб на холодные каменные плиты пола, то вновь беря его на плечи, шли в конец зала, где совершались похороны, другие группы людей шли в обратном направлении, к выходу. Сергей Иванович, сколько ни всматривался, никак не мог разглядеть за колыжавшимися спинами, что было там, впереди; он только видел приглушенно светившиеся трубы органа, которые тянулись к высокому потолку и заполняли собою стену; словно обрамленные дорогой серебряной ризой, они напоминали иконостас и создавали то же впечатление покоя и вечности, как и весенние в голубом небе облака и купола монастырского собора; впечатление это усиливалось траурной музыкой, которая вдруг как бы выливалась на притихших в зале людей и, прокатываясь над их склоненными головами, устремлялась ввысь, к сводчатому, как в церкви, потолку. Потом музыка обрывалась и снова происходило движение. Наконец стоявшие впереди Сергея Ивановича люди расступились, и он увидел небольшой постамент у подножия органа, который, как боксерский ринг, с четырех сторон был опутан канатами из темно-вишневого бархата. Кто-то из работников крематория отцепил край каната, и в открывшийся проход внесли и установили на постаменте гроб с телом матери. Кто-то сказал, поторапливая: «Давайте-давайте, товарищи», — и Кирилл начал суетно одну за другой подталкивать вперед себя женщин, приехавших проводить в последний путь Елизавету Григорьевну; они подходили к гробу, чуть наклонялись, шептали

какие-то слова и отходили; то же сделала Наташа, и то же должен был сделать Сергей Иванович. Как и дома, в комнате, он притронулся губами к холодному лбу матери и отошел, как за барьер, за темно-вишневые канаты. И сейчас же возле гроба появился фотограф; дважды осветив вспышками желтое мертвое лицо, он уступил место рабочим, которые накрыли гроб крышкой и приколотили ее; и как только отошли рабочие, грянула музыка, и постамент с гробом медленно поплыл вниз, образуя провал, похожий на обыкновенную могилу. Сергей Иванович не мигая смотрел на то, что делалось перед ним. Он как будто не замечал, что ему трудно дышать. «Вот все, сейчас языки пламени охватят гроб»,—подумал он. Он представил, как все будет там, внизу, в печи, и ужаснулся простоте и ясности того, что произойдет с матерью. В то время как ему было жалко мать и он, запустив пальцы за воротник рубашки, оттягивал его, стараясь освободиться от удушья, мысли его продолжали двигаться в том же направлении простоты и ясности; и он впервые за все дни наконец понял, что главным было не то, чем сопровождалась похороны (что делала Никитишна вокруг покойной); главным было другое, что, как бы ни выглядело таинственно и красиво у гроба и как бы ни утешало это людей, ничем нельзя изменить сути: была жизнь и нет ее. Он вспомнил пожилую женщину, удовлетворенное лицо которой постоянно притягивало и вызывало в нем тревогу, и смысл той тревоги был сейчас ясен ему. «Все ложь,—про себя проговорил он.—Правда в одном: матери больше нет». Мысли и чувства его, будто расхлывшиеся в разные стороны, слились в этом страшном понятии «матери больше нет», и Сергей Иванович, казалось, уже не думал и не испытывал ничего; он лишь смотрел на то место, где только что виднелся провал, похожий на могильную яму, но где провала теперь не было, а снова возвышался, но уже пустой, постамент, и, видя этот постамент, продолжал бессознательно и бессмысленно оттягивать воротник рубашки.

Часть вторая

I

В начале июня, как только Юлия выписалась из больницы, Коростылевы выехали в Мокшу, под Пензу, к Юлиному брату, который пригласил их на лето к себе в деревню. Приглашение было принято охотно, особенно Сергеем Ивановичем.

Уезжали Коростылевы с Казанского вокзала, вечером. Никто не провожал их. Несколько раз начинал накрапывать дождь, и Сергей Иванович, жалко и принужденно улыбаясь, говорил по этому поводу, что уезжать в дождь — хорошая примета.

Когда сели в вагон, дождь усилился, а когда поезд, вырвавшись за кольцевую автостраду и оставляя позади в ночи плесы огней, помчался вдоль смешанных подмосковных лесов с высокими соснами, дубами и березами, которые нельзя было различить за окном, как нельзя было различить казавшиеся одинаково черными и низинные луга и пашни,—над всем неохватным пространством между Москвою и Рязанью разразилась гроза. Гроза сопровождала поезд всю ночь; по крайней мере, так представлялось Сергею Ивановичу, который долго не мог заснуть в сумрачном и озарявшемся молниями купе. Он уезжал из Москвы в грустном настроении, увозя с собою то самое чувство, которое после смерти матери неотступно преследовало его; он постоянно видел вокруг себя разбросанные хрусталики того огромного и целого,

что составляло его жизнь и было уронено и разбито, и хрусталики эти, как он ни старался хотя бы мысленно собрать их, снова и снова оказывались на том месте, как он увидел их в первую минуту несчастья; они, казалось, наполняли теперь купе и каждый раз, как только вспыхивала молния, отсвечивали холодным и вызывавшим тревогу блеском. Сергей Иванович, лежавший на нижней полке напротив Юлии, понимал, что светились никелированные ручки и зеркало на двери; но он не мог отделаться от впечатления именно разбросанных хрусталиков, как не мог не думать о дочери и обо всем том, что заставило его и Юлию ехать в деревню.

Его удручало теперь не то, что Наташа ушла из дому, а другое—как она сделала это; ему странным казалось, что чувство, какое он всегда испытывал к дочери, и чувство Юлии к ней, и ответное чувство, какое Наташа испытывала к отцу и матери (и какое должно быть, по представлению родителей, вечным), было так легко разорвано и забыто ею. «Да, да,—повторял он то общее, что не только принято, но и модно было теперь говорить о молодежи.—Ничего святого для них». Он приходил к этому заключению потому, что Наташа не появлялась в доме после того, как он встретил ее на похоронах матери, он больше ни разу не видел ее; он ждал, что она зайдет, и готовил ей молчаливую встречу; но она не заходила, и все приготовления Сергея Ивановича, как он откроет ей дверь, впустит и взглянет на нее, оставались лишь воображенной картиною, тревожно жившей в его сознании. Постепенно вина дочери свелась для него лишь к одному — что она не приходила домой и не появлялась у матери в больнице. За Юлию он, казалось, был еще более оскорблен, чем за себя. «Ко мне—ладно, но к матери»,—мысленно произносил он, время от времени поглядывая сейчас на спавшую жену. Когда он поворачивался к ней, светившиеся хрусталики мгновенно исчезали и он отчетливо видел клетчатое одеяло, которым была укрыта Юлия; когда же снова ложился на спину — мысли его тут же начинали беспокойно метаться между хрусталиками (в соответствии с тем, на что он переводил взгляд), и движение поезда то воспринималось им как стремление всех воображенных линий соединиться в одной точке, то, напротив, эти же линии будто с грохотом вырывались из сжимавшего их кольца, и вместе с ними удалялись и таяли в темном пространстве светившиеся хрусталики. Он засыпал медленно, тяжело, и все то, о чем думал, продолжало видеться ему во сне.

Брат Юлии Павел Лукьянов был тем человеком (тем неудачником в глазах Сергея Ивановича), жизнь которого двигалась не по восходящей линии должностей и значимости в обществе, а, напротив, по этой же самой лестнице скатывалась вниз, к положению, при котором он, рядовой исполнитель, казалось, мог только говорить: «Есть, понял, слушаю» — и не мог никому и ничего приказывать. Сергей Иванович осуждал Павла; но, не желая обижать Юлию, обычно не высказывал своего мнения, а если и приходилось, то произносил только: «Зря он увяз в деревне» — или: «Облепился детьми, шестеро, куда теперь». Но какой бы ни представлялась жизнь Павла со стороны, сам он не считал себя неудачником. Все повороты судьбы он принимал с той естественностью, как принимают люди наступление весны, зимы или смелу дня и ночи, и потому — хотя ему давно уже перевалило за пятьдесят (он был намного старше Юлии), выглядел здоровым, сильным и крепким мужчиной. Изба его стояла почти в самом центре деревни и отличалась от других тем, что не ветшала, а все время (по мере при- бавления в семье) как бы раздвигалась: сначала за счет амбара, кото-

рый был подтянут к избе и превращен в комнату, затем были переоборудованы сенцы и в довершение пристроена еще одна половина. Все эти надстройки, аляповато смотревшиеся снаружи, как раз и создавали те удобства, какие необходимы были для большой и не начавшей еще делиться семье Лукьяновых.

Мокша не была родной деревней Павла. До войны он жил в Осташкове. Но он давно уже не вспоминал о том крае лесов и озер; не вспоминал потому, что за восемь лет службы в армии (четыре года перед войной и еще четыре года войны) ни разу не приезжал домой, а в сорок первом оборвалась переписка с отцом и матерью, так как Осташково было занято немцами; когда же освободили город и когда он, в очередной раз отправляясь на фронт после госпиталя, заехал в родные места,— отыскал только обгоревшую печную трубу и ржавую и изогнутую взрывом железную кровать на пепелище. Положив вещевой мешок, шинель и пилотку у ног, он посидел на развалинах бывшего дома, покурив и двинулся дальше своей солдатской дорогой. Он служил в танковых войсках и потому, может быть, имел больше рубцов на теле, чем орденов и медалей на гимнастерке. «Первыми моими наградами,— как сам он любил говорить (и говорил об этом не без гордости),— были нашивки — желтая и красная». Что означало тяжелое и легкое ранение. К концу войны эти узкие разноцветные полоски составляли целый столбик на груди Павла. Последний раз он был ранен во время штурма Зееловских высот, и его отправили лечиться в Пензу. Здесь он встретил победу, здесь же, как только выписался из госпиталя (шла уже весна сорок шестого), был приглашен в Пензенский областной комитет партии и как бывший командир танковой роты направлен в один из районов директором МТС. Но должность эта оказалась не по силам Павлу, и спустя год все в том же областном комитете ему предложили перейти председателем в мокшинский колхоз.

Разговор происходил в кабинете второго секретаря обкома. В то время как Павел сидел в кресле перед столом, на котором возвышались тяжелые мраморные чернильницы, секретарь обкома в темно-синем кителе с отложным воротником и таких же темно-синих диагональных галифе медленно и значительно прохаживался поперек кабинета и говорил, что предстояло сделать Павлу на председательской работе. Павел слушал и понимал все; но позднее из всего сказанного в памяти сохранилась лишь одна фраза, которую он долго не мог истолковать, для чего она была произнесена: «На ваших землях берет начало наша луговая река Мокша, а Мокша впадает в Оку, а Ока в Волгу». «Ну и что?— думал Павел.— Где-то берет начало и Волга, но это еще ни о чем не говорит». Лишь с годами, чем глубже втягивался в деревенскую жизнь, тем яснее становилось ему, что хотел сказать ему секретарь обкома. Павел все более чувствовал, будто сам он стоит у истока движения и что люди, окружающие его, трудом своим как раз и рождают тот ручеек, который затем, сливаясь с тысячью других таких, образует Оку и Волгу народной жизни. В душе он изумлялся простоте, с какой можно было объяснить цель и усилия колхозников, и принимал это объяснение потому, что, во-первых, оно представлялось ему правильным, но, главное, потому, что так легче было жить, не оглядываясь на свой двор и избу, и легче было выполнять, что требовало от него и от колхоза районное руководство.

В мартовский морозный день, когда умер Сталин, Павел ходил по деревне с непокрытой головой и сам приколотил траурный флаг над крыльцом правления; он повторял то, что вслух и мысленно произносили миллионы людей: «Как теперь будем жить без него?» Он вместе со всеми с волнением готовился к предстоящим переменам. Но перемены обернулись для него совсем неожиданной стороной. При укруп-

нении колхозов его не избрали председателем, а назначили бригадиром мокшинской бригады, и спустя несколько лет — он и сам не заметил, как случилось это, — он пересел на трактор и превратился в того самого механизатора широкого профиля, о котором теперь во всех газетах пишут как о новой появившейся силе в деревне, способной решить все стоящие перед нею проблемы. Для Павла же и прошлое и настоящее — все было лишь жизнью, в которой он во все времена находил и видел свою восходящую линию.

В середине шестидесятых годов, когда волна реформ и всякого рода преобразований в стране, успешно начатых после смерти Сталина, достигла, казалось, своего наивысшего предела, и подавать записки и предложения в правительство стало для некоторых модой (подавали все снизу доверху, кто только хотел и мог), волна эта захватила и Павла. Он тоже решил сочинить записку и направить ее не в райком и не в облисполком, а прямо в правительство. И было у него к тому немало оснований. Он не всегда умел организовать людей и руководить ими, но он видел, что признаваемая всеми будто единственно верной расстановка сил в деревне была на самом деле неверной и не могла привести к желаемым результатам для общего блага; ему казалось, что нарушена была основа крестьянского труда, когда мужик начинал и завершал весь цикл полевых работ на своей полосе и конечный результат диктовал ему отношение к труду и земле. Теперь же одни люди пахали, другие сеяли, третьи собирали урожай; причем те, кто пахал и сеял, работали больше, но получали меньше, а те, кто убирал — комбайнеры, — трудились будто меньше, всего один осенний месяц в году, но получали больше. Выходило, что они снимали сливки. Но, главное, страдало при этом общее дело. Павел не знал, каким образом можно было восстановить нарушенную основу крестьянского труда и жизни, но был убежден, что только восстановление ее пробудит в людях прежнее отношение к земле. Все рассуждения его в записке сводились именно к этому. Он сочинял ее долго, откладывал, снова принимался; когда же наконец она была завершена, все в деревне настолько переменилось, что не было никакой нужды подавать ее: то, что Павел хотел предложить, незаметно для него уже вошло в жизнь, и сам он, как механизатор широкого профиля, весной садился на трактор, пахал, сеял, потом пересаживался на комбайн, убирал хлеба и опять садился на трактор, чтобы поднять зябь и посеять озимые. Он выполнял весь круг работ, который раньше был разорван и поделен между разными людьми; и хотя в буднях его как будто ничего не изменилось и он все так же по утрам выезжал в поле и затемно усталый, обветренный и запыленный возвращался домой, но в душе у него, как и у других мокшинских колхозников, появилось какое-то о ж и в л е н и е, которое проявлялось более не в поле, не в минуты, когда он сидел за рулем, а дома, когда, глядя на свою избу, испытывал желание подновить ее. Это желание обновления прокатилось в тот год по всей деревне и было хорошим знаком. Тогда-то и начал Павел расширять и перестраивать избу. О записке в правительство он уже не думал; он чувствовал себя в положении человека, плот которого после бурного потока попал в спокойное течение и оставшиеся позади пороги и перекаты больше не волновали его; он нажимал на весло, и с каждым новым взмахом силы, казалось, не убывали, а прибавлялись в нем, и он видел, как берега жизни раздвигаются перед ним. Раздвигались они, в сущности, перед сыновьями, но это как раз и радовало Павла.

Один за другим подрастали у него четверо сыновей и две дочери. Старший, Роман, был уже как будто определен в жизни, по крайней мере так считалось в семье. Он учился в Пензенском педагогическом

институте, жил в общежитии и лишь на каникулы приезжал в Мокшу. Но этой весной неожиданно написал, чтобы на лето не ждали его, так как он со студенческим строительным отрядом поедет в Кустанайскую степь. Известие это по-разному было принято в доме. Жена Павла Екатерина была недовольна решением сына. Она считала, что нельзя посылать детей на край света одних и надо непременно вмешаться и приостановить все; но видя, что муж только отмалчивается, слушая ее, она тоже перестала говорить о письме и принялась собирать теплые вещи для Романа, которые хотела сама отвезти в Пензу в конце июня. Павел не мешал ей. Привыкший к тому, что человек не должен идти против течения (сам он всегда и строго придерживался этого однажды усвоенного принципа жизни), он говорил себе: «Пусть едет. Все, что ни делается, все к лучшему», и, казалось, не беспокоился за старшего сына, потому что, кроме Романа, было еще о ком заботиться ему. В доме еще оставалось пятеро школьников. Две дочери, Таня и Валентина, и двое младших сыновей, Александр и Петр, были, правда, в том возрасте, когда рано было думать, как и куда определять их; но Борис заканчивал десятый класс, и событие это не могло не тревожить Павла. И хотя до поездки сына в Москву и сдачи вступительных экзаменов было еще далеко, в семье все заметнее чувствовалась та атмосфера волнения, которая была уже знакома Лукьяновым, когда решалась судьба Романа. Сам того не замечая, Борис невольно становился центром всей жизни взрослых и малых в доме, и на него смотрели так, будто он готовился совершить что-то необыкновенное. Необыкновенным же было то, что Борис решил поступить учиться в Институт международных отношений.

О сестре Павел вспоминал редко; жизнь Коростылевых была далека от него и мало занимала его; но в эту весну он неожиданно подумал о них. «Борису помогут»,— решил он. Он думал о сестре и Сергее Ивановиче так же, как думает большинство деревенских людей о своих родственниках, живущих в столице, что они все могут. Ему не важно было, что Сергей Иванович находился в отставке, и не важно было, что он не имел никакого отношения к московским институтам (тем более к Институту международных отношений), а важно было, что он москвич, и этого было достаточно, казалось Павлу (казалось всей семье Лукьяновых), чтобы благополучно решилась судьба Бориса. Но пока он собирался написать что-либо, из Москвы пришло то самое письмо, которое озадачило и взволновало Павла. Все происшедшее в семье Коростылевых, о чем без утаивания сообщил Сергей Иванович, Павел принял близко к сердцу и, несмотря на всю свою занятость — так как колхоз уже готовился к сенокосу — и несмотря на то, что были теперь нарушены все планы насчет Бориса, пригласил сестру и зятя на лето к себе. «Хоть отойдут немного здесь»,— сказал он жене, не найдя ничего более определенного, чем это слово «отойдут», в которое он легко уложил все то, чем мог и должен был помочь им.

С привычной широтой и основательностью, как все делалось в доме Лукьяновых, решено было встретить московских родственников. Больше всего разговоров было вокруг того, как и что поставить на стол. Хотя сами Лукьяновы, как и многие в Мокше, давно не пекли хлеб, а покупали готовый, который привозили из соседней, в пяти километрах, деревни Сосняки, где размещалась центральная усадьба колхоза, но к приезду Коростылевых задумали испечь свой, домашний, деревенский (надо же было хоть чем-то удивить москвичей), и Екатерина с утра, накануне встречи гостей, поставила тесто, а к вечеру, когда круглые булочки и калачи были уже посажены в печь, вся изба Лукьяновых была как бы пропитана тем особенным запахом печеного хлеба, который всегда кажется запахом жизни. Этот же пря-

ный запах чувствовался и во дворе, где Павел с ведром и тряпкою в руках мыл машину. Он выкатил ее из сарая, в котором когда-то давно-давно стояла хозяйская лошадь и где были еще ясли, заполненные теперь баллонами и разного рода запасными частями и инструментами; ворота в сарай остались открытыми, и Павел то поглядывал на них, то на темные и заходившие над избой тучи. Где-то у горизонта уже полыхала гроза (та, что сопровождала поезд, в котором ехали Коростылевы), и дыхание ее настораживало Павла. Его беспокоило, как он завтра доберется до Каменки к поезду. Хотелось приехать на чистой, не забрызганной грязью машине, которую он готовил к поезду с тем же чувством, как раньше крестьянин готовил лошадь в дорогу, подсыпая ей овса в ясли и похлопывая по теплой шее.

II

Каменка была небольшой степной станцией, на которой московский поезд делал последнюю перед Пензой остановку. Он стоял здесь всего несколько минут, и потому Сергей Иванович и Юлия, разбуженные еще час назад проводником, в то время как поезд только въезжал на станционные пути, уже вышли в тамбур. Хотя они ничего не говорили между собой, но по тому выражению, какое лежало на лицах, было ясно, о чем они думали: «Приехал Павел встречать или нет?» Из-за спины проводника, стоявшего в раскрытых дверях и загородившего собою проход, Сергей Иванович старался разглядеть, что было там, куда прибывал поезд. Но он ничего не видел, кроме того, что все было синим: и небо, и водокачка, проплывшая мимо, и плоская крыша низкого и долго тянувшегося пакгауза; был тот ранний час утра, когда небо до половины должно было быть залито белым светом; но тучи, сдвигавшиеся к востоку и заполнившие как раз эту зоревую половину, были так темны и густы, что не пропускали света, и оттого на всем лежал налет ночной синевы. Чувствовалось, что и здесь, над Каменкой, прошел дождь, и сырой воздух, врываясь в тамбур и завихриваясь, заставлял поеживаться Юлию и Сергея Ивановича.

Коростылевы напрасно беспокоились, что Павел не встретит их; как только поезд остановился и проводник освободил проход, у самых дверей вагона они увидели Павла. Первое, что он произнес, было не «с приездом» и не то обычное, что принято говорить между близкими и долго не видевшими друг друга людьми, а было: «Попадавай чемоданы!» Приняв из рук Сергея Ивановича и отнеся их в сторону, где казалось посуше и было меньше лужиц, он успел еще вернуться к вагону и помочь полной и тяжело дышавшей Юлии. И только после этого, повторяя: «Наконец-то», поочередно обнял их. По голосу, как он говорил, и движениям, как обнимал и тряс руку зятю, было очевидно, что он рад встрече. Коростылев сразу же отметил про себя это. «Все такой же», — подумал он о Павле, живо вспомнив свой последний приезд к нему. Он любил шурина за простоту и душевность и за это же осуждал его. Но теперь он забыл, что думал о Павле раньше, и был тоже рад, в особенности тому, что видел Павла прежним, несколько будто не изменившимся с тех пор, как последний раз (десять лет назад) с семьею гостил у него.

— Завидую, — сказал он Павлу, с нескрываемым удивлением разглядывая его. — Тебя ни с какой стороны не берет время. Не ржавеешь. Молодец, — добавил он по старой своей командирской привычке. — Молодец, — повторил он, не находя, что бы еще сказать шурина, и продолжая смотреть на него. Хотя утро все еще будто не могло про-

биться сквозь низкие грозовые тучи, но синева, покрывавшая все вокруг, которую видел Сергей Иванович из тамбура вагона, уже не казалась густой, а редела, таяла и стекала — с крыш, стен, с плеч и лица Павла, открывая его как бы специально для того, чтобы не могла остаться незамеченной улыбка, какую встречал он сестру и зятя. Он был похож на Юлию, это всегда отмечал Сергей Иванович; но когда улыбался, особенно как теперь, этой своей словно извинительной и доверчивой улыбкой, схожесть с Юлией казалась разительной и была не в пользу сестры, а в пользу брата. Щеки Павла не были так одутловаты, он выглядел моложе, был обветрен и смугл, и широкой грудью и плечами сейчас как бы нависал над сутуло стоявшими перед ним в тонких плащах из болоньи московскими родственниками. Юлия не замечала этого различия и так же доверчиво улыбалась брату и вытирала влажные от волнения и встречи глаза; Сергей Иванович же, зная, что он моложе Павла, чувствовал себя стесненно и неловко перед ним; неловкость происходила в нем от смутного сознания того, что он всегда (и в мыслях и в разговорах с Юлией) свою жизнь выставлял как образец перед деревенской жизнью Павла; но оказалось, что то, как он понимал жизнь, не соответствовало тому, как эта жизнь текла на самом деле, и Сергей Иванович неожиданно для себя был сейчас в том положении, как шахматист, который, несмотря на всю продуманность ходов и общего замысла партии, вдруг обнаружил, что фигуры на доске разместились совсем не так, как он хотел, а по-другому и не в лучшей для него позиции. Он чувствовал это: и когда шагал за Павлом на привокзальную площадь, где стоял светло-серый и отливавший глянцевой чистотой (несмотря на прошедший дождь и мокрую дорогу) лукьяновский «Запорожец», и потом, когда уже сидел рядом с Павлом в машине и разговаривал с ним.

Грейдерная дорога, еще не просохшая после дождя, была черной и оттого казалась новой, недавно проложенной. Она не была прямой, и по ней было приятно ехать. По обе стороны ее лежали хлебные поля с темными заплатами отдыхавшей земли, и все это зеленое и темное, составлявшее крестьянский труд, перемежаясь и сливаясь, уходило к горизонту и вызывало у Сергея Ивановича то впечатление широты и новизны жизни, какое обычно возникает у городских людей при виде лугов, полей и деревни, а у деревенских — при виде суетных городских улиц, высоких домов, площадей и витрин. Поля, несмотря на хмурое утро, казались настолько ясными и веселыми, что Сергей Иванович не мог оторвать от них взгляда; и чем больше всматривался, тем оживленнее становилось у него на душе, и тем охотнее отдавался он тем легким и приятным чувствам, какие возникали в нем теперь. Он не знал, о чем думала Юлия, которая, прислонившись к дверце, молчаливо смотрела на то же, на что смотрел он, и не знал, о чем думал Павел, руки которого лежали на небольшом и хрупком как будто руле «Запорожца», но когда оборачивался к жене или бросал взгляд на Павла, ему казалось, что он видел на их лицах отражение тех же чувств, какие охватывали сейчас самого Сергея Ивановича. «Да, что говорить», — отвечал он Павлу на его слова о покойной матери, что она была стара, больна и не жилец на свете. «Да, гудит, а что ей? Ей ничто не помеха», — поворачиваясь к Павлу же, подтверждал он, в то время как шурин спрашивал его о Москве. Все, что отвечал Сергей Иванович, было правильно и разумно; но он произносил фразы, не вдумываясь в них, как если бы брал со стола и передавал шурину то, что лежало на поверхности, тогда как занимало его совсем другое, что содержалось в ящиках; он говорил: «Разве все предусмотреть в жизни, нет, Павел, всего предусмотреть нельзя», но смотрел не на Павла, а на то, как окрашивались розовой краской поля, сосновый бор

и крыши выплывавшей из-за сосен деревни; деревня, бор и поля были впереди, на западе, куда бежала машина, и казалось, что именно там (потому, что небо там было свободно от туч) разгоралось и вставало утро.

Путь от Каменки до Мокши (тридцать два километра) показался Павлу долгим, и он был недоволен, что медленно вел машину; этот же путь Сергею Ивановичу, напротив, показался коротким, и он удивленно произнес: «Уже», когда «Запорожец» неожиданно повернул к жердевым, на проволочных петлях воротам. Не то чтобы Сергей Иванович не узнал деревню и надстроенную (с тех лет, как он был здесь) избу Лукьяновых, но просто с таким же любопытством, как он смотрел на все, что открывалось за стеклом машины, смотрел и на Мокшу и на избу Павла, когда подъезжал к ней.

— Сиди,— сказал ему Павел, вылезая из машины и направляясь к воротам, чтобы открыть их.

Пока он открывал их, приподымая и волоча стойкою по траве, на крыльце избы появилась Екатерина. Следом за нею вышли две девочки с круглыми и веселыми, в лукьяновскую породу, лицами. Обе они были с косичками, в одинаковых нарядных голубых платьях и были, казалось, незнакомы Сергею Ивановичу. Одну из них, старшую, Валентину, в прошлый свой приезд он водил за руку по двору и по огороду и помнил, как она неуверенно и смешно переступала полными ножками, и помнил купленный ей навыворот плащ, в который кутали ее по вечерам и который полами доставал до земли, но все это, живо вспомнившееся ему, никак не вязалось с тем, какой была Валентина теперь. Он удивленно покачал головой и, сказав Юлии: «Взгляни-ка», продолжал смотреть на девочек. Таню он и в самом деле не знал: Екатерина была тогда беременна ею. Беременность делала ее нерасторопной и некрасивой, и у Сергея Ивановича все время сохранялось определенное впечатление о ней; но на крыльце стояла сейчас будто совсем иная женщина, не похожая на ту прежнюю Екатерину, и это тоже заметил Сергей Иванович. Слова, которые он сказал Павлу на вокзале: «Не ржавеешь», он почувствовал, в еще большей степени можно было отнести к его жене, и потому снова повернувшись к Юлии и с тем же оттенком удивления он воскликнул: «Катя-то, Катя, посмотри!» На крыльце между тем появились сыновья Павла — Александр, Петр и Борис, тоже одетые не по-будничному, как и должно было к приезду гостей. Всем им Сергей Иванович еще недавно вырезал картонных лошадок и клеил картонные пушки; но он видел теперь, что они вышли из того возраста, особенно Борис, стоявший позади Петра и Саши. Он казался медлительным и важным, когда вслед за матерью, сестрами и братьями спускался с крыльца. «Уже и отца перерос»,— подумал о нем Сергей Иванович. Не заключавшая будто в себе ничего торжественного и необычного, вся обстановка приезда и встречи вызывала, однако, в Сергее Ивановиче именно это чувство — торжественности минуты,— и он охотно отдавался общему настроению радости, какое, как ему казалось, было вокруг. Когда машина остановилась во дворе, он вместе с Юлией, пропуская ее вперед, двинулся к Екатерине и детям, улыбаясь точно такую же улыбкой, какой встретил его на вокзале Павел и какая была сейчас на лицах всех (кроме Бориса), к кому он приближался.

— С приездом,— сказала Екатерина, как только Юлия и Сергей Иванович подошли к ней. Она произнесла это так просто и естественно, что нельзя было даже предположить, что есть какие-либо иные слова, которыми хозяйка может приветствовать желанных гостей. Не смотря на то, что Сергей Иванович еще издали, из машины, заметил,

как изменилась к лучшему жена Павла,— теперь, стоя перед ней и видя ее аккуратно причесанную и нарядную, в цветастом платке, словно небрежно наброшенном на плечи и шею, еще более был поражен переменою, происшедшею в ней. Он находил ее сейчас красивой и удивлялся тому, как раньше думал о ней. Девочки в семье Лукьяновых были похожи на отца и были по-своему привлекательны; сыновья были похожи на мать и были, как считали все в Мокше, самыми красивыми и умными парнями в деревне. Сергей Иванович не знал этого, но он живо уловил, что сближало дочерей с отцом и сыновей с матерью, и, мысленно сопоставив сходство и различие между ними, подумал, что сыновьям больше повезло; особенно поразило его лицо Бориса, глаза которого были точно такими же, царственными, какими были глаза Екатерины.

Женщины принялись обниматься, и Сергей Иванович, повернувшись к детям, слышал, как Екатерина говорила Юлии, утешая ее:

— Ну вот... ну что ты...

III

Утро было самым неподходящим часом для застолья, какое было задумано Павлом, и потому несмотря на обилие угощений, приготовленных хозяйкой и поданных гостям, и несмотря на то, что тут же, среди наполненных едою тарелок и блюд возвышались откупоренные бутылки «столичной»,— между мужчинами было выпито только по стопке ради встречи, и затем Павел, пожелав Сергею Ивановичу хорошо отдохнуть с дороги, отправился по своим колхозным делам. Он мог сегодня не выходить на работу, потому что еще три дня назад договорился об этом с бригадиром Ильей; но как ни заманчиво было посидеть с сестрой и зятем, которых он не видел целую вечность, и как ни казалось, что невозможно будет за день переговорить всего, что накопилось сказать друг другу,— неожиданно обнаружилось, что все важное и главное было сказано еще в машине, пока ехали от Каменки до Мокши, и было затем повторено в первые же минуты, как только все разместились за столом. Павел яснее всех чувствовал, что говорить было, собственно, не о чем, и оттого бессмысленным представлялось ему сидеть с зятем до вечера, и те крестьянские заботы, какими он жил вчера и жил все эти годы, снова начали занимать его; он знал, что созревали пойменные луга, вот-вот подойдет пора косить их, но что для этого нужно навесить косилки на трактора; работу эту обычно выполнял он сам, и потому без труда отыскал предлог, чтобы уйти из дому.

Но еще прежде отца вышел из-за стола Борис, которому надо было в Сосняки, в школу (в Мокше была только семилетка); он выкатил из сеней велосипед и через минуту был уже за воротами, так что Екатерина не успела сунуть ему завернутый в газету и целлофановый пакет кусок пирога.

— Просто беда с ним,— сказала она, разводя руками. Она долго не могла успокоиться и то и дело возвращалась в разговоре к Борису; она как будто жаловалась на сына, но вместе с тем было видно, что она гордилась им.— Задумал в Институт международных отношений и ни о чем больше слышать не хочет.

— Ну и что? Хорошо, радоваться надо, раз у парня такое желание,— спокойно и рассудительно отвечал Сергей Иванович.

Екатерина говорила еще, что Борис изучает два языка, английский и французский, и что с прошлого года отец нанял ему учителей.

— Расходы, господи, мы уж не считаем,— продолжала она.

В то время как происходил этот разговор, за столом уже не было не только Павла и Бориса, но и младших сыновей и девочек. Переодевшись во все будничное, они шумно пробежали через комнату и скрылись за дверью. Вскоре за ними вышли из избы Екатерина и Юлия — сначала во двор, затем на огород. Так же, как Павел, Екатерина не могла, видимо, допустить, чтобы погожий летний день прошел для нее в праздных разговорах; освобожденная от колхозных дел (она отпрашивалась, как и муж, все у того же бригадира, Ильи), она чувствовала, что должна подогнать домашние, и потому, взяв тляпку, принялась полоть и окучивать картошку; Юлии же, видя ее нездоровую полноту, не разрешила помогать себе, и та лишь стояла рядом и смотрела, как работала Екатерина. Земля, смоченная ночным дождем, успела подсохнуть к этому часу, не налипала на туфли, и было слышно, как после каждого взмаха с хрустом разрывались и лопались под тляпку корни сочной и буйно шедшей в рост сорняковой травы. Плывшие по небу белые облака то заслоняли собою солнце, то открывали его. Когда на землю ложилась тень, тотчас над огородом прокатывался холодивший плечи и шею ветерок. Он возникал на лугу, в колыхавшихся высоких травах; луг этот был хорошо виден с огорода, и были видны чьи-то телята, пасшиеся на краю этого луга. Как только лучи солнца вновь падали на землю, ветер прекращался, но все вокруг еще более оживало, гуще пахло цветущими травами и парившей землей, и обе стоявшие на огороде женщины улыбались, глядя на это тихое и окружавшее их со всех сторон деревенское лето.

Теперь, когда они были одни, они говорили о том, что более всего интересовало их. Юлия, то накидывая на плечи шерстяную кофту, когда набегала тень и налетал ветер, то снимая ее, как только опять начинало припекать солнце, рассказывала об Арсении. Она говорила о нем так, словно не один, а десятки раз видела его, и говорила то, из чего можно было сделать лишь единственный вывод, что он умный и порядочный человек и что Наташа будет счастлива с ним. «Чего еще желать лучшего, не знаю», — повторяла она, относя эти слова к мужу. Екатерина не переспрашивала ее, хотя и непонятно было, отчего же тогда Сергей Иванович выгнал Арсения; время от времени, остановившись, чтобы отдохнуть, она старалась высказать свое, что (в отличие от Юлии) не радовало, а беспокоило ее. Ей казалось, что старший ее сын, Роман, уезжает на лето со студенческим строительным отрядом неспроста, что тут тоже примешана любовь; ей ясно было это из писем, и она делилась сейчас своим беспокойством с Юлией.

— А ему еще три года учиться, — говорила она.

— А Павел?

— Что Павел? Он ведь только наполовину дома, а вторая, и большая, половина... вон там. — Она кивнула головой в сторону полей и луга.

Вышедший во двор Сергей Иванович видел стоявших на огороде женщин. Но он не подошел к ним. Тяготясь тишиной и неожиданным и непривычным будто для него бездельем (дома, когда он лежал на диване с газетой, было уже занятием для него), он прошел под навес и присел на край старых и отслуживших свое в хозяйстве розвальней. В то время как он смотрел на огород, женщин и луг, который был хорошо виден за ними, мысли все более переносили его к Москве, к тому, от чего он уехал, и что, несмотря на все пережитое в это утро во время встречи и застолья, не только не представлялось отдаленным, но, напротив, было еще как будто яснее и ближе к нему. Ему вспомнились подробности смерти и похорон матери, вспомнился Арсений и Наташа, какой он увидел ее в крематории, и рука его невольно потянулась к расстегнутому теперь вороту рубашки; но вместе с тем

как он думал о Москве, он все удобнее и глубже усаживался в розвальнях, наполненных прошлогодним сеном, и как ни казалось ему теперь, что он приехал к шурина зря, что вряд ли будет лучше ему и Юлии здесь, в деревне, — не прошло и получаса, как он уже спал, вытянувшись на сене, спокойным сном поправляющегося после болезни и набирающегося сил человека.

Позднее он всегда говорил, что сон этот был лекарственным для него; но когда он проснулся, чувствовал себя тяжело и весь вечер встряхивал головой, словно что-то мешало, запуталось в волосах.

Ужинали в этот вечер у Лукьяновых поздно, когда на улице было уже темно, и все были веселы и довольны прошедшим днем. Павел был доволен тем, что, несмотря на поездку в Каменку и утро, проведенное с гостями, успел сделать на бригадном стане все, что надо было ему сделать сегодня, и с удовольствием хлюпался под умывальником во дворе, раздетый до пояса, в то время как посланная матерью старшая дочь, Валентина, стояла за его спиной с вафельным полотенцем в руках, которое затем подала отцу. Для Екатерины важно было, что гости, которые должны были быть в тягость ей, оказались не в тягость, и она продвинула домашние дела, лежавшие на ней, настольно, как не смогла бы продвинуть за неделю, работая на своем огороде урывками, по вечерам, возвращаясь с колхозного поля. Она была еще довольна тем, что с первых же минут встречи (как и в тот прошлый приезд Коростылевых) установились у нее с Юлией те сердечные отношения, которые делали совместную жизнь возможной и приятной. Этим же была довольна и Юлия, что легко сошлась с Катей, как она называла жену Павла. «Счастливы ты», — сказала она брату, когда он приглашал всех за стол. Борис же в этот день сдавал очередной экзамен на аттестат зрелости. Он получил пятерку, все поздравляли его, и пятерка Бориса внесла как бы дополнительную радость в общую радостную атмосферу семейного ужина. Были веселы и Петр с Александром, и девочки, довольные каждый своим, и только Сергей Иванович не знал, что хорошего произошло в этот день у него, но он тоже был за столом оживлен и говорил и ел много и с аппетитом. С этим хорошим настроением он лег в постель и заснул тотчас, как только положил голову на подушку, и спал так же крепко, как и на розвальнях под навесом; он проснулся лишь под утро от непривычной тишины, но, повернувшись на другой бок, опять заснул и встал, когда было уже около десяти утра и ни Павла, ни Екатерины, ни ребят — никого не было в доме. Днем он ходил к реке, бродил в сосновом бору и вечером выглядел так, что шурин, присмотревшись к нему, сказал жене: «Сергей-то наш порозовел как, а? Отошел», — добавил он, употребив то самое слово, какое уже говорил ей и в каком заключался для него весь смысл приезда сестры и зятя.

Коростылевы приехали в Мокшу из-за Юлии, но всем в семье Лукьяновых было очевидно, что более, чем Юлия, нуждался в перемене обстановки Сергей Иванович, и потому внимание их было приковано к нему; и тем приятнее было им, чем яснее замечали они, что дело с его здоровьем шло на поправку. Он все реже вспоминал о Москве, о похоронах матери, о дочери и об Арсении, и, может быть, совсем отлегло бы у него от сердца, если бы не разговор с Юлией, из которого он вдруг выяснил, что Наташа приходила к ней в больницу, и не раз, и что Юлия знала о дочери все: что она живет у Арсения и что будто бы живет хорошо с ним. Она добавила еще, что, уезжая, договорилась с Наташей, что та будет писать ей, и ждала от нее писем. «Я и недели не проживу здесь, если не буду знать, что с ней», — заявила она с тем видом, что как это муж мог подумать о ней иначе,

чем то, как она теперь говорит о себе. Сергей Иванович весь тот день странно поглядывал на жену; разговор с ней оставил у него на душе то неприятное чувство, как будто жена была в стоворе с дочерью против него, и он продолжал жить с тем же ощущением, будто он едет на повозке и видит, что переднее колесо вот-вот должно соскочить с оси, он говорит об этом вознице, но возница, посматривая на колесо и ось, отчего-то старается заверить, что «ничего, дотянем» и что «нет нужды останавливаться». «Но что может быть хуже, чем было? — рассуждал Сергей Иванович, чтобы отделаться от тревожного ощущения, которое возникало большей частью по утрам, когда он видел, как Юлия шла к фанерному почтовому ящику, висевшему перед избою на стойке ворот.— Ничего худшего быть не может».

И все же, как ни тяготился он своими заботами,— воздух, солнце, тишина и повседневное общение с Павлом, жизненная философия которого легко укладывалась в простую и ясную формулу: «Что ни идет, все к лучшему», делали свое незаметное и нужное дело.

Как многие бывшие деревенские люди, Сергей Иванович не предполагал, что то представление о деревне, какое с годами сложилось у него, было неверным. Он помнил Старую Мниху, помнил тихое лесное село Порочи, где когда-то размещался его полк, и помнил, как десять лет назад гостил здесь, в Мокше; из этих разрозненных впечатлений о деревенской жизни осталось у него одно, целостное, в котором не было места ни радостям, ни сельским красотам, а все состояло лишь из труда, нужды и забот. И хотя в последнее время он все чаще слышал, что деревня уже не та, что колхозники о ж и л и, что средний заработок механизатора выше, чем заработок городского рабочего, и что даже (по мнению Кирилла) происходит некая нежелательная и опасная перекочевка денег в деревню,— все эти слова и сообщения в печати наталкивались в Сергее Ивановиче на твердое и давно устоявшееся у него убеждение. Прочитанное и услышанное забывалось тотчас, тогда как то, что он видел сам, жило постоянно и не стиралось статьями и временем. Уезжая в Мокшу, он не думал, что эти два течения столкнутся в нем и что вообще придется ему размышлять над этим; но теперь, живя у Павла, он невольно начал приглядываться к тому, что делалось вокруг.

То явное, из чего можно было заключить, что жизнь в Мокше изменилась к лучшему (машина у Павла и еще несколько машин и мотоциклов у других колхозников), Сергей Иванович заметил сразу же, как, впрочем, заметил и то, что избы кое-где были заколочены и пусты и дворы заросли сорной травой, так что можно было подумать, что люди бегут из деревни; но вместе с тем он видел, что те немногие оставшиеся (в основном это были семьи механизаторов) легко вроде, без суеты управлялись с огромным бригадным хозяйством. Как они делали это, он не знал, потому что, когда вставал и выходил во двор, в деревне уже никого не было и улица с колею и травой на обочинах казалась вымершей; не было заметно людей и в поле, а лишь несколько тракторов, окутанных серою пыльною дымкой, ползали по свекловичному клину и еще что-то подвозили на тележках к ферме. Это ощущение словно бы вымершей деревни сопровождало Сергея Ивановича весь день; только с наступлением сумерек все вокруг преобразилось, наполнялось жизнью, и жизнь эта, казалось, вливалась в избы вместе с шумно возвращающимся с лугов стадом. Сергей Иванович не знал общего настроения колхозников, но из того, что он видел в семье Павла, вполне мог предположить, как и что было в других и окружавших Павла семьях. Ему нравилось, как по вечерам Лукьяновы усаживались за стол, и прежде всех садился за стол отец; как

только он брал в руки ложку, принимались за еду все остальные, и никто ни разу не нарушил этого правила; все было естественно, никому и в голову не приходило, что может быть как-то иначе. Но ели не расписными деревянными ложками, которых больше теперь в московских квартирах, на видных местах, чем в русских деревнях, не из мисок и не на дубовом и выскобленном ножами столе; обеденный стол был застелен клеенкой, и перед каждым устанавливался тот же прибор из двух тарелок — глубокой и мелкой, — ножа, вилки и ложки, что подается в самой обычной городской семье (что подавалось, впрочем, у Лукьяновых только в праздничные дни или как теперь, при гостях), и тарелки эти были — недорогой, но на двенадцать персон столовый сервиз из гдээрзовского фарфора, купленный даже не в Пензе, а в Сосняках. «Тут брали, у нас», — в первый же день сказала об этом Екатерина Юлии. Во всей жизни Лукьяновых чувствовалось то движение (тяга к привычному для Сергея Ивановича городскому быту), какое было характерно теперь почти для всех деревенских людей и чем давно уже никто не удивлялся в селах; Коростылеву же было удивительно и было приятно видеть эту перемену, он собирался высказать свое впечатление Павлу и только не находил пока удобного случая, чтобы сделать это.

IV

Четвертый день в Мокше косили луга.

Сергей Иванович, с вечера сказавший шурина, что хотел бы пойти с ним на сенокос, утром не мог проснуться к положенному часу, и Павел, постояв перед ним, вышел из избы. Он с напарником заканчивал уже большую половину загона, когда увидел появившегося в тени под сосною Сергея Ивановича. Сосна росла на невысоком песчаном холме, у подножья которого как раз и начинался луг и тот загон, который косили сегодня с утра Павел и Степан Шеин. Трактора с навесными косилками, захватывая почти пятиметровые полосы, не спеша двигались один за одним по вытянутому, как беговые дорожки на стадионе, кругу; было такое впечатление, что они не косили, а прикапывали луг; там, где они проходили, было гладко, трава лежала и, казалось, была не зеленой, а напоминала старый, выцветший и расстеленный для просушки ковер, по которому, однако, ясно тянулись следы тракторных колес и нарушали общее впечатление; там же, где косилки еще не притрагивались к траве, в центре загона, буйно колыбался тот густой росный мир из цветов, стеблей и листьев, над которым еще вились луговые бабочки и стрекозы. Когда трактора удалялись, Сергей Иванович слышал только приглушенный рокот моторов; когда же, развернувшись, приближались к песчаному холму, опять можно было легко различить среди общего гула и рокота мелкий стрекот стальных ножей косилок. Он слышал еще, что Павел что-то кричал ему и махал рукой, но он не мог разобратъ, что именно кричал шурин, и только ответно взмахнув, взглядывался в его черное и вспотевшее на солнце лицо. Оба тракториста были без пиджаков, в рубашках, и рубашки были мокрыми и прилипшими к спинам; издали казалось, что трактора двигались по ровному лугу, но и Павел и Степан беспрерывно ворочали рычагами, то приподнимая ножи косилок, то опуская их, и всматривались, что было впереди; легкая как будто со стороны работа — сиди за рулем и управляй — была на самом деле изнурительной; но вместе с тем она была привычной для Павла и Степана, и потому, когда они проезжали мимо Сергея Ивановича, оба весело кивали ему.

«Странно», — думал Сергей Иванович, глядя на то, что было перед ним. Как у каждого человека, который долго жил не в деревне, а в городе, и пользовался газетной информацией, как работают сельские люди, у него сложилось представление, что на полях идет постоянная суета и гонка — скорее и больше! — что все от бригадира до тракториста только и озабочены, чтобы побольше скосить и убрать, и что весь смысл и праздничность их труда заключены именно в этом; но он видел теперь совершенно противоположное тому, как он понимал этот труд, видел, что все было спокойно, буднично и что Павел и Степан не только не торопились, но, казалось, делали все так, будто работе их (как и прежде у крестьянина) не было ни конца, ни начала, и старались лишь, чтобы не возвращаться к сделанному. Трактора проходили круг за кругом, и Сергей Иванович смотрел на них с тем же чувством, как если бы смотрел на косцов, которые взмах за взмахом ровно и красиво завершали загон. Он хорошо помнил звук, когда брусками правили косы, и звук, когда жало косы врезалось в траву; но вместо привычного «вжиг, вжиг» доносились с луга иные звуки, и не было ни косцов, ни красивых движений, но это новое (по крайней мере, для него), что открывалось ему с холма, имело свою привлекательную сторону и вызывало в душе то же волнение, как в детстве, когда он еще в Старой Мнихе вместе с братьями выезжал на покос. Ему хотелось теперь тоже приложить к чему-то руки, и он спустился на луг; но работы для него не было, и он только стоял и смотрел, как управлялись со своим делом Степан и Павел.

Когда загон был завершен, трактора подогнали к подножью холма, и Павел, кинув рукой в сторону сосны, пошел к ней и лег в тени на траву, на спину. Следом за ним поднялись Степан и Сергей Иванович. Степан присел рядом с Павлом и закурил; загорелое лицо его, как и лицо Павла, было в крапинках пота. Но ни он, ни Павел, казалось, не были возбуждены работой, тогда как Сергей Иванович, и он не скрывал это, был взволнован и то и дело поглядывал на скошенный ими луг.

— Что? — перехватив его взгляд и приподнявшись на локте, спросил Павел. — Много?

— Не то слово «много», а просто...

— Поотстал ты, вижу, от жизни, — как будто зная наперед, что скажет Сергей Иванович, и потому перебивая его, заметил Павел. — И порядком. Это ведь мы с ленцой, с прохладцей, так я говорю, а? — Он посмотрел на Степана и подмигнул ему.

— Да что там, — отозвался Степан.

— Видишь ли, — начал было Сергей Иванович, но Павел опять перебил его.

— Другое дело, трава нынче, — сказал он. — Тут косой не протянул бы, отмахал плечи. Слышь, Илья-то что вчера говорит, — снова ложась на спину и обращая эти слова к Степану, продолжил Павел. — Говорит, правые-то ножи снял бы.

— Чего это он?

— Не возьмишь, говорит, таким захватом, мотор надорвешь. Травы-то, говорит, видел? А я говорю: что травы! А сам-то, слышь, третьего-то дня приходил сюда. На рекогносцировку, — добавил он. Это уже относилось к Сергею Ивановичу, но он ничего не ответил Павлу. Он только видел, что и Степан, как и Павел, лег на спину и разбросал по траве тяжелые руки; и ничего дороже и приятнее, наверное, не было для них теперь, чем эти минуты покоя. Сергей Иванович тоже посмотрел вверх, куда смотрели они; небо за ветвями было голубое, высокое и спокойное, было то самое небо, как ему показалось, какое

видел он в детстве и какого с тех пор, как уехал из Старой Мнихи в военное училище, больше никогда не было для него. Он перевел взгляд на лежавших Степана и Павла, на луг, скошенный ими, над которым струилось теперь густое (оттого, что подсыхала трава) марево, и опять сквозь сосновые ветки взглянул на небо; да, оно было то самое, что жило в его памяти за листьями, ветвями и птичьими гнездами, и живо напомнило ему тот мир, по которому он давно уже не тосковал, но который теперь со всеми красками прошлого юношеского восприятия вернулся к нему; он подумал, что целостность того мира с годами была растрочена и утеряна, что в столкновениях с людьми и жизнью исчезало в характере одно и появлялось другое — раздражительность, недоверие, замкнутость, и появилась в конце концов пустота, с чем он приехал сюда, в деревню; но сейчас он чувствовал, что в душе его происходило будто наполнение, которое началось даже не теперь, не в эти минуты, а раньше, вчера, позавчера, с первого же дня, как только он поселился в доме Павла. Он чувствовал это душевное наполнение и чувствовал беспокойство от него; но ему казалось, что беспокойство происходило от другого, просто оттого, что он видел вокруг простор, который начинался у его ног, и видел скошенный луг, и небо, и Павла со Степаном, лежавших на траве рядом с ним. Он находил необыкновенное во всем том, что окружало его, тогда как это окружавшее было лишь обычным и естественным течением деревенской работы и жизни, и Павел, как и прошлым и позапрошлым, наверное, летом, когда приезжал косить сюда, — точно так же теперь, отдохнув, поднялся и, никому не говоря ничего, пошел к роднику. Сергей Иванович не знал, что внизу был родник; когда час назад он поднялся на холм, заметил только кудрявившиеся кусты тальника и траву, зеленее и гуще росшую вокруг кустов; теперь же он видел, как Павел, раздвинув кусты и наклонившись, доставал из воды бутылки с молоком; когда он принес их под сосну, с бутылок и рук его еще сбежали и падали в траву светлые капли.

V

После обеда Степан и Павел перебрались на другой загон, который был скошен ими еще четыре дня назад и где сено лежало уже в валках, и начали метать стог. Павел сидел на тракторе. Огромными механическими вилами он сгребал сухо шелестевшие валки в копны, подхватывал их и подавал наверх Степану, который укладывал и вершил стог. Сергей Иванович, так как ему непременно хотелось включиться в работу, ходил вокруг стога и подгребал падавшее сено. То, что происходило вокруг него, опять было непривычно и ново ему, и не только оттого, что он давно не жил в деревне и не бывал на сенокосе; непривычен был сам процесс работы, когда не суетились по лугу мальчишки на лошадях, не было ни волокуш, ни женщин с граблями и вилами и мужиков, ни веселого людского гомона, каким всегда сопровождаются артельные работы, а только слышалось, как ворчал, то набирая обороты, то сбавляя их, маленький красный «беларусь», словно муравей, подвозивший к стогу больше себя по объему и, казалось, тяжелее себя охапки сена. «Беларусь» этот издали казался живым и разумным существом, понимавшим, что и когда ему надо было делать; Павла же не всегда можно было разглядеть за рулем.

Степан и Павел работали молча, так же, как они утром косили луг, когда Сергей Иванович с холма смотрел на них; как и утром, они были без пиджаков, в рубашках, которые прилипали к телу, и лица их выглядели рябыми от сена, пыли и пота. Рубашка Сергея Ивановича

ча тоже была мокрой, а лицо в сене, пыли и поту, но он, как и Степан и Павел, не замечал этого; постепенно он перестал обращать внимание и на непривычную малолюдность, которая вначале удивляла его, и все более погружался в то состояние, когда ему не надо было ни о чем думать, и когда все, что он делал, было неоспоримо нужным и значительным. Когда подъезжал на стогометателе Павел, Сергей Иванович, опершись на вилы, весело и довольно смотрел на него; затем переводил взгляд на подвезенную им копну и начинал следить, как эта копна, вздрогнув, медленно ползла вверх, где на стогу с дирижерски вскинутой рукой поджидал ее Степан; как только копна достигала нужной высоты, Степан взмахивал рукой, кричал: «Давай!» — копна соскальзывала на стог с железных вил, «беларусь» отъезжал, и Сергей Иванович принимался торопливо подгрести рассыпанное сено. В повторявшейся работе был свой ритм и своя, понятная не только Павлу и Степану, но, казалось, в еще большей степени понятная Сергею Ивановичу красота, которая как раз и вызывала в душе его радостное возбуждение. Ни саднившие от лопнувших мозолей ладони, ни затекавшая с непривычки спина — ничто не могло испортить этого настроения. Все вокруг было наполнено запахом сена, и даже пыль, поднимавшаяся каждый раз, когда «беларусь» разворачивался возле стога, не только не раздражала и не только не напоминала той неприятной и медленно оседающей дорожной пыли, какая часами иногда висит над проселками, — пыль из-под колес «беларуса» была иной, луговой, и, казалось, была вся пропитана сухой травой, ветром и солнцем. В минуты, когда Сергей Иванович отдыхал, оставив вилы и разогнув спину, он особенно чувствовал, как свободно и легко дышалось ему здесь, на лугу; он смотрел на Степана и Павла с той завистью, как будто ему дали попробовать пирога, который понравился ему, и он видел, что те, кто одарил, имели этого пирога вдоволь и глазами и выражением лица говорили ему об этом. Ему теперь и в голову не приходило, что и Павел, и Степан не испытывали того чувства, какое испытывал он, и что все происходившее было для них так же естественно, как для него московская квартира, письменный стол у окна, рукопись, газеты и книги на нем; он старался уловить в движениях их и во взглядах то восхищение, какое владело им, и, казалось, видел это восхищение, тогда как Павел и Степан всего лишь, оглядываясь на него, подбадривающе кивали ему. Им надо было до вечера закончить стог, и не только потому, что так утром распорядился бригадир; с запада по небу наплывали серые облака, и хотя они были редкими и ничто еще как будто не предвещало дождя, но для Павла и Степана, как для большинства деревенских людей, привыкших определять погоду по разным, иногда еле уловимым приметам, облака эти были нехорошим предвестником; если не с вечера, то в ночь непременно должна была разразиться гроза, и они, не говоря между собою об этом, оба чувствовали приближение ее и потому работали спорно, и желание их вовремя завершить стог передавалось Сергею Ивановичу, который смотрел на сгущавшиеся облака не с тревогой, а с радостью, что они заслоняли собою солнце и нагоняли на луг освежающий холодок.

Проверить, как идет работа, приезжал на луг бригадир Илья. Сергей Иванович видел, как он на рессорке подъехал к «беларусю» и, не слезая с нее, стал о чем-то спрашивать Павла, который, впрочем, тоже сидел на тракторе и не глушил мотора. Вслед за бригадиром, едва рессорка его скрылась из виду, подъехали к стогу секретарь партийной организации колхоза Калентьев и корреспондент (от какой газеты, Сергей Иванович не расслышал) Геннадий Тимонин. Степан не захотел спускаться со стога, и Тимонин разговаривал с Павлом. Сергей

Иванович не столько прислушивался к тому, о чем они говорили, сколько присматривался к корреспонденту, который был молод и был по виду своему совершенно отличен от Павла и Калентьева. На нем была белая рубашка, и рукава ее не были засучены, в манжетах, когда он поднимал руку, открывались большие серебряные запонки с камнями, которые вдруг вспыхивали и так же вдруг угасали, в зависимости от того, как падало на них солнце. Густые, темные и низко подбритые виски придавали лицу его то знакомое Сергею Ивановичу выражение ложной интеллигентности, какое еще с армейских лет он не любил в людях; и он видел (именно по этому выражению), что Тимонина вовсе не интересовало то, о чем он спрашивал Павла.

— Ну, поговорили? — с добродушной улыбкой, потому что ни о чем он не мог сейчас думать иначе, сказал Сергей Иванович, как только корреспондент и парторг уехали с луга.

— С земляком-то твоим, с москвичом? — отозвался Павел.

— Он разве москвич?

— А как же. К нам ниже не присылают. У нас теперь что ни кампания, то и корреспондент, — добавил он. — Хоть посевная, хоть уборочная, хоть сенокос. — Он произнес это так, что трудно было разобрать, как он сам относится к сказанному, и, не обращая больше внимания на Сергея Ивановича, вернее, не желая, как видно, тратить время на то, что представлялось ему явно бесцельным и бессмысленным (на разговор Павел смотрел так же, как на любое другое дело — стоило ли продолжать, если не было в нем смысла?), снова сел на трактор и до конца, пока не был завершен стог, не проронил ни слова. — Ну вот и управился, — сказал он, сматывая веревку, по которой Степан Шейн только что спустился со стога. Степан со следами высохшего пота на лице, задирая голову, обходил и осматривал стог. Стог был сметан красиво, и он видел это (и видел, что это же видели и Павел и, главное, Сергей Иванович, который был для него не просто родственником Лукьянова, но полковником, приехавшим отдохнуть в Мокшу), но ему не хотелось выглядеть самодовольным, и потому, осматривая стог, он хмурился, мысленно отмечая то, что не было заметно другим, и Павел, понимавший это, искоса и с улыбкой наблюдал за ним.

VI

Долго, неторопливо опускались на землю летние сумерки, и оттого незаметно было, как все скрашивалось вокруг в один темный холодный цвет: и река, и сосновый бор, и стог, от которого удалялись, оглядываясь на него, Степан, Павел и Сергей Иванович, и дорога впереди, на которую они должны были выйти, обогнув овсяное поле, и бревенчатые избы вдаль с черными полосками жердевых оград вдоль огородов, и небо над всем этим вечеряющим простором, где-то высоко-высоко еще хранившее светлые краски дня. Между облаков кое-где видны были белесые пятна, пахло сеном, близким дождем и еще тем запахом, каким обычно наполняются июньские ночи — от зацветших хлебов; этот запах как бы стеною надвигался сейчас от овсяного поля, мимо которого все трое теперь проходили, и Сергей Иванович, не знавший, что пахнут овсы, а лишь чувствовавший, что на чем-то особенном словно настоян сырой вечерний воздух, то и дело, останавливаясь (он шагал позади шурина и Степана), удивленно смотрел по сторонам. Он был все в том же веселом настроении, как он помогал вершить стог, и усталость еще не беспокоила его; ему казалось, что день для него был настолько целостным и счастливым, что он не

помнил, когда еще выпадал ему в жизни такой день. К чему бы ни возвращался он мысленно: к тому ли, как стоял и смотрел на луг, который словно прикатывали (именно это впечатление осталось у него) на тракторах Степан и Павел, к тому ли, как впервые глянул на синее и чистое поутру небо, когда сидел под сосною на холме, а рядом, разбросав по траве тяжелые руки, отдыхали все те же Степан и Павел (ему казалось, что то понимание деревенского труда и жизни, какое было в нем теперь, началось именно с минуты, когда он взглянул сквозь ветви на небо), или к тому, как метали стог (куда входил и приезд бригадира, и приезд корреспондента, который сейчас, когда Сергей Иванович не видел его, не вызывал в нем того неприязненного чувства, как на лугу, у стога),— все одинаково волновало Сергея Ивановича, было ново и было дорого теперь ему. Он шагал молча, как Степан и Павел, но молчания этого он не замечал; оно не было ни тягостным, ни утомительным для него, потому что в душе его происходило то движение самых разнообразных мыслей, которое целиком поглощало его; позднее, когда он будет вспоминать, как возвращался в этот вечер с сенокоса, ему будет казаться, что между ним, Павлом и Степаном все время происходил оживленный разговор и что сам Сергей Иванович не только слушал, но и высказывал разные соображения относительно жизни в деревне. Он обычно любил утверждать, что человеку всегда хочется то, чего у него нет; но в этот вечер он был совершенно противоположного мнения и с привычной убежденностью говорил себе, что нет, человеку хочется не то, чего у него нет, а то, что разумно и что составляет истину жизни. Истина же представлялась ему в простоте, какую он видел в Степане и Павле. «Я осуждал шурина, но сейчас я завидую ему, вот как все обернулось»,— мысленно произносил он, все более проникаясь незнакомым ему прежде уважением к Павлу.

Как только вошли в деревню, Степан, остановившись, начал прощаться с Павлом и Сергеем Ивановичем. Павлу, как человеку своему, близкому, с которым виделся каждый день, сказал лишь: «До завтра», а Сергею Ивановичу, желая, как видно, выказать уважение ему, протянул руку и крепко стиснул его красные и опухшие от мозолей пальцы.

— А ты жилистый,— сказал затем, тряся его руку.— Жилистый,— повторил тут же как похвалу это слово.

Сергей Иванович не отвечал, а только улыбался, глядя на черное в сумерках лицо Степана; улыбался бессмысленно, глупо улыбкой, так как, в сущности, не воспринимал ничего, что говорил ему Степан, а лишь, чувствуя боль в пальцах, думал о том, чтобы поскорее кончилось это прощание; но вместе с тем и не высвобождал руку, потому что не хотел разрушать общего хорошего, как ему казалось, настроения. Он на все смотрел сейчас не так, как было привычно ему,— со строгой реалистичностью, как свойственно это всем военным или бывшим военным,— а совсем иными глазами, и все, что видел, оборачивалось доброю в его отошедшей, как сказал бы Павел, смягченной душе; он на все как бы накладывал те чувства, какие наполняли его самого, и оттого Степан представлялся ему (как и шурина) вершиною доброты, благородства, тем совершенством, какое только мог когда-либо вообразить себе Сергей Иванович. Совершенство это, он бы не взялся объяснить, в чем оно состояло, а только чувствовал, что оно было; было теперь и было час, два и три назад, во все время дня, сколько общался со Степаном Сергей Иванович. Так ясен и прост был взгляд Степана, и так бесхитростно и прямодушно выглядело его лицо со следами высохшего пота (следы эти хотя и с трудом, но можно

было еще различить в сумерках), что нельзя было не сделать того вывода, к какому приходил Сергей Иванович. Хотя все было не столь весело, как это казалось ему, и не всегда Степан оставался таким, как теперь, и немало разных забот было у Степана и у Павла, о которых они не говорили сейчас лишь потому, что не было никакой нужды в этом,— для Сергея Ивановича, не знавшего глубины их жизни, все представлялось простым и красивым, как избы вокруг, палисадники, огороды, на которые он смотрел. «Хороший мужик»,— сказал он Павлу про Степана, когда уже шагали вдвоем с шурином и так же молча, как только что шли до этого. Павел согласно кивнул головой и не поддержал разговора, потому что его занимали свои мысли. Он думал о Борисе, как тот сдал сегодня очередной экзамен, думал о черной с белыми пятнами комолой корове Машеньке, которая была куплена им недавно, прошлой осенью, но у которой отчего-то уже вторую неделю гноились глаза, и надо было вести ее к ветеринару, и надо было выкроить время для этого, которого теперь, когда шел сенокос, не было у него, и думал еще, что в тракторной косилке его ненадежен шатун, что он сказал об этом бригадиру еще вчера, но механик не был прислан, и что оттого утром завтра снова придется идти к Илье и объяснять все; он думал еще о разных других вещах, которые предстояло сделать либо завтра, либо послезавтра, а прожитый день был для него самым обычным и не имел и не мог иметь того значения, какое имел он для Сергея Ивановича.

— Ну как Борис? — спросил он у жены, как только, войдя во двор, подошел к летней печке, возле которой сутились и хлопотали Екатерина и Юлия.

— Мы уже порадовались и поздравили.

— Пятерка? Молодец. Валя, Валюша, ну-ка слей мне,— сказал он, сбросив пиджак и снимая давно высохшую на нем и жесткую от пота рубашку.

Хлюпался Павел с удовольствием, как всегда, любил, приходя с работы по вечерам, подставлять спину и шею под холодную воду; потом он ходил в сарай с фонарем смотреть Машеньку и, вернувшись, долго еще молча и озадаченно покачивал головой.

Сергею Ивановичу поливала Юлия; полная, дышавшая тяжело и неровно, она поминутно просила его наклониться ниже, чего он не мог сделать, так как теперь, после той приятной усталости, какая как бы разливалась по телу, когда он шел с луга в деревню, все в нем будто деревенело, и ему трудно и непосильно было наклониться ниже; когда же он взял в руки мыло, пальцы начало так щипать, что он, тут же выбросив мыло на траву, крикнул Юлии:

— Лей же, лей скорее!

— Что с твоими руками? — спросила Юлия, наклоняясь и разглядывая красные и еще более, чем час назад, опухшие пальцы Сергея Ивановича.— Ну-ка к огню,— попросила она, и возле печи она еще яснее увидела, что было с его руками.— Господи,— воскликнула она,— ты что же это наделал? Павел, Катя,— позвала она в растерянности, не зная, как и чем теперь можно было помочь мужу.

Павел не захотел смотреть на пальцы Сергея Ивановича и сказал, что ничего делать не нужно, что все это в порядке вещей и заживет само собою, и что, главное, не следует обращать на это внимание; Екатерина же посоветовала приложить к лопнувшим мозолям листья подорожника и перевязать пальцы, что и было немедленно исполнено, и за ужином Сергей Иванович сидел с перебинтованными руками, усталый, но счастливый и довольный прошедшим днем. Он разговаривал оживленнее и больше всех. Младшие в семье Лукьяновых зага-

дочно переглядывались за столом, слушая его; белые в бинтах руки Сергея Ивановича вызывали в них тот, казалось, беспричинный смех, от которого они сдерживались с трудом и только под сердитыми взглядами отца и матери. Им странно и непривычно было, как можно покласть (это слово весь вечер повторяла Юлия) работу руки, воображению их рисовалась картина, как все могло быть, которая как раз и вызывала смех, и смех этот невозможно было остановить. Лишь Борис, давно и старательно «вырабатывавший в себе дипломата» (как он сам понимал это), держался так, словно ничего не произошло в этот вечер, не было ни распухших, в бинтах рук Сергея Ивановича, ни того, что сам он получил на экзамене пятерку, за которую все сегодня хвалили и поздравляли его. «Все это только начало,— как бы говорил он всем своим видом, как он сидел за столом и держал нож и вилку,— я еще не сделал и десятой доли того, что могу». Но вместе с тем как он стремился держаться строго и с равнодушием ко всему, он то и дело под столом тыкал кулаком то меньшего, Александра, то Петра, и когда Александр или Петр с недоумением и обидой говорили ему: «Ты чего?» — отвечал тихо, не поворачивая головы: «Сам знаешь». Несколько раз Павел одергивал расшалившихся, как ему казалось, ребят; но сам он тоже не мог без улыбки смотреть на перебинтованные руки Сергея Ивановича и не подшучивал над московским родственником только потому, что не хотел обижать всерьез озабоченную Юлию. Для Сергея Ивановича же все происходившее за семейным столом было лишь продолжением того, что было днем, и он смотрел на всех теми же добрыми, как и на Степана во время прощания, глазами; он был в центре внимания всех, и это нравилось ему.

— Ты знаешь, к какому заключению я все больше и больше прихожу здесь у тебя, в деревне,— говорил он Павлу, мягкостью и задушевностью как бы подчеркивая то особое философское значение, какое он придавал теперь своим словам и какое непременно должен был уловить шурин.— Мне кажется, что человечество что-то теряет с ростом прогресса. То есть что-то приобретает, но и что-то теряет. Я думаю, ты меня правильно поймешь. Самолеты, трактора, машины — все это замечательно, все нужно; и большие города — все, все, но как это все совместить с тем, что теряет при этом человечество? Конечно, и железо и бензин — все материя, природа, но ведь при этом исчезает естество, суть, которую, очевидно, тебе, живущему здесь, в деревне, среди простора полей, понять трудно.

Большой деревянный стол, сколоченный из досок и колеб, за которым Лукьяновы ужинали и пили теперь чай, стоял прямо во дворе, и висевшая над ним электрическая лампочка освещала самовар, чашки с блюдами, хлеб и мед в сотах на блюде, отливавший янтарем, к которому то и дело тянулись Александр и Петр. Эта же электрическая лампочка освещала и лица сидящих, так что все хорошо видели друг друга. Сергей Иванович, говоря о просторе полей, разводил перебинтованными руками так, будто хотел раздвинуть желто-сосредоточенный над столом пучок света, распространить его на весь двор и дальше на все, что синевую стелилось и горбилось за оградой двора. Было тихо, безветренно, как бывает только перед теплым летним грибным дождем, и в этом безветрии еще сильнее, казалось, пахло с полей цветущими хлебами; потому что под самую деревню росли овсы, более пахло овсами, и этот знакомый уже Сергею Ивановичу запах, перемешанный теперь с запахами двора, избы, коровника и превшего навоза за коровником, вызывал новое оживление; не сознавая и не замечая за собою ничего, он то и дело оглядывался (как оглядывался, когда шагал с луга мимо овсяного поля), как будто можно было увидеть, откуда брался этот удивительный, в котором так легко дыша-

лось; воздух; но за спиною его была лукьяновская изба, темные контуры которой лишь смутно угадывались в густой черноте ночи. В соседнем дворе так же гудел огонь в летней печи и горела электрическая лампочка над столом; огни видны были по всей деревне, и слышны были голоса и звуки открывавшихся дверей и ворот, и еще какие-то, которых Сергей Иванович не мог определить, но которые, сливаясь в одно целое, составляли жизнь укладывавшейся спать деревни.

— Может быть, я чего-то не понимаю,— продолжал Сергей Иванович, прислушиваясь ко всему этому затихающему шуму деревни и прислушиваясь к себе, к тому расслабленному течению чувств, какое приятно было ощущать ему.— Может быть, я думаю, не старость ли подошла ко мне, но... что-то несовместимое есть в нашей жизни, от какого-то берега мы оттолкнулись, плывем, и солнце тепло пригревает нас, но ведь чем ближе к солнцу, тем оно горячее, и уже не хватает воздуха, и надо обратно, а жизнь обратного хода не имеет. Нет обратного хода у жизни, нет, и это страшно.

— Ты что же, как я тебя понимаю, против прогресса? — спросил Павел.

— Нет. Я за прогресс, но я и против него. Понимаешь, и за и против.

— Ты хочешь, чтобы мужик снова взялся за соху, как раньше?

— Нет.

— А чего тогда?

— Не в сохе дело. Я не зову к прошлому. Никто из нас не может отказаться от того, к чему мы идем, потому что прогресс дает человечеству определенные блага. Но он же, прогресс этот, и отнимает у человечества многое, и, если оглянуться, отнимает еще больше, чем дает. Одно мы приобретаем, другое утрачиваем; и стоит ли приобретенное утраченного — вот вопрос, над которым следует задуматься. Но мы не задумываемся, потому что некогда нам оглянуться. Да, да, некогда.

Он продолжал еще о том же, не давая возразить Павлу, и был настолько увлечен и уверен в своей правоте, а суть вопроса представлялась ему такой простой и ясной, что он даже не пытался объяснить, что же, в конце концов, приобретает и что теряет человечество с ростом прогресса; он восторгался жизнью Павла и всей той жизнью, какую увидел в Мокше, и ничего не хотел слышать противного этому своему мнению. Когда Павел, не любивший и не желавший спорить, улыбаясь, сказал, что утро вечера мудренее и что пора спать, Сергей Иванович с неохотою вылез из-за стола. Он давно не чувствовал себя так весело и естественно, как в этот вечер, и ему хотелось говорить и говорить с Павлом; может быть, именно потому он отказался спать в избе и попросил постелить себе вместе с шурином на сеновале. Он с удовольствием взбирался в темноте по крутой жердевой лестнице под старую, пахнущую сухой прелью и прошлогодним сеном тесовую крышу, с удовольствием укладывался на тулупе, который был дряхл, потерт и давно уже никем не надевался, а служил подстилкою вместо матраса; в густой чердачной сини не было видно, каков был тулуп, да Сергею Ивановичу и не важно было это; он лишь почувствовал, проведя торчавшими из-под бинтов пальцами по нему, что спать будет тепло и уютно, и с удовольствием растянулся на нем.

В то время как Павел, влезший на сеновал вместе с Сергеем Ивановичем, заснул сразу же, успев произнести только: «Спокойной ночи», Сергей Иванович долго лежал с открытыми глазами, и все пережитое и передуманное за день и вечер по новому кругу и с новой теплотою возвращалось к нему. Он думал, что как ни круты были пе-

реломы в деревне, но жизнь людей пришла в конце концов к тому разумному, к чему она не могла не прийти; ему казалось странным, как он прежде (до сегодняшнего вечера) мог верить тому, что порою говорилось о деревне, вокруг которой из года в год возникали какие-то страсти и споры. Он как будто ясно видел теперь, что то, что было страстью и спорами (поднимавшимися людьми, чаще всего такими же далекими, как и он, от деревни), жило отдельно от села, само собою и преследовало, как видно, свои цели, не имевшие ничего общего с государственными. Ему легко было думать так, что жизнь выравнивает все, какие бы шероховатости ни появлялись на ней, и что рано или поздно, а все становится на свои места, и никто и ничто не может воспрепятствовать этому. «С матерью... ну что же, все естественно,— думал он.— С дочерью... все еще решится и станет на свое место». Он не замечал, как отдавался течению, которое, подхватив, несло его, и он только чувствовал, что ему не надо прикладывать никаких усилий, чтобы держаться на этом теплом стрежне; он и заснул с ощущением этой теплоты и уюта, и пошедший к полуночи дождь и удары грома, катившиеся над крышей, не были слышны ему.

VII

Все это время, пока шел сенокос, Сергей Иванович был оживлен и весел; руки его зажили, очерствели, и он с утра и до вечера пропал с Павлом в поле. То он лежал в тени на траве, когда шури́н со Степаном косили очередной загон, и с удовольствием смотрел, как трудились на лугу трактора; то брал вилы, когда начинали копнить и метать стог, и с каждым днем, втягиваясь в работу, находил все большее удовлетворение в ней. И хотя он уже не восторгался, как в первый свой выход, ни луговым запахом трав, ни простором вокруг, ни той простотою, какую встретил в Павле и Степане и какая поразила его, но от того чувства удивления, какое всколыхнуло его, как от моторной лодки, проплывшей по озеру, остался в душе разбегающийся волнами след, который, чем больше проходило времени, тем отчетливее, однако, был замечен в нем. Он вставал рано, как и Павел, но вполне пробуждался ото сна лишь за околицей, когда последняя изба деревни оказывалась за спиной, а впереди открывалась луговая даль и рассвет, уже захвативший своею краскою большую половину неба. На реке, у воды, возникал туман; было хорошо видно, как белые клочья его, отрываясь и перемещиваясь, тянулось по низине и песчаному откосу к бору. Трава по обочинам тропинки, по которой Сергей Иванович обычно шагал следом за Павлом, была обильно покрыта росой, так что ноги промокали, и оттого было неприятно идти; но это неприятное забывалось сразу же, как только выходили к овсам, серебристые метелки которых, казалось, простирались до самого горизонта; ими нельзя было не любоваться, потому что, как это тоже казалось Сергею Ивановичу, как раз от них и исходил тот утренний свет, которым была заполнена большая половина неба. У самых овсов он обычно останавливался и смотрел, как раскачивалось и колыхалось волнами поле, и в эти минуты особенно остро чувствовал, что жизнь — это не только ощущение самого себя, что она вокруг и во всем, и в этих влажно шелестевших перед ним овсах, со своею радостью, бедою, своим сознанием пробуждающегося дня. Он не сравнивал то, как по утрам из окна московской квартиры он смотрел на тусклое и теперь представлявшееся ему жалким и не теплым солнце, которое выплывало из-за серого ствола Останкинской башни и повисало над Марьиной рощей и над корпусами «Станколита», желтый угольный дым от которых, когда ветер дул с востока, стелился иногда до самых Никит-

ских ворот, с тем, что видел перед собою теперь, но он ясно сознавал, что живет здесь, в Мокше, иной жизнью, чем жил в Москве, и эта, и на я, все более и более привлекала его; он не сравнивал, какие мысли занимали его в Москве и чем вообще были заняты люди в столице (как он понимал это), с тем, какие мысли приходили ему теперь и чем вообще жили люди в деревне, но ему ясно было, что существуют два мира: тот, от которого он уехал, мир суеты, бессмысленных страстей и надежд, в который (как теперь с усмешкою думал Сергей Иванович о себе) был вовлечен и он, и этот, деревенский, где не было ни ложных устремлений, ни суеты, а было лишь дело, работа, в каждом своем движении имевшая смысл и значение. Все это настолько казалось очевидным ему и было так просто, что он удивлялся, как он прежде мог не знать этого; он еще больше удивлялся, когда видел, что ни Павел, ни Степан не понимают и не поддерживают его. Он судил о деревне, исходя лишь из того, что было вокруг него; ему нравились восходы, роса, туман над рекой, вид приютившейся у речки деревушки и хлебные поля, со всех сторон обступившие ее, нравилось то, что было близко и дорого каждому русскому человеку и что никого не может оставить равнодушным, и это представлялось основой деревенской жизни; он восхищался красотой земли, как восхищаются иногда красотой платья, видя в ней главный смысл и значение всего, тогда как жизнь Павла и Степана состояла не только из того, что было вокруг них; жизнь их была полна разных и скрытых от первого взгляда забот и волнений, была по-своему суетна и оттого не казалась им легкой и красивой. Павел не мог понять Сергея Ивановича уже потому, что сыновей своих и дочерей (как это бывает обычно во многих простых семьях) мечтал вывести в люди, а выйти в люди, по его понятиям, можно было только в городе, где все было совершенно иное, чем в Мокше, где были государственные учреждения и должности, дававшие положение и достаток; он радовался за Романа, который учился в Пензе, и с еще большей радостью и гордостью думал о Борисе, который собирался в Москву, в Институт международных отношений, и вся радость и гордость его как раз и заключались в том, что дети его будут жить по-иному, чем он, сытнее и лучше. У Степана сын тоже учился в Пензе, а дочь заканчивала десятый и готовилась в институт, он тоже считал, что должен вывести своих детей в люди, и оттого слова приехавшего погостить в деревню отставного полковника тоже вызывали на лице его улыбку; он не вступал в разговор, но смотрел иногда на Сергея Ивановича так, будто перед ним стоял человек, который, глядя на воду, утверждал, что это вовсе не вода, а нечто такое, что может быть одновременно и сливочным маслом, и хлебом, и сахаром, и что странно, что этого не могут понять другие.

— Ты агитировать нас приехал, что ли,— сказал как-то ему Павел, когда Сергей Иванович в очередной раз завел разговор о Мокше. Был тот полуденный час, когда все трое отдыхали в тени под скирдою и на разостланной газете лежали хлеб, банка рыбных консервов, бутылки с молоком, только что взятые из родника.— Нас ведь агитировать нечего.

— А я и не собираюсь.

— То хорошо, это хорошо...

— Конечно, у вас все прекрасно, куда ни взгляни, душа отдыхает.

— Что такое душа, я не знаю,— заметил Павел,— а вот что такое жизнь, тут мы,— он кивнул Степану, как бы приглашая его в сообщники, и Степан охотно и тоже кивком поддержал его,— что такое жизнь, мы как-нибудь знаем. Ты расхваливаешь деревню, а сам небось живешь в Москве. Погоди, погоди,— увидев, что Сергей Ивано-

вич намерился что-то возразить ему, сказал Павел, — третью неделю я тебя слушаю, а теперь ты послушай меня. Если принять твои рассуждения за правду, то выходит, что дети колхозников, наши дети, должны оставаться в деревне, потому что здесь ах как хорошо, и хлеба по грудь, и травы, и человек меньше испорчен, нравственно чист, говоря по-книжному, а дети академиков пусть остаются там, при своих академиях, потому что там хуже, ни лугов, ни пашен, ни нравственной чистоты.

— Ты что говоришь?!

— Я знаю, что говорю. Я вот думаю: ну приезжие пишут так, вроде Тимонина, давешнего корреспондента, видел, с него что взять, но ты-то, ты? Зачем ты втолковываешь нам это, какая у тебя корысть?

— Да ты что? — возмутился Сергей Иванович. — Я совсем не о том. Я говорю о человечестве вообще, которое забыло естество свое. Я вообще о всех людях, ну как же, как ты все повернул. — Он посмотрел на Павла с тем выражением недоумения, какое больше, чем любые слова, говорило, что он действительно и в мыслях не держал того, что приписывал ему теперь шурин. — Я думал о всех нас, для меня нет различия...

— Ну-ну, — отозвался Павел. — Кабы так-то. А то у нас: что ни из города, то и восторгов воз, а ведь другой наговорит, наговорит, а ночевать не хочет оставаться в деревне, подавай ему машину по меньшей мере хоть до райцентра. Вот, скажи, Степан.

— Да что там, — согласился Степан.

Разговор этот был неожиданным и неприятным для Сергея Ивановича; и хотя как будто никакой видимой ссоры не произошло, осадок, какой остался в душе, был нехорошим и тягостным; удручало, главное, то, что он чувствовал, что был прав, что в суждениях его есть истина, которая так очевидна и которую даже нечего объяснять, но как только затевал разговор с Павлом, вся ясность сейчас же пропадала, он смущался и чувствовал бессилие что-либо доказать ему. Смущали не возражения шурина, а холодность и отчужденность, с какой тот произносил слова. Постепенно Сергей Иванович начал чувствовать, что он лишний в обществе Степана и Павла, и продолжал ходить с ними на сенокос лишь потому, что неудобно было ему перед Юлией, которой в первые вечера с восторгом рассказывал о своей работе (и она радовалась, видя этот его душевный подъем) и которой пришлось бы объяснять теперь, отчего он не пошел на луг, а остался дома. Он продолжал еще восторгаться всем тем видом пашен, лугов, рекою и сосновым бором, который в разное время дня и утра менял краски; то был светел и чист, когда солнце, стоявшее в зените, словно сквозь белую кисею пронизывало его от вершин до земли, то был темен и мрачен, когда облака застилали небо, то представлялся издали глыбою малахита с черными прожилками стволов, когда закатное солнце, скользя лучами от горизонта по серебристым овсам, заливало молодые и старые сосны, но восторгался уже молча, про себя, и чаще не потому, что действительно возникало в нем теперь это чувство, а из упрямства, что он был прав перед шурином. Он ждал только, когда закончится сенокос, чтобы уединиться и чтобы была видимая причина для этого; он избегал теперь лишних разговоров и рад бывал, когда, лежа где-нибудь на траве под скирдю, молча смотрел на полуденное выгоревшее небо.

Для Павла не было ничего удивительного в том, что Сергей Иванович со дня на день становился все молчаливее; привыкший не к разговорам, а к делу, он большей частью забывал о московском своем родственнике; Сергей Иванович представлялся ему, как и Степан, лишь соучастником труда, точно так же, наверное, как волы, впряженные

В одно ярмо, чувствуют друг друга; ему даже приятно было, что Сергей Иванович меньше теперь говорил, а больше работал вилами, и он видел в этом хороший признак. Юлии тоже казалось, что Сережа ее, как она ласково называла мужа, особенно в разговорах с Екатериной (жизнь ее у Лукьяновых, впрочем, только и состояла из этих разговоров), наконец вошел в норму, успокоился, и оттого сама она, получавшая к тому же утешительные письма от дочери, которые тут же по вечерам прочитывала мужу, была весела и спокойна. Как и Сергею Ивановичу, ей нравилось, как жили и вели дом Лукьяновы, главное, Екатерина, успевшая за день переделать сотни разных дел. «И все сама, всюду сама», — не переставала удивляться и восторгаться ею Юлия. Но себе она не хотела такой жизни. «Я привыкла к другому, — говорила она. — Я не смогу так». Но ей было спокойно здесь, в Мокше, потому, что у нее не было цели, к чему бы она стремилась, как, впрочем, не было цели и в Москве, кроме того, что она хотела видеть дочь пристроенной и счастливой; Наташины письма как раз и давали теперь ей пищу для сознания этого дочернего счастья. Ей не казались долгими дни, которые она просиживала в доме брата, тогда как Сергей Иванович уже тяготился своим пребыванием в деревне. В то время как он сам все более отчуждался от Павла, все происходившее между ним и шурином представлялось ему совсем в ином свете, как будто бы Павел сторонился и обходил его; незаметно, но с каждым днем все сильнее разрасталось в нем то чувство соперничества, какое всегда жило в Сергее Ивановиче по отношению к шурину; и потому, что у того росли сыновья, и сыновья были красивыми, крепкими и умными, которыми нельзя было не гордиться, и потому, что Павла не мучили никакие проблемы, что он был более свободен в жизни, на все смотрел просто, и все это давало ему определенные и очевидные теперь для Сергея Ивановича преимущества, которые Павел, однако, позволял себе не только не ценить, но и не замечать вовсе; это чувство соперничества было сейчас особенно неприятно испытывать Сергею Ивановичу, потому что он не мог, как прежде, с легким и спокойным сердцем осуждать Павла, как и всю деревенскую жизнь, какой она в этот приезд его в Мокшу открылась ему; сознание, что не Павел был неудачником, а скорее неудачником оказался Сергей Иванович со своей отставкой, пенсией и всей своей московской жизнью, которой он прежде часто гордился, делало его раздражительным, и чтобы не вспыхнуть и не наговорить резкостей Павлу, он и стремился теперь к уединению. Письма от дочери не радовали его; он не верил тому, что было в них. Он лишь говорил Юлии: «Что ж, хорошо» — и отправлялся на сеновал (где по-прежнему спал на ветхом тулупе), как будто не от дочери было прочитанное только что письмо, а от кого-то другого, кто не интересовал и не мог интересоваться его; но когда уже лежал под старою и прелюю тесовою крышей, неожиданно и ясно строки из письма вставали перед ним, и он мысленно повторял их с тем чувством, словно прислушивался к их звучанию. «Может быть», — говорил он себе, не находя ничего настораживающего и дурного в том, о чем писала Наташа. «Может быть», — через минуту снова произносил он, как будто соглашаясь с дочерью и прощая ей. Но в эти самые минуты в воображении его возникала картина, как он последний раз видел ее в крематории, когда хоронил мать, видел чужой, в незнакомом трикотажном костюме и нейлоновой кофточке с кружевным стоячим воротничком; все было красиво на ней, и где-то в глубине души он сознавал это, но примириться с тем, что она стала чужой, что отдалась от него, не мог; он вспоминал, как она привела Арсения в дом и затем ушла вместе с ним, бросив неприязненный и непрощающий взгляд на него, отца, у которого не было большей любви, чем

любовь к дочери, вспоминал, что было с Юлией, «скорую помощь», больницу и особенно то мгновение, когда, торопливо войдя в комнату, увидел мертвую мать; и часы раздумий и ожиданий, что Наташа вот-вот вернется домой, и хлопоты Никитишны, как она обмывала покойную и черной крашеной марлей завешивала люстры, и Кирилл Старцев, пришедший помочь и поддержать в день похорон,— все проходило перед глазами чередой сменяющихся картин, и картины эти снова оставляли у Сергея Ивановича впечатление, что еще ничто не кончено, что похороны матери и разрыв с дочерью лишь начало чего-то большего, что еще должно разразиться и что предстоит пережить ему; и это предстоящее недоброе и большее, казалось ему, было чем-то связано с теперешним его пребыванием в деревне. «Надо уезжать»,— думал он, тревожась и страдая оттого, что не мог никому высказать своих опасений; но накануне того дня, когда должны были вершить последний стог и когда Сергей Иванович решил наконец сказать Юлии (теперь был предлог для этого), что пора возвращаться в Москву, случилось событие, которое неожиданно изменило его планы.

По просьбе Павла он отправился в Сосняки, на центральную усадьбу, и там, когда подходил к правлению колхоза, среди стоявших у крыльца людей увидел человека, лицо и фигура которого показались знакомыми ему. Человек этот был видный работник обкома, а окружавшие его были председатель колхоза, парторг и еще несколько членов правления, вышедших проводить начальство, и пока Сергей Иванович озадаченно припоминал, где и когда мог видеть этого человека, они оживленно прощались с ним. Работник обкома был высок, долговяз и сутул и ростом своим и манерою держаться напоминал командира роты (бывшего сослуживца Сергея Ивановича) лейтенанта Дорогомилина, считавшегося погибшим в последние дни войны в Берлине. «Как похож,— думал Сергей Иванович, глядя на него и все более находя в нем знакомые черты того самого лейтенанта, который первым и, несмотря на не прекращавшийся ни на секунду огонь немцев, вывел свою роту на северную сторону Тельтов-канала.— Как похож»,— еще повторил он, в то время как ясно было ему, что ошибки нет и что перед ним действительно бывший лейтенант Дорогомилин. Как это часто случается с людьми в такие минуты, Сергей Иванович, не задумываясь, прилично или неприлично подходить, а движимый лишь чувством, что он видит бывшего однополчанина, шагнул вперед и, тронув его за плечо, спросил: «Семен, ты?» Обкомовский работник, давно отвыкший от такого обращения, хмуро и недовольно оглянулся на Сергея Ивановича, но затем, вскрикнув: «Коростылев!»— длинными и костлявыми, как и прежде, в те годы, руками обнял его.

Встреча была недолгой. Дорогомилин торопился в райцентр, так как ему надо было еще успеть на бюро райкома, где подводились итоги сеноуборки, и потому весь разговор его с Сергеем Ивановичем состоял лишь из радостных восклицаний, за которыми, однако, стояли памятные им обоим фронтовые события; но, уезжая, он пригласил Сергея Ивановича к себе в Пензу, пообещал прислать за ним машину, и оттого Сергей Иванович вернулся из Сосняков довольный и оживленный. «Ты не можешь себе представить, кого я встретил»,— сказал он Юлии, едва перешагнув порог дома. «Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить»,— восторженно говорил он затем вечером Павлу. Он долго после ужина не подымался на сеновал и ходил по двору с заложенными за спину руками; в нем неожиданно проснулось то чувство, когда он был у дел и когда от одного его слова зависело движение людей и событий (пусть в масштабах полка, не это было важным), и он весь вечер жил этим чувством; он и лег с тем приятным созна-

нием значимости и власти, как будто все прежнее вернулось к нему, а утром и во все последующие дни, пока ожидал машину, был, как обычно, молчалив и в день отъезда на беспокойства Юлии, собиравшей его в дорогу, отвечал лишь, что ничего ему не надо, что все хлопоты излишни, что едет он не к кому-нибудь, а к фронтовому другу, с которым прошел не один километр войны. Он простился с Юлией сухо и вспомнил об этом, только когда обкомовская «Волга» уже помчала его по Московско-Пензенскому шоссе. Он обернулся, как будто сквозь заднее стекло можно было еще разглядеть оставшуюся у ворот Юлию, но тут же все мысли его снова переключились на другое; он чувствовал себя так, словно им было потеряно что-то; потеряно на каком-то странно забытом уже перегоне жизни; и это что-то он мучительно старался отыскать теперь.

VIII

Дорогомилины жили в кирпичном доме с высокими потолками и просторными комнатами, и квартира их была как бы тем местом, где уютно разместилось два мира: старый, все то, что напоминало о прошлом, — тяжелые ореховые кресла, серебряные подносы и блюда из кузнецовских и гарднеровских сервизов, и новый, то, что было теперь в ходу, — европейская мебель на прямых, жидких и тонких ножках, какую вот уже второе десятилетие заполняют квартиры людей самого разного достатка и общественного положения; это сожителство двух миров особенно бросалось в глаза, когда в широкой, как зал, прихожей, встречая гостей, появлялись сразу обе хозяйки дома: Ольга (жена Семена) в короткой и модной кожаной юбке, блестящей и шуршавшей на ней, когда она подходила, и Вера Николаевна (мать Ольги), длинные шерстяные платья которой делали ее похожей на классную даму и вместе с тем странным образом молодили ее. Ольга обычно говорила: «А-а, прибыли» — и затем молча смотрела, как раздевались гости; Вера Николаевна же непременно добавляла «рады» и «пожалуйста» и, выдерживая гордую осанку, с прямой спиной мелким шагом направлялась в гостиную комнату.

До войны Вера Николаевна жила в Москве и занималась переводами с английского; обосновавшись затем в Пензе, она не порвала связей с издательствами, и, несмотря на то, что она не являлась членом Союза писателей, переводы ее печатали охотно и она была известна в литературных кругах. Не видя ничего более перспективного для дочери, она и ее пристратила к переводческому делу, которое приносило и душевное удовлетворение, и давало возможность жить, так, как они жили теперь.

По вечерам в доме их всегда бывалолюдно, и хотя, кроме чая и конфет, ничего не подавалось к столу, засиживались по обыкновению до полуночи; лишь Вера Николаевна иногда не выдерживала до конца и уходила прежде, чем пустела гостиная комната; но утром поднималась вместе с Ольгой в одиннадцатом часу, и обе хозяйки сразу после завтрака отправлялись каждая в свою спальню, служившую одновременно и кабинетом, и там за приткнутыми к стенам столиками садились за переводы. Готовила же и убирала в квартире давно прижившаяся у них безотказная, все делавшая молча домработница Евдокия, у которой не было ни детей, ни мужа и которая рада была теплomu углу и достатку. Она бывала незаметна днем и еще менее заметна вечером, как будто неловко ей было показываться на люди; и Ольгу и Веру Николаевну вполне устраивала эта ее нелюдимость; днем им нужна была тишина; но вечером, как только в передней раздавался первый звонок — все опять оживало и начинался тот новый круг приветствий, разговоров, суждений и мнений, в котором, как в

зеркале, повторялось все, что было вчера. Говорили и спорили будто о важном, о народе, о земле, о политике, но привлекала всех не возможность решить что-то, а лишь возможность высказать несколько «вольных» мыслей. Гости приходили и тогда, когда Семен Дорогомилин бывал дома, и когда не было его; вместе с Верой Николаевной и Ольгой они составляли мир, который был безбрежен в разговорах, но большей частью бессмыслен и узок в делах. Мир, каким жил Семен, напротив, был как будто ограничен кругом партийных забот и географическим кругом районов, куда он выезжал, но именно этот мир и был необъятен, потому что вбирал в себя сотни человеческих судеб и государственных дел, от выполнения которых зависело общее благополучие. Мир гостиной комнаты подавался всеми приходившими сюда как утонченный и сложный для понимания других, и Дорогомилин невольно поддерживал это мнение, потому что не было у него ни времени, ни желания вникать в него; он не вступал в споры, тогда как завсегдатаи его дома, считавшие, что они знают все, что касается жизни, решительно высказывали свои суждения по любому поводу. До пятидесят третьего года (Ольга еще училась, и Семена Дорогомилина не было в доме Веры Николаевны) вся смелость высказываний их заключалась в том, что они обсуждали лишь значимость тех или иных происходивших в стране событий (какую превосходную степень приложить к ним) и ничего не отрицали и не затрагивали сути происходившего; после пятидесят третьего года, — хотя собирались все те же лица, разговоры носили уже иной характер, и смелость и вольность уже заключались в том, что они позволяли себе преувеличивать то, что прежде них было осуждено очередным партийным съездом и чему была дана определенная оценка. Они как бы забегали вперед, но чаще всего забегали не с той стороны, куда все двигалось, и не хотели затем признавать, что оказывались в безлюдном пространстве. Им хотелось деятельности, но вся деятельность их состояла лишь из разговоров, которые, как пыль, оседали на стенах и шторах гостиной комнаты; им доставляло счастье постоянно чувствовать себя обращенными против течения (как некоторым породам рыб, живущим в реках), но на самом деле они, как и большинство людей, лишь плыли по течению, только не по стрежню, а по заросшим и тихим заводям вдоль берегов.

«Ты ничего не понимаешь», — возражала Ольга мужу, едва он начинал говорить, что все на свете, в том числе и искусство, должно служить одной и ясной цели.

«Ясных целей много, каждая эпоха выдвигает свои ясные цели, а искусство вечно», — тут же добавляла Вера Николаевна с тем видом, что она высказывала истину, известную каждому школьнику.

В этот-то сдвоенный семейный дорогомиллинский мир и должен был теперь, после всех своих деревенских впечатлений, окунуться Сергей Иванович.

Мир этот для каждого начинался с прихожей: с цвета обоев, вида бронзовых с хрусталиками бра, висевших на стене, и блеска стекла в дверцах книжных шкафов, со всего того, что, рознясь и сочетаясь, сразу же окружало входившего атмосферой интимности и таинственности, какая затем не отпускала уже никого до конца вечера. Атмосфера эта не располагала к поспешности, и никто бы не мог с точностью определить, от чего она более происходила: оттого ли, что обои были густого вишневого цвета и при зажженных бра казались бархатистыми, или оттого, что по вишневому фону их был разбросан рисунок — трехпалые подсвечники со свечами, отиснутые золотистой фольгой, и подсвечники, казалось, блестели медными гранями, а свечи горели, излучая тот самый тусклый свет, каким было запол-

нено все, или от книжных шкафов, которые были старинными, из красного дерева, и были до отказа набиты разными дорогими изданиями, но так ли, иначе ли, а даже привыкшие к дорогомиллинскому дому старые знакомые Веры Николаевны и Ольги каждый раз, входя, как бы заново испытывали то воздействие, какое производили на всех обстановка и убранство прихожей. Напротив входной двери висело большое овальное зеркало в узорчатой черненой бронзовой оправе, в которое по утрам смотрелись хозяйки дома, а по вечерам — приходившие гости, а на полу перед зеркалом лежал огромный китайский ковер с еле заметным рисунком по центру; он был как будто несоместимого с обоями цвета — цвета зимнего морозного неба, — но холодная голубизна его, дымкой плававшая над полом, лишь сильнее подчеркивала ту вишневую теплоту, какая гуще всего, казалось, была на уровне рук, часто оголенных у женщин, плеч, лиц; лица и домашних и приходивших, даже худые и болезненные, окрашенные этим теплым светом, выглядели оживленными и румяными, и это было приятно всем. В убранстве прихожей все видели утонченный вкус Веры Николаевны, тогда как от нее зависел только выбор обоев, а все остальное было случайным совпадением цвета и форм. Книжные шкафы достались ей по наследству и были привезены из Москвы; бронзовые с хрусталиками бра на стенах были те, какие только однажды появились в продаже, так что выбирать было не из чего; точно так же обстояло и с китайским ковром, который был приобретен не потому, что понравился небесный цвет его, а потому, что не имелось в магазине иного и лучшего. Но, однако, никто не видел, как покупалось и делалось все, а видели готовое, как была обставлена прихожая, и невольно относились с почтением к старшей хозяйке дома.

В гостиной комнате были точно такие же обои на стенах, как и в прихожей, и дополнялись тяжелыми, свисавшими от потолка шторами; шторы были более темного цвета и с разводами, напоминавшими рисунок дворцовой обивочной ткани; они лежали крупными волнами на окнах и особенно выигрывали, когда зажигалась люстра и когда матовый свет от ее миньонов, усиленный блеском хрустальных цепочек, падал на атласные гребни этих волн. В глубине комнаты, у стены, стояло белое пианино, тоже доставшееся Вере Николаевне по наследству; на нем не играли, потому что его уже нельзя было настроить, и оно стояло как украшение — белое на густом вишневом фоне, с медными ножками-лапами, упиравшимися в паркетный пол. Неподалеку от него и тоже служившие лишь украшением, поднимались две высокие тумбы, похожие на греческие колонны; они были не из красного дерева, а только искусно выкрашенные под него, и были увенчаны небольшими фарфоровыми статуэтками гарднеровского еще, как утверждала Вера Николаевна, производства. Между пианино и этими колоннами, особенно, как считали все, украшавшими гостиную комнату, располагались диван, кресла и стулья, специально будто подобранные из гарнитуров разных времен; они выглядели неуклюже и неуместно (главное, стулья с прямыми и тонкими ножками), когда в гостиной никого не было, и свободно вписывались в общий салонный стиль, когда сходились гости и рассаживались на этих креслах и стульях. Центром всего был большой круглый стол с пепельницами и вазой из янтарного богемского стекла. Пока не подавали чай, стол был накрыт дорожкой, все того же вишневого тона скатертью; но перед тем, как внести на серебряном подносе блюдца, чашки и ложечки, Евдокия застлала скатерть тонкою и прозрачною целлофановой пленкой.

Прихожая более смотрелась, когда в ней не было людей; гостиная же комната, напротив, производила впечатление лишь тогда, когда

все завсегда таи дома были в сборе и платья, костюмы и лица их неторопливо перемещались на фоне вишневых стен и штор, освещенных горевшею под потолком люстрой.

У многих приходивших сюда были свои излюбленные места. Евгений Тимофеевич Казанцев, самый старый знакомый дома (ему было так же, как и Вере Николаевне, под семьдесят), приходя, сразу же направлялся к тяжелому павловскому креслу, стоящему возле пианино. Он считался известным в городе кинокритиком. Как он начинал в газете, не знал никто; но то, какое положение занимал теперь (он заведовал отделом, и рецензии его на новые фильмы регулярно появлялись на последней полосе), знали все, и это было самым большим удовлетворением для него. Маленькими бесцветными глазами из глубины кресла он смотрел на всех, казалось, с тем спокойствием, словно никогда и ничто на свете не волновало его. Ему нравилось в жизни все, что было гладко и не имело шероховатостей, как стоявшее возле кресла пианино, на которое он клал руку и полированную поверхность которого ему всегда приятно было чувствовать под пальцами, но, несмотря на эту очевидную как будто уравновешенность и несмотря на то, что он никогда и ни на кого не повышал голоса, — у всех было мнение о нем как о желчном и ершистом человеке. Он старел, менялся в лице, как стареют и меняются все люди, и прежде упругие наплывы кожи на подбородке, выпиравшие за воротник рубашки, давно уже стали дряблыми складками, но не менялись привычки и убеждения этого ссыхавшегося старика, и так же, как он был молчалив и самонадеян в молодости, еще более молчалив и самонадеян был теперь, и морщился, и не терпел возражений. Он пользовался в гостинной тем правом старшинства (после Веры Николаевны), какое шло не от положения и седин, а от характера, от того самого молчания, каким он подавлял всех.

Ближе других к Казанцеву по возрасту был профессор педагогического института (того самого, в котором учился старший сын Лукьяновых, Роман) Вениамин Исаевич Рукавишников. Он читал курс английской литературы, был ценителем тяжеловесного Диккенса и поклонником светлого, как он подчеркивал обычно, таланта Веры Николаевны и Ольги. Несмотря на свой уже преклонный возраст и как будто в противоположность Казанцеву, он держался так, что ему нельзя было дать больше пятидесяти; даже лысина, пролежавшая через всю голову до затылка, блестящая и казавшаяся лиловой от цвета обоев, не старила, а, напротив, молодила его, придавая лицу и глазам то умное профессорское выражение, ложность которого, в чем она заключается, обычно невозможно уловить, а мудрость — вся на виду и вызывает к уважению, и молодил всегда опрятно сидевший на нем костюм, и яркие галстуки, и белые воротнички рубашек, красиво облежавшие сухощавую шею. Глаза его поминутно бегали с предмета на предмет, отражая как будто живость его души; его считали рассудительным, деловым, незаслуженно обойденным высокими должностями. Почти каждые два-три года кандидатура его как будто в каких-то инстанциях выдвигалась и обсуждалась (то на пост декана, то даже на пост ректора), и по списку он шел будто бы номером один, но в момент, когда решалось все, фамилия его вдруг таинственным образом исчезала из списка, и все оставалось по-прежнему. Сам ли он распространял и поддерживал о себе такие слухи, или это было на самом деле, никто толком не знал, но он с очевидным, казалось, удовольствием играл роль обойденного жизнью человека, это давало ему право на скептицизм, снисходительный тон, каким он разговаривал и смотрел на людей. Он один из всех приходивших к Дорогомилиным неизменно, переступая порог, целовал руку Ольге и Вере Николаевне.

Когда он, склоняясь перед Ольгой, открывал ей всю огромную и словно белым пушком обрамленную лысину, на лице ее (он не видел этого) сейчас же вспыхивала тень недовольства и осуждения; когда он точно так же наклонялся и открывал лысину перед Верой Николаевной, на лице старшей хозяйки дома (он не видел и этого), напротив, появлялось то выражение, что она понимала и принимала тонкую и подчеркнутую учтивость его.

Вечер у Дорогомилиных считался скучным и неудавшимся, если почему-либо не было на нем аспиранта Никитина. Высокий, худощавый, в костюме с разрезами по бокам, — когда он входил, все невольно поворачивались в его сторону и смотрели с тем чувством ожидания, как смотрят иногда на артиста, слова и движения которого давно известны всем, но который так хорошо исполняет роль, что все снова и снова готовы слушать его. Он приносил обычно новости, какие нельзя было узнать из газет и какие, в общем-то, не имели того смысла, чтобы печатать их, но вместе с тем, рассказанные должным образом, они производили впечатление на всех и заставляли тревожиться и думать. То он говорил, что будто бы на каком-то совещании, о котором он неожиданно узнал, видный ученый-атомщик высказал мысль, что пора поставить барьер перед научными открытиями, что будто бы всему есть предел и что если не поставить барьера, то в самое ближайшее время произойдет та самая цепная реакция, остановить которую будет уже невозможно и которая в одно мгновение превратит земной шар со всем живым и неживым в раскаленное газовое облако. «И что наши слова, что наши усилия», — добавлял он. То он говорил (опять же возвращаясь к барьеру, который нужно возвести перед наукой), что есть точные сведения, будто ученые (туманно было лишь, ученые каких стран) уже нашли способ воздействовать на гены человека и что человечество вот-вот придет к тому, что люди будут рождаться запрограммированными: столько-то рабочих, столько-то солдат, столько-то технократов-руководителей, как в муравейнике или пчелином улье, и опять же добавлял: «И к чему наши слова, к чему наши усилия». Но говорил он так не потому, что действительно знал что-то, чего не знали другие; просто ему, как и всем сходявшимся у Дорогомилиных, нужно было постоянно чувствовать себя стоящим против течения (чем оправдывалась для него какая-то ущербность его жизни), и этим прот и в были те приносимые Никитиным новости, рассказывая которые, он как бы ставил себя в положение человека, который, не боясь ничего и вопреки всем существующим мнениям, посвоему и трезво смотрит на мир. Будущее представлялось ему мрачным не в силу разгоравшихся социальных бурь, о чем твердили Казанцев и Рукавишников и что воспринималось им как нечто старое и стертное, а в силу стремительности научных открытий, которые ничего общего не имеют с социальными бурями и разнятся с ними уже потому, что ведут к неминуемой и всеобщей катастрофе. Ему нравилось бросать эти фразы о человечестве и грядущих катастрофах и нравилось смотреть, какое они производили действие; увлекаясь, он часто сам не различал, когда исполнял роль и когда высказывался вполне искренне, но со стороны всегда казалось, что он говорил с убежденностью, и убежденность эта вызывала у всех уважение к нему. Его не спрашивали, отчего он, выступая так против науки, сам, однако, занимается научной деятельностью, но не спрашивали, видимо, потому, что вся научная деятельность его была обращена стрелкой не вверх, не в будущее, а в прошлое — он писал диссертацию о памятниках русской старины. «Наши изыскания служат иным целям, не так ли, профессор?» — спрашивал он иногда Рукавишникова, хотя его вовсе не интересовало, что думает профессор, а важно было только произ-

нести эту фразу, в которой слова «иным целям» были приятны и признаваемы всеми в дорогомиллинской гостиной.

Среди избранного круга людей, собиравшихся в доме Веры Николаевны и Ольги, иногда появлялись москвичи (старые и новые знакомые матери и дочери), и чаще других бывал у них Геннадий Тимонин. Когда он приходил, он сейчас же оказывался в центре внимания; на него смотрели так, как всегда в провинции смотрят на столичного человека, полагая, что он и чтим и значим в Москве так же, как чтим и значим здесь, и забывая, что там, у себя, он не больше чем обыкновенный рядовой служащий.

Так как от Тимонина ждали чего-то особенного, что он должен был рассказать всем (что-либо из кулуарной московской жизни), и так как самому ему приятно и лестно было выглядеть чтимым и значимым, он говорил все, что только приходило ему в голову и что могло быть принято как кулуарная московская жизнь. Он занимал обычно (потому, что приходил раньше Казанцева) павловское кресло и усаживаясь в нем, словно оно было его домашним; когда вытягивал на подлокотниках руки, всем ясно видны были накрахмаленные манжеты его белой рубашки и видны были его любимые, без которых он не мыслил себя, серебряные запонки с камнями; вызывающий блеск их раздражал лишнего своего кресла и недовольного этим Казанцева.

IX

Собиралось у Дорогомиллиных не только мужское общество.

Иногда Казанцев приходил с супругой, которая была так же стара, как и он, и так же молчалива, и сидела весь вечер с неприступным видом в своем черном из бархата платье, какое она первый раз надела, наверное, лет двадцать назад; оно было подобрано, ушито и все же было велико и выглядело на ней так, как выглядят обычно дорогие и модные в прошлом платья на тощих старухах. Все выражение морщинистого лица ее говорило о том, что она делает одолжение, приходя сюда, и что — хотя дома у нее нет такой роскоши, но людское достоинство измеряется не только этим. Иногда приводил жену профессор Рукавишников, которая сейчас же заполняла своим тонким голосом гостиную. Она преподавала английский в школе, и у Дорогомиллиных ей непременно хотелось, чтобы все знали об этом; когда она обращалась к Ольге или Вере Николаевне, она как будто невзначай вдруг сбивалась на английский, произнося, однако, лишь то, что более всего было знакомо ей, но тут же снова переходила на русский, подчеркнуто извиняясь перед всеми. Она была уверена, что муж ее ходит сюда лишь для того, чтобы воспользоваться влиянием Семена Дорогомиллина и занять наконец кресло декана или ректора, и вела себя соответственно с этим убеждением, заискивая, насколько было прилично, перед Ольгой и Верой Николаевной. Она всегда восхищалась нарядами их, как бы хорошо ни была одета сама, находя в них каждый раз что-либо такое, что обязательно должно было говорить об утонченном вкусе и старой и молодой хозяйке; и это заискивающее щебетание ее, контрастировавшее с неприступным и гордым видом Казанцевой, и разговоры и поведение других дам — все складывалось в тот особый мир забот, страстей и волнений, без которого невозможно было представить общую жизнь гостиной комнаты.

У Веры Николаевны был свой круг почитательниц и подруг; у Ольги — свой.

У Веры Николаевны круг этот был обширен, и не было в нем более любимых и менее любимых ею; у Ольги круг был уже, и она

по-разному относилась к своим знакомым. С одними она ограничивалась лишь ни к чему не обязывающими разговорами на общие темы, с другими была близка так, что знала их тайны и поверяла им свои; и к этим другим прежде всего принадлежали две ее давние подруги: Светлана Буреева, жена сослуживца и друга Семена (вышедшая за него не без участия Ольги), и Анна Лукашова, одинокая и гордившаяся тем, что репортерские снимки ее печатались иногда и в центральной прессе.

Светлана была пристроена в жизни, всегда была весела, и заботы ее, казалось, состояли лишь из того, чтобы ни в чем не отстать от Ольги. То, что она не зарабатывала, как Ольга, и не имела квартиры с такою прихожей и гостиной комнатой, а жила в обычном пятиэтажном панельном доме, — огорчало, но не настолько, чтобы она мучилась этим; ей важно было не отстать в нарядах от Ольги, и она знала все комиссионные магазины в городе и художественные салоны и знала, когда и что можно было (по сезону) найти в них. У нее была точно такая же короткая кожаная юбка, как и у Ольги, и такого же темного цвета, но с фиолетовым оттенком, и юбка эта была на несколько сантиметров короче, чем у подруги, что придавало особенную, как она втайне считала, пикантность ей. У нее были красивые ноги, как они обычно бывают красивы у большинства молодых женщин, и что бы ни говорили о ее нарядах (как, впрочем, и об Ольгиных) и как бы ни осуждали (разумеется, про себя, за глаза), но, когда она проходила по гостиной в своей короткой и обтягивавшей кожаной юбке, все мужчины, даже старик Казанцев, невольно поворачивали головы в ее сторону. Она знала, что на нее смотрят; но она делала вид, что не замечает этого, тогда как на щеках ее вспыхивал тот румянец, который появляется не от смущения, а от иного и приятно возбуждающего чувства. Волосы она стригла коротко, как было модно, и носила тонкие и круглые золотые кольца в ушах; эти кольца-сережки и большие и круглые голубые глаза — только они, казалось, и составляли лицо Светланы; глаза были так выразительны, что нельзя было, слушая ее, не смотреть в них; и нельзя было не замечать той ничем как будто не замутненной радости жизни и не замутненного счастья, какое они постоянно расточали вокруг себя. С кем бы и о чем бы ни толковала она, глаза как бы светились чистотою ее помыслов; так же, как она смотрела на мужа, разговаривая с ним, смотрела на Ольгу, хотя говорила ей противоположное тому, что говорила мужу; точно так же (что нельзя было усомниться в искренности ее чувств) смотрела затем на Веру Николаевну, на Казанцева — на всех, к кому подходила. Мужа она уверяла, что ходит к Дорогомилиным брать уроки английского языка и что надо, в конце концов, заняться ей чем-то в жизни, что было бы достойно ее; Ольге же, оставаясь наедине с ней, с сокрушением признавалась: «Ты молодец, можешь все, у тебя все получается, а я ничего не могу. Я безвольна, совершенно безвольна». Но слова эти с той же легкостью, как все, что говорилось ею, забывалась сейчас же, едва только бывали произнесены, и жизнь продолжала по-прежнему мотать ее по комиссионным магазинам, приводила в гостиную Веры Николаевны и заставляла снова и снова выслушивать злые и мрачные предсказания аспиранта Никитина.

Анна Лукашова, когда впервые появилась у Дорогомилиных, произвела на всех впечатление скромной и застенчивой девушки, для которой не было ничего более важного, чем ее фоторепортерская работа, и которая, не выйдя замуж в двадцать, не думала как будто о замужестве и теперь. Она одевалась неброско; все было на ней неярких, приглушенных тонов; но Ольга заметила, что в этой ее манере одеваться был свой стиль и что приглушенные тона она выбирала с умыс-

лом, чтобы быть на виду, а не оттого, что некогда было заниматься собой. Ольга заметила еще, что, как только Лукашова входила в прихожую, обвешанная фотоаппаратами разных марок, в чехлах и без чехлов (она обычно говорила, что прямо с дела, и извинялась при этом), и как только, оставив фотоаппараты в прихожей, входила в комнату,— всю женскую половину гостиной постепенно охватывало чувство неловкости. Отчего происходила неловкость, никто вначале не мог понять. Анна была одинаково почтительна со всеми и, здороваясь, одаривала всех одною и тою же своею обаятельною, как ей представлялось, улыбкой, а когда слушала, на лице ее всегда было выражение заинтересованности. Но в то же время как она слушала женщин, заинтересованность ее была ограничена какою-то внутренней чертой, за которую Лукашова не хотела и не позволяла себе переступить; когда же сидел перед нею мужчина,— независимо от того, о чем шла речь, интересно или неинтересно было то, о чем говорил он, Анна вся превращалась в слух и внимание, и никаких внутренних преград уже не существовало для нее. Изогнув коромыслом худую и казавшуюся ей красивой и модной от худобы спину так, что сквозь платье или кофту выпирали углы лопаток, она всем лицом тянулась к собеседнику, будь то старик Казанцев, или лысый профессор Рукавишников, или молодой аспирант Никитин, и в округленных глазах ее сейчас же зажигались светлячки радостного удивления, говорившие (по крайней мере, ей хотелось, чтобы они говорили это), как она счастлива и как в отличие от всех других может понимать и ценить, что рассказывалось ей. С еще большим удивлением и ожиданием чего-то нового она продолжала смотреть, когда рассказ бывал закончен, и зовущим взглядом своим снова и снова побуждала к разговору. Она как будто не преследовала никакой цели, а случайно оказывалась в обществе мужчин; но случайность эта повторялась из вечера в вечер, и все видели это, и всем было неловко от этого. Когда она пристраивалась возле Семена Дорогомилина, чувство неловкости прежде всего охватывало Ольгу; она замечала взгляд Анны, как та смотрела на ее мужа, замечала, как Семен с увлечением и не обращая ни к кому более разговаривал только с ней, и это выглядело неприлично и оскорбляло Ольгу; но она ничего не говорила Анне, опасаясь, как могут истолковать ее слова. Это же чувство испытывала и Рукавишникова, когда видела своего мужа рядом с Лукашовой, и точно так же, как и Ольга, из боязни показаться смешной молча и неприязненно отворачивалась от них. Но чаще замечали Анну возле неженатого аспиранта Никитина, и в такие минуты всем становилось еще более неловко, потому что яснее и откровеннее проступали намерения ее. Когда же в середине прошлой зимы у Дорогомилиных неожиданно появился Митя Гаврилов, как и Никитин, неженатый и самый молодой из всех приходивших сюда,— внимание Лукашовой было переключено на него; присаживаясь рядом, она смотрела на Митю с тем же выражением радости и счастья слушать его, как она прежде смотрела на всех других мужчин в гостиной.

X

Привел Митю Семен Дорогомилин.

— Сын моего погибшего под Берлином старшины,— сказал он, представляя его.— Художник,— затем добавил, оглядывая всех.

Он не любил завсегдаев своего дома, и Вера Николаевна, и Ольга, и все знали это. Но Ольга всякий раз внушала ему, что люди искусства, какими бы они ни казались неприятными и где бы ни служили своему делу, в столице или другом каком городе, должны постоян-

но общаться между собой, говорить, спорить, что в этом смысл движения, что так было всегда, во все времена, и так будет и что без оценок и споров нет истины, и постепенно в сознании Семена сложилось убеждение, что, очевидно, как хлеборобу — земля, людям искусства нужен воздух гостиной; потому и решил привести сюда Митю.

То, что Митя был сыном погибшего на войне старшины, был сиротой и опекаем Семеном Дорогомилиным (именно в силу фронтовой дружбы с Митиным отцом), не заинтересовало никого, а было принято как нечто обычное, само собой разумеющееся; но то, что Митя был художником, живо взволновало всех, и в первые же минуты вокруг него образовалось общество, которое, однако, чем более узнавало о нем, тем очевиднее теряло интерес к нему. Митя работал регущером в местной типографии и не написал ни одной картины, а лишь вынашивал замысел и готовил пока эскизы и зарисовки к нему; и как только им было произнесено это слово «замысел», — дряхлый, морщинистый и полный достоинства Казанцев, оставивший было павловское кресло, чтобы ближе разглядеть Гаврилова, первым сказал «а-а» и отправился на свое место. Точно так же, с тем же нескрываемым разочарованием, отошел от него профессор Рукавишников; затем отошел аспирант Никитин, и отошли дамы, окружавшие его, и Митя остался один. Он чувствовал себя стесненно и сутулился, потому, что неприлично было ему среди всех этих прежде незнакомых людей. Он не знал, что значительного создали в жизни эти люди, но, впервые оказавшись среди них, как всякий новичок в искусстве, думал о них только, что они светила и звезды; и все внешнее оформление — обстановка прихожей и гостиной комнаты, цвет обоев и штор, и хрустальный отблеск от бра и люстры на них, и возвышенные разговоры, так естественно, казалось, вливавшиеся во весь этот блеск, разнообразие красок и лиц — лишь усиливало в нем впечатление, будто он и в самом деле прикоснулся к миру, в котором создаются непреходящие эстетические ценности. В первые вечера он особенно терялся и робел; и происходило это оттого, что он считал себя внутренне беднее и неподготовленнее, чем Казанцев, Рукавишников или Никитин, и еще оттого, что стеснительно было ему видеть на себе ширпотребовские костюмы, рубашки и галстуки, на что он раньше не обращал внимания, но что теперь неприятно выдавало в нем человека явно неинтеллигентного происхождения и воспитания. Он чувствовал себя как бы инородным, лишним; но он не мог не приходить сюда, потому что дело, которому собирался посвятить жизнь, в представлении его стояло выше, чем все возникавшие в гостиной чувства, и к тому же он не видел другого пути, по которому можно было бы двигаться к цели. Поздоровавшись, он обычно отходил к стене, садился на стул и, стараясь быть незаметным, слушал, о чем говорилось вокруг. Самым неприятным было для него, что он не знал, куда деть большие и казавшиеся неуклюжими руки. Он не занимался физическим трудом, но руки действительно были большими и широкими, особенно в ладонях, так что достаточно было лишь взглянуть на них, чтобы представить всю родословную его; но Митя стеснялся не родословной, а именно рук и чаще всего держал их за спиною, неудобно облакачиваясь на них и выставляя грудь. Лицо его тоже было большим и широким, простонародным, и простонародное это, казалось, проступало во всем, а главное, в прическе, как он стригся, высоко, под нулевку оголяя виски и затылок. Это-то более всего и делало лицо его широким, деревенским. Что-то простонародное, деревенское было и в белесом оттенке бровей и ресниц, и в неумении скрывать свои намерения и мысли. Что он сидел в неестественной позе и что это вызывало улыбки, Митя не замечал; на лице его светилась своя улыбка, которая то просту-

пала яснее, то затухала, в зависимости от того, какие чувства возникали и сменялись в нем. Он присматривался к аспиранту Никитину и так же присматривался к Казанцеву, к Рукавишникову и к хозяевам дома, Вере Николаевне и Ольге, и то, что они говорили, было неожиданно, ново и интересно для него; все изощренное, ложное и надоевшее им представлялось открытием и откровением ему; он каждый раз пребывал в том состоянии, будто он перешагнул за прежде недоступный ему горизонт, и мир за горизонтом был ослепителен и поражал воображение. И хотя, приходя домой, Митя не мог сказать себе, что же новое он узнал и чем обогатился, но в душе его шевелилось именно это чувство, что он узнал что-то, и он снова и снова, как только выпадал свободный вечер, отправлялся к Дорогомилиным. С еще большим желанием он стал ходить туда, когда возле него появилась Лукашова.

Он не мог уловить той неестественности ее лица (когда она садилась возле него), какая была очевидна другим; и не замечал, что она была старше его и что все в гостиной по-особому относились к ней; Анна стала для Мити тем человеком, который первым как бы признал за ним право бывать здесь, и он был благодарен ей за это и охотно, видя лишь заинтересованность в ее глазах, рассказывал о себе. Он говорил то, что действительно волновало его, было жизнью и составляло суть его будущей картины, но Анна, зная из своего опыта, что люди в подобных случаях большей частью любят говорить неправду, причем такую, которая бы наилучшим образом подавала их,— Анна вначале посмеивалась в душе над ним. Желая поддержать общее сложившееся к нему отношение, но еще больше в оправдание, что ее постоянно видели теперь возле него,— как только почему-либо Митя не приходил к Дорогомилиным, с усмешкой пересказывала все, что накануне услышала от него. Ей хотелось быть в русле общего настроения, но, к удивлению самой же Анны, сообщения ее производили каждый раз совсем иное, чем можно было предположить, впечатление на всех в гостиной.

Первое, что она преподнесла всем как бы для осуждения, было то, что Митя ходит по ночам в городской морг и ходит еще в какой-то анатомический кабинет и срисовывает там мертвецов и человеческие скелеты. «Вы представляете»,— говорила она с тем выражением, что было ясно, как она сама относилась к сказанному. Но вместо осуждения она услышала просьбу пересказать все с подробностями, а когда пришел Митя, заметила, что все снова, как и в первый вечер, когда он только появился в гостиной, с любопытством смотрели на него. Всем было очевидно, что человек, избравший натурщиками мертвецов и скелеты, несомненно, таил в себе какую-то загадку. «Да, в нем что-то есть»,— как бы резюмируя это общее мнение, произнес Казанцев, выходя в тот вечер от Дорогомилиных и поворачивая сухую старческую голову к чуть приотставшему от него профессору Рукавишникову, и фраза его, повторенная на следующий день профессором, еще более укрепила общий интерес к Мите. Интерес начали проявлять и к Лукашовой. От нее ждали теперь новостей и собирались в кружок, когда она принималась говорить. Польщенная вниманием, Анна то рассказывала, как Митя ищет сочетание красок, чтобы естественнее написать в будущей картине цвет человеческой крови: свежей, хлещущей из ран, запекшейся и перемешанной с землей (не важно, что сотны художников до него уже делали это); то объявляла, что он интересуется костюмами разных веков и что будто специально для этого ездил в прошлом году в Москву, в музей, и что там же, в московских музеях, срисовывал мечи, стрелы, кольчуги; то вдруг переводила разговор на другое, что он занимается археологией, этнографией и

еще и еще чем-то, что было, несомненно, значительным; и постепенно вокруг Мити складывался тот ореол загадочности, в который прежде всего начала верить сама Анна, но в который, напротив, чем более она прибавляла к нему, тем ме́нее верили другие, и в конце концов ореол этот однажды и самым неожиданным образом был развенчан аспирантом Никитиным. «Все просто,— сказал он, лишь несколько минут побеседовав с Гавриловым и отходя от него.— Перпетуум-мобиле, вечный двигатель». Митя мечтал создать полотно, которое вобрало бы в себя историю войн; ему хотелось, чтобы картина сгустком ужасов заставила бы людей прекратить делать пушки; этот-то замысел и окрестил Никитин как изобретение вечного двигателя. Казанцев же, особенно любивший выражаться кратко и афористично, добавил: «Еще одна груда черепов»,— намекая на известную и, как он думал, не пользовавшуюся популярностью картину Верещагина. Но несмотря на это новое охлаждение к Мите, на него уже не смотрели как на чужого в гостиной; всем казалось, что он тоже стоит против течения и потому — свой человек здесь. И лишь Лукашова не хотела расставаться с ореолом загадочности, по-прежнему (для нее) окружавшим Митю, и с каждым днем ей все больше нравились белесые брови его, казавшиеся даже какими-то особенными; чувство, какое она испытывала к нему, было тем чувством, как если бы вместо груды кирпичей она увидела выстроенный из них дом, который был крепок, был соразмерен и которым можно было не только любоваться, но находить в нем новые и новые достоинства и красоту. И хотя внешне Анна будто ни в чем не изменилась, но ни в выражении лица ее, ни во взгляде, как она теперь смотрела на Митю, уже не было той обычной и знакомой всем в гостиной ложной заинтересованности, а было другое, что как раз и привлекло Митю и заставляло его верить ей.

XI

Когда Сергей Иванович (все на той же обкомовской черной «Волге») подъезжал к Дорогомилиным, все обычные посетители их дома были в сборе и оживленно обсуждали только что просмотренную телевизионную передачу. В программе «Городские новости» выступал сегодня Казанцев. Еще за неделю все в гостиной были предупреждены об этом событии, ждали его и теперь, прослушав, говорили о нем. Передача была записана на пленку, и потому Казанцев находился здесь же, в гостиной. Он сидел на своем привычном месте, в павловском кресле, с удовольствием поглаживая сухими морщинистыми пальцами полированную крышку пианино, и пребывал в том редком для себя хорошем настроении, словно и в самом деле не воображенный, не ожидаемый только, а настоящий успех наконец пришел к нему. Он рассказывал в программе о новых фильмах; в середине выступления он произнес фразу, которая, может быть, осталась бы незаметной, потому что ничего особенного не заключала в себе,— он сказал лишь, что пора отходить от надуманных и примитивных шаблонов в кино и приниматься за жизненно важные конфликты,— но он обратил внимание всех на эту свою фразу, главное, на ее подтекст, и этот-то несуществовавший и придуманный подтекст и был теперь предметом общего разговора.

Сергей Иванович не знал ничего этого.

Он подъезжал к дому Дорогомилиных с тем чувством, что увидит семью своего фронтового друга, и все представление о предстоящей встрече было у него точно такое же, как если бы он был приглашен к Кириллу Старцеву или еще к кому-либо, чей быт и все в квартире мало чем отличалось от той обстановки и той жизни, как он жил сам

в Москве и как могли, по его мнению, чуть лучше или чуть хуже, жить другие. Он ожидал увидеть одно, но увидел совершенно другое, войдя в дорогомиллинскую прихожую; и потому с первых же минут его охватило странное ощущение какой-то несовместимости со всем тем, что стояло, висело и светилось теперь вокруг него.

Дверь открыла ему Ольга.

— От Семена? — спросила она с той интонацией, не выражавшей ни радости, ни разочарования, как всегда встречала гостей. Она была в свитере и кожаной юбке; на плечи ее свободно спадали прямые и редкие волосы, и между ними и черным воротником свитера виднелось узкое и заостренное лицо. Сергея Ивановича поразило холодное выражение этого лица.

— Да,— сказал он, глядя одновременно и на это лицо и на подходившую Веру Николаевну и прислушиваясь к громкому говору, доносившемуся из гостиной. Лицо Веры Николаевны было, казалось, еще более узким и заостренным, чем у Ольги, и тоже было как бы обрамлено темною овалюю рамкой; но вдоль щек и вокруг подбородка были не волосы и воротничок свитера, а был платок, вроде бы по-старушечьи, но в то же время и не по-старушечьи повязанный. За платком скрывалось все то, что старило Веру Николаевну и чего не должны были видеть другие: седина, мелкие морщинки и крупные складки с желтым и застаревшим наплывом жира; но на щеках и лбу кожа была натянута (все тем же платком, туго завязанным у подбородка), казалась гладкой, и оттого что-то молоджавое проглядывало в нее, впрочем, таком же холодном, как и у дочери, лице.

— Прошу, пожалуйста,— проговорила Вера Николаевна, выдвигаясь вперед дочери и наклоном головы и жестом худых коротких рук приглашая Сергея Ивановича следовать за собой.

Несколько секунд Сергей Иванович оставался в нерешительности и смотрел на Ольгу. Но взгляд ее ничего не сказал ему. И тогда — в помятом пиджаке, помятых брюках, со взъерошенными и лишь пригладженными ладонью волосами, во всем том виде, в каком бывает человек только с дороги, не успевший умыться, пыльный и чувствующий себя неловко и стесненно от этого,— он двинулся за Верой Николаевной к двери, за белыми, остекленными и распахнутыми створками которой еще громче, казалось, были слышны разные, мужские и женские, голоса. «Семейное торжество, что ли? Но отчего Семен ничего не сказал мне?» — подумал он, еще более испытывая ту самую несовместимость со всем окружающим, какую ощутил еще в прихожей и какая затем долго не отпускала его. С красным, загорелым (после снокоса) лицом, грузный и как будто еще распространявший вокруг себя запах реки, сена и луга, он был не только отличен от всех находившихся в гостиной комнате людей, но был как бы пришедшим из совершенно другого мира.

Вера Николаевна принялась поочередно знакомить его со всеми, кто был в этот вечер в ее доме.

Сначала она подвела Сергея Ивановича к небольшой и стоявшей ближе к входной двери группе людей, в которой центром был профессор Рукавишников. Он даже как будто возвышался над всеми своею яйцеобразной лысой головою. Эту голову и яркий с белыми прожилками малиновый галстук на груди профессора, словно специально подобранный им в тон обоев и штор, прежде всего увидел Сергей Иванович и снова подумал, что, наверное, не просто что-то праздничное, но что-то очень торжественное должно происходить сегодня здесь.

Рукавишников с присущей ему степенностью и с убеждением, что только он владеет истиной, развивал свою обычную идею о социальной структуре общества. Идея эта была как будто проста и заклю-

чалась в том, что он отрицал всякую возможность бесклассового общества. Он говорил, что в то время как будут исчезать одни классы, на смену им сейчас же будут появляться другие, которые так же будут бороться между собой, и что движение это бесконечно, как бесконечна жизнь миров во вселенной; он утверждал то, что утверждал всегда, с чего бы ни начинался разговор у Дорогомилиных, но сегодня — эту же мысль он как бы выводил из подтекста той фразы, какую только что в середине своего краткого выступления по телевидению высказал Казанцев.

— Что он имел в виду? — говорил Рукавишников, подразумевая, и всем это ясно было, Казанцева. — Он имел в виду, — продолжал профессор, уже не помнивший, однако, как на самом деле прозвучала фраза Казанцева по телевидению, а исходящий из своего и для себя заданного смысла в ней, — примитивность, шаблонность нашего мышления. То есть мышления художников, — поправился он, — которые ищут конфликты между хорошим и лучшим или, что, заметим, бывает реже, между плохим и хорошим, добром и злом, тогда как главный конфликт жизни — постоянная полюсная сосредоточенность и расстановка сил. И на каждом полюсе есть и свое добро, и свое зло, и свое за, и свое против... — В этом месте речи люди, стоявшие перед ним и со вниманием как будто слушавшие его (это были: Лукашова, Митя Гаврилов, жена Рукавишникова и еще двое малознакомых всем и не занятых сегодня в спектакле артистов из местного драматического театра), слегка зашевелились и расступились, как бы приглашая в свой кружок хозяйку дома и подошедшего с нею мужчину, которого они видели впервые и которого Вера Николаевна собиралась представить им.

— Однополчанин? — переспросил Рукавишников, выделив именно это из всего, что было сказано о Сергее Ивановиче. — Интересно, — добавил он. И тут же спросил: — Вы слышали выступление нашего старика?

Сергей Иванович недоуменно посмотрел на профессора и на Веру Николаевну.

— Вы многое потеряли, — поспешно добавил он, не давая ничего сказать Сергею Ивановичу. — Его мысль о важности жизненных конфликтов... — Несмотря на то, что Сергей Иванович продолжал недоуменно глядеть на него, и несмотря на недовольное выражение лица Веры Николаевны, Рукавишников почти слово в слово повторил все, что он говорил только что, и Вера Николаевна и Сергей Иванович не могли отойти от него.

Недовольное выражение у Веры Николаевны было оттого, что она знала наперед все, что услышит от Рукавишникова, и ей неприличным казалось задерживаться возле профессора, когда гость не был еще представлен всем.

— Вы умница, — наконец выбрав момент, сказала она, прервав Рукавишникова опять на том самом месте, когда он только-только заговорил о полюсной расстановке сил. — Я всегда считала: счастливы те студенты, которые слушают вас. Да, да, — подтвердила она, улыбнувшись, и улыбка ее тотчас словно соскользнула по обозначившимся возле губ морщинкам под платок, к невидимым желтым складкам на шее. — Мы еще подойдем к вам. — И, наклоном головы пригласив Сергея Ивановича следовать за собой, с еще более как будто гордою и прямою спиною двинулась в глубь гостиной комнаты.

Аспирант Никитин, к которому они подошли, тоже начал что-то о конфликтах, полагая (как и Рукавишников, очевидно), что Сергей Иванович принадлежал к людям искусства, и Сергей Иванович с тем же недоумением, как смотрел на Рукавишникова, смотрел теперь на аспиранта. Потом Вера Николаевна подвела его к двум дамам, одна из ко-

торых была жена Казанцева в дорогом, старомодном и мешковато сидевшем на ней бархатном платье, вторая — Светлана Буреева, в свитере, таком же тонком и модном, как у Ольги, но только другого оттенка. Еще явственнее, чем с Рукавишниковым и Никитиным, не получился у Сергея Ивановича разговор и с этими женщинами; от знакомства с ними (когда он отошел от них) осталось у него лишь то впечатление, что он видел перед собою надменную и гордую старуху в черном и большие, круглые и весело и с участием будто смотревшие на него глаза Светланы; ему приятно было видеть эти глаза, но неловко было смотреть на ее высоко оголенные колени, которые, как он ни старался не смотреть на них, все время попадали в поле его зрения и смущали его.

Последним, кому Вера Николаевна представила его, был Казанцев.

— Очень приятно,— сказал Казанцев, глядя как будто на Сергея Ивановича, когда тот протянул руку, и в то же время глядя мимо него.— Вы художник?— затем осведомился он, когда Сергей Иванович присел рядом с ним.

— Нет.

— Журналист?

— Нет.

— Кто же?

— Просто... знакомый.

— А-а,— разочарованно проговорил Казанцев (как он сделал это в первый день знакомства с Митей Гавриловым).

— Вы не скажете, что здесь происходит, какое торжество? — в свою очередь спросил его Сергей Иванович, и Казанцев, повернув к нему маленькую на сухой морщинистой шее голову, так удивленно-многозначительно взглянул на него, что у Сергея Ивановича уже до конца вечера ни разу больше не возникло желания говорить с ним.

Так же, как обычный серый камень, вынутый из булыжной мостовой и положенный рядом с разного рода отшлифованными металлическими предметами, не может слиться с ними в одно целое (как этот же камень смотрелся бы на мостовой), а живет самостоятельную жизнь в общем переливе блеска и красок,— так выглядел Сергей Иванович среди всех наполнявших дорогомилынский дом и оживленно говоривших между собою людей. С тем чувством несовместимости, которое теперь, когда он после знакомства был как бы оставлен и забыт всеми, новою и еще более сильною волною охватило его; со своим пониманием жизни и назначения человека в ней и с еще не выветрившимися впечатлениями от деревенской избы Лукьяновых и всего того крестьянского быта с сеновалом, с ощущением красоты утра, солнца и белесой зелени зацветших овсов, которые, как всегда казалось ему, простирались до самого горизонта,— со всем этим своим миром впечатлений и мыслей Сергей Иванович был так далек от понимания того, что видел сейчас вокруг себя, что и люди, и стены, и кресла, все представлялось ему каким-то неестественным, ненастоящим, ложным. Неестественными были лица, галстуки, белые воротнички рубашек, костюмы и платья на женщинах; неестественными и лживыми были слова и фразы, смысл которых вызывал недоумение у Сергея Ивановича. Когда он поворачивался в сторону профессора Рукавишникова, отчетливо видел возвышавшуюся над всеми и уже знакомую яйцеобразную лысую голову и отчетливо слышал, о чем говорил профессор. «Жизнь — это борьба, а человечество — это единый организм, поделенный на соты-государства, и должен жить по единому естественному закону природы»,— слышал он. «Какой организм? Что может быть общего между ними и нами? Что за вздор?» — думал Сергей Иванович, для которого человечество всегда делилось на две совершенно ясные

и несовместимые половины по своему социальному устройству. «Что общего, что за вздор», — повторял он. Он слышал, как в другом конце гостиной комнаты аспирант Никитин, возле которого стояли Светлана и Ольга, говорил что-то совсем противоположное тому, что утверждал профессор. «Главный конфликт современного общества заключается в том, что мы уже вторгаемся в пределы недозволенного, — доносилось оттуда, от аспиранта. — Во-первых, постичь все невозможно, как бы мы ни стремились, потому что существует бесконечность, а во-вторых, нам только кажется, что с каждым новым открытием мы делаем шаг вперед, тогда как каждый наш такой шаг — это движение назад, к огню, пару, газу, ко всему тому, чем уже была земля миллиарды и миллиарды лет назад». «О чем он?» — думал Сергей Иванович, которому не только непонятными, но странными и чуждыми представлялись эти слова. Он видел, что сидевший рядом с ним Казанцев время от времени, поворачиваясь к Вере Николаевне, что-то говорил ей, и видел, что Вера Николаевна охотно и что-то свое отвечала ему; здесь тоже упоминалось о человечестве, веках и конфликтах. И все это в сознании Сергея Ивановича никак не могло уложиться в стройную, которая была бы ясна ему, мысль. Он лишь чувствовал, что интересы всех этих собравшихся в гостиной людей были другими, чем интересы людей, живших в Мокше, что рассуждения Степана и Павла все-таки были ближе и понятнее ему, в то время как разговоры, которые велись здесь (хотя и затрагивались в них как будто глобальные проблемы жизни), казались далекими, непонятными и странными.

ХП

Все, что происходило в гостиной комнате, составляло мир, в котором были свои цели, привычки и страсти; мир этот имел к Семену Дорогомилину лишь то отношение, что все эти люди собирались в его доме. Но для Сергея Ивановича понятия дом и хозяин были неразделимы, и тот главный вывод, какой он успел уже сделать для себя из наблюдений за Казанцевым, Рукавишниковым, за аспирантом Никитиным и Светланой и Ольгой, с оголенными коленями стоявшими возле него, он невольно переносил на Семена Дорогомилина.

В Сосняках, когда он впервые увидел Семена, ему показалось, что бывший командир роты почти не изменился, по крайней мере в характере, с тех военных времен; точно так же он подумал о Семене и сегодня, когда обнимался с ним у подъезда обкома; но теперь подумал, что впечатление то было ложным и что ему не следовало приезжать сюда. Он снова и снова мысленно возвращался к тому, с какой холодностью открыла ему дверь жена Семена, и все дальнейшее пребывание его здесь, казалось ему, было уже заранее predetermined этой ее холодностью. Он не спрашивал: «Для чего я здесь?» Но он чувствовал себя так, словно постоянно задавал себе этот вопрос; и в то время как в гостиной продолжался оживленный разговор (Рукавишников и аспирант Никитин, сойдясь, спорили теперь между собою, в который раз, наверное, выясняя, что же в конце концов погубит человечество: бурное развитие науки или социальные бури?), Сергей Иванович уже не прислушивался к нему; голоса говоривших то отчетливо доносились до него, то вдруг все затихало, и он весь как погрузался в те свои мысли, какие занимали его теперь. Он старался представить себе, что бы он делал в этот час, если бы не приехал сюда, в Пензу, и ему вспоминался луг между овсяным полем и рекою, тот самый, на котором он с Павлом и Степаном ставил стога. Он думал, что сейчас Павел, закончив работу, шел со Степаном по тропинке через овся-

ное поле, где еще вчера вместе с ними проходил и Сергей Иванович, и вся открывавшаяся даль за овсяным полем, и крыши возвышавшихся впереди деревенских изб, и река за спиною, которую, обернувшись, можно было легко различить сквозь темные заросли ивняка, и розовый закат вполнеба, красоту которого можно понять только в поле и только среди цветущих овсов,— все это так живо вставало перед ним и так несовместимо было со всем тем, что окружало его в Дорогомилинской гостинной, что ему стало досадно на себя за эту бессмысленную поездку. Ему казалось, что именно в Мокше было сосредоточено все хорошее и доброе на земле. Весь быт лукьяновской семьи с поздними и обильными ужинами, когда сходилось за столом шумное и большое семейство шурина, с неторопливыми разговорами, какие велись за столом, шутками и озабоченностью, будет ли завтра ведро или пойдет дождь,— быт этот представлялся Сергею Ивановичу отмеченным какою-то особою значительностью. Павел всегда говорил лишь о том, к чему он мог приложить руки и что в общей цепи крестьянских дел, как будет выполнено все, зависело от него. Важно, чтобы росли овсы и поднимались на лугу стога сена. Казанцева же, Рукавишникова, Никитина и всех остальных в гостинной, чьи голоса по-прежнему раздавались вокруг Сергея Ивановича, беспокоило другое, общие и в большинстве своем надуманные проблемы, решение которых в лучшую или худшую сторону ни в какой мере не зависело от них; они спорили о том, к чему не могли приложить ни ума, ни рук, и потому разгоравшиеся страсти их были пустыми, бесплодными, лишенными смысла. Сергей Иванович и чувствовал, и понимал это, и потому невольно все лукьяновское, деревенское противопоставлял им.

Ему казалось, что в комнате было душно, и он вышел на балкон. Прохаживаясь по нему, он больше смотрел под ноги, на выложенные в шахматном порядке светлые и темные плитки, и лишь изредка бросал взгляд на то, что было за перилами. За перилами был узкий, стиснутый кирпичными стенами двор, колодцем уходивший вниз; на асфальтовом дне этого колодца бегали дети, которых в сгущавшихся сумерках можно было различить только по светлым рубашкам и платяцам. Вверху, над колодцем, был виден синий квадрат вечеряющего неба, в центре которого как будто неподвижно висело белое с розовой закатной окантовкой облако. Но ни колодезный лоскут двора, ни такой же квадратный лоскут неба над ним, ни стены домов с балконами и окнами, глаза в глаза смотревшими друг на друга,— ничто не показало Сергею Ивановичу чем-то необычным; в Москве, недалеко от площади Восстания, где он жил, было все то же, что было здесь; шагая по шахматным плиткам, вглядываясь в них и непроизвольно отсчитывая шаги, он продолжал думать, что бы он делал теперь, если бы не приехал сюда. «Кто гнал меня, зачем?» — говорил он. Но в то время как он произносил эти слова, он вспоминал, как Павел, забравшись на сеновал, только клал голову на подушку, засыпал сразу же, словно никогда и ничто в жизни не волновало его. Сергею Ивановичу не важно было, отчего засыпал шурина; он вспоминал лишь, что шурина засыпал и что это было естественно, что так должно быть во всем и что никакие условности не должны сковывать людей. «И он еще стремился в город», — продолжал Сергей Иванович, в то время как на лице его, недовольном и мрачном, все заметнее появлялось насмешливое выражение.

Внизу, за перилами, раздался детский визг, и Сергей Иванович, приостановившись, заглянул в темноту двора; когда он обернулся, на балконе уже стояли Митя Гаврилов и Лукашова. Взятыми в рот сигаретами они тянулись к одной, зажженной Митею спичке; им явно весело было от того, что они делали, и они смеялись; спичка затухала,

Митя сейчас же зажигал новую, и так повторялось несколько раз, пока они наконец закурили. Сергей Иванович смотрел на них с тем чувством, как будто на его глазах происходило неприличное. Он видел, что Лукашова была намного старше Мити, и смеялась она так, словно что-то порочное уже соединяло ее с ним. Сергей Иванович отвернулся от них, но освещенные спичкою лица их еще некоторое время продолжали как бы стоять перед его глазами.

— А ну их! Ты умнее всех их,— говорила Лукашова, переходя на шепот и косясь на Сергея Ивановича, которому, однако, хорошо было слышно все.

— Я просто не согласен с ними.

— А ну их! Ну их!—И Лукашова как будто поцеловала Митю в лоб или щеку; во всяком случае, так показалось Сергею Ивановичу.— Я хочу посмотреть твою картину, дорогой,— тут же добавила она.

— Пожалуйста. Но картины еще нет, есть только эскизы к ней.

— Пусть эскизы.

— Пожалуйста, в любое время.

— Едем сейчас.

— Удобно ли? Рукавишников...

— Новые главы из Диккенса? Он скучно читает.

— Ну, не говори.

— Скучно, скучно, дорогой.—И опять раздался звук поцелуя, и Сергею Ивановичу опять неприятно было слышать его.

Когда он вновь остался один на балконе, он некоторое время продолжал смотреть в глубину двора, словно что-то еще интересовало его там; затем начал прохаживаться с тем же внешним спокойствием, как только что, до появления Лукашовой и Мити Гаврилова. Он как будто по-прежнему всматривался в шахматную пестроту плиток под ногами и отсчитывал шаги, сколько он делал их от одного конца балкона до другого, и пытался еще что-то вспомнить о Павле, что можно было бы поставить в пример всем этим собравшимся у Дорогомилиных людям, но прежние мысли уже не могли в том слаженном порядке возвратиться к нему; он думал о Лукашовой и думал о Мите, которых, в сущности, не знал, что они были за люди; но то, как они вели себя на балконе, и разница в годах, какая была между ними, живо напомнили Сергею Ивановичу дочь и Арсения; и от этого воспоминания, и от холодности, с какою его приняли здесь и не замечали теперь, и оттого, что Семен Дорогомилин задерживался и что не было никакого другого выхода, кроме как ждать его,—от всего этого, соединенного вместе, в душе Сергея Ивановича поднималось какое-то болезненное чувство. Он не услышал, как Семен Дорогомилин, выглянув из балконной двери, позвал его; только когда имя его было повторено несколько раз и громче,—как бы очнувшись вдруг, он остановился и посмотрел на Семена.

— Ты чего спрятался здесь,— сказал Семен, весело глядя на него.— Ну-ка пойдем,—добавил он также весело, как бы передавая свое настроение Сергею Ивановичу.— Я задержался, извини, но не по своей воле.

хпш

Накануне этого дня, когда в Мокшу за Сергеем Ивановичем была послана машина, Семен Дорогомилин ездил в Песчаногорье, где возводился самый мощный в области птицекомбинат. Со строительством комбината не все обстояло благополучно, и было очевидно, что начальника работ надо отстранять от должности. С этим определенным предложением Семен вернулся в Пензу. Когда он докладывал секретарю обкома,—как это бывает в большинстве случаев, ему как человеку, от-

лично разобравшемуся в обстановке (и как инженеру-строителю в прошлом), тут же было предложено самому возглавить стройку. Предложение так неожиданно прозвучало для Семена, что он не смог отказаться, и только когда очутился в своем кабинете, весь смысл того, что он сделал, со всеми возможными последствиями вдруг как бы начал постепенно проясняться ему. Он сел было за письменный стол и собрался было (в продолжение своих обычных дел) позвонить кому-то, но взгляд его, лишь скользнув по белому телефонному аппарату, вдруг как будто раздвинул стены и то пространство, какое лежало теперь между ним, сидевшим в кабинете, и Песчаногорьем, откуда он приехал несколько часов назад, и сквозь эти раздвинутые стены и распахнувшееся пространство он увидел серое, сухое и унылое поле с недостроенными корпусами и дощатыми бараками, в одном из которых жили рабочие с семьями, в другом — размещалась контора, столовая и квартира начальника строительства Буренкова. То первое безрадостное впечатление, какое произвела на Семена стройка, когда он смотрел на нее сквозь стекло машины, подъезжая к ней, было усилено сейчас в нем тем чувством, что он вынужден будет постоянно находиться среди этих бараков и корпусов, застланных красноватой строительной пылью. Но главное, он не мог представить себе, как он скажет о своем назначении Ольге. Он вспомнил, как он обедал с Буренковым в столовой и то угнетающее чувство, какое осталось после обеда и разговора с ним. Низенький, лысый, с лицом хронически не высыпавшегося человека, начальник строительства как будто вот стоял перед Семеном, и в глазах его, спокойных и умных, еще заметнее будто было то выражение грусти, какое навевают обычно осенние поля, которые, отработав лето, опустевшие и захлестанные дождями, уходят под снег, на покой. Это чувство тоски, пустоты и жалости было теперь, казалось, не у Буренкова, а у самого Семена и по отношению к себе. Общай интерес дела, о котором он так горячо говорил в кабинете секретаря обкома и что действительно волновало его, сейчас уже не имело для него прежнего смысла; будет ли закончено в срок строительство птицекомбината или нет — не это беспокоило его; он думал, в каком он неожиданно-неприятном положении оказался и что следовало предпринять ему теперь.

Домой он вернулся позднее обычного.

Привыкший ко всему в доме, — когда Ольга открыла ему дверь, он с минуту постоял у порога, оглядывая прихожую; он смотрел на обои, ковер и хрустальные бра на стенах так, будто все видел впервые, и это все, составлявшее гордость Веры Николаевны и составлявшее гордость Ольги, вишневое и голубое, отраженное в капельках хрусталя и овальном, в оправе зеркале, он должен был оставить теперь здесь и переселиться в барачную, с некрашеными и неровными дощатыми стенами комнату. Он посмотрел на Ольгу, стоявшую перед ним с распущенными по плечам волосами, в черном тонком свитере и короткой модной юбке, и весь вид ее и спокойствие, с каким она ждала, что скажет он, вновь вызывало в нем сознание вины, что он не может лишать ее этой жизни, к какой она привыкла (и привык он сам); и вместо того, чтобы сказать ей приготовленную было фразу: «Ну поздравляй», которую он собирался произнести с усмешкой, чтобы сгладить первое впечатление, он лишь выдал из себя: «Вот так», и, не заходя ни на кухню, ни в гостиную комнату, где, кстати, давно уже никого не было, направился прямо в спальню.

— У тебя неприятность? — спросила Ольга, вошедшая вслед за Семеном.

— С чего ты?

— Я тоже думаю, какая может быть неприятность у человека, если

он жив,— сказала она.— Когда человек умирает, это неприятность для него, а все остальное мелочь.— Она не думала то, что она говорила; в сознании ее еще продолжался спор, начатый, как всегда, Никитиным и подхваченный профессором Рукавишниковым, и все, что лежало вне этого спора, в том числе и неприятности мужа, было далеко от нее и не воспринималось ею всерьез.— Ты будешь ужинать?— затем спросила она.

— Нет.

— Спать?

— Да,— ответил Семен, снимая пиджак и пристраивая его на плечики в гардеробе.

В то время как он неторопливо и устало раздевался по одну сторону низкой двуспальной кровати, за спиной его, по другую сторону этой кровати, было слышно, как раздевалась Ольга. Она сняла юбку и сняла свитер, и в розовой ночной рубашке подошла к зеркалу, чтобы прибрать волосы, которые в еще большем, казалось, беспорядке были рассыпаны сейчас по ее спине и плечам. Семен обернулся в тот момент, когда она, подняв оголенные руки, заплетала косу. Она была спокойна точно так же, как была спокойна вчера, позавчера и третьего дня и как была спокойна всегда, живя с Семеном и матерью; она настолько привыкла к мысли, что ничто в жизни не может измениться для нее, что была уверена, что точно так же ничто в жизни не могло измениться и для Семена. Разнообразием были для нее лишь поездки в Москву, когда она отвозила рукопись в издательство, или когда что-нибудь случалось в гостиной комнате, как, например, назревавшее теперь сватовство Мити Гаврилова к Лукашовой; или тот самый занимавший ее всегдашний спор аспиранта Никитина с профессором, в котором она мысленно то принимала сторону аспиранта с его теорией перед прошлым, то сторону профессора с его мрачным прогнозированием перманентности социальных тайфунов; но интересы эти ее, она знала, ничего общего не имели с кругом интересов Семена, и потому—вся ее душевная жизнь мгновенно как бы сворачивалась и замирала, как только она открывала дверь мужу, и в глазах оставалось лишь то холодное выражение, которое, только привыкнув к нему (и только в силу того, что Семен обычно бывал сам занят служебными делами), можно было не замечать в ней. Она заплетала сейчас косу перед зеркалом и видела отраженное в нем лицо мужа; лицо это было мрачным, и Ольга как будто замечала это, но тревога не пробивалась к ней сквозь обычную умиротворенность ее души, и с холодным спокойствием она продолжала делать то, что она делала каждый вечер перед тем, как лечь в постель. Но Семену странно и неприятно было это ее спокойствие; он видел ее руки и видел (тоже отраженное в зеркале) холодное выражение ее глаз, и выражение это, прежде как будто не замечавшееся, казалось ему сейчас оскорбительным; он вдруг представил всю свою жизнь с Ольгой в том свете, как он подумал о ней теперь, и его поразила неожиданная и ясная мысль, что он никогда не любил в ней ни ума, ни рассудительности, а любил только тело, безудержно и глупо, то самое тело, которое теперь красиво и маняще светилось под розовой ночной рубашкой. «Песчаногорье... Какое может быть Песчаногорье для нее»,— мысленно проговорил он, отворачиваясь и краснея от того, что думает неправду, что не только красота ее тела, но что-то другое и большее всегда притягивало его к Ольге.

Пока он ложился в кровать и затем, когда уже лежал, потушив ночничок на тумбочке, возле кровати, он ни разу не взглянул на Ольгу, как будто она была виновата перед ним, и он даже твердо знал, в чем она была виновата, и хотел, чтобы она почувствовала это; и вме-

сте с тем он так же ясно видел, что он несправедлив был сейчас к ней, и думал, что надо повернуться и сказать что-либо, чтобы загладить уже эту свою вину перед нею. Он боролся с собой, не решаясь ни на что, и — то вдруг с брезгливостью представлял ее тело, которое было красиво, гибко и доступно ему и было рядом, съезженно-согревавшееся под одеялом, то вместо этого тела так же вдруг являлось перед глазами существо, маленькое и красивое (какою он всегда считал Ольгу), с белым заостренным личиком, челкою до бровей и волосами вдоль щек (уже тогда, в молодости, она любила эту прическу, когда волосы свободно и прямо спадали на плечи), и существо это, обворожительное в своей жизнерадостности, день за днем как бы приоткрывало перед ним завесу иной, чем он знал до этого, жизни. Он чувствовал, что весь мир ее (и образ ее жизни с матерью, и квартира, и обстановка, и постоянные сборища интересных людей, пока он наконец не научился понимать и презирать их), — что душевный мир ее был привлекательнее, и он тянулся к этому ее душевному миру; и хотя Ольга давно уже ничем не делилась с ним, то теплое чувство к ней все эти годы продолжало жить в Семене. В суете служебных дел он не замечал, что тот самый привлекательный мир Ольги давно замкнулся кругом определенных интересов, что движение приостановилось, тогда как сам он перешагнул за этот означенный круг, и все прежде удивлявшее и манившее было для него в прошлом, как станция, оставленная ушедшим поездом. Он чувствовал сейчас именно это, как будто он обманулся, как человек, приобретший вместо шедевра копию, и все подавленное настроение его было обращено теперь к этой мысли; забыв о Песчаногорье и о своем назначении, он сейчас только боролся с той отчужденностью, которая все явственнее и сильнее пробуждалась в нем к Ольге.

Она спала; но он не мог спать. Впервые он вдруг понял, что семьи у него, в сущности, нет, и он невольно в поисках причины обратился к тому, как он жил в деревне.

Он вспомнил, что, когда отец по весне собирался в поле, это бывало событием в доме. Готовились телега, сбруя, лошадь, подшивались старые сапоги и одежда, и все домашние жили сознанием важности предстоящего дела; и важность заключалась не в том, что отец был главою семьи и что оттого все должны были помогать и подчиняться ему, а в другом, что дело, которое он выезжал делать — сеять хлеб, — было основой благополучия, было главною и конечною целью всех в семье. Мать, затевая хлеб, хлопотала у квашни и возле печи с особенным старанием и с мыслью, что это е м у, в поле; Семен, неотступно ходивший за отцом по двору, — в то время как подавал ему топор или вожжи, за которыми стремглав бежал под навес, делал все с тем же старанием и той же мыслью, что это е м у, в поле; то же происходило, когда выезжали на сенокос или убирали, молотили и свозили хлеб; и с тем же сознанием важности затеянного дела провожали зимою отца в ярмарочное село. Он уезжал обычно на рассвете и возвращался затемно; он вваливался в избу в пимах, тулупе, черный с мороза, и вместе с холодом, паром и запахом сена, вместе с пряниками, которые тут же высыпал на стол, — уже тем, что приехал, что жив, здоров и что в дороге ничего не случилось, наполнял избу радостью. «Он был нужен семье, жизнь его была исполнена смысла», — думал Семен. Но своя жизнь, казалось Семену, не была исполнена того главного смысла; он не мог припомнить, чтобы его начинания окружались такой теплотою, какой окружались начинания отца; ни жена, ни теща, в сущности, почти не интересовались его делами, и благополучие их не зависело от его заработка. Он как бы с удивлением оглядывался те-

перь на эту свою жизнь, и удивление тем сильнее было в нем, чем очевиднее было ему его положение в семье. Он не жалел ни о бревенчатой избе, ни о деревенской трудной жизни, но жалел о том чувстве, что ты нужен и приносишь счастье всем в доме, какое было у отца и какого не дано было испытать Семену. Он не ворочался, не закрывал глаза и не старался заснуть; его поражала простота всего того, что с оголенной как будто ясностью вставало сейчас перед ним, и он говорил себе: «Как все просто. Мы выплеснули с водою ребенка, и не заметили, и уже не можем вернуться за ним, потому что он мертв для нас». По той своей привычке партийного работника приводить все к категориям общим он думал уже не о себе и не об Ольге, а о проблеме, которая, казалось ему, была общей, для всех людей, и сознание сопричастности своего несчастья с общим,— как ни странно было это, действовало успокаивающе на него; в конце концов он настолько отдалился от Песчаногорья и от всего того конкретного, что с вечера беспокоило его, что заснул тем же глубоким сном, как он спал накануне, и третьего и четвертого дня, и утром Евдокия едва подняла его с постели.

— Что, пора? — спросил он, открывая глаза и видя склоненное над собою старое лицо Евдокии. — Не рано? — оглянувшись затем на спавшую Ольгу и уже тише, чтобы не разбудить ее, повторил он.

— Давно пора, — подтвердила Евдокия.

В то время как Семен завтракал и собирался на работу, два тревожных обстоятельства занимали его. Первым было то, что он не сказал с вечера Ольге о своем назначении на стройку, и теперь, он чувствовал, будет труднее сказать ей об этом; вторым было усилие, с каким он как будто старался припомнить, о чем он думал вчера перед сном. «Было что-то очень простое и очень ясное», — сам с собою говорил он. Он, в сущности, знал, что было этим простым и ясным; но оно было простым и ясным вчера, когда он не видел ни ковра в прихожей, ни кафельных стен кухни, ни участливо-доброего лица Евдокии, и было не простым и не ясным теперь; и вся трудность его положения, казалось ему, состояла уже не в том, что он согласился поехать работать в Песчаногорье, а в другом, что он, всегда считавший себя свободным в выборе дел и решений, был, в сущности, не свободен и чувствовал на себе путы, которые и хотелось ему и он не мог и боялся порвать. Путьми же этими были привычная домашняя обстановка и семья, не приносящая как будто, как он думал вчера, должного удовлетворения ему.

Ольга никогда не вставала и не провожала Семена. Но он, прежде чем выйти из дома, непременно заходил в спальню к жене и, дремала она или не дремала, наклоняясь, прикасался губами к ее щеке. Он впервые сегодня не сделал этого и впервые приехал на работу в смятенном состоянии. Обложившись бумагами, он принялся было сосредоточенно вчитываться в них; но как ни старался он отвлечься делами, мысль о том, что все общественное есть только звук, а все личное имеет определенную и устойчивую силу, — мысль эта, противоположная всем прежним убеждениям, с какою-то угнетающей тяжестью давила его. И хотя он хорошо понимал, что общественное — не пустой звук и что, в конце концов, он поедет в Песчаногорье и возглавит стройку, все же не мог долго избавиться от ощущения тяжести и от неприятного чувства, что впереди предстояло ему объяснение с Ольгой. Он сначала не думал в этот день посылать машину за Сергеем Ивановичем; но в ряду десятка других дел, за которые он с беспокойной и ненужной поспешностью принимался в это утро, он вспомнил и

о комбате Коростылеве; и только когда посланная машина мчалась далеко за Пензой и уже невозможно было остановить и вернуть ее, он пожалел о том, что он сделал.

XIV

Для чего Сергею Ивановичу надо было встретиться с Семеном Дорогомилиным и для чего Семену Дорогомилину надо было встретиться с Сергеем Ивановичем, ни тот, ни другой не могли бы толком объяснить. Бывшие фронтовики часто тянутся друг к другу без всякой видимой цели; их привлекает только потребность в разговоре и потребность в воспоминаниях, чтобы то, что они пережили на войне, превратить в героическое и возвышенное, как оно все должно видеться другим людям.

Сергей Иванович в конце войны был майором и командовал батальоном; Семен Дорогомилин был лейтенантом и командовал ротой в этом батальоне; взаимоотношения этих двух прежде знакомых людей были таковы, что жизнь Семена Дорогомилина, как и жизнь всех других солдат и офицеров в батальоне, во многом зависела от умения Сергея Ивановича правильно распорядиться в бою. Под Прейс-Эйлау, когда прорывали укрепленную линию «Хейльсберг» (где немцы защищались особенно жестко), Сергей Иванович приказал Дорогомилину поднять роту в атаку и взять высоту, имевшую в том сражении ключевое значение. Но огонь противника был настолько плотен, что Дорогомилин, в сущности, посылался на смерть, и естественно было бы и вполне объяснимо, если бы после этой жестокой атаки он невзлюбил комбата; но и тогда, во время боя, и после, и особенно по прошествии лет — успешная атака та, стелющиеся пунктиры пулеметных очередей и бегущие и падающие солдаты, и, главное, мгновение, когда, преодолев страх (так, по крайней мере, позднее представлялось ему), броском, как на учениях, Семен сам рванулся вперед, — по прошествии лет он думал об этом событии всегда с гордостью, и встреча с Коростылевым была для него встречей с человеком, который являлся свидетелем его бесстрашия на войне. То же произошло и на обводном берлинском канале, когда рота Дорогомилина первой под нараставшим огнем противника начала переправу. Опять — все, что делал Семен, как продвигался вплавь от одной бетонной сваи к другой и как затем, выбравшись на берег, по голой и насквозь простреливаемой асфальтированной площадке вместе с горсткою оставшихся солдат обрушился на фаустников, паливших по переправе, — все делал по приказанию и на виду у Коростылева. На позициях фаустников он был прошит автоматной очередью, и его вместе с другими убитыми солдатами положили рядом под кирпичной стеною; он пролежал там несколько часов, и туда же, под стену, приходил Сергей Иванович взглянуть и проститься с ротным и бойцами, но он не мог долго оставаться возле них и не видел, как опускали их в братскую могилу; войска втягивались в узкие берлинские улицы, и надо было управлять боем. События в тот день и во все последующие нарастали с такой быстротою, что невозможно было выделить и запомнить что-либо из происходившего; повсюду слышались выстрелы, взрывы, лязгали гусеницы, рушились дома, обволакиваясь клубами пыли и гари, стонали раненые, которых то и дело уносили в тыл, и валялись вокруг убитые, которых стаскивали в затишье, под стены; было только одно это страшное и неумолчное дыхание боя — так тогда все воспринималось Сергеем Ивановичем, и так он позднее, выйдя в отставку и обосновавшись в Москве, принялся описывать все в своих воспоминаниях. Дорогомилин же был для него только звеном в общей цепи событий тех дней и, мо-

жет быть, так бы и остался в памяти, если бы не случайная встреча с ним в Сосняках, потрясшая Сергея Ивановича. Не то понимание, что он посылал молодого лейтенанта на смерть, и не сознание общей ответственности за судьбы подчиненных ему тогда людей, а лишь запоздалое чувство, что он часто бывал несправедлив и строг с ними и видел в них только солдат, призванных исполнять долг,— это запоздалое чувство пробудилось в нем после встречи с Дорогомилиным. Он вдруг почувствовал, что слова, которых он никогда не говорил Дорогомилину прежде, но которые, когда думал о нем как о погибшем, складывались в его голове, он мог теперь в полной мере сказать ему; он мог передать всю ту нежность и благодарность, какую теперь испытывал к нему, и ради этого, ради исправления той несправедливости (однако в чем она конкретно заключалась, не совсем ясно было ему) он и приехал в Пензу. И как ни был он потом раздражен и недоволен собой и как ни хотелось ему сейчас же, не прощаясь ни с кем, уйти из дорогомиллинского дома, он не сделал этого потому, что чувства, приведшие его сюда, были выше и сильнее всех других возникавших в нем.

Та цель, с какою Сергей Иванович приехал к Дорогомилину, не наткнулась в душе его ни на какие препятствия; его смущало только то, как жил теперь бывший командир роты. Но Семену Дорогомилину, чем больше он размышлял о предстоявшей встрече с Сергеем Ивановичем (особенно после того, как машину уже нельзя было вернуть), тем очевиднее становилось, что встреча эта не нужна и бессмысленна. Он думал уже не о том, что Сергей Иванович был когда-то свидетелем его бесстрашия на войне, все мысли были направлены на другое, что в привычной жизни его, Семена, вдруг как бы обнаружилась прогалина, которая, как ни прячь ее, видна отовсюду; он как будто не связывал те, военные события с этими и понимал, что Сергей Иванович ни в чем не может осудить его; но вместе с тем он настолько ясно видел разницу между тем, как он мог легко распоряжаться своей судьбой тогда, в прошлом, и тем, как скован он теперь всем ходом устоявшейся для него жизни, что ни на минуту не мог оставаться спокойным. Он испытывал то чувство, как будто его хотели раздеть в присутствии близких ему людей, и он заранее весь съеживался от ощущения предстоящей наготы; и хотя он то и дело говорил себе: «Чушь, вздор»,— но именно это опасение, что бывший комбат, помнивший его только с лучшей стороны, может увидеть другое, настоуживало и удручало Семена.

Прошрое сейчас не могло интересовать его; его занимал разговор с Ольгой, который так или иначе, днем раньше, днем позже, но должен был состояться. Почему он боялся этого разговора, он не знал; он лишь чувствовал, что ей больно будет, как только он произнесет «Песчаногорье» и «птицекомбинат», и он живо представлял себе ее лицо и то выражение боли, какое сейчас же возникнет на нем. Когда он теперь мысленно возвращался к вчерашнему вечеру, к тому, как подумал о ней, глядя на нее, прибиравшую на ночь волосы перед зеркалом,— он мучительно морщился оттого, что он был несправедлив к ней. Он говорил ей когда-то, что Пензенский обком — это только ступенька и что следующей ступенькою будет Москва; и хотя это было давно и Ольга ни разу не напомнила ему об этом, но он знал, что она помнила тот разговор и ждала этой перемены; но вместо Москвы за терпеливое ожидание ее он мог предложить ей теперь только Песчаногорье — все, чего добился по службе,— и сознавать это было неприятно ему. Он не мог работать в этот день; то он сидел за письменным столом, склонившись над бумагами, то принимался ходить по кабинету. «Что случилось? — говорил он себе, вышагивая вдоль стола.— Почему я должен извораживаться, чтобы только спокойно жилось ей? Что,

в конце концов, так уж связывает нас? Дети? Их нет. Она не хотела и не хочет их. Что еще?» — спрашивал он, в то время как ответ на эти вопросы, чем больше он задавал их, тем очевиднее был ему. Ответ этот лежал в той сфере сложившихся отношений между ним и Ольгой, которые Семен не в силах был разорвать; жизнь с нею была для него так же естественна и необходима, как естественным и необходимым было для него дышать воздухом и чувствовать свою руку, и разрыв с Ольгой был бы для него так же болезнен, как если бы вдруг лишили его воздуха или ампутировали руку.

Он обедал в обкомовской столовой и за весь день ни разу не позвонил Ольге. Лишь в шестом часу, когда ему доложили, что машина из Мокши вернулась и что прибывший человек ждет у подъезда, — снял трубку и сказал жене, что приехал бывший однополчанин и что надо принять его.

В обкоме Семена ничто не задерживало в этот вечер, и он мог бы вместе с Сергеем Ивановичем уехать домой. Но он только обнял Сергея Ивановича у подъезда и, сославшись на свою занятость, тут же снова усадил его в машину, сказав, что постарается не задержаться и что приедет сейчас же, как только позволят обстоятельства. Ему нужно было время, чтобы побороть растерянность, какую весь этот день он чувствовал в душе, и настроиться на разговор с бывшим комбатом.

XV

Так же будто весело, как Семен улыбался Сергею Ивановичу, он улыбался всем, проходя через гостиную комнату. Под предлогом того, что нужно накормить дальнего гостя, он увел Сергея Ивановича на кухню. Усаживая его за стол, он еще продолжал оправдываться перед ним: «Думаешь, как пораньше, а оно выходит, как попозже, ну, в общем, понимаешь, обком», — как будто Сергей Иванович не верил и знал, что все было не так. «Тысячи дел. Тысячи», — повторял он затем, наполняя маленькие хрустальные рюмки водкой и стараясь смотреть на Сергея Ивановича так же весело, как только что смотрел на него на балконе. Семену важно было не показать своего беспокойства; но он не умел перестроиться, был заметно суетлив и то и дело, предлагая Сергею Ивановичу что-либо из закусок, делал это так неуклюже и не вовремя, что каждый раз перебивал его на том месте рассказа, когда, казалось, надо было со вниманием и напряжением слушать. Едва только Сергей Иванович, все более возбуждавшийся от выпитой водки, начинал: «А ты помнишь...» — и еще нельзя было понять, о каком событии пойдет речь, как Семен уже торопливо вставлял: «Да, как же» — и пробегал глазами по тарелкам с едой, стоявшим на столе, или оглядывался на дверь и на Евдокию.

Он никого не ждал и оборачивался только потому, словно мог услышать или увидеть, что происходило в гостинной комнате, где был теперь Тимонин, появившийся там, когда Сергей Иванович был еще на балконе. Семен не терпел этого московского журналиста, который сумел в его доме вставить себя так, что все считали его писателем и бывали польщены встречей и разговором с ним. Как только Тимонин приходил, все сейчас же окружали его, чтобы послушать столичные новости, и Семен видел, как смотрели на него Лукашова и Светлана, и видел, что в глазах и на лице Ольги было точно такое же выражение покорного восхищения, какое было у Лукашовой и Светланы. Он считал, что неприлично было Ольге смотреть так на Тимонина, и чувствовал себя каждый раз неловко и уязвленно при нем. «Хлыщ», — про себя и зло говорил он обычно, глядя на Тимонина. Он бывал неспокоен в такие вечера и подолгу не мог заснуть: то как будто от духоты в

комнате, то как будто от звуков, которые непрерывно откуда-то доносились и мешали ему. Но потом, когда уезжал Тимонин, все забывалось, и Семену смешно становилось оттого, что он ревновал Ольгу. Он не вспомнил бы о своих подозрениях и сегодня, если бы, придя с работы, не увидел вдруг Тимонина в гостиной комнате и не увидел бы все то, что происходило всегда, когда тот появлялся в его доме. Среди знакомых мужских и женских лиц, показавшихся испитыми и бледными, несмотря на темно-вишневую подсветку от обоев и штор, Семен сразу же заметил молодое, красивое лицо Тимонина со свежим загаром на щеках, лбу и шее, какой обычно бывает у городских людей, день или два проведших в деревне, в поле. Тимонин стоял в центре всех и что-то интересное (как всегда, должно быть) рассказывал им. Темные, густые и низко подбритые виски его, ни разу не подстригавшиеся во время поездки, напоминали бакенбарды и как-то по-особому, казалось, подчеркивали молодость его лица; только что тщательно вымытые длинные волосы рассыпались, и он то и дело, не прерывая разговора, осторожно приглаживал их ладонью. Когда он подымал руку, оголялся жесткий манжет его белой нейлоновой рубашки и в свете люстры маленькой искоркою вспыхивал полудрагоценный камень в серебряной запонке, и все невольно обращали внимание на него.

Ольга, как только встретила мужа, сейчас же снова присоединилась к Светлане Буревой, Лукашовой и ко всем, кто был в гостиной комнате, и с привычным уже выражением восторга и счастья, что видит у себя в доме Тимонина, принялась смотреть на него. Семена, как всегда, неприятно кольнуло это; но еще более неприятно стало ему, когда, уводя Сергея Ивановича на кухню, он неожиданно как бы столкнулся глазами с московским журналистом. До этого смотревший на Ольгу, Тимонин взглянул на Семена с той скрытой насмешкой, в которой явно было и сочувствие и желание сказать: «Что делать, жизнь сильнее нас». Именно это — жизнь сильнее нас — больше всего задело Семена. «Чего он ходит сюда, что ему здесь надо?» — думал теперь Семен, не переставая оглядываться на дверь и на Евдокию, которую он несколько раз порывался послать за Ольгой. «Что она торчит там, что наша в нем?» — с раздражением продолжал он, испытывая как будто только то чувство ревности, какое всегда возникало в нем при виде Тимонина; но чувство это было сейчас более мучительным, потому что вопрос об отношении Ольги к наезжему московскому журналисту (что раньше можно было объяснить: все мы тянемся к новизне), — вопрос этот в душе Семена переплетался с другим, с назначением его в Песчаногорье и предстоящим разговором с Ольгой. Тимонин напоминал ему о Москве и своим появлением и рассказами разжигал сейчас в Ольге то — тягу к столичной жизни, — что Семену хотелось потушить в ней; но потушить, он понимал, будет уже невозможно теперь, и чувствовал себя в том беспомощном состоянии, как человек, бегающий с пустым ведром вокруг горячей избы.

— А я считал тебя погибшим. Да и как можно было не считать, — говорил между тем Сергей Иванович, всматриваясь в сухощавое и как будто не постаревшее за годы лицо Дорогомилина. Он видел, что Семен был грустен, и по-своему истолковывал это душевное состояние его; ему казалось, что грусть Семена происходит оттого, что перед ним ожила война и ему трудно вспоминать то, что было пережито когда-то. Да и сам Сергей Иванович — на первых минутах как бы сторяча пройдясь по самым верхним и напряженным точкам войны (что ближе всего лежало в памяти) и возвращаясь к тем же событиям уже по второму кругу, испытывал то же чувство чего-то невосполнимо утраченного, какое, как он думал, и заставляло молчаливо оглядываться назад, на дверь, бывшего командира роты. Рассказав вначале,

как Семен, подняв роту, повел ее в атаку на высоту (что хорошо было видно с батальонного командного пункта), Сергей Иванович стал припоминать затем, сколько пулеметов и минометов и с каких точек било по роте и как падали солдаты, как будто мшистыми серыми кочками устилая склон, и постепенно и все шире вырисовывалась перед ним картина того тяжелого боя, в котором было все: и бесстрашие сидевшего вот, перед ним, Семена, и смерть солдат, многих из которых Сергей Иванович до сих пор помнил по фамилиям и в лицо. Точно так же — рассказав вначале лишь о том общем, что было при форсировании обводного берлинского канала (что было сделано лейтенантом Дорогомилиным), Сергей Иванович принялся разбирать подробности боя и шаг за шагом пришел к той самой кирпичной стене дома, куда были снесены убитые, в том числе и лейтенант Дорогомилин; и все это так отчетливо представлялось ему, что временами создавалось впечатление, словно все действительно повторялось теперь; и чем больше вспоминал Сергей Иванович, тем тяжелее и печальнее становилось у него на душе и тем глубже, как ему казалось, понимал он состояние Семена. — Ты-то не помнишь, — говорил он, — а передо мною все вот как на ладони: ты лежишь третьим от края, до половины плащ-палаткой накрыт, на лице пилотка... и ведь жив. Жив, — повторил он, далеким и мутным взглядом снова всматриваясь в сущоцавое лицо Дорогомилина.

— Жив, как видишь, — ответил Семен, с трудом улавливая то, о чем говорил ему Сергей Иванович, и с еще большим трудом заставляя себя улыбаться ему.

— А не наклонись над тобой та самая санитарка, не будь у нее опыта, и тогда что?

— Все.

— В рубашке ты родился, вот что я тебе скажу, — сказал Сергей Иванович. — Что ты все смотришь на дверь? — затем неожиданно спросил он. — Ждешь кого-нибудь?

— Нет. Я просто хочу познакомиться тебя с одним молодым человеком, — как бы вдруг встряхнувшись, заговорил Семен. — Евдокия, позови-ка сюда Митю Гаврилова, — тут же попросил он пожилую женщину, давно и незаметно сидевшую возле плиты, и, пока она ходила за Гавриловым, молча и загадочно смотрел на Сергея Ивановича.

— Где-то нет его, Семен Игнатич, — сказала Евдокия, вернувшись на кухню.

— Ушел?

— Где-то не видно.

— Жаль. Очень жаль, — повторил Семен. — Ты помнишь, старшина у меня в роте был... Гаврилов.

— Это — здоровяк белобрысый?

— Да.

— Который воды все боялся?

— Да. Боялся-то боялся, а первым тогда, на Тельтов-канале, в воду прыгнул и первым на той стороне оказался. Его убило на моих глазах. Немцы в него, по-моему, не меньше полсотни пуль вогнажи. Привстал для перебежки и прямо под пулеметную очередь. Пули трассирующие, так цепочкой в живот, а он не падает, стоит. Пули цепочкой в него, как в ловушку, а он стоит. Сколько я видел смертей, но так, как Гаврилов...

— Что говорить, — перебил Сергей Иванович, еще более проникаясь тем грустным настроением, какое, как ему казалось, было самым естественным теперь. — Ведь каждый сантиметр воздуха простреливался.

— Как же, помню. А Митя Гаврилов — это сын того самого нашего старшины Гаврилова. Но ты спроси, как я его отыскал, — сказал Семен. — Тут целая история. И началась она, собственно, ни с чего, с разговора. В Курляндии, кажется, теперь точно не помню, сидели мы с ним в землянке. «Ты знаешь, лейтенант, — говорит он мне, — если убьют, ничего мне не жаль: кому что написано на роду, то и будет; а жаль мне сына, который сиротой останется, кто в люди выведет?» Ну, сказал и сказал, и забылось вроде, а выходит — а! — не забылось. — Было заметно, как Семен оживился, произносил это, и впервые за весь вечер почувствовал себя будто свободным перед Сергеем Ивановичем; в истории с Митей Гавриловым ему нечего было скрывать, Митя был для него той светлой полосой жизни, где все было правдиво и было дорого Семену. — Я не скажу, чтобы совесть мучила, нет, — говорил он. — Просто, может быть, потому, что своих у меня нет, вот и захотелось разыскать сына бывшего моего старшины. Сделать это было нелегко, он наш, пензенский. В военкомат и... закрутилось все. Поехал в Терентьевку, километрах в восьмидесяти отсюда. — Сергей Иванович, упершись локтями в стол и положив подбородок на сцепленные в пальцах руки, со вниманием слушал; рассказ производил на него впечатление не тем, что был интересен, а тем, что все это являлось продолжением памятных ему событий. Он не перебивал Семена и, казалось, вместе с ним въезжал в незнакомую ему Терентьевку и шагал к дому, в котором, как сказали в сельском Совете, жила теперь лишь одинокая старуха-баптистка, которая получала пособие за погибшего на войне сына (отца Мити) и которой соседи и колхоз помогали засадить и убрать огород. В рассказе все было грустно; грустно не потому, что изба и двор являли собою полное запустение; по двору ходила женщина, которой было безразлично все, и она уже с трудом вспоминала и о своих погибших сыновьях, и о погибшем муже, и об умершей после родов невестке (Митиной матери), и об уехавшем в Пензу, в училище, внуке. — Что меня поразило, — говорил Семен, — так это ее глаза. Они были мертвые, пусты, она уже не жила, а только пила, ела, ходила. — Он, к удивлению своему, приводил подробности, какие давно уже были, казалось, забыты им, и говорил, что был точно такой же летний вечер с прохладой и сыростью, какой был сегодня, и что сидел он с Митиной бабушкой, Антиповной (он с ясностью помнил и это, как величали ее), в избе и она поила его чаем из самовара. Самовар был разожжен прибежавшей соседской девочкой и ею же был затем внесен и поставлен на стол, и Антиповна только разливала, ставя чашки не под кран, а мимо, и Семену приходилось помогать ей. Он помнил, что волосы у нее были седые и настолько редкие, что сквозь них ясно просматривалась розовая кожа головы; усыхающее лицо ее было в морщинах, которые подчеркивались верхним светом, и точно такими же морщинами были покрыты усыхающие руки, которые, как только она прикасалась ими к хлебу, сахару или блюдцу, начинали биться мелкой дрожью. Руки эти особенно помнились Семену, потому что старая женщина долго, на свету, над столом, открывала украшенный поржавевшими жестяными чешуйками ларец, где хранились похоронные на сыновей, мужа и невестку. — Она показывала их, как фотографии, — говорил Семен. — У нее была своя иллюзия жизни, на нее тяжело было смотреть, а чем я мог помочь ей? — Вопрос этот Семен не раз задавал себе прежде, но он и теперь не видел, как ответить на него, и продолжал: — Второй раз я приехал в Терентьевку спустя два года, с Митей: старуха умерла и мы хоронили ее.

В гостиной комнате шла своя жизнь; на кухне — своя; и та и другая, объединенные вместе, составляли лишь частицу всех тех общих

человеческих интересов и устремлений, которые были как бы разлиты за стенами дома, по тысячам других квартир; и мир тот, лежавший за окном, был сейчас темен и освещен только уличными фонарями и звездами, горевшими на высоком и очистившемся к ночи небе. Семен, который был возбужден рассказом, непроизвольно, лишь потому, что надо было как-то остановить себя, поднялся из-за стола и направился к окну, чтобы приоткрыть его; он с минуту затем стоял, подставив лицо потоку свежего ночного воздуха, который, впрочем, был не столько свежим, сколько насыщенным сыростью и разными запахами отпотевшего асфальтированного двора; но Семен не почувствовал этих запахов, потому что они были привычны ему так же, как деревенскому человеку привычны запахи поля и луга, и, с удовольствием остудив разгоряченное и чуть вспотевшее лицо, вернулся к столу, за которым молча и все так же положив подбородок на скрещенные в пальцах руки, сидел Сергей Иванович. Последние слова, когда Семен говорил о похоронах Митиной бабушки, живо напомнили ему недавние похороны матери, и все те грустные мысли, связанные с этими похоронами, с болезнью Юлии и уходом Наташи из дому, как будто придавили его к столу; теперь уже он, когда Семен снова заговорил, несколько минут как будто отчужденно и невидяще смотрел на него.

— Работа... квартира... ну, разумеется, не без моей помощи, — сказал Семен, которому важно было не это, что он помог Мите устроиться в Пензе; главное, на что ему хотелось сейчас обратить внимание Сергея Ивановича, было странное состояние духа и незаурядные способности Мити. — Может быть, я сужу как дилетант, — продолжил он, глядя в глаза Сергею Ивановичу, как будто непременно надо было ему убедиться, правильно ли тот понимает его, — но, по-моему, он прирожденный художник. У него несомненные способности. Парень стеснительный, рисунки свои никому не показывает, сам хочет дойти до всего, но вот что он рисует, это меня настораживает. Черепа, скелеты, мертвецы... кошмар! — Семен опять встал и принялся ходить около стола. Ему вспомнилась та последняя встреча с Митей (около года назад), когда Семен был у него дома и когда Митя с неохотой, но все же разложил перед ним эскизы к своей будущей картине; с квадратных и продолговатых листов бумаги смотрели черепа с черными провалами глазниц и ноздрей, и рядом видны были мертвые головы стариков, детей и женщин; головы эти при матовом свете выглядели так натурально, что Семен слегка откачнулся тогда от стола. Он не стал спрашивать, где и с кого Митя срисовывал их; некоторые головы были обрамлены рамками гробов, некоторые лежали на голых досках и на клеенчатых кушетках, как в морге, и Семен, беря в руки рисунок за рисунком и всматриваясь в холодное выражение безжизненных лиц, как оно было схвачено Митей, испытывал чувство, будто при нем раскапывали какую-то общую могилу для опознания трупов; особенно поразило его лицо девочки с косичкою на груди и с выражением застывшей как будто улыбки, говорившей: «Мне лучше, чем вам». Это лицо маленькой покойницы сейчас особенно ясно всплыло перед глазами Семена, и он снова, как и в тот вечер (год назад), сказал себе: «Да, это талант», — и как в тот вечер, но еще с большим беспокойством подумал: «Но куда обращен, на что растрачивается?» — В комнате у него стоит огромное белое полотно у стены — холст для будущей картины. На полотне еще ничего нет, ни одного мазка, — продолжал между тем Семен, то приостанавливаясь, то опять начиная ходить около стола, иногда глядя, иногда не глядя на Сергея Ивановича. — У него навязчивая идея: создать некий шедевр ужасов, взглянув на который, люди бы поняли, как бессмысленны войны и всякие иные насилия, и больше никогда бы и никто не брал в руки оружие. Отку-

да у него эта идея, допустим, я понимаю: вся мужская половина в роду его из поколения в поколение выбивалась войнами. И сама мысль — долой войны! — если посмотреть, правильная. Кто из нас хочет новой войны? Никто. Но что меня настораживает?

— Не убий? — сказал Сергей Иванович, давно молча слушавший Семена.

— Да.

— А что взять с нынешней молодежи?

— Ну, не говори.

— К сожалению...

— Нет, Сергей, ты ошибаешься, я не согласен с тобой. Еще и еще сто раз не согласен. В каждом случае надо разбираться отдельно, и каждый раз будут свои причины. Митя талантлив. Но ему нужно помочь, и ты бы мог подключиться к этому делу.

— Каким образом?

— Во-первых, ты хорошо знал его отца и мог бы многое рассказать ему о нем; во-вторых, тебе надо сходить к нему, он живет недалеко отсюда, на Старой Песчаной, и ты бы сам убедился, как он талантлив; в-третьих — ты для него новый человек и он прислушается к тебе, и в-четвертых — ты же москвич, это фирма, и я знаю, как здесь у нас относятся к столичным людям. — Но как только Семен произнес эти слова, он сейчас же вспомнил о Тимонине; и вспомнил о предстоящем неприятном и трудном разговоре с женой; и все, что было связано с Митей Гавриловым, сейчас же потускнело и потеряло для него интерес. Он еще продолжал говорить: — Хорошо бы его рисунки показать специалисту. — И спрашивал у Сергея Ивановича: — Нет ли у тебя в Москве знакомых художников? — Он еще продолжал с волнением прохаживаться около стола, будто его по-прежнему беспокоила судьба Мити; но он уже опять прислушивался к шуму голосов, какой раздавался в прихожей, и по этому шуму старался определить, все ли гости ушли или кто-нибудь еще оставался в доме. Он снова теперь оглядывался на дверь и, как только почувствовал, что Ольга в прихожей осталась одна, сказав Сергею Ивановичу: «Я сейчас, минуточку», — вышел к ней.

(Продолжение следует)



МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

КАПЛЯ ВОЛГИ

Что-то верить стал я
в каждую примету.
Серой синью
стынет волжская вода.
Может, скоро
я в последний раз
к тебе приеду
И останусь,
Не расстанусь.
Навсегда.
Волга-Родина,
прости слова восторга
И прости меня за все,
что умолчал.
Я живу тобой,
плыву тобою, Волга,
Знаю твердо —
Ты последний мой причал.
Я плыву тобой,
все створы отмечаю,
Каждый раз
читаю снова по складам.
Проблесковыми огнями
отвечаю
Всем
идущим на сближение
судам.
Столько жизнью нами
прожито с тобою.
Бурлаком ходил
дорожкой бечевой.
С той поры всегда хожу
твоей тропюю,
Хоть и ноет каждый
мускул плечевой.
С Пугачевым я стоял в ночи грозовой,
Лодки посуху от Дона волоча.
Был я вольницей твоею понизовой,
Был и с конницей твоей у Калача.
Я твоими всеми мелями
мелею.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

ПЕРСИДСКИЕ СТИХИ

С аварского

ПЕРСИЯ

В Иран приехав вешнею порою,
Трех женщин я повсюду встретить мог.
Одна тысячетлетнею чадрою
Окутана была до самых ног.

Красивых женщин пели не случайно
Поэты здесь в былые времена.
— Кто вы, ханум, чей лик сокрыт, как тайна?
— Я — Персия, — ответила она.

Чадра другой была под стать вуали,
Приметить позволяя неспроста
Жемчужины,
которые сверкали
В полуоткрытой киновари рта.

Казалось, проплывавшая в зените,
Слегка прикрылась облаком луна.
— Кто вы, ханум? Как вас зовут, скажите?
— Я — Персия, — ответила она.

Точеные, как будто из самшита
У третьей были ножки.

И, смугла,
Мне улыбалась женщина открыто,
И я подумал: «Боже, как мила!»

Прекрасный лик. Точеная осанка,
И дерзко грудь почти обнажена.
— А вы, мадам, наверно, парижанка?
— Я — Персия, — ответила она.

ГУГУШ

«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Трепет коснулся душ.
«Верю, верю,

Что стены класть пришла пора,
Достигла крепости основа.

Взглянув на звездный календарь,
Сумей себя переупрямить.
Приступим к делу, государь,
Чтоб о тебе осталась память.

И зодчий шахом был прощен,
Но стал печальней шах, чем ранее...»
Стоит над бурями времен
Мечеть, красуясь, в Исфагане.

САБЛЯ НАДИР-ШАХА И РУБАЙИ ОМАР-ХАЙЯМА

Отгарцевавший в царствии подлунном
И превращенный временем во прах,
С клинком в руке
на скакуне чугунном
Седым Мешхедом скачет Надир-шах.

Не изменивший собственной натуре,
Надменный всадник грозен и упрям.
И белой чашей в древнем Нишапуре
Как будто сам венчал себя Хайям.

И восклицает сабля Надир-шаха:
— Мне власть была завидная дана,
Я всласть рубила головы с размаха,
Приказу высочайшему верна.

Царя царей — великого Надира
Я славила,
сверкая и звеня,
И в двадцати походах
он полмира
Не смог бы покорить, не будь меня.

Придворные поэты
фимиама
Мне не жалели,
слова граня.
Но почему вас, рубайи Хайяма,
Умельцы не вчеканили в меня?

— Мы рождены для разного напева,—
Хайяма отвечали рубайи,—
Ты пела смерть,
исполненная гнева,
А мы любовь — глашатаи любви.

Хозяин твой и в праздник хмурил брови,
А с нашим радость век была дружна.
Твои уста карминились от крови,
А наши — от багряного вина.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

ГАБОР ГАРАИ

★

Камень у заводских ворот

Отчего вздымается глыбой
красный камень у проходной?

Здесь стреляли в Ленина.

Вздыблен
камень: помни — на здешних булыгах,
запеклись на здешних булыгах
капли крови его родной!

Вот он — мрамор багряный. Вот,
вот он — в помыслах наших и в чувствах —
исполинский кровавый сгусток
у крутых заводских ворот.

Исковеркан страданьем вещим,
мрамор весь в паутине трещин:
он изранен, как жизни дни
за багряными облаками.

Искореженный этот камень
милосердной правде сродни!

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ

Об опальной любви и фатальной,
опаленной рассветной тоской,
этот вопль на стене капитальной,
умоляющий голос мужской!

Это чувство сильнее дурмана,
ты о нем рассказал как сумел:
я люблю, люблю тебя, Анна! —
крупно вывел крошачийся мел.

Кто ты, тот, что писал их когда-то?
Как белы твоих букв кружева!
Смыты ливнями клочья плаката,
ну а надпись, как прежде, жива!

Эта надпись — как возглас о счастье
в вечной ярмарке весен и дней;
дождь и муниципальные власти
ничего не поделают с ней.

А над нею — рифленные диски
проржавевших авральных сирен,
а под нею — крысиные пiski,
а под нею — угрюмы и низки
потолки, где убежища тлен.

В этих буквах — весна упований,
пробужденных ветвей непокой...
Где же ночь той бессонницы ранней,
что крошилась мелком под рукой?

Где тот мальчик, что, может быть, вытер
слезы... нежности голос хмельной,
воплотившийся в музыку литер
на торце, в белизне костяной?!

Этот мальчик и девочка эта,
может быть, позабыли давно,
как цвело, их дыханьем согрето,
кирпичей земляное руно!

Радость утра иль вечера траур,
клен иль явор в закатной крови...
вечно будет кирпичный брандмауэр
голосить о рассветной любви!

Чтоб цвели, как прибой океана,
белопенных валов купола,
эти буквы: л ю б л ю т е б я, А н н а!
Чтоб Земля оставалась цела!

...Я л ю б л ю т е б я!
Яростным взмахом,
мелом в темень торцовой стены...

Шар земной не рассыплется прахом,
когда двое друг другу верны!

ВСТАЮЩИЕ В САМУЮ РАНЬ

Спроси-ка однажды,
когда
пора расставаться с постелями,
спроси-ка однажды,
когда подниматься пора
тем, которые прибывают в Келенфельд
пунктуально
в шесть ноль-ноль утра?

Ничем почти не отличимы
друг от друга —
ни обличьем, ни речью,

идут они друг за другом
и жизнь начинают сначала,
и дивишься: куда девались поколений противоречья?
И где оно — единоборство мужского и женского начала?!

Спроси-ка себя однажды —
легки ль поутру их шаги,
когда рассветный румянец лишь едва заалел на востоке?
У молодых и у старых — все равно под глазами круги,
и у мужчин и у женщин
одинаково морщины глубоки!

Будильник прокукарекал,
обогнав петуха живого,
еще не смахнуло утро
с небес своих звездный корм...
— Утро пришло... — во мраке
человек прохрипел сурово
и отправился — пешедралом —
в эдем станционных платформ.

Шел битый час, спотыкаясь, на ветру заслоняя спички,
дешевые сигареты смолил под ночным потолком,
чтобы потом, оказавшись в переполненной электричке,
перемолвиться словом с другом в вагоне, набитом битком.

Ну кто они, эти люди?
Они?
Легион им имя!
И в жизни им выпала доля — главное бремя нести.
Чуть свет встают эти люди,
их небо в фабричном дыме —
зато всегда можно с ними
Отчизну в беде спасти!

Их жизнь не всегда проходит
в утрадах, в цветах и в песнях —
мешки с песком они носят, коль надо:
— Ремонт путей!

А если надо, готовы отправиться на воскресник,
на воскресную вахту мира, ради вьетнамских детей!

Они ведь не краснобаи, не про них эта статья

Д е м о с ф е н ь я !

Они и на профсобраниях порою носом клюют,
но ради детишек, где-то пострадавших от наводнения,
бессонную ночь работе от доброй души отдают!

Они меня не читают,
хотя я поэт известный, —
в лицо меня вовсе не знают,
меня не видали в глаза;
в движеньи «Н а р о д — ч и т а т е л ь»
они не на первом месте,
балластом кажутся часто,
с точки зренья должностного туза!

И все же, хотя их «пассивность»
ажурные портит сводки
(терзают процентомана невроз и радикулит!),
пожалуй, именно с ними

рассветную рюмку водки
в шалманчике привокзальном
мне сердце выпить велит!

И снова ветер рассветный
на свои возвращается круги,
и снова толпой трудовую
я — праздный — до боли сжат.
Мне следовало бы с ними
поболтать о культурном досуге,
но, право, не знаю, как быть мне?
Что делать?
Они — спешат!

Так вот они прошагали —
солдаты и работяги, —
случайно ль скрестились с ними
мои утренние пути?
Что ж, был бы хлеб в торбе заплечной
была бы вода во фляге —
и я с друзьями такими
готов хоть в пустыню идти!

ИШТВАН ВАШ



Знамена

Я вам более не верю,
геральдические звери
разных видов и пород,
в терпком запахе олифы, —
львы, орлы, медведи, грифы,
романтический народ!

Я вас больше не прославлю,
как там хищники ни странны,
вы, в изяществе зверька...
И — лазорево-багряны —
башни, полосы, прораны,
и вздымающая саблю
рыцарственная рука!

Не по мне щиты, поля —
весь кичливый муравейник,
пламя роз, щавель, релейник,
вечных символов семья!

Вы, оттенки всех дорог,
всех гибридов сброд бесплодный,
облик лани благородной,
гордый зверь-единорог,
и надменные безмерно
травы — клевер и люцерна,
и узорчатая ткань,
огненных сплетенье лилий —

чьими эти знаки были?
Память, слушать перестань,

Но забуду я едва ли
эти звезды и кресты,
те, что в тучах высоты
гибли и торжествовали!
И пускай покрыла грязь
слишком многие знамена —
красный, белый и зеленый
вздулись, в облаке вися!

В тучах — молнии разводы,
по отвесу — сверху вниз,
и — «За бога и свободу!» —
геральдический девиз
(на мужицких на костях) —
и еще — отважный стяг
Петефи и наше знамя,
озаряющее высь:
роза, пурпур, кровь и пламя
воедино в нем слились!

Развевайтесь, жарко рдейте,
льните к сердцу моему,
в малом сердце пламенейте,
рвитесь пламенем во тьму!
В этом сердце вам не тесно;
так, сомненья прочь гоня,
положитесь в небе вместо
отшумевшего меня!

Флаги, огненные стяги,
вечно я у вас в долгу:
рейте в славе и отваге,
коль лететь я не могу!

ЗНАЮ

Знакомо ли вам то приволье,
где дрожь пронимает сады,
когда пересохшее поле
полно ожиданьем воды?

Великим истерзано жаром
все — вплоть до природы людской,
но пыльная буря не даром
ерошит асфальт городской.

А после — все в ясности мысли:
жизнь, вечер большой красоты
и те кружевные мосты,
что вдруг над Дунаем повисли!

Мне в городе каждый проулок,
любой закоулок знаком:
о сердце, твой колокол, гулок,
вещает людским языком!

Луна пробудилась резная,
чей отблеск дрожит на воде...
Что было, что будет — я знаю
теперь, и тогда, и нигде.

Луну я запомнил такой
еще желторотым подростком,—
луна над мостом и киоском
пусть внидет в мой смертный покой.

Я знаю, как было, когда
меня еще не было вовсе,
я знаю, как будет — готовься,
душа, улететь в никуда!

Что ж, новые люди придут,
кто глуп, кто умен чрезвычайно,—
грядущее вовсе не тайна
для тех, чей закончен маршрут.

Но в голос Большого Потока,
в дрожанье листвы над рекой
откуда-нибудь издалека
вернусь я сквозь вечер такой!

ДЮЛА ШИПОШ



Из записок революционера

Быть может, вам когда-нибудь придется
отправиться на поиски — не угля
и золота, а предков — вот-те на!
Должно быть, вам понадобятся предки,
и вы тогда найдете нашу веру,
и наши кости вы тогда найдете
в могилах братских, в безымянных рвах,
а иногда и на мемориальных
кладбищах, там, где мрамор столь кичлив
и столь непогрешима позолота.
И вы узнаете всё про эпоху,
а ведь эпоха — это были мы:
уберегли мы тлеющие угли,
без коих попросту б земля остыла.
Ну что ж! Грехи и заблужденья наши
большими были. Но и ставка тоже
была большой — ведь создали мы целый
мир, целый мир мы сами сотворили!
Быть может, завтра человеческий род
четвероногим станет — или будет
кататься на каких-нибудь колесах,
обычай пешеходов осмеяв.

Но ту эпоху, что мы звали нашей,
мы сотворили из ребра и глины,
из крови и души, дыханья, духа —
не так ли древле Еву и Адама
непогрешимый сотворил господь?

ИМРЕ ДЬЕРЕ

*Когда о Вольности повел я речь...*

Когда о Вольности повел я речь,
я знал, что сыновей она рождает,
которые в борьбе, в надежде вырастают
и сотни тягот сбрасывают с плеч.

Мы знаем, как их доблесть началась:
их мысль плутала в облаках крылатых,
взлетая на бескрылых аппаратах,
они отвергли притяженья власть.

А жизни нет конца. А жизнь — жива:
от предков — к нам. Она — первопричина
всего как есть. Вот так во мгле пучина
растит коралловые острова!

Так юность распрямилась в полный рост
в сплетеньях века. Юность не стареет:
парит в непостижимых эмпиреях
и долетает до желанных звезд!

ИШТВАН ШИМОН

*Не бойся и твори, покуда хватит сил...*

Не бойся и твори, покуда хватит сил:
Мир Обновления могуч и непокорен,
и в глубине его твой непорочный корень,
а сонм густых ветвей он влагой оросил.

Будь верен истине вселенской правоты,
отвергни клевету завистников плюгавых,
забудь о критике кровососущих пьявков,
ведь ими с толку сбит отнюдь не будешь ты.

Тебя не ослепит их пестрой рампы свет,
но жалок их возней испуганный поэт:
дурацкой спесью он прикрылся всесторонне...

Вот так, на голую взобравшись вышину,
куст можжевельника взирает на сосну,
отважную сосну, растущую на склоне!

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН



Борцы за социализм

Мы существуем. Может быть, подчас
затем-то смерть и обходила нас,
чтоб от нее мы убежать не смели.
Мы были там, где гибли города,
но в самой гуще были мы всегда,
себе не возводили никогда
особой, персональной цитадели.

Все было в нашей праведной судьбе,
в грозу, под огнедышащею тучей,
но запасного выхода себе
мы не пытались рыть на всякий случай!

И — этот образ кстати иль некстати,
но только ощущали мы порой
себя — как некий летчик-испытатель,
еще не космонавт и не герой:
он, в самоистязаньи и в недуге,
вращается на рвотной центрифуге,
чтоб знать, что может вынести человек,
чей путь тернист, но разум чей не узок...
Все испытал на нас двадцатый век —
от невесомостей до перегрузок!

Мы вечно вырывались из кольца,
в нас мещанин палил из ружьяца —
мишенями в своем похабном тире
он сделал наши чувства и дела;
но ненависть в полон нас не взяла —
мы с каждым днем учились мыслить шире!
...Могильщики свою являли прыть,
порою доходило и до драки,
но не смогли нас с панталыку сбить
псевдосамосожженцы и кривляки!

В отчаяньи, в отраде и в судьбе,
в паденьи, и в подъеме, и в борьбе
мы цельностью гордились неизменной,
и в наших мыслях эта цельность есть,
и в этот мир пришли мы, чтоб навесть
порядок — во взъерошенной вселенной!

Мы суд ведем над гнетом роковой
Случайности, — с надеждою живой,

живой водою орошая раны.
Во имя жизни мы ведем свой суд:
мир на плечи поднять — немалый труд,
но поколения новые несут
нам радость сквозь рассветные туманы!

НАШИ ПЕСНИ

I

Сердце мира стучит в моей клетке грудной:
свет дневной, мрак ночной,
холод, стужа и зной,
колыханья воздушной стихии
и тревожные волны морские,
жизнь и смерть, и скитанья падучей звезды,
душный август, густые земные сады,
и мелодия ритма и взмаха,
и томленья молитвы и страха,
и любовь, и влеченья любви и тепла,
в неизбывном живом равновесьи —
это всё наши лучшие песни:
нашим песням хвала!
Песни зверя дубравного очеловечат,
радость пестуют песни и горести лечат,
песни в славе своей могут выразить ясно
то, что слову бескрылому неподвластно,—
вот что мы с тобой песней зовем!

II

Будто спал в материнской утробе —
и проснулся, явился на свет,
руки-крылья взнесли меня в сонмища звезд и планет,
пронесли над пустынею Гоби!
Надрывались чудовищ-моторов сердца
в изумленьи и муке;
но несли меня к звездам всесветные руки,
будто руки отца.
И увидел я в многообразии
нашу землю — вширь и в длину;
вековечные стены Азии
и Кавказских гор крутизну!
Разных весен увидел зори я,
землю отчую исхोдив,
и святые места Истории,
и базары восточных див!
И в роскошных купе двухместных,
и в туристской пешей ночи,
всюду — песни жителей местных
шли со мною как толмачи.
Край иной и иное небо,
речь иная, иной язык,
но народ тот мне чуждым не был,
чей напев я душой постиг!

III

Пусть язык огня и стали
людям издавна знаком,
наши песни нынче стали
нашим общим языком!

В гулких мы церквах певали,
и на свадебном пиру,
и в походе на привале,
поутру и ввечеру.

Пели в праздники и в будни
(скукой этих будней серых
жизнь сынов не обнесла)...

Пели даже на галерах,
воздымая груз весла!

Пели мы, смеясь и плача,
ведь надежда полнит грудь,
что придет и к нам удача,
просветлеет песен суть,

что потом, в грядущем где-то,
через звездные поля
порезвей пойдет планета
по прозванию Земля!

Ради радости грядущей,
ради счастья вешних дней
мы на той звезде поющей
закружимся вместе с ней!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.



РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

День за днем приближает нас к юбилею великой победы — победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Спустя три десятилетия особо зримыми становятся величие подвига народа, мудрость партии, сила и неисчерпаемые возможности социалистического строя, сделавшие возможным победоносное завершение величайшего испытания, каким была для нашей Родины война.

Во всей грандиозности предстает перед миром историческая весомость, огромное значение для всего человечества победы, одержанной первой страной социализма над собранными в бронированный кулак силами реакции и мракобесия — над германским фашизмом и его союзниками и сателлитами.

Когда Адольф Гитлер со своим генералитетом планировал нападение на Советский Союз, ему казалось, что он основывается на самых точных расчетах. Все, казалось, сулило гитлеровским полчищам «молниеносную» победу.

Его прошедшие по столицам Европы миллионные армии не знали поражений. Его тылы располагали гигантскими ресурсами. Самая развитая промышленность, могущественная металлургия Рура и Саара, оружейные заводы Круппа и Тиссена в самой Германии. Заводы Шнейдер-Крезе в оккупированной Франции. Предприятия Шкода в захваченной Чехословакии. Танковые, самолетные, моторостроительные, химические и прочие необходимые для войны предприятия работали на Гитлера в Голландии, Дании, Австрии, Венгрии. Огромные запасы вооружения и техники, взятые у стран покоренной Европы, включая английские орудия и танки, захваченные у Дюнкерка. Все это находилось в распоряжении гитлеровских немалов. Даже формально нейтральные страны, такие, как Швеция или Швейцария, немалую долю своего экономического потенциала отдавали на службу немецко-фашистскому вермахту.

Победа Германии казалась несомненной не только самому Гитлеру и его генеральному штабу. Политические и военные деятели, парламентарии Англии и США если расходились во мнениях, то только в том, сколько недель или месяцев сможет продержаться СССР.

Однако уже первые дни войны принесли гитлеровским стратегам немалые разочарования. Эта война оказалась не похожей на увеселительные прогулки, какие привыкли совершать фашистские бронированные полчища по странам Западной Европы.

Кровавые бои и сражения. Битва под Москвой — первое крупное поражение гитлеровских армий, развеявшее миф об их «непобедимости», похоронившее расчеты на блицкриг. Грандиозная эпопея Сталинграда, невиданный по масштабам разгром и пленение ударных армий фельдмаршала Паулюса. Курская дуга — гигантское сражение, провал операции «Цитадель» — последней попытки гитлеровцев захватить стратегическую инициативу. Форсирование Днепра, победоносные наступательные операции Советских Вооруженных Сил, освобождение Украины, Белоруссии, прибалтийских республик, выход за рубежи Советского Союза.

Наши победы вызвали воодушевление поработанных народов Европы, рост героического движения Сопротивления. Выполняя свою великую освободительную миссию, свой интернациональный долг, советский народ и его армия преградили путь германскому фашизму к мировому господству, вызволили из неволи народы Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Югославии.

Завершающие бои и сражения, Висло-Одерская операция... И вот — наше знамя над рейхстагом. Победа!

Победа полная, решительная, завершившая великое испытание четырех лет кровопролитной, разрушительной войны, какой не знала история.

Победа над фашизмом, говорится в постановлении ЦК КПСС о тридцатилетии по-

беги советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, явилась всемирно-историческим событием и оказала глубочайшее воздействие на весь ход мирового развития. Она показала, что социализм — самый надежный оплот дела мира, демократии и социального прогресса.

Тридцатилетний юбилей победы— всенародный праздник социалистической Отчизны—отмечается во всем мире как интернациональный праздник всех прогрессивных сил.

О том, как совершался великий подвиг народа, его солдат, офицеров, генералов, маршалов, написано много. Об этом будут писать и через сто и через триста лет. Все, что правдиво рассказывается о Великой Отечественной войне, интересно, значимо, важно. Особенно достойны внимания рассказы непосредственных участников и очевидцев исторических событий.

Рассказывает ли рядовой солдат о том, что видел, пережил, лежа в окопах, в трудах и походах, пишет ли свои воспоминания прославленный полководец о крупных стратегических операциях, о том, как планировались, готовились и осуществлялись решающие сражения, определявшие судьбы войны,— каждая строчка драгоценная и для историка и для широкого читательского круга. Большое полотно и малый набросок — каждый по-своему дополняет историческую картину, помогает яснее понять, полнее и ярче представить себе, как в те грозные годы в великом напряжении, сплоченный под знаменами партии многонациональный наш народ шел по трудному, полному испытаний и жертв героическому пути к великой Победе.

Предлагаемые читателю воспоминания солдата и маршала, рядового бойца и прославленного военачальника — часть материалов, предназначенных для подготавливаемого Издательством политической литературы двухтомника воспоминаний участников Великой Отечественной войны (редактор-составитель И. М. Данишевский).

Ф. Н. СМЕХОТВОРОВ



СТОЯТЬ НАСМЕРТЫ!

Там, за Волгой,— черно-бурые плотные облака. Это горит Сталинград. Огня почти не видно — лишь раскаленный воздух струится над скелетами обугленных домов.

Катер спешит в Сталинград. Обходим с юга остров Зайцевский. По катеру бьет фашистская дальнобойная артиллерия. Толстые водяные столбы взбухают у самого борта, с силой бодают наше суденышко. Оно скачет и кренится, волны заливают палубу. Бойцы разведроты, поминая бога, черта и Гитлера, хватаются за борта и выступы надстроек.

Идем под высокий берег, к деревянному причалу. Его настил раздерган взрывной волной, иссечен осколками, сваи покосились. Причал скрипит и мелко подрагивает, принимая на себя толчки катера. Еще минута — и мы с майором Н. А. Вонтелевым, офицером штаба дивизии, первыми сходим на сталинградскую землю.

Нас ждут. Старший лейтенант с замотанной свежим бинтом головой докладывает:

— Офицер связи штаба Шестьдесят второй армии. Приказано встретить командира Сто девяносто третьей дивизии.

— Я командир Сто девяносто третьей. Что в городе?

— Держимся,— скупо отвечает он.

По овражку выбираемся на кручу. Впереди в пожелтевших осенних садах белеют домики. Огонь их пощадил. А выше по склону горы, за оградой,— кирпичные громады заводских корпусов. В стенах и крышах зияют проломы, трубы сбиты. Это завод «Красный Октябрь». Его территория, окруженная рабочим поселком, а также примыкающий к нему завод «Баррикады» составляют северную часть Сталинграда. Она тянется вдоль Волги длинной узкой полосой — не более пяти километров в поперечнике. Как предупредили меня еще на том берегу, раз-

ведывательные группы фашистов глубоко проникли в город, ведут бой в поселке Красный Октябрь и на подступах к заводу.

Да, это нам теперь самим слышно и видно. Автоматно-пулеметные очереди постукивают не далее как в четырехстах — пятистах метрах. В развалинах гулко рвутся ручные гранаты.

Отсюда, с кручи, отлично просматривается гладь реки и заволжская сторона, пароходы и баржи, на которые грузятся полки моей дивизии. Туда через наши головы летят снаряды фашистской тяжелой артиллерии. Похоже, что наблюдатели противника корректируют огонь с соседних крыш.

— Их тут полно, — подтверждает связной. — Жесткой линии фронта нет, они и пробираются.

Приказываю командиру разведроты развернуть ее в цепь и прочесать территорию завода. Надо прикрыть высадку дивизии.

Связной ведет нас с Воителевым к заводу «Баррикады». Перелезаем кирпичные завалы, ползем под закопченными сводами, где вдруг — пробойна с ярким клочком небесной лазури; и опять завалы, рвы, воронки на тротуарах, свитые в жгут железные балки. Жар догорающих домов, грохот внезапно рухнувшей стены...

Как ориентироваться в этом хаосе разрушений, как полки займут оборону? Даже старожил не сразу найдет тут дорогу и опознает знакомые некогда места. Таблички с названиями улиц и те не уцелели. Я ни одной не приметил.

Выходим к узкоколейке. Здесь, близ завода «Баррикады», несколько ниже огромных нефтяных баков, глубоко врыт в откос командный пункт командарма-62 генерала В. И. Чуйкова.

Две керосиновые лампы освещают стол, карту Сталинграда, высокий лоб и суровый профиль командующего. С Василием Ивановичем я знаком давно, но представляюсь по всей форме, как того требует воинский устав.

— Здравствуй, Федор Никандрович, — отвечает командарм. — Где дивизия?

— Восемьсот девяносто пятый полк на армейской переправе. Высаживается. Следом пойдет Восемьсот восемьдесят третий...

— Хорошо. Слушай боевую задачу. — Он резко встает из-за стола, говорит, рубя фразы: — В поселке Красный Октябрь пусто. наших войск нет. Только разрозненные группы. Немедленно займешь оборону по западной окраине, прикроешь армейскую переправу. Фашиста к Волге не пропускать, стоять насмерть.

Командарм показывает на карте передний край дивизии, ее границы с соседями. Справа, у силикатного завода, держат оборону танкисты 27-го корпуса; слева, за гигантским, пересекающим весь город Банным оврагом, сражается на Мамаевом кургане 284-я дивизия полковника Батюка. А еще далее на юг, в центре города, у Набережных улиц, отражает атаки 13-я гвардейская дивизия генерала Родимцева.

— Мой Шестьсот восемьдесят пятый полк передан Родимцеву, — докладываю я. — Еще три дня назад.

— Помню, — кивает Чуйков. — Вернуть тебе полк пока не могу. Там тяжелые бои, немец прорывается к Волге.

— У меня нет карты города.

— Дам одну, — отвечает он и обращается к начальнику штаба генералу Крылову: — Николай Иванович, снабди его картой.

— Одной карты мало. У нас никто не знает города. Как занимать оборону?

— Пришлю местных милиционеров, — обещает командарм.

Генерал Крылов добавляет, что командный пункт дивизии намечен в Доме специалистов и что он уже распорядился подать туда проводную связь от штаба армии.

Не более получаса пробыли мы с Воителевым на командном пункте. Спешим к Дому специалистов. Он стоит на взгорье, виден издалека. Высокий, массивный, издырявлен снарядами, как решето. С набережной к нему ведет каменная лестница. Взбегаем по ней. Близко гремит автоматная очередь, пули чмокают в известняк. Падаем ниц, ползем под защиту массивных тумб.

— Жив?

— Живой, — отвечает Воителев.

Осматриваюсь. Слева от лестницы шагах в тридцати — домик с мезонином. Фасадная стенка обвалилась, видна внутренность комнат. Замечаю там, в темной глубине, какое-то движение. Мелькают огоньки выстрелов, и автоматная очередь прокатывается над нашими головами.

— Видишь фашиста?

— Вижу, — отвечает Воителев. — Вот я его накормлю-напитаю...

Широко размахнувшись, он бросает гранату. Метко. Прямо в мезонин, под крышу. Граната рвется. Из мезонина вниз, в садик, вываливается кровать, потом немецкая каска, потом труп гитлеровца...

Устроив командный пункт в Доме специалистов, в бойлерной, мы сразу же занялись прозаическим, но необходимейшим делом — стали копировать на кальку выданную нам карту Сталинграда. И когда майор Григорий Дмитриевич Ворожейкин доложил, что его 895-й полк полностью переправлен, я уже мог вручить ему схему города и поставить на ней боевую задачу — с передним краем полка по Житомирской улице, с границами полкового участка и т. п. Потом прибыл командир 883-го полка капитан Максим Васильевич Настеко. Его полк должен был занять оборону левее 895-го полка — от улицы Зуевской до Банного оврага, с передним краем по Чернореченской улице.

Еще засветло оба полка начали продвигаться от армейской переправы через территорию завода «Красный Октябрь» к западной окраине города. С верхних этажей Дома специалистов из пролома в стене я прослеживал их движение по перестрелке, то вспыхивавшей, то затихавшей. Глаз мало-помалу привыкал находить ориентиры и в развалинах: длинный одноэтажный кирпичный дом — баня; серый, с полукруглым фасадом — фабрика-кухня... В бане, на фабрике-кухне и в школе № 35 фашисты успели укрепиться, пришлось выдвинуть к этим зданиям два легких артиллерийских дивизиона. Огнем прямой наводки сопротивление противника было подавлено, и в сумерках полк Ворожейкина начал занимать оборону по западной окраине. Левее, выбив фашистов из Угольной улицы, вышел к намеченному рубежу полк Настеко.

Наступает ночь, но ни на командном пункте дивизии, ни в частях никто не спит. Занять оборону в незнакомом городе, ночью, без предварительной рекогносцировки — дело трудное. У нас оно осложняется тем, что буксир и баржа с батальоном связи два часа назад потоплены вражескими бомбардировщиками. Людей удалось спасти, но все имущество, в том числе десятки телефонных аппаратов, многие тысячи метров телефонного провода, пошло ко дну.

Прошу Павла Ильича Нечаева, своего заместителя по политчасти:

— Сходи к командарму. Объясни ситуацию. Скажи, остались без связи. Пусть поможет.

Нечаев вернулся от командарма мрачный. Никаких резервов связи у генерала Чуйкова нет и в ближайшие часы не предвидится. Командарм требует более рационально использовать полковые средства связи. Главный и настоятельный его совет: уповайте на радиостанции, они верный помощник в уличных боях, а телефонный провод слишком уязвим — быстро перегорает.

Допрашиваем пленных. Все они из передовых отрядов 14-й и 100-й легкой пехотных дивизий. Чернявый худенький обер-лейтенант, отвечая на вопросы, трет носовым платком лоб и ладони. Потеет. Нервы.

— Должность?

— Командир роты.

— Давно под Сталинградом?

— С августа. Мы наступали в центре города.

— Когда дивизию нацелили на поселок Красный Октябрь?

— Два дня назад.

— Почему?

— Говорили, что здесь легче прорваться к Волге и свернуть русскую оборону... Меня расстреляют?

— Нет. Вас отправят в тыл.

Допросом пленных удается установить, что гитлеровское командование нацеливает на «Красный Октябрь» и «Баррикады», помимо 14-й и 100-й дивизий, 24-ю танковую и 389-ю пехотную дивизии. С утра они обрушатся на нас, чтобы сделать то, чего не удалось им сделать в центре города, — сбросить советские войска в Волгу.

К рассвету оборона дивизии в основном подготовлена к бою. В уцелевших каменных домах созданы противотанковые опорные пункты; в каждом два — четыре орудия и несколько противотанковых ружей. Наши саперы за ночь установили около 50 тысяч мин, противотанковых и противопехотных.

Светает. С моего наблюдательного пункта, с верхнего этажа Дома специалистов, виден весь передний край дивизии — от силикатного завода до Ванного оврага. За крайними улицами — огороды, поля, перелески. Туман рассеялся, и тотчас гулко прокатился по горизонту первый залп вражеской артподготовки. Часы показывают ровно восемь. В грохот канонады вторгается ровный унылый гул авиационных моторов. «Юнкерсы» — около 100 машин — зависают над нами, черные шариком бомб срываются у них из-под брюха. И начинается!

Ливень бомб, снарядов, мин плотно накрывает поселок. Все горит, все рушится. Облако кирпичной и песчаной пыли, дым, копоть, сомкнувшись, накрывают кварталы. Где-то внутри гремят взрывы. Они выбрасывают в поднебесье снопы искр, фейерверки пылающих головешек. Улицы выгорают дотла.

По телефону докладывает Настеко:

— Танки, пехота противника накатываются в квадрате ноль шесть — одиннадцать, восточный край рощи! Прошу помочь огнем!..

Ворожейкин молчит, связисты докладывают, что провод порван. Однако я и сам сверху вижу, как по огородам ползут к Житомирской улице, к позициям 895-го полка. Это танки, около 20 машин.

Связываюсь по радио с командующим артиллерией армии генералом Н. М. Пожарским. Называю координаты целей. Все артполки всех дивизий переданы Пожарскому, управление огнем строго централизовано.

— Будет огонь! — коротко отвечает Пожарский.

Минут пять спустя далеко за спиной, где-то там, в Заволжье, дружно рывкают орудия. Узнаю басовый тембр тяжелых пушек-гаубиц. Стена огня, дыма, вздыбленной земли встает перед фашистскими танками. Стена медленно опадает, но тут же вырастает новая. На военном языке это называется НЗО — неподвижный заградительный огонь. Три танка уже горят...

Так 28 сентября 1942 года началась для 193-й стрелковой дивизии ее сталинградская страда — шестьдесят долгих суток под жесточайшим огнем, под натиском непрерывно атакующего противника.

За первые четыре дня боя фашистам удалось продвинуться только на триста — шестьсот метров. Потери у них были громадные. В ночь на 1 октября они прекратили атаки, чтобы перегруппироваться и подтянуть резервы. Однако и нам командарм подбросил подкрепление — наш 685-й полк, который до этого сражался в дивизии Родимцева.

2 октября гитлеровское командование предприняло новое наступление. Оборону дивизии атаковало одновременно около 70 танков. 7 из них прорвались к переднему краю 883-го полка и начали крутиться над окопами. Рядовой второй роты Михаил Паникахо, вооружившись бутылкой с горючей смесью, пополз навстречу головному танку. Паникахо попал к нам в дивизию из морской пехоты вместе с тысячей других моряков-тихоокеанцев, еще когда мы формировались в тылу. Моряки стали крепким ядром дивизии. В первом же бою своей непоколебимой стойкостью, отвагой и боевой яростью они как бы задали тон всей нашей двухмесячной борьбе.

Паникахо уже взмахнул бутылкой, чтобы поразить танк, но ее разбила пуля. Горючая, мгновенно вспыхнувшая жидкость залила ему голову, плечи, грудь. Живой человек горел, как факел. Но не сдавался! Все видели: он догнал танк,

прыгнул на корму, разбил вторую бутылку над двигателем фашистской машины. Танк загорелся. Так погиб наш герой Михаил Паникахо.

Его товарищи, бойцы 883-го полка, подожгли еще два танка. Остальные машины поспешно отошли. Полк удержал позиции.

К 5 октября борьба за поселок Красный Октябрь достигла высшего напряжения. Устилая своими трупами щебенку и битый кирпич сталинградских развалин, фашисты рвались к Волге. Им удалось расчленив 685-й полк полковника Е. И. Дрогайцева.

Посылаю к Дрогайцеву связных, они вскоре возвращаются. Командный пункт полковника в школе № 35 блокирован фашистами. Пробраться туда нет возможности. Посылаю разведчиков. Они докладывают то же самое. Вокруг школы насчитали 15 вражеских танков и самоходных орудий. Фашисты бьют в упор по развалинам школы, но как только их автоматчики пытаются проникнуть внутрь, люди Дрогайцева встречают их пулей, штыком и гранатой.

Под рукой у меня нет никаких резервов. Да что там говорить о резервах, когда фашисты то и дело прорываются к моему НП и все мы беремся за автоматы.

Лишь сутки спустя нам удалось восстановить положение. Курсанты учебного батальона дивизии во главе с капитаном А. А. Осыкой атаковали фашистов у школы, сожгли 4 танка и деблокировали командный пункт Дрогайцева. Полковник вышел к нам с тремя штабными офицерами и семью связистами, а полчас спустя он уже управляет боем 685-го полка.

5 октября другая группа фашистских танков — 10 машин — прорвалась на стыке флангов 895-го и 883-го полков и по Центральной улице устремилась в наши тылы, к Дому культуры завода «Красный Октябрь». Отсюда до Волги рукой подать.

Это был уязвимый участок нашей обороны, поэтому я заранее приказал командиру 50-го противотанкового дивизиона майору М. Д. Волкову поставить у Дома культуры и железнодорожного переезда крепкий артиллерийский заслон. Волков выдвинул сюда батарею лейтенанта Григория Авакяна.

Батарейцы дружным огнем встретили фашистские танки. Подбили две машины. Противник попытался сманеврировать, чтобы зажать батарею в клещи, но Авакян выбрал отличную позицию. Более часа длилась неравная эта борьба. Фашисты потеряли еще три танка. Несла потери и батарея. Теперь вело огонь только одно орудие. За его прицелом стоял раненый лейтенант Авакян. Остальные батарейцы погибли. Комбат, волоча перебитую в кости ногу, сам заряжал пушку, сам стрелял. Поджег еще танк, потом упал без сознания. Герой скончался от ран, но фашисты не прошли.

Трудную осаду выдержали 8 солдат и сержантов 184-го пулеметного батальона — Виктор Карташов, Алексей Бочкарев, Виталий Бутаков, Аркадий Михайлов, Борис Кузнецов, Сергей Кобелев, Михаил Петухов, Василий Пьянков. Окруженные ротой фашистов, они без воды и пищи пять суток стойко обороняли опорный пункт в здании фабрики-кухни, пока не подошла подмога. Особенно отличился сержант Карташов, уничтоживший пулеметным огнем более полусотни гитлеровцев.

Несмотря на все усилия гитлеровского командования, несмотря на громадное численное и техническое, особенно в танках, превосходство немцев, им за десять дней боев, с 2 по 12 октября, нигде не удалось продвинуться более чем на пятьсот—шестьсот метров. Не сумев прорваться к Волге через завод «Красный Октябрь», противник нанес удар по 308-й дивизии полковника Гуртьева, оборонявшейся у завода «Баррикады». Два дня спустя связь с Гуртьевым прервалась...

Посылаю к нему связистов, они докладывают, что командный пункт 308-й дивизии занят фашистами, что бой на территории завода идет очагами.

Смеркается. С наблюдательного пункта вижу фашистские танки. 11 машин с черно-белыми крестами на броне, обтекая правый наш фланг, ведя пушечно-пулеметный огонь, пересекают парк и устремляются к железной дороге, что тянется параллельно берегу Волги. От переезда танки выходят к широкому

спуску, который ведет к реке, к заводским причалам. Теперь им до вождеденной цели, до Волги, не более семисот метров.

Однако и мы тоже кое-что приготовили. Здесь, на стыке флангов с дивизией Гуртьева, я уже третий день держу две батареи 50-го противотанкового дивизиона. Сейчас фашистские танки идут параллельно фронту этих батарей. Даю сигнал. Артиллеристы бьют прямой наводкой по бортам вражеских машин. Два танка вспыхивают, остальные спешно отходят за переезд.

Звоню на командный пункт армии. У телефона Василий Иванович Чуйков. Докладываю:

— Немецкие танки атаковали стык с дивизией Гуртьева. Атака отбита, но стык открыт. Связь с Гуртьевым потеряна.

— Восстановить!

— Я дважды посылаю связистов, они Гуртьева не нашли. Прежний его КП занят противником.

Командарм молчит. После паузы говорит медленно, жестко:

— Приказываю: восстановить связь. Любыми мерами. Иди к Гуртьеву сам. Свяжись с ним и Людниковым, организуй контратаку. Стык к утру должен быть плотно закрыт.

Ночь. Звезды. Пал заморозок. Из окопа смотрю на север, на завод «Баррикады». За спуском к реке, где стоят подбитые танки, смутно чернеют заводские корпуса. Там тянутся красные строчки трассирующих пуль, взлетают, рассыпаясь, ракеты. Где 308-я дивизия? Где искать Гуртьева?

Надо идти. Оставляю за себя начальника штаба майора Чумакова и в сопровождении десятерых автоматчиков спускаюсь в овраг. Будем пробираться по-над берегом. Вот и узкоколейка. Переползаем ее. С заводского двора гремят пулеметные очереди. Немцы! Бросаемся под защиту громадных станков, что свалены у самого берега. Пули взвизгивают, высекая искры из стали.

Лежим, ждем. Пальба утихает, но едва приподымаемся, опять вспыхивает. Бьют метров с двадцати—тридцати. Хорошо еще, что темнота прикрывает. Ползем, не подымая лица. Эти пятьсот—шестьсот метров дались нам тяжело. Когда выбрались из зоны огня, я, например, был мокрый с головы до пят. От плащ-палатки пар валил. А ведь холодно на дворе!

Возможно, случай этот может показаться странным: генерал, командир дивизии, ползет по-пластунски, перебегает и опять ползет, чтобы восстановить связь с соседом. Могу только ответить, что таких «странностей» в Сталинграде было много. Назову одну: сам командарм Чуйков располагался со своим штабом вблизи передовой. Случались дни, когда командный пункт армии отделился от противника расстояние сто пятьдесят—двести метров. И сталинградцы воспринимали это как должное, ибо все мы крепко помнили: за Волгой для нас земли нет. Этот железный закон подчинил себе все другие законы.

Полковника Гуртьева мы нашли случайно. Мелькнул в ночи огонек спички, пошли на него. Неглубокий окоп, прикрытый плащ-палаткой,— это и есть командный пункт Гуртьева. Его дивизия ведет тяжелый бой, связь с командармом потеряна.

Вместе с Гуртьевым идем дальше, в 138-ю дивизию полковника Людникова. Его командный пункт размещен в штольне. Связываемся с командным пунктом генерала Чуйкова. Выслушав нас с Гуртьевым, он приказывает:

— Выправляйте положение. Договаривайтесь с Людниковым, с рассветом нанесите удар, выбейте немцев с завода «Баррикады».

Я с автоматчиками благополучно вернулся в 193-ю дивизию. За ночь собрал в кулак что мог: 685-й полк, учебный батальон, 161-й полк 95-й дивизии, который отошел в нашу полосу. Утром мы нанесли удар с юга на север, навстречу Гуртьеву и Людникову, выбили фашистов из юго-восточной части завода «Баррикады».

Во второй половине октября и начале ноября у нас еще не раз возникали острейшие критические ситуации. В ноябре, когда людей в дивизии осталось совсем мало, мы дрались уже на самой кромке берега. За спиной — последние

сто—сто пятьдесят метров сталинградской земли. Но пройти эти последние метры фашисты не смогли. Выдохлись.

После Ноябрьских праздников вражеские атаки вдруг прекратились. Мы понимали: в кварталах ими же разрушенного города, в жестоких уличных схватках фашисты потеряли не только сотни танков и десятки тысяч солдат. Они растеряли уверенность в своих силах. Сталинград надломил не только тело, но и дух гитлеровского вермахта. А это уже начало конца. И когда утром 19 ноября загремела в снежной дали канонада, когда началось гигантское контрнаступление советских войск, мы поздравили друг друга с тем, что выстояли, с тем, что сталинградская эпопея подходит к счастливому концу, с победой!

Федор Никандрович Смехотворов. Родился в 1900 году. Член КПСС с 1919 года. Бывший командир 193-й стрелковой дивизии. Генерал-майор в отставке.

Л. И. БАРКОВИЧ



ЛАДОЖСКИЙ ЭКЗАМЕН



ел третий месяц блокады Ленинграда.

В гараже, которым заведовал мой отец, осталось пять машин. Водили их не подлежащие мобилизации пожилые шоферы и женщины. Повестку из военкомата отец получил и как завгар и как шофер: приказывалось обеспечить две грузовые машины, на одной из них должен был находиться «красноармеец Баркович Иван Игнатьевич, 1893 года рождения, проживающий в городе Ленинграде по адресу...». Вторую полуполторку водителем обеспечить отец не мог и поэтому велел мне выехать вместе с ним, чтобы перегнать ее до пункта сбора.

Секретом не было, для какой цели предназначались машины. Только теперь ударили долгожданные морозы и капризная Ладога наконец стала покрываться льдом. На долю ленинградских водителей выпало рвать здесь кольцо блокады.

Ранним утром, еще затемно мы подъехали к Гостиному двору — пункту сбора, и тут нам стало ясно: второй «газик» без водителя не примут.

Что делать? Отец ума не мог приложить. Он растерянно и суетливо хлопотал у наших полуполторок. А я, напротив, старался вести себя солиднее, по-взрослому.

— А может, ваш сын поедет, товарищ Баркович? — не очень уверенно спросил представитель военкомата, распорядившийся приемом людей и машин. — Отгонит полуполторку, а там если водителем не возьмут, то авторемонтником сможет попроситься.

— У него с собой ничего нет: ни белья, ни денег, ни хлебных карточек. Да и возрастом не вышел, — тихо сказал отец, но тоже не совсем уверенно.

Тут я понял, что пришел мой час: сейчас или никогда...

— Все у меня есть, — возразил я, — и белье и мыльца кусочек.

Из нас троих я в этот момент оказался самым решительным, потому что ни за что не хотел потерять открывшуюся возможность уйти наконец в армию, да еще с батей вместе. Правда, водительских прав у меня по причине несовершеннолетия не было, но с четырнадцати лет, уже почти три года, я работал автоэлектриком в гараже «скорой помощи», машину знал и водил ее неплохо.

И в этот решающий момент появился второй решительный человек — старшина из военного автобатальона, потом я узнал его фамилию: Медведовский. Он тотчас разобрался во всем, сказал, что не в возрасте дело, и тут же привел классический пример: Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, а Леонид Баркович — комсомолец и, как все настоящие боевые ребята, все равно пойдет воевать, так пусть уж сделает это с наибольшей пользой. 804-му автобату смелые водители вот как нужны...

— Вот и хорошо, — облегченно пометил в своей бумажке командир из военкомата. — Так и запишем.

Еще одна заминка произошла уже перед обмундировкой ленинградского пополнения: командир батальона капитан Трубченко засомневался, получится ли из меня, невзрачного, худого пацана, полноценный боец. Тут уж вступился батя:

— Возьмите Леню...

— Какой из него солдат? — возразил комбат недовольным тоном. — Он и руль в руках не удержит.

— Возьмите сына, — снова тихо сказал отец. — Он не подведет. Не так воспитан.

— Не пожалеем, что взяли, товарищ комбат, — зычным басом поддержал старшина Медведовский.

И капитан сдался, махнул рукой:

— Давай, пацан, жми в Красную Армию...

Все рассмеялись — дело сладилось, — но я обиделся и решил: докажу, что я настоящий боец!

Вечером нас одели в армейские бушлаты и ботинки с обмотками — «двухметровыми голенищами», — и мы с отцом стали полноправными бойцами первой роты. Той же ночью в составе автобатской колонны мы угодили под страшную бомбежку на железнодорожной станции Ржевка, в самом начале пути от Ленинграда к Ладого.

Над Ржевкой небо стало багрово-красным, клубящимся. Далеко вокруг все гремело и стонало. Пыхтели и взрывались на путях вагоны с боеприпасами. Перед машиной на дороге то и дело падали горящие доски, ящики, и я едва успевал объезжать их.

Жутко было, но я мчал за отцовской машиной не отставая.

Уже далеко позади осталась Ржевка, когда я перевел дух.

На ладожском берегу застигла нас новая бомбежка. Гитлеровцы уже знали, что Ленинград рвет здесь блокадное кольцо, что по тонкому, непрочному льду озера потянулись груженные мешками сани. Фашисты были в десяти километрах, на южном берегу Ладого и в свои бинокли отлично видели ледовый путь, могли держать его под артиллерийским обстрелом. Новорожденная ледовая дорога срывала их подлый план — задушить голодом людей осажденного Ленинграда.

На берегу Ладогои не было пока никаких укрытий от воздушного нападения. На беззащитную среди чистой ледяной глади вереницу саней с мукой, на наши грузовики, на голодные приозерные деревни остервенело налетали фашистские самолеты. Едва наступала темнота, в небе повисали осветительные бомбы. Отыскивая при их помощи цели, ныли в воздухе «юнкерсы». Затем с воем понеслись фугаски и зажигалки, загрохотали взрывы, занялись пожары.

В довершение по озеру стала молотить тяжелая артиллерия. Немцы снарядами взламывали лед. Пошел дождь. Он не сумел погасить пожары, но сделал самое худшее — помог начавшейся ростепели измягчить и истончить лед.

Врагу не удалось огнем нарушить движение по Ладого. Это помогла сделать гнилая ладожская погода.

Привезли на самолетах бензин и антифриз. Выдали нам горючее по самой скудной норме (едва-едва хватит, чтобы пересечь озеро). Тут бы рвануть на ту сторону за хлебушком, но пришел нашему автобату приказ: покинуть берег.

Позади нас, за лесами и топями умирали от голода женщины и дети Ленинграда, до предела уменьшился паек бойцам, а мы не могли ничем помочь. Надо было ждать.

Как и другие, я места себе не находил. Даже голода почти не ощущал.

Распоряжение о переходе через Ладогоу нам прочли только через двое суток.

Вперед, на восточный берег! — это главный пункт боевого приказа. Вперед, на восточный!

— Ясно? — спросил командир батальона.

— Ясно! — ответили все дружно.

— По машинам! — крикнул комбат. — Заводи!

Мне тоже все было ясно. И про открытые дверцы понял. И об ограничении скорости усвоил. И с запретом на сближение машин меньше чем на сто метров был согласен. Продлевая мучительное удовольствие, сдерживая желание проглотить все тотчас, откусил кусочек галеты (пять штук на двоих человек — дневная хлебная норма) и принялся медленно сосать его. На лед съехал осторожненько, оглядчиво. И пошел, пошел вслед за едва заметным красным глазочком отцовской полуторки. Страх и сначала не было, чувство опасности скоро ушло, осталось лишь сильнейшее желание — преодолеть без заминки тридцать километров, доказать всем, и прежде всего, конечно, капитану Трубоченко, что я, Леонид Варкович, не «детский сад», а настоящий водитель.

Нас предупредили, что особенно опасен девятый километр. Враг держит его под непрерывным огнем. Тут лед расходится, образуя просветы — майны. Вмороженными в лед понтонами саперы соединили их, но образовались торосы и ехать тяжело. Изредка пролетают с воем снаряды. Звук разрыва глухой — они пробивают лед и рвутся уже в воде, но это не очень опасно.

Вижу стоящую машину и останавливаюсь поодаль. Совесть не позволяет проехать мимо своего брата-водителя, терпящего бедствие. Он из нашего автобата, что-то барахлит зажигание. Ну, это по моей части, и начинаем ковыряться в проводке. Сильно стынут руки, иначе мы быстрее бы справились. Тронулись вместе. Я уже почему-то верил, что поездка будет благополучной, и спокойно шел вдоль редкой линии красных сигнальных фонариков в руках бойцов, стоявших на лютом морозе. Черный, без снега, весь в трещинах лед не пугал, а манил, потому что хоть и колебался, но держал, не расступался под моей полуторкой.

Несколько километров не доехал я до берега. Не узнал в стоящей чуть обок машине отцовскую — что увидишь в кромешной тьме? — а сердцем почувствовал беду. Затормозил, выскочил из кабины, побежал по скользкому льду к замершему «газику».

Это была отцова машина. Он сидел съезжившись, в кабине почти полностью обмерзли стекла. В испуге я почему-то постучал в это стекло, прильнул к нему лицом, подышал, и за морозным узором вскинулась голова в ушанке. Мне даже жарко стало от радости — жив батя мой родной, жив! Остальное уже было не так страшно.

— Что случилось, тату? — крикнул я.

— Бензин кончился... — скорее угадал я ответ по движениям отцовских одревеневших губ, чем услышал.

У моей машины горючее тоже было на исходе. Переливать половину оставшегося бензина в бак отцовского «газика» было глупо — горючее могло кончиться раньше, чем мы доберемся бы до берега. Поехать вперед, сообщить, что тут стоит машина? Но помощь может прийти поздно...

— Уезжай, Леник. — Застывшие губы уже не повиновались отцу. — Пропадет оба. Поехай, сынок, прошу тебя как отец... Ехай, ехай, Ленечка! — настойчиво твердил он.

От этих слов я даже пошатнулся: ведь всю жизнь батя учил меня помогать людям.

— Давай трос, тату! — крикнул я. — На буксире у меня пойдешь!

Связал оба троса, укрепил их на своей и отцовской машинах, сел за руль.

С трудом одолел крутой береговой въезд у деревни Кобона.

Возле крайних изб меня остановил военком батальона Сергеев. Он сел в кабину, и я точно с берега в холодную воду кинулся: рассказал ему обо всем.

— А если б не отца, а другого кого, неродного встретил?

— Все равно, товарищ комиссар, как можно человека в беде оставить!

— А если бы лед не выдержал?

Тут я отмолчался.

Военком поглядел на меня сбоку, но тоже промолчал.

От Кобоны ко мне в кабину сел политрук роты Лиманец. Немцы захватили Тихвин, и надо ехать в объезд, до селений Подборовье и Заборье и обратно, покрыть больше полтысячи километров по дорогам, спешно сооруженным среди то-

пей и лесов, ехать по заброшенным большакам, по льду приладожского судоходного канала.

Подготовились мы к трудной поездке хозяйственно. На железном листе в ногах политрука соорудили подобие печурки: паяльная лампа, два раскаленных ее огнем кирпича — они долго держат тепло. Получили на двое суток паек и поехали. Но целых пять суток добирались в одну сторону. Голодали и холодали, ночевали в поле и в избах придорожных деревень, а однажды даже на кладбище. Тяжко далась нам эта лесная дорога. Колонна забралась так далеко в северную глухомань, что тут даже светомаскировки не соблюдали. Удивительно было видеть тусклые керосиновые, но все же огни, которые не боялись бомб. Мы встречали людей, не ведавших о затемнении, блокаде, землистом драгоценном ленинградском хлебушке.

Той же нескончаемой кружной дорогой доставили мы к Ладоге муку и снова поехали к Заборью. Но тут догнала и вернула колонну радостная сводка Совинформбюро — одно из ранних победных сообщений сорок первого года: наши отобрали у врага Тихвин.

Обратно ехали мы к озеру уже прямыми дорогами. Они еще не остыли от недавних боев. Брошенная немцами техника, подбитые танки, из которых тянуло в чистом морозном воздухе запахом горелой одежды... Не убранные еще тела в родных серых шинелях, маскхалатах, стеганках. Но особенно много немецких трупов в ненавистных зеленоватых шинелях и надетых поверх них разноцветных тряпках.

Автоколонна тянулась на Тихвин, обгоняя неторопливо, но уверенно шагавшую пехоту. Город еще дымился недогоревшими пожарищами. Высоко в ясном голубом небе шел невидимый воздушный бой. На площадях города уже расположились походные кухни. Бегали шустрые бесстрашные мальчишки. Вели жалких, примороженных пленных. Спешили куда-то женщины в платках и валенках. Вразнобой, не в ногу шагали партизаны — вооруженные парни и мужики в тулупах, с красными лентами на шапках.

Остановился батальон на центральной площади. Сожженные и полуобгоревшие дома вокруг. Красный флаг полощется на морозном ветру.

При съезде на ладожский лед мы увидели новенький фанерный щит с надписью:

«Каждая полуторная машина везет продовольствие на 10 тысяч пайков, на 10 тысяч человек.

Водитель, спасай эти жизни!»

Так началась для нашей первой роты, для всего батальона ладожская страда.

Перед войной я собирался идти в вечернюю школу, а оказалось, что придется сдавать другой экзамен...

Днем и ночью с перерывами на краткий обед и сон водили мы по ледовой дороге машины. Теперь рота получила уже трехтонные выносливые, мощные «ЗИС-5», но я остался работать на своем «газике». Подавая грузовик под погрузку и выгрузку, можно было в эти короткие минуты заснуть, положив голову на баранку руля. Ночами уже не гасили фар, потому что было опасно водить машины в полной тьме. Да и противник, отлично знавший трассу, все равно был бессилен остановить на ней поток жизни. Самое большее, что немец мог сделать, это разбить одну или несколько машин. Каждый из нас хотел, чтоб его миновал вражий снаряд, но и каждый знал, что только смерть помешает ему выполнить свой долг и боевой приказ.

Крепко сдружились мы с политруком на трассе. Спросили б теперь у меня: кто тебе дороже, отец или Дмитрий?— задумался бы. И не то что Лиманец был добрый и ласковый — вовсе нет: умел он требовать, сурово спрашивал работу, в глаза никогда не хвалил, до открытой жалости не снисходил, а вот не чаял я в нем души.

Один из дней едва не кончился печально для нас обоих. Часов около пяти утра отправился я отдохнуть после двух ездов (четыре конца, четырежды по тридцать два ночных озерных километра). Ввалился в избу в селе Лаврово, где квар-

тировала рота, и уже сил не хватило как следует поесть. На ходу жевал хлеб, на ходу стащил с себя полушубок. Полез на теплую русскую печь, положил голову на шапку и уснул с недоеденной краюшкой в руке.

Проспал, наверное, не больше часа. Проснулся — трогают за руку, в которой хлеб, и голос политрука зовет:

— Ленин, вставай!

Если бы стреляли, бомбили, я б скорее всего не проснулся. Но тихий требовательный голос командира и друга поднял меня сразу. Еще не проснувшись, я зашарил рукою в поисках шапки, не раскрывая глаз, стал на четвереньки, пополз с печи, приговаривая в полусне:

— Я сейчас, сейчас...

Стал на ноги, стараясь не качаться, тряхнул давно не мытой головой, окончательно отгоняя сон, и обеими руками надел шапку:

— Я готов!

Надо было срочно ехать в самое пекло, на девятый километр, где возле майны, перекрытой понтонами, скопление машин попало под огневой налет. На обратном пути, при полном дневном свете, к нам привязался «мессершмитт». Мы бывали уже в таких переделках, но до сих пор немецкие летчики оказывались не такими настырными, как этот фашист. Он, видно, решил, что наша машина — легкая добыча для него. Два раза он заходил на «газик», и оба раза я сумел перехитрить его, уходил от направленных в грузовик огненных трасс. Нахальный «мессер» не отставал. Пришлось отвернуть в сторону, на параллельную нитку дороги, и тут Лиманец толкнул меня:

— Что мы делаем? Ведем немца на другую трассу...

— А как быть? — ответил я. — Куда ж нам деваться?

— Только не на ту дорогу! — кричал политрук. — Там сейчас идут машины на Ленинград, а мы все же одни и едем на Большую землю... Лучше уж пусть нас... Поворачивай, Ленин!

Немец теперь зашел нам в лоб и с малой высоты строчил из всех пулеметов. Трассы потянулись к нам, выбивая на дороге отчетливые ледовые фонтанчики. И я сделал единственное, что могло нас спасти: резко сунулс я всей машиной в сторону, в непроезжий снег. Грузовик дернулся и стал. Мотор заглох. Из радиатора валил пар. Передок «газика» осел на одну сторону. В наступившей тишине со свистом вырывалось из радиатора, заволакивая лобовое стекло, белое облачко пара.

Раздался торжествующий крик Лиманца. Политрук показывал пальцем куда-то вбок. Одновременно выскочили мы из кабины. Истребитель, срезанный зенитными пулеметами, упал неподалеку от нашей полуторки. Лиманец побежал к нему по снежной целине, высоко скидывая свои длинные ноги в валенках. Но я сперва обошел машину: покорежен радиатор, пробито колесо... Махнул рукой и побежал вдогонку за политруком, увязая в глубоком снегу огромными тяжелыми башмаками. У «мессершмитта» лопасти пропеллера от удара загнулись, фюзеляж, размалеванный разноцветными эмблемами, осел в снег. Мертвый летчик в распахнутом красном джемпере поверх комбинезона сидел, свесив набок большую рыжую голову. Лиманец рванул с его мундира оба железных креста, хотел отшвырнуть, но передумал. Подержал на ладони, точно взвешивая, сколько злодейств совершил их владелец ради получения этих черных, с белыми ободками железок, и сунул кресты в карман.

— Приедем — доложу комбату, что ты смело вел себя на трассе. Вот оно, доказательство, — кресты. Уж поверь моему слову, я капитана Трубоченко правильно понимаю. Смелость твою не забудет, он человек справедливый.

Подраненная машина еле дотянула до пункта техпомощи. Узнав о происшествии и увидев кресты, Трубоченко удовлетворенно кивнул, вызвал зампотеха¹ батальона капитана Суворова и приказал ему поставить на машину бойца Барковича-младшего новый радиатор и сменить колесо. В тот же день комбат велел

¹ Заместитель командира по технической части.

начальнику штаба капитану Попову заготовить приказ о зачислении водителя Барковича Леонида Ивановича в списки автобата и о приведении его к присяге...

Через несколько дней после принятия присяги шел я по двору к своей машине. Нес ведро воды. Вышедший на крыльцо Лиманец заметил, что я прихрамываю. Пришлось признаться, что я поморозил ноги, а пойти в санчасть не решался из опасений, что опять «пришьют» пацана...

Рассерженный политрук заставил меня вместо ботинок надеть свои валенки, отдал свой полупшубок и приказал немедленно идти к врачу. Вслед за мной сам пришел в медпункт, и вовремя, потому что меня собралось отправлять в госпиталь. Но настойчивость политрука повернула ход событий: женщина-военврач после долгого разговора согласилась лечить «незаменимого» ладожского шофера Барковича амбулаторно.

А я упросил политрука ничего никому, особенно отцу, не говорить.

Через несколько недель, в феврале 1942 года, принимали в партию отличившихся бойцов и командиров ледовой дороги, в том числе и из нашего 804-го автобата. Лиманца переводили из кандидатов в члены ВКП(б). В Жихарево, в политотдел ладожской трассы, поехали на моей машине.

Воздушный налет на Жихарево начался сразу же после того, как вызванные на парткомиссию зашли в барак, в котором размещался политотдел дороги. Вой сирен. Свист падающих бомб. Тревожные гудки паровозов на железнодорожной станции. Взрывы, гром зениток. Звон разбиваемых в домах стекол. Лязг и грохот падающих вагонов...

Едва бомбежка кончилась, Лиманец крикнул:

— Вставай, Леня, отбой! Поехали!

В кузове громко пели наши автобатовцы, возвращавшиеся с парткомиссии. Ими дирижировал парторг батальона старший политрук Мужиков. Сам он был безголосым и все песни пел на один мотив. Но в общем хоре голос его не пропал. И мы с политруком в кабине тоже стали подпевать.

Леонид Иванович Баркович. Родился в 1924 году.
— Солдат 804-го автобатальона. Водитель первого класса.

Ф. В. МОНАСТЫРСКИЙ



ДЕСАНТ ПОД НОВОРОССИЙСКОМ

Боевые части Черноморской группы войск Закавказского фронта и Черноморский флот в начале февраля 1943 года получили приказ нанести комбинированный удар по врагу, левый фланг обороны которого упирался в Азовское море восточнее Темрюка, а правый — в Черное море у Новороссийска. Предстояло перейти в наступление северо-восточнее Новороссийска с суши и высадить морской десант юго-западнее Новороссийска. Для подготовки и высадки десанта создали группу войск особого назначения, в которую под командованием подполковника Д. В. Красникова входила и 83-я бригада морской пехоты. Я был военным комиссаром этой бригады.

Первая попытка высадки десанта в районе села Южная Озерейка оказалась неудачной. Шторм помешал кораблям Черноморского флота поддержать десант артиллерийским огнем, огромные волны затрудняли высадку боевых подразделений. И только небольшому отряду под командованием майора Ц. Л. Куникова удалось закрепиться на побережье в районе Станички — одного из окраинных поселков Новороссийска. Нашей бригаде приказали развить успех высадившегося десанта.

В Геленджикской бухте бригаду ожидал отряд кораблей под командованием капитана 2-го ранга Е. Жукова. Тут были тральщики «Земляк», «Щит», «Защитник» и 7 сторожевых катеров. Они приняли на борт 4181 бойца нашей 83-й бригады морской пехоты. Во второй половине дня мы вышли в море и взяли курс на Цемесскую бухту.

В сумерках миновали Кабардинку. Корабли шли вдоль высокого берега, который укрывал нас от огня фашистской артиллерии. Я присматривался к бойцам. Состояние у всех возбужденное: желание скорее ринуться в бой и освободить Новороссийск было у каждого морского пехотинца. Начальник политотдела бригады А. И. Рыжов показал мне целую пачку заявлений о приеме в партию. Они написаны прямо в походе: неровные строчки, расплывшиеся от соленых брызг буквы.

В темноте подошли к району высадки. Мы с Красниковым — на палубе одного из тральщиков. Нам хорошо видно, как торпедные катера и мотоботы, взяв на борт бойцов с тральщиков и сторожевых кораблей, на полном ходу устремились к берегу. Но не везде глубина позволяла подойти к нему вплотную, и тогда моряки прыгали в студеную воду с патронными ящиками, пулеметами, ротными минометами. Первыми высаживались 16-й и 305-й батальоны.

Огонь врага становился с каждой минутой все плотнее. Вступали в действие пристрелявшиеся заранее вражеские артиллерийские и минометные батареи с западной окраины села Федотовка и западных скатов горы Мысхако. Кроме того, гитлеровцы выдвинули в район Лагерного поселка крупнокалиберные пулеметы, которые в упор били по десантникам. Над всей бухтой гремела канонада, гулко трещали пулеметные очереди. Залпы шестиствольных немецких минометов накрывали мотоботы с бойцами. Весь район высадки десанта непрерывно освещался вражескими ракетами, которые медленно опускались на парашютах.

Перебрались с тральщика на катер и мы вместе со штабом бригады. На полном ходу мчимся к рыбацкому пирсу. Выскакиваем кто в воду, кто на торчащие кругом доски и бревна разбитого пирса. На берегу лейтенант Круглов обогнал комбрига и на ходу стал развертывать бригадное знамя, но Красников остановил его:

— Подожди, еще рано. Не выставляй врагу лишней мишени.

Укрываясь в воронках, короткими перебежками преодолели метров двести и залегли у железобетонных чанов, в которых рыбаки в мирные дни солили камсу. Вблизи виднелись развалины рыбозавода. Справа и слева от нас, несмотря на жесточайший огонь противника, на обширной полосе от рыбацкой пристани до Суджукской косы морские пехотинцы занимали исходные рубежи для атаки.

Красников, оглядев ряды квадратных чанов, сказал:

— Неплохой командный пункт для начала. — И ловко перемахнул через стенку одного из них.

Я и Рыжов последовали за ним.

— Укрытие что надо, — одобрительно заметил Рыжов.

В соседнем чане разместились офицеры штаба. Связисты быстро подтянули связь от батальонов.

Накрыв сверху чан плащ-палаткой, при свете ручного фонаря занялись изучением карты. Красников быстро наносил на нее данные, поступавшие из батальонов, командиры которых один за другим докладывали о готовности к атаке.

В 6 часов утра условный сигнал поднял в атаку все десантные части, действовавшие на Мысхако в районе пригородного поселка Станички.

Мы с Красниковым покинули наше временное убежище, ползком добрались до железной дороги и укрылись за насыпью. Установив телефонную связь с батальонами, внимательно осмотрели местность — перед нами простиралась широкая прибрежная равнина, изрытая снарядами. Красников недовольно заметил:

— Все как на ладони и сами у врага на виду. — И тут же добавил с восхищением: — Смотри, как идут!

Впереди нас, охватывая с двух сторон Лагерный поселок и безымянный хутор близ поселка, поливая вражеские укрепления огнем из автоматов, шли на

штурм морские пехотинцы 16-го и 305-го батальонов. Вскоре с вражеских позиций до нас донеслись взрывы ручных гранат, и мощное «ура» перекрыло шум боя — моряки ворвались в траншеи противника.

Несмотря на ожесточенное сопротивление фашистов, бригада выбила их из поселков Лагерный и Алексино. В районе Алексина моряки захватили две трехорудийные батареи противника и сразу же открыли из них огонь по отступавшим гитлеровцам. Так у нас появилась своя артиллерия.

Батальоны бригады продолжали двигаться в глубину обороны противника — на возвышенность, где находился немецкий аэродром, а рядом с ним и поселок Мысхако. Дальше других батальонов продвинулся 305-й под командованием М. Янчука. Сделав обходный маневр вдоль берега, батальон ринулся на врага и, выбив его с позиций, вклинился в глубь вражеской обороны на три километра.

Внезапно мы получили телефонное донесение, что М. Янчук тяжело ранен осколком мины, ранен и его замполит Сидоров. Командование батальоном принял на себя заместитель командира по строевой части старший лейтенант Я. С. Борисенко.

Красников, выслушав донесение, резко опустил трубку на аппарат и вопросительно посмотрел на меня.

— Пойду в Триста пятый,— сказал я.

Комбриг одобрительно кивнул и сказал:

— Только учти — мы КП сменим. Переберемся на окраину Станички.

Захватив с собой двух автоматчиков, я бросился бегом в 305-й батальон. Навстречу брели раненые. Некоторых несли на носилках, вели под руки санитары. Дорого доставалась нам эта земля под Новороссийском...

Оставив слева поселок Алексино, мы добрались до аэродрома. Морские пехотинцы, обосновавшиеся в траншеях, сказали нам, что новый комбат Борисенко находится в одном из капониров, оставленных недавно немцами у западных границ аэродрома. В капонире застали только телефониста — комбат ушел в одну из рот и вскоре должен был вернуться.

Я вышел из укрытия, осмотрелся. Над равниной низко стлался туман, лишь по минометной и артиллерийской стрельбе можно было судить, что бой идет близко.

Вернулся Борисенко. Он доложил, что поселок Мысхако окружен цепью дотов и дзотов, что по морякам бьют прямой наводкой вражеские орудия.

— Как видите, товарищ полковник, застряли мы тут,— заключил Борисенко.— Уже несколько раз поднимались в атаку, но нигде не смогли пробиться... В первой роте группа краснофлотцев решила подползти к проволочным заграждениям и забросать гранатами пушку, которая особенно мешала нам — была прямой наводкой. Поползли, но куда там! С фланга ударил пулемет, за ним второй, третий. Не добрались бойцы до заграждений...

Я связался по телефону с батальоном, который наступал справа. Там моряки тоже залегли, встретив плотный огневой заслон.

Между тем медлить было нельзя. Враг в таких случаях накапливал силы и шел в контратаку.

— Что думаете делать? — спросил я Борисенко.

— Буду атаковать небольшими группами,— уверенно сказал он.— И атаковать не в лоб. Я хорошо изучил местность — тут много кустарников и оврагов. Можно обходить фашистские укрепления и штурмовать внезапными налетами.

Мне оставалось только одобрить такое решение, хотя было ясно, что осуществить его будет не так-то просто: плотна была фашистская оборона, большое искусство и мужество требовались от бойцов, чтобы выполнить намеченный комбатом план.

Вскоре комбриг попросил меня явиться на новый командный пункт бригады, где намечались боевые действия наших батальонов.

Красников и Рыжов ждали меня. Они рассказали, как происходила под вражеским огнем смена КП. Группу перебежавших к поселку штабников дважды

накрывали залпы фашистского шестиствольного миномета. Бежавший со знаменем лейтенант Круглов был ранен в ногу. Знамя подхватил писарь штаба, а когда развернули знамя — алое полотнище было пробито в семи местах осколками.

Штаб разместился в довольно добротном каменном здании. Рядом в деревянном сарайчике развернули рацию. Эта рация и подвела. Немцы запеленговали ее, тем самым засекли штаб. Мы не успели с Красниковым получить нужные сведения из батальонов, как по нашему КП ударили крупнокалиберные фашистские пушки. Первые снаряды разорвались невдалеке, а потом несколько прямых попаданий разнесли сарай и разрушили стену нашего дома. Уходить еще опаснее, чем оставаться, — кругом чистое место, простреливаемое противником.

Под непрекращавшимся обстрелом мы вместе с офицерами штаба подбирали документы, перевязывали раненых. Красников, узнав, что рация разбита, приказал оставшимся в живых бойцам немедленно вызвать связистов из 16-го батальона и установить связь с частями бригады. Штаб перенесли на северную окраину Лагерного.

Утром 10 февраля части нашей бригады начали решительный штурм поселка и совхоза Мысхако. Я этот день встретил в 16-м батальоне, моряки которого вместе с бойцами 144-го батальона с трех сторон должны были наступать на врага.

Атаке предшествовал короткий артиллерийский налет. После него моряки поднялись на штурм. На моих глазах развернулись и, рассредоточившись, двинулись вперед где перебежками, где ползком роты Мартынова и Яброва. По наступавшим открыли огонь артиллерийские и минометные батареи врага, дзоты и доты. Путь к позициям фашистов преграждала колючая проволока.

Морские пехотинцы залегли, а из-за проволочных заграждений непрерывно била вражеская пушка. Моряки бросили несколько гранат под проволоку, надеясь сделать таким образом проходы в заграждении. Но взрывы гранат не принесли ожидаемого результата. Тогда главстаршина Воронин, прихватив с собой несколько противотанковых гранат, пополз вперед. Все замерли, наблюдая за храбрцем. Фигура главстаршины то появлялась, то исчезала в воронках. Вот он достиг колючей проволоки, а за ней в каких-то двадцати—тридцати метрах фашистская пушка продолжала бить по залегшим морякам. Вскочив на ноги, Воронин одну за другой бросил гранаты. На позиции гитлеровцев взметнулись фонтаны земли. Пушка умолкла. Воронин, не теряя ни секунды, быстро снял бушлат, накинул его сверху на колючую проволоку. Моряки обеих рот поднялись в атаку.

Главстаршина не успел преодолеть заграждение. Пуля оразила его, когда он был почти на той стороне проволоки. Но морские пехотинцы, на глазах которых Воронин совершил подвиг, стремительно атаковали врага и выбили его из укреплений.

Воронин посмертно награжден орденом Ленина.

К исходу дня батальоны взяли поселок и совхоз. Мы вышли к подножью горы Мысхако и оседлали шоссе на дорогу Глебовка — Новороссийск. Не помогли гитлеровцам ни укрепления, ни огневое превосходство.

• Трудно было взять гору Мысхако. Она возвышалась почти на полкилометра над уровнем моря и господствовала над всей окружающей местностью. Фашисты сосредоточили на горе несколько артиллерийских и минометных батарей, по всей линии вражеских укреплений было множество пулеметных гнезд. Все это позволяло противнику простреливать шквальным огнем не только подступы к высоте, но и весь захваченный нашими частями плацдарм.

Гора Мысхако круто, скалистыми обрывами спадала к морю. По данным разведки, гитлеровцы сильно укрепили лишь пологие северные склоны горы и очень мало внимания обратили на оборону южных крутых склонов. Они явно не ожидали атаки с моря.

Утром следующего дня 144-й батальон под командованием Фишера пошел на приступ горы по четко разработанному плану. С севера по пологим склонам шла на штурм рота Мурашкевича. Бойцы шли в атаку под сильным огневым

прикрытием наших минометов и крупнокалиберных пулеметов. Сильный и плотный огонь атакующих произвел должное впечатление на гитлеровцев — они сосредоточили все свое внимание на атаковавших моряках роты Мурашкевича. А в это время со стороны моря по крутым скалам взбирались бойцы двух рот — Куницина и Волкова. Моряки карабкались вверх, цепляясь за выступы скал, за кусты и корни деревьев. Расчет оказался верным. Фашисты не ждали атаки с моря. Бой был коротким. Фашисты оставили много трофеев.

Чем дальше продвигались батальоны бригады, тем труднее становилось вести наступление. С расширением плацдарма Малой земли линия фронта растягивалась. Растягивались и наши коммуникации, которые враг непрестанно держал под артиллерийским обстрелом, бомбил с воздуха. Мы все чаще стали испытывать недостаток в снарядах, патронах, снабжении продовольствием.

А гитлеровцы подтягивали резервы, строили новые укрепления. Становилось ясно, что фашисты будут упорно сопротивляться. Первые же бои последующих дней показали, что оборона фашистов крепка и что наши предположения об усиливающемся сопротивлении гитлеровцев подтвердились.

За день мы продвигались теперь в лучшем случае на километр, а чаще всего на двести — триста метров. Но продвигались упорно, преодолевая сильные узлы сопротивления противника, находясь под постоянным обстрелом вражеской артиллерии и бомбами с фашистских самолетов.

Мы с Рыжовым в эти дни боев постоянно находились в боевых порядках батальонов, рот. Боевой дух, патриотический подъем среди моряков десанта были высоки. Десятки бойцов бригады вступали в партию. Заявления писали в короткие передышки между атаками. Десантники хотели идти в бой коммунистами. Вот заявление автоматчика 16-го батальона Олейникова, который, ворвавшись во вражеский окоп, в упор расстрелял группу немцев и держался в этом окопе до подхода своих товарищей. Заявление он написал сразу же после этого боя. «Прошу принять меня в Коммунистическую партию. Доверие оправдаю. А если погибну, прошу считать меня коммунистом». И таких заявлений в те дни было множество.

Сопротивление врага ослабевало с каждым днем. Чувствовалось, что не далек тот день, когда мы выбросим фашистов из Новороссийска.

В один из мартовских дней меня вызвали в Геленджик в политуправление Северо-Кавказского фронта. Начальника политуправления я не застал. Меня принял его заместитель Л. И. Брежнев.

Он встретил меня со свойственной ему добротой и приветливостью. Расспросил о состоянии дел в бригаде. Я рассказал о самочувствии воинов, об их боевых подвигах.

Затем Л. И. Брежнев сказал о предстоящем моем новом назначении. Когда я уже собирался уходить, он задержал меня и высказал желание побывать на Мысхако. Он попросил сообщить ему, когда пойдет на Малую землю наш катер.

Под вечер мы вместе с Л. И. Брежневым были у геленджикского пирса. Отсюда на Малую землю отправлялись баржи с грузами и пополнением. На одном из сторожевых катеров, сопровождавших транспорт, находились и мы.

На Мысхако пришли благополучно. На другой день Л. И. Брежнев пришел в нашу бригаду и сказал, что хочет побывать вместе со мной в подразделениях. Мы отправились в батальоны.

День был на редкость теплый и солнечный. Гитлеровцы вяло постреливали. По крытым траншеям мы пришли в 16-й батальон, где нас встретил командир роты старший лейтенант Д. Д. Мартынов. Л. И. Брежнев стал расспрашивать собравшихся бойцов об их настроении, о вражеских укреплениях, о трудностях окопной жизни.

Переходя с нами из окопа в окоп, Л. И. Брежнев то с деловой озабоченностью, то с юмором беседовал с моряками, и бойцы сразу чувствовали, что с ними говорит очень внимательный к солдатским нуждам человек.

А вскоре Л. И. Брежнев был назначен начальником политотдела 18-й армии и стал часто бывать на Малой земле. Он уже знал многих по прошлым встречам,

и его новые встречи с морскими пехотинцами всегда проходили во взаимных расспросах.

А на Мысхако морская пехота все яростнее штурмовала вражеские укрепления. Десантники с каждым боем приближали день освобождения Новоросийска.

Федор Васильевич Монастырский. Военный комиссар
83-й Краснознаменной бригады морской пехоты Черноморского флота. Родился в 1902 году. Член КПСС с
1918 года. Капитан 1-го ранга.

П. А. РОТМИСТРОВ



ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВОЙ

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в последующих наступательных операциях зимой 1942/43 года была освобождена значительная часть территории Советского Союза. Наши войска овладели районами севернее, западнее и южнее города Курска, был освобожден и сам Курск. Огромный выступ протяженностью по фронту около пятисот пятидесяти километров давал возможность советским войскам нанести удар по флангам и тылам группировок противника, сосредоточенным в районах Орла и Белгорода. По мнению же немецко-фашистского командования, далеко выдвинувшийся на запад курский выступ создавал благоприятные предпосылки для окружения и последующего разгрома оборонявшихся здесь советских войск Центрального и Воронежского фронтов.

Для проведения операции «Цитадель» гитлеровское командование сосредоточило севернее и южнее Курска 50 отборных немецких дивизий (из них 16 танковых и моторизованных), в которых насчитывалось 900 тысяч солдат и офицеров. На вооружении у них было около 10 тысяч орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2100 самолетов. Кстати сказать, войска сателлитов Германии к участию в этом величайшем сражении не привлекались.

На направлении главного удара выдвигались тщательно укомплектованные новейшими танковыми и самоходными орудиями танковые и моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Райх» и другие. Их действия должны были прикрывать с неба лучшие военно-воздушные силы гитлеровской армии. Промышленность Германии, опиравшаяся на экономику почти всей Европы, готовила вооружение и технику, которые должны были помочь солдатам гитлеровского вермахта взять реванш за Сталинград. Бывший начальник штаба 48-го немецкого танкового корпуса генерал Ф. Меллентин признает, что «ни одно наступление не было так тщательно подготовлено, как это»¹.

Успешно противодействовать планам врага в этих условиях могли лишь мощные силы, оснащенные современной боевой техникой. К лету 1943 года советский тыл дал фронту в достаточном количестве самое передовое по тому времени вооружение. Против орловской группировки противника были развернуты войска Центрального фронта, в который входило пять общевойсковых, танковая и воздушная армии и два танковых корпуса². Белгородско-харьковской группировке врага противостояли войска Воронежского фронта: пять общевойсковых, танковая и воздушная армии, два танковых и стрелковый корпус³. В составе только этих

¹ «Великая Отечественная война. 1941—1945». Краткая история. Изд. 2-е. М. Воениздат. 1970, стр. 238.

² «Курская битва». М. «Наука». 1970, стр. 90.

³ Там же, стр. 101.

двух фронтов — Центрального (командующий — генерал К. К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин) — к началу оборонительного сражения находилось свыше 1 300 тысяч человек, 19 300 орудий и минометов, 3300 танков и самоходных артиллерийских установок, 2650 боевых самолетов⁴. Силами войск этих двух фронтов и местного населения была создана глубоко эшелонированная сплошная траншейная оборона глубиной от ста пятидесяти до ста девяноста километров⁵. Далее шли оборонительные рубежи Степного фронта, а за ними государственные рубежи обороны по левому берегу Дона.

Как показала жизнь, оборонительные рубежи сослужили хорошую службу в мероприятиях по отражению удара гитлеровских войск. Но главное заключалось в том, что к этому времени благодаря мудрому руководству Коммунистической партии и Советского правительства, героизму и самоотверженности многонационального советского народа, его рабочего класса и колхозного крестьянства, творческому гению ученых, инженеров, техников, неисчерпаемым возможностям социалистического строя Красная Армия имела сильные танковые и механизированные войска, ставшие основным ударным и маневренным средством наших сухопутных войск, а также мощную артиллерию и хорошую авиацию. На новую, высшую ступень поднялось и советское военное искусство. Возросло боевое мастерство наших воинов.

Наряду с появлением в резервах и во вторых эшелонах фронтов танковых и других родов войск был сформирован Резервный фронт, впоследствии переименованный в Степной, который объединил резервы Ставки на юго-западном направлении⁶.

Эти и другие принятые меры превратили курский выступ в «огненный» оборонительный рубеж — противотанковый, противартиллерийский, противовоздушный и противопехотный. Одновременно с сильными ударными танковыми группировками были созданы крупные артиллерийские группировки. Центральный и Воронежский фронты имели около 20 тысяч орудий и минометов.

Наступление немецко-фашистских войск началось в 5 часов утра 5 июля.

Против войск Центрального фронта на позиции 13-й армии генерала Н. П. Пухова и на фланговые части 48-й и 70-й армий обрушились удары пять пехотных и три танковые дивизии. На позиции гвардейцев 6-й армии генерала И. М. Чистякова и 7-й гвардейской армии генерала М. С. Шумилова в первый день боя враг бросил пять пехотных, восемь танковых и одну моторизованную дивизии. В ударной группировке немецко-фашистских войск действовали отборные танковые дивизии и моторизованная дивизия «Великая Германия». Позиции советских войск подвергались массированным ударам авиации. Гитлеровское командование не жалело ни снарядов, ни техники, ни людских сил. Против десятка наших танков посылались 30—40 вражеских.

Ожесточение боя росло. Советские воины повсюду стояли насмерть.

Расчеты гитлеровского командования прорвать нашу оборону с ходу провалились. Устилая поле боя сожженной, разбитой техникой, телами своих солдат и офицеров, противник на ольховатском направлении продвинулся лишь на шесть—двенадцать километров. Но отборные танковые дивизии гитлеровцев в направлении Обояни сумели прорваться на глубину до тридцати пяти километров. По бронированному клину вражеской группировки, пытавшемуся расширить прорыв, было нанесено два контрудара: со стороны железной дороги Курск — Белгород 2-м гвардейским танковым корпусом и из района Томаровки танкистами-гвардейцами 5-го корпуса.

Стена 6-й гвардейской общевойсковой и 1-й танковой армии для врага оказалась непреодолимой. Прорвать оборону и получить свободу маневра в сторону Обояни немецко-фашистские войска так и не смогли.

Не достигнув успеха на обоянском направлении, гитлеровское командование готовилось главные силы двинуть в сторону Прохоровки, обойти Обоянь с восто-

⁴ «Великая Отечественная война. 1941—1945». Краткая история, стр. 239.

⁵ Там же, стр. 240.

⁶ Там же, стр. 239.

ка и соединиться со своей орловской группировкой. На узком участке фронта от восьми до десяти километров враг сконцентрировал четыре танковые и одну пехотную дивизии, в результате на километр фронта приходилось почти 100 танков и самоходных артиллерийских установок. До 700 машин ждали сигнала, чтобы устремиться на Прохоровку, а из района Мелехова наносили удар по армиям Шумилова (7-я гвардейская армия) и Крюченкина (69-я армия) еще три танковые и три пехотные дивизии группы «Кампф». Эти силы были готовы сокрушить оборону советских войск.

В конце дня 6 июля наша 5-я гвардейская танковая армия получила приказ: форсированным маршем за трое суток преодолеть более трехсот километров и сосредоточиться на рубеже Веселый, Прохоровка. По тону этого приказа, а также по тому, что подготовкой к маршу и его организацией занимались все — от Ставки, Генерального штаба и до командующего Степным фронтом генерала И. С. Конева, — ощущалось растущее боевое напряжение, и мы проникались ответственностью за свой участок.

На обоянском направлении продолжалась концентрация танковых и моторизованных войск противника. Здесь враг имел явное превосходство в силах, особенно в танках. Он сумел потеснить наши части, но овладеть Обоянью не смог.

В этих условиях противник изменил направление удара и решил нанести главный удар на Прохоровку и одновременно группой «Кампф» из района Белгорода на Ржавец, Гостищево с целью окружить группировку наших двух общевойсковых армий — 69-й и 6-й гвардейской.

Боевая обстановка не терпела промедления. Совершив трехсоткилометровый марш, пропыленные машины укрылись в рощах и перелесках. Мы проверяли техническое состояние машин.

И сейчас, спустя более тридцати лет, вижу я те проселочные дороги, почерневшие от пыли и масла лица танкистов... Куда ни кинешь взор — всюду танки, самоходно-артиллерийские установки, машины с пехотой, мотоциклисты. Надо было двигаться ночью. Но какая ночь в июле? Не успеет отгореть закат на западе, а на востоке уже светлеет небосклон. Поэтому шли днем и ночью.

И вот теперь наступил наш час.

Днем и ночью гремят дороги, стоит гул моторов, висят клубы дыма, пахнет соляркой и резиной.

Уже на марше гвардейцы услышали грохот канонады. Впереди показались домики Прохоровки и высокое здание элеватора. На подходе к рубежам сосредоточения мы получили приказ генерала армии Николая Федоровича Ватутина. Он благодарил наших танкистов за беспримерный марш-бросок.

Развертывание войск армии неожиданно осложнилось: гитлеровцы потеснили 1-ю танковую и 6-ю гвардейскую армии, а в полосе 69-й армии противник сумел продвинуться на север.

При рекогносцировке местности южнее Прохоровки мы увидели бесчисленные курганы, высотки и овраги, которые мешали маневру танков. Вместе с начальником штаба генералом В. Н. Баскаковым, командирами корпусов генералами Б. С. Бахаровым, И. Ф. Кириченко, А. Ф. Поповым, А. С. Бурдейным и Б. С. Скворцовым объездив вероятные рубежи и расположение наших корпусов, я принял решение развернуть войска армии несколько западнее и юго-западнее Прохоровки на фронте до пятнадцати километров. Главный удар наметил в направлении деревни Яковлево четырьмя танковыми корпусами в первом эшелоне и 5-м межкорпусом во втором эшелоне.

Войска были готовы вступить в бой.

По приказу командующего войсками Воронежского фронта, согласованному со Ставкой, в нанесении контрудара под Прохоровкой должны были участвовать войска 5-й гвардейской танковой армии, 5-й гвардейской армии под командованием генерала А. С. Жадова, а также должны были принять участие войска 1-й танковой, а также 6-й и 7-й гвардейских армий. Таков был план. Но практически произошло несколько иначе,

11 июля противник активными действиями пытался сковать 1-ю танковую армию генерала М. Е. Катукова. Но она и 6-я гвардейская армия генерала И. М. Чистякова, несмотря на большие потери, продолжали отражать напор немцев.

Удар группы «Камф» поставил в очень трудное положение 7-ю гвардейскую армию. В результате из пяти наших армий, запланированных для нанесения контрудара под Прохоровкой, в наступление пошли лишь две — 5-я гвардейская танковая и 5-я гвардейская общевойсковая, а также два отдельных танковых корпуса (2-й и 2-й гвардейский), подчиненные мне.

Немецкое командование, уверенное в успехе, подготовило для броска на Прохоровку все свои резервы: более сотни танков «тигр» и самоходно-артиллерийские установки «фердинанд».

Около 17 часов 11 июля на командный пункт нашей 5-й гвардейской танковой армии прибыл представитель Ставки Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Я доложил о состоянии войск армии и вместе с А. М. Василевским поехал в район исходных позиций.

Заканчивался день, но немецкая авиация неистовствовала. Над горизонтом висели клубы дыма. Мы ехали на «виллисе». Проскочив рошу, увидели справа постройки совхоза «Комсомолец». Впереди по дороге шло несколько десятков танков. До них было около километра. Василевский приказал остановить машину на обочине дороги и, строго посмотрев на меня, обычно уравновешенный, резко спросил:

— Генерал Ротмистров, в чем дело? Почему вы пустили танки раньше срока?

Я взглянул в бинокль и доложил, что это танки немецкие.

— Так они же лишили нас подготовленного плацдарма и, более того, могут забрать Прохоровку!

Я доложил А. М. Василевскому, что этого мы не допустим, и немедленно по радио отдал приказ И. Ф. Кириченко выдвинуть две танковые бригады западнее Прохоровки, остановить продвижение немцев. Задача была выполнена.

С вечера в подразделениях армии проходили партийные и комсомольские собрания. Коммунисты давали клятву не щадить жизни и выполнить долг перед Родиной. Лучшие бойцы и командиры вступали в ряды партии и в комсомол.

Только в 53-й мотострелковой бригаде в ночь накануне боя приняли в члены и кандидаты партии 72, а в члены ВЛКСМ — 102 воина.

Забрезжило утро 12 июля. Я уже был юго-западнее Прохоровки на наблюдательном пункте в саду. Стволы яблонь изрезаны осколками бомб и снарядов. Из окопов, прикрытых кустами смородины, торчат штыри антенн.

Тишину утра разорвал вой летящих «мессершмиттов». Взвились первые клубы дыма. На северо-востоке появилось более 200 немецких танков.

Ровно в 8 часов по всему фронту гитлеровской обороны пронесся шквал нашей артиллерии и «катюш».

После пятнадцатиминутного артиллерийского огневого налета и ударов авиации из укрытий вышли наши танки. 5-я гвардейская танковая армия ринулась навстречу атакующим колоннам гитлеровцев. В первом эшелоне ее шли четыре танковых корпуса: 18-й под командованием генерала Б. С. Бахарова, 29-й под командованием генерала И. Ф. Кириченко, 2-й под командованием генерала А. Ф. Попова и 2-й гвардейский под командованием генерала А. С. Бурдейного. Во втором эшелоне был 5-й гвардейский механизированный корпус генерала Б. С. Скворцова.

На узком участке фронта, с одной стороны зажатом рекой Псел, а с другой железнодорожной насыпью, сходились лоб в лоб сотни машин.

Так началось знаменитое Прохоровское сражение.

Дым и пыль заволочили небо, отдельных выстрелов не услышишь: все слилось в единый грозный гул. В общей сложности с обеих сторон в сражении участвовало около 1200 танков.

Солнце помогало нам. Оно хорошо освещало контуры немецких танков и следило за немецкими танкистами. Наш первый эшелон на полном ходу врзался в боевые порядки немецко-фашистских войск. Атака была настолько стремительной, что передние ряды танков пронизали весь боевой порядок немецких машин. Вражеский боевой строй перемешался. Появление на поле сражения большого количества краснозвездных стальных машин привело немцев в замешательство. Управление в немецких передовых частях и подразделениях вскоре нарушилось. Наши танки успешно расстреливали с коротких дистанций «тигров», лишенных в ближнем бою преимуществ своего вооружения. Мы знали слабые места врага, наши танкисты старались бить в борт немецких машин. Снаряды, посылаемые с коротких расстояний, рвали броню «тигров». Внутри танков взрывались боеприпасы, многотонные башни отлетали на десятки метров. Тяжелый черный дым поднимался над почерневшей землей.

Плечом к плечу с танкистами, проявляя героизм и самоотверженность, сражались воины 5-й гвардейской армии генерала А. С. Жадова.

Так в открытой встречной битве сразились отборные немецко-фашистские дивизии СС и наши гвардейцы.

Командир танкового батальона 18-го танкового корпуса капитан П. А. Скрипник в короткой схватке уничтожил два «тигра». Но врагам все же удалось поджечь и танк Скрипника. Стрелок-радист и механик-водитель вытащили раненого командира из машины и укрыли его в воронке от снаряда. Один из «тигров» заметил танкистов и направился прямо на них. Тогда механик-водитель Александр Николаев вновь вскопил в горящую боевую машину, завел двигатель и понесся навстречу «тигру». Обе машины взорвались.

Героически дрались танкисты 170-й танковой бригады. Их командир подполковник В. Д. Тарасов, управляя подразделениями, погиб в горящем танке.

С наблюдательного пункта нам порой было трудно разобрать, где на поле боя свои, а где гитлеровские машины. Дым и пыль застилали полосу сражения.

Батальон танков майора Г. А. Мясникова подбил 3 «тигра», 8 других танков, 3 самоходных орудия, подавил 15 пушек противотанковой артиллерии. В самые тяжелые моменты боя коммунист Мясников увлекал за собой экипажи других машин, показывая, как надо бить фашистов.

Преследуя врага, танк Н. А. Мищенко вырвался далеко вперед и был подбит. Огонь взметнулся над башней. Но экипаж не растерялся, сумел сбить пламя и спасти машину. Оказавшись в окружении врагов, танкисты продолжали вести неравный бой, уничтожили более 25 гитлеровских солдат, а затем все же пробились на танке в свой батальон.

Тяжелый, очень тяжелый бой пришлось вести танкистам 29-го и 18-го танковых корпусов. Отражая натиск двух танковых дивизий СС — «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер», они выстояли и отбросили эсэсовцев.

По боевым порядкам подразделений 233-го гвардейского артиллерийского полка нанесли удар более 100 танков дивизии СС «Мертвая голова». Старший лейтенант командир взвода противотанковых ружей Павел Иванович Шпетный уничтожил два танка и несколько вражеских автоматчиков, а когда кончились боеприпасы, офицер со связкой гранат бросился под гусеницы. Своей жизнью коммунист преградил путь врагу.

Перед высотой горело уже 11 машин противника. У артиллеристов кончились снаряды, и гвардейцы забрасывали фашистов гранатами. Все герои погибли в том неравном бою, но высоту не отдали. На подступах к ней были превращены в металлолом 16 немецких танков. Это сделали артиллеристы 233-го гвардейского артиллерийского полка 5-й гвардейской армии.

Ведя бой с ударной танковой армией гитлеровцев, мне приходилось следить и за южным направлением.

К 8 часам утра войска вражеской группы «Кампф» на фронте 69-й армии отбросили части двух дивизий ко второй полосе обороны и начали охватывать наш левый фланг. В разгар сражения в тыл армии могли пробиться еще сотни вражеских танков...

По приказу командующего фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина я направил на угрожаемое направление свой резерв под командованием генерал-майора К. Г. Труфанова, а в дальнейшем — часть сил из второго эшелона, которые так нужны были здесь, под Прохоровкой.

Но и враг не дремал. К 13.00 он подтянул из резерва 11-ю танковую дивизию и совместно с дивизией СС «Мертвая голова» нанес сильнейший удар по нашему правому флангу и по участку обороны 5-й гвардейской армии в направлении села Полежаево.

Не имея другого резерва, я выдвинул на правый фланг две бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса, предназначенные первоначально для развития наступления. И вражеские войска были отброшены от Полежаева.

Весь день до наступления темноты не ослабевало ожесточенное сражение. Сотни танков горели на искалеченном поле. Многих своих героев потеряла в тот день наша гвардейская танковая... Танкисты бились насмерть. Сражались в горящих машинах. Шли на таран...

Враг нес огромные, невосполнимые потери. Это сражение, по признанию гитлеровских генералов, было проиграно фашистскими войсками. Командующего эсэсовским танковым корпусом обергруппенфюрера Хауссера немедленно отстранили от командования, сделав его козлом отпущения.

Поле боя после сражения выглядело ужасно. Ведь с обеих сторон вышло из строя свыше 700 танков! Всюду виднелись тела убитых, искореженные танки, раздавленные орудия, бесчисленные воронки. И не одной зеленой былинки — сплошь выжженная, черная, дымящаяся земля. И так на протяжении десяти — двенадцати километров — на всю глубину нашей атаки!

13 июля в армию прибыл Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, горячо благодаривший танкистов. Вместе с ним мы объехали поле боя. Оно осталось за нами, и это имело огромное значение: мы, а не враг получил возможность вернуть в строй подбитые машины.

К 14 часам 12 июля гвардейцы армии Жадова и первый эшелон нашей 5-й гвардейской танковой армии хотя и медленно, но выигрывали бой. Мы теснили противника в западном направлении, нанося ему большие потери в личном составе и технике. А ведь фашисты превосходили нас в численности боевых машин. Не помогли им ни «тигры», ни «пантеры», ни самоходные орудия «фердинанд». «Тигры» несли стомиллиметровую лобовую броню, «фердинанды» — двухсотмиллиметровую. Грозные машины имели мощное вооружение. Эту новую технику немцы считали неуязвимой. Но наши «тридцатьчетверки» не имели себе равных.

Я танкист и, оценивая нашу победу под Курском, скажу: немецкое командование надеялось на «психологический шок», который якобы наступит у советских воинов при массовом применении новых танков и самоходных орудий немецкой армии. Но шока не произошло. К началу Курской битвы у нас заметно улучшилась организационная структура танковых и механизированных войск. На Курской дуге проверялась сила нашей танковой армии новой организации численностью в 600—700 танков и самоходно-артиллерийских установок и до 600 орудий и минометов. Против техники врага встала советская техника. Танки на танки, артиллерия на артиллерию. И самое главное — новые способы и приемы боя, применяемые в советском военном искусстве.

Контрудары наших танковых армий готовились в нескольких вариантах. Применение того или иного из них зависело от направлений главных ударов противника. Так, 2-я танковая армия, сосредоточенная в районе Золотухина, в тридцати километрах от переднего края, рассчитала три варианта контрудара.

В Курской битве, кроме танковых армий и отдельных танковых корпусов, в боях участвовали еще и отдельные танковые бригады и самоходно-артиллерийские полки. В большинстве своем они входили в состав стрелковых дивизий, оборонявшихся на важных направлениях, и располагались во вторых эшелонах или резервах.

Мы встретили немецкий удар на Курской дуге обороной, хотя имели достаточно сил, чтобы самим перейти в наступление. Противник сосредоточил на обоих

флангах Курской дуги весьма сильные танковые группировки, поэтому Ставка решила: пусть немцы наступают. В этих боях советские войска разгромили до 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых (1500 танков, 3 тысячи орудий, свыше 3700 самолетов). Острие их бронированного клина, надломленное в районе Обоянского шоссе, было окончательно сломлено. Враг откатывался на исходные позиции и переходил к обороне.

«Гигантская битва на Орловско-Курской дуге летом 1943 года, — говорил Л. И. Брежнев, — сломала хребет гитлеровской Германии и испепелила ее ударные бронетанковые войска. Всему миру стало ясным превосходство нашей армии в боевом мастерстве, в вооружении, стратегическом руководстве».

16 июля армии Воронежского, а с 19 июля и Степного фронтов перешли к преследованию врага и 23 июля вышли на рубеж, который наши войска занимали до 5 июля.

Не сомневаясь в успехе операции «Цитадель», Гитлер кричал: «Поражение, которое потерпит Россия в результате этого наступления, должно вырвать на ближайшее время инициативу у советского руководства, если вообще не окажет решающего воздействия на последующий ход событий».

Случилось наоборот. В оборону гитлеровцев с 12 июля вклинились силы Брянского фронта и левого крыла Западного фронта. Танковые и стрелковые соединения пробивались на запад, к Орлу, в опустошенные села и города.

Гитлеровские войска отходили к городу Орлу. Положение вражеской группировки на Орловском плацдарме становилось все более тяжелым. На подступах к Орлу с востока наступательные бои вели войска 3-й армии генерала А. В. Горбатова и 63-й армии генерала В. Я. Колпакчи. 3 августа Военный совет Брянского фронта обратился к воинам с воззванием — ускорить темп наступления, не дать разрушить фашистам город Орел.

В тот же день, 3 августа, когда войска на северном выступе Курской дуги готовились к немедленному броску на Орел, войска Воронежского и Степного фронтов после мощного артиллерийского и авиационного ударов также прорвали оборону гитлеровцев. В результате 5 августа впервые в истории Великой Отечественной войны Москва салютовала воинам-освободителям двух древних русских городов — Орла и Белгорода.

Павел Алексеевич Ротмистров. Герой Советского Союза. Главный Маршал бронетанковых войск. Родился в 1901 году, член КПСС с 1919 года.

Я. Д. ХАРДИКОВ



В УРАЛЬСКОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ

Иначалась вторая зима войны. Она застала меня далеко от фронта, в госпитале, на Урале, где я лечился после второго ранения, полученного в боях за Смоленщину.

Фашистские полчища в ту пору добрались до Кавказа, на улицах Сталинграда шли ожесточенные бои. А я лежал в госпитале с осколками в легком, с контузией и обдумывал план бегства на фронт.

Для меня, бывшего батрака, которому Коммунистическая партия дала образование, интересную работу, была невыносима мысль, что больше мне не придется воевать, уничтожать из пушек ненавистные фашистские танки. Знал, врачи собирались списать меня подчистую.

И все же я победил медицину. Правда, на фронт меня не пустили, но в армии оставили. Там же, на Урале, я стал обучать молодежь артиллерийскому мастерству.

В один февральский день 1943 года я услышал по радио призыв уральских рабочих и колхозников:

— Построим на своих заводах в неурочное время на собственные средства сотни танков, вооружим их, посадим на них добровольцев и отправим в бой на врага!

Центральный Комитет партии и Советское правительство поддержали благородный, патриотический почин уральцев. И я тут же решил: чего бы это ни стоило, уеду с добровольцами на фронт!

В те дни мне пришлось побывать в Нижнем Тагиле. На воротах одного завода прочел объявление: «По инициативе трудящихся Урала создается Уральский добровольческий корпус. Прием заявлений проводят секретари партийных организаций». Я узнал: только за один день на этом заводе подано 4363 заявления, из них около трех тысяч от коммунистов и комсомольцев.

Меньше чем за неделю уральцы собрали свыше 70 миллионов рублей. Создание добровольческого корпуса стало главной заботой, которой жили в те дни трудящиеся Свердловской, Челябинской и Пермской областей.

Уральцы работали круглые сутки. Металлурги варили сплав, не пробиваемый снарядами; машиностроители выпускали танки, вооружали их; пищевики готовили консервы, сухари; портные шили обмундирование, сапожники — обувь. А я настойчиво обучал ребят, почти совсем юнцов, стрелять из противотанковых пушек и каждую свободную минуту убеждал командира полка, что мои раны уже зарубцевались и я готов стать в строй.

И снова повезло: меня отправили на формирование отдельного артиллерийского дивизиона 29-й мотострелковой бригады, которой вскоре предстояло стать прославленной Унечской Краснознаменной ордена Ленина и еще многих боевых орденів бригадой в нашем добровольческом корпусе.

Настала весна. Урал провожал на фронт свой добровольческий корпус. Среди добровольцев был и я! Незабываемое время... 9 мая 1943 года нам вручили боевые красные знамена.

Станция Дегтярка Свердловской области. Здесь выстроилась 29-я мотострелковая бригада, с которой мне посчастливилось дойти до Праги. Нас провожают в далекий путь тысячи уральцев. Это они недоедали, недосышали, шестнадцать—двадцать часов в сутки не отходили от станков — ведь все вооружение корпуса (от танка до саперной лопатки) сделано ими сверх плана и на собственные средства. Взволнованно, вдохновенно звучал их наказ:

«Сыны Урала! Воины наши любимые! Своими руками выплавляли мы сталь, приготовили боевую технику и снаряжение, полностью оплатили всю материальную часть танкового корпуса из своих сбережений, с гордостью принесли этот патриотический дар Родине и нынче, провожая вас на поле брани, крепко прижимаем вас к своему горячему сердцу.

Вперед, бойцы-танкисты, по трупам врагов пролагайте путь к миру и счастью!»

Мы, добровольцы, тогда поклялись оправдать высокое доверие уральцев, их наказ — не дрогнуть в боях за родную землю.

С тех пор прошло более тридцати лет, а мне все еще словно слышатся торжественные голоса молодых воинов:

— Клянемся не опозорить славу уральцев! Клянемся вернуться на родной Урал с полной победой!

Добровольцы двинулись на запад, к фронту. Это было, пожалуй, единственное в составе Красной Армии подобное воинское соединение: целый добровольческий танковый корпус!

Уральцы приняли боевое крещение в величайшей в истории войн танковой битве — в Орловско-Курском сражении. И первый за время Великой Отечествен-

ной войны победный салют из 120 орудий, который в августе 1943 года возвестил Родине об освобождении Орла и Белгорода, прогремел и в нашу честь.

В третий раз я снова был тяжело ранен в бою за Новозыбков и после выздоровления вернулся в мотострелковую бригаду Уральского добровольческого. Мне доверили командование 2-й артиллерийской батареей, ее командир Николай Глушковский погиб на Брянщине. Эта батарея уже завоевала славу непобедимой, и я поклялся не уронить чести глушковцев.

Начав свой боевой путь в Орловско-Курском сражении, наш добровольческий отличился во многих битвах, и ни одного поражения не знали уральцы до славного дня Победы. В самые критические минуты мы чувствовали за спиной крепкую, дружескую руку тружеников Урала, знали, что за каждым нашим боем следят наши товарищи в тылу. Выбывали из строя герои — на их место вставляли другие; сгорали в боях танки — с Урала прибывали новые.

«Дивизией черных ножей» называли нас в стане противника, потому что на поясе у каждого добровольца висел маленький кинжал в черных ножнах — подарок рабочих золотоустовского завода. Смертоносную силу наших стальных ножей хорошо узнали гитлеровцы, и как черт ладана боялись они встречаться с уральцами в рукопашных схватках! А их в ту пору у нас было немало..

Весну 1944 года мы встретили в боях на Украине. Части корпуса освободили Подволочиск и перерезали шоссе, соединяющее Проскуров и Тернополь.

В бинокли нам уже виден Каменец-Подольский. Красавец город раскинулся на высоком крутом полуострове, образуемом извилиной реки Смолитич. Это естественный рубеж обороны, который взять нелегко. Напротив города на утесе другой пункт обороны — каменец-подольская крепость XIV века. Надо освободить город и не разрушить ценнейшие памятники старины. Нам, артиллеристам, об этом все время напоминает командование корпуса.

Однако попытки наших штурмовых отрядов продвинуться вперед встречены сильным огнем противника. Мы все же прорвались в город. Упорные уличные бои длятся три, четыре дня... Гибнут люди, горят дома, целые улицы, а мы еще не захватили новую часть города — на западном берегу реки.

Командир бригады полковник Смирнов сообщил нам о приказе командира корпуса, нашего общего любимца генерала Белова, которого мы между собой называли батей, — немедленно на западный берег! Моей противотанковой батарее приказано во что бы то ни стало прорваться туда, захватить хотя бы небольшой плацдарм и держать под огнем железнодорожную станцию. Мне придали подразделение автоматчиков, и глушковская батарея двинулась.

Каждый из нас знал, что за нашим продвижением с крутого берега к реке следят не только с КП бригады, но нас видит и противник. Знали мы и то, что берег старого города еще не очищен от гитлеровцев — на пути стояла зарывшаяся глубоко в землю их артиллерийская батарея. И все же мы стремительно продвигались вперед.

Светало. День обещал быть безветренным, теплым. Реку прикрывал густой туман. Удивляло и тревожило поведение врага. Почему не открывают по нам огонь? С ходу врываемся в расположение противника и... о чудо! Два немца мирно жарят яичницу на больших противнях, а остальные вояки безмятежно спят в блиндаже.

В одном белье выскакивали они, дрожа от холода и страха. 38 фрицев пленили мы, и пока мои хлопцы подсчитывали трофеи, к нам на машине примчались встревоженные тишиной «странного боя» генерал Белов и полковник Смирнов.

Я быстро доложил обстановку и предложил:

— Товарищ генерал, как говорится, пожалуйте к столу — фрицы приготовили нам яичницу.

Евтихий Емельянович Белов и Михаил Семенович Смирнов охотно согласились перекусить с артиллеристами. Ну и посмеялись же мы тогда, с аппетитом уплетая еще не остывшую яичницу.

— А теперь в путь! Ждем приглашения к обеду уже в новом городе, — пошутил генерал Белов.

И мы двинулись. Заговорила артиллерия противника, а мы движемся к реке, которую нужно с ходу форсировать. Мы стараемся хитро маневрировать. Вот и река. Вдруг вражеский снаряд попадает в одну нашу пушку. Приказываю ребятам не останавливаясь отцепить от автомашины орудие и двигаться дальше. У нас осталось три пушки. Но река уже позади. Стали быстро окапываться на западном берегу. Казалось, время движется очень медленно, но не прошло и двадцати минут, как заговорили наши орудия — бросили на гитлеровские «пантеры», двинувшиеся на нас, поток горячего свинца. Танки гитлеровцев изо всех сил пытаются опрокинуть нас в реку.

Вот тогда я и решил осуществить давно вынашиваемый план: снять с орудий щитовое прикрытие. Хотя оно защищает нас от пуль, но делает пушку отличной мишенью. Пусть попробуют теперь францы попасть в тонкий ствол орудия без прикрытия!

Вдруг в телефонной трубке раздается голос командира бригады:

— Лейтенант, ты видишь? На тебя движутся семь танков и не меньше полтораста францев! Стоять за Родину до последнего вздоха! Передай это всем на батарее!

А враг наседает. Мы молчим. И только когда гитлеровцы были в двухстах метрах от нас, я приказал открыть огонь. Но и противник засыпает нас снарядами. Три «пантеры» пошли в обход справа, а четыре наступают в лоб. Командир орудия сержант Демидов подбил один танк и тут же упал тяжело раненный. Еще один танк подбил сержант Шлыков. Через минуту объята огнем еще одна «пантера». Я становлюсь к орудию Демидова и первым же выстрелом поджигаю «пантеру». Вижу, что вражескую пехоту буквально косит огонь наших пулеметов.

Неожиданно с фланга по нам открыли огонь три уцелевших танка. Один налетел на расчет Михаила Струхина и раздавил его. Я быстро развернул орудие и ударил по танку двумя снарядами.

— За тебя, Миша, за твою жизнь! — кричу я изо всех сил.

Метким огнем сержант Зориков уничтожил еще один танк, но и его орудие вышло из строя. Последний танк полез на меня. Осколком снаряда меня ранило в руку, в голову. Рядом упал заряжающий.

— Не пройдешь, гад, не пройдешь! — кричу я.

А танк прет! Еще миг — и он раздавит меня вместе с орудием. Стреляю в упор. «Пантера» завертелась — кажется, подбита! Но я уже ничего не вижу — кровь заливает глаза...

В госпитале я узнал, что плацдарм мы все же удержали. Но нелегко достался нам этот клочок родной земли на западном берегу Смотрича, напротив каменец-подольского Театра драмы. Много полегло там наших славных ребят. Погиб в бою за Каменец-Подольский и командир нашей мотострелковой бригады полковник Михаил Семенович Смирнов.

За участие в освобождении города Каменец-Подольского мне присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И поныне я делю честь этого звания с моими боевыми друзьями — командирами орудийных расчетов Владимиром Демидовым, Виктором Шлыковым, Семеном Зориковым, Михаилом Струхиным.

Я тогда не подсчитывал, но командование корпуса, поздравляя нас с тем, что глушковская батарея открыла путь в новый город танкистам и мотострелкам, сообщило: в бою мы уничтожили 7 вражеских танков, 2 орудия, 4 миномета, 10 пулеметных точек и до роты гитлеровских солдат и офицеров. С этой победой не замедлили поздравить нас и друзья уральцы. А студенты и преподаватели Магнитогорского педагогического института, узнав, что в бою за Каменец-Подольский батарея потеряла противотанковые орудия, немедленно собрали деньги и приобрели новую пушку. Вскоре мы получили отличное орудие, на щитовой стороне которого было написано: «Бесстрашному командиру батареи Герою Советского Союза Якову Хардикову от преподавателей и студентов Магнитогорского пединститута. Просим доверить лучшему командиру орудия».

Таким командиром оказался Владимир Александрович Демидов. Воевали мы уже на львовском направлении, и когда готовились к бою за город Коломьно, я

перед строем вручил Володе Демидову подарок уральцев. Как зеницу ока берег славный артиллерист дар друзей. Эта пушка прошла с батареей до конца войны, уничтожила 9 фашистских танков и осталась цела.

А мне в боях за Львов пришлось туго — на улицах этого города я был в четвертый раз тяжело ранен.

Долечивался в Киеве. Уже собирался вернуться на фронт, как вдруг меня в госпитале навесил дорогой гость — командир корпуса, который в то время назывался 10-м гвардейским Уральско-Львовским добровольческим танковым корпусом, генерал-лейтенант Евтихий Емельянович Белов. Генерал привез мне целый мешок писем от друзей с Урала.

— Читай, наслаждайся. Пусть эти послания будут целительным бальзамом на твои многочисленные раны, — сказал Белов и между прочим спросил: — А не поехал ли бы ты, Яков, в гости к уральцам? Читай, вон ведь как просят...

Никогда не забыть мне январских дней 1945 года, проведенных в Челябинске и в Кургане. Секретарь Челябинского обкома партии Николай Семенович Паточичев радушно встретил меня и поручил работнику обкома партии Сергею Васильевичу Зиновьеву возить меня по предприятиям. С каким волнением слушали уральцы на заводах, на площадях, в школах фронтовика!

Тысячи пожилых рабочих и юношей обещали работать еще лучше, передавали щедрые дары фронтовикам. Тут были теплые носки, носовые платки, кисеты, наполненные табаком-самосадам, а в письмах столько душевного тепла, любви, желания внести и свою лепту в общее дело Победы! И мне, еще не окрепшему после ранения, огромный мешок с подарками, который я повез с Урала танкистам, казался совсем легким...

Без преувеличений могу сказать: уральское тепло, их сердечная щедрость, самоотверженный труд помогли нашему корпусу дойти с победой до Праги!

Вечное спасибо вам, дорогие уральцы!

Яков Давыдович Хардилов. Родился в 1909 году. Член КПСС с 1938 года. Командир противотанковой батареи. Гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.

И. Х. БАГРАМЯН



ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»

Девятнадцатого ноября 1943 года, прибыв на командный пункт Прибалтийского фронта, командующим которого я был только что назначен, я принял командование его войсками от своего однокашника по ленинградским кавалерийским курсам усовершенствования командного состава (1924—1925) генерала армии А. И. Еременко.

— На юге Белоруссии, — сказал он, — сравнительно благоприятные погодные условия, а у нас здесь непролазная грязь, из-за бездорожья мы не можем снабдить войска достаточным количеством боеприпасов. А Гитлер перебросил в полосу действий фронта две пехотные дивизии из-под Ленинграда, пять пехотных и одну танковую дивизию с южного крыла группы армий «Центр», как раз оттуда, где действует Рокоссовский. Солидно пополнил враг и свою авиацию.

Итак, я принял фронтовое объединение, которое действовало на одном из важнейших направлений советско-германского фронта — в полосе между Невелем и Рудней.

У Ставки были планы использования войск фронтов, наступавших с целью освобождения Белоруссии. Хотя замысел этот имел далекоидущие цели, все же

не он являлся главным тогда в масштабе всего советско-германского фронта. Дело в том, что основной заботой Ставки на предстоящий период было освобождение Ленинградской области и особенно Правобережной Украины, где планировалось развернуть наступление от Припяти до Черного моря силами войск четырех Украинских фронтов с целью возвращения стране важнейших экономических районов. Сюда и направлялись резервы Ставки. Поэтому наши настойчивые наступательные действия зимой принесли незначительные территориальные успехи. В частности, мы освободили Городок и выручили войска двух армий, оказавшиеся после невеликой операции в мешке. Но мы сковали многочисленные неприятельские силы, чем содействовали крупным победам наших войск под Ленинградом и в Западной Украине.

Всю зиму войска фронта осуществляли одну операцию за другой, и наши наступательные возможности истощились. Нужна была передышка. Вот почему, проводя очередную, мартовскую наступательную операцию против витебской группировки врага, я решил немедленно просить разрешения Ставки о переходе к обороне. Однако мне хотелось заручиться поддержкой соседа — командующего войсками Западного фронта генерала армии В. Д. Соколовского, войска которого тоже участвовали в наступлении. Василий Данилович, согласившись со мной в том, что войскам необходима передышка, обратиться к Сталину отказался, сказав, что в Москве отлично знают обстановку на фронтах. Но это заявление не поколебало моего решения, и я позвонил в Ставку. Верховный Главнокомандующий внимательно выслушал мой доклад об обстановке и доводы о необходимости прекратить наступление. Сталин с минуту молчал, а потом спросил:

— А что думают на этот счет на Западном фронте?

Я ответил, что генерал Соколовский считает, что Ставка и без нашей просьбы придет к такому же решению.

— Хорошо, подумаем, — заключил Верховный и попрощался.

2 апреля из Генерального штаба сообщили, что подписана директива о переходе войск I Прибалтийского и Западного фронтов к обороне. Так началась короткая передышка, по истечении которой, как мы предполагали, перед нами встанут новые задачи.

Не успели мы по-настоящему развернуть работу по созданию прочной обороны, как перед нами возникла чрезвычайно ответственная задача, связанная с оказанием срочной помощи одной из крупнейших в Белоруссии партизанских группировок, действовавшей в полосе нашего фронта. О грозившей партизанам опасности я узнал от прибывшего к нам представителя Белорусского штаба партизанского движения при нашем фронте секретаря ЦК КП(б) Белоруссии Рыжикова. Когда он появился на пороге моей комнаты, я по выражению его лица догадался, что его привело ко мне чрезвычайное событие.

— Выручайте, товарищ командующий! — начал он без всяких предисловий, даже не поздоровавшись. — Гибнет наша партизанская республика, смерть угрожает десяткам тысяч наших партизан и мирных жителей!

Далее он рассказал о плане фашистских карателей покончить с партизанами в районе между Полоцком, Лепелем и Бешенковичами. С разрешения Ставки мы оказали помощь партизанам. В результате в ходе двадцатипятидневных ожесточенных боев фашисты не смогли уничтожить партизан полоцко-лепельской партизанской зоны. Партизаны же, уничтожив около 20 тысяч карателей и 58 танков, вырвались из вражеского кольца, и вскоре снова фашистские гарнизоны и фашистские прислужники ощутили на себе их внезапные карающие удары.

В результате упорных зимних боев конфигурация линии советско-германского фронта на западном направлении приняла своеобразное начертание — образовался огромный выступ, обращенный вершиной на восток. Гитлеровцы называли его «белорусским балконом». Здесь-то и предстояло развернуться основным событиям лета 1944 года.

Итак, в первой половине этого знаменательного года Красная Армия окончательно ликвидировала блокаду Ленинграда, одержала внушительную победу на Правобережной Украине, к лету освободив от оккупантов около полутора миллио-

нов квадратных километров советской территории. Врага изгнали из пределов Российской Федерации, большинства областей Украины. И вот настало время вызвать из-под фашистского ига Белоруссию и Прибалтику. В этот период Красная Армия прочно удерживала в своих руках стратегическую инициативу, нанеся в предыдущих битвах огромные потери врагу. Однако фашистская Германия все еще оставалась сильным и опасным врагом. Открытие англо-американцами второго фронта в Европе не привело к существенному изменению в группировке немецко-фашистских войск. Основная часть наиболее боеспособных соединений оставалась на советско-германском фронте. Англо-американским войскам на западе противостояло всего 60 немецких дивизий. По качеству личного состава и технической оснащенности они значительно уступали дивизиям, сражавшимся против Советской Армии. Бывший начальник оперативного отдела штаба Западного фронта генерал Циммерман писал: «Можно сказать без преувеличения, что Восточный фронт настойчиво выкачивал из немецких армий, находившихся на Западе, всю боеспособную живую силу и боевую технику... С 1943 г. основу немецких войск Западного фронта составляли старики, оснащенные устаревшим вооружением»¹.

Разработанный Ставкой и Генеральным штабом военно-стратегический план летне-осенней кампании Красной Армии предусматривал ряд последовательных наступательных операций на всем советско-германском фронте протяженностью свыше четырех тысяч километров. При этом основные усилия вначале сосредоточивались на центральном направлении.

Планируя свои действия на лето 1944 года, немецко-фашистское командование исходило из предположения, что советские войска будут развивать успех на юге, особенно в западных районах Украины, поэтому оно развернуло там 123 дивизии, в том числе 86 процентов всех танковых дивизий. Тем не менее Гитлер и его окружение придавали большое значение сохранению в своих руках Белоруссии. Находившиеся здесь войска прикрывали кратчайшие пути к Восточной Пруссии и Польше, а развитая сеть аэродромов позволяла фашистской авиации все еще угрожать району Москвы. Кроме того, прочная оборона в этом районе обеспечивала более устойчивое положение немецких войск южнее Припяти и на прибалтийском направлении, а также позволяла наносить фланговые удары по советским войскам в случае обхода ими Белоруссии с севера и юга.

В Белоруссии оборонялась группа армий «Центр». В нее входили танковая, три полевые армии. С учетом смежных соединений групп армий «Север» и «Северная Украина» противник имел в Белоруссии 63 дивизии и три бригады. Включая тылы, белорусская группировка насчитывала 1 200 тысяч человек солдат и офицеров, 9500 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 боевых самолетов². Используя многочисленные реки, озера, болота и лесные массивы, враг подготовил мощную, глубоко эшелонированную оборону. Гитлер потребовал превратить все крупные белорусские города в крепости и защищать их любой ценой до последней возможности.

В начале мая я был вызван в Москву. Алексей Иннокентьевич Антонов, как всегда, встретил меня приветливо и познакомил с проектом плана главной наступательной операции 1944 года, целью которой был разгром группы фашистских армий «Центр». Общая идея этого замысла мне сразу понравилась: навалиться силами четырех фронтов на группу армий «Центр» и разгромить ее, что обеспечивало в случае успеха не только освобождение многострадальной Белоруссии, но создание благоприятных условий для дальнейших операций на главном стратегическом направлении. Радовала меня и важная роль, отводившаяся войскам, которыми я командовал. Однако, узнав о том, что наш сосед справа II Прибалтийский фронт остается в обороне, я не мог не заметить большую опасность, которая угрожала войскам нашего фронта, когда они двинутся вперед, ибо они могут подвергнуться мощному фланговому удару со стороны группы

¹ «Роковые решения». М. Воениздат, 1958, стр. 219.

² «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая история». Изд. 2-е. М. 1970, стр. 348.

армий «Север». Именно эти опасения я и высказал Алексею Иннокентьевичу. Он меня успокоил, сказав, что эти наметки плана не окончательные. После уточнения ряда вопросов мы распрощались. Поскольку Антонов особо предупредил меня о соблюдении поднейшей тайны в отношении намечавшейся операции в Белоруссии, я по возвращении в штаб фронта не обсуждал эту проблему даже с ближайшими своими соратниками.

21 мая меня и члена Военного совета фронта генерал-лейтенанта Д. С. Леонова вновь вызвали в Москву.

В первый же день пребывания в Москве меня, К. К. Рокоссовского и членов Военных советов наших фронтов пригласили в Генеральный штаб, мы за время войны неоднократно встречались, хорошо знали друг друга и искренне радовались, что будем вместе готовить предложения для рассмотрения в Ставке Верховного Главнокомандования. Заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Г. К. Жуков, начальник Генерального штаба маршал А. М. Василевский и его заместитель генерал А. И. Антонов ознакомили нас с основным замыслом операции, боевым составом и задачами фронтов. Наступление планировалось на глубину двести пятьдесят километров. На его проведение отводилось сорок пять—пятьдесят суток. Замысел операций предусматривал нанесение мощных ударов по флангам вражеских войск, защищавших белорусский выступ, с тем чтобы взломать оборону противника и стремительным наступлением с северо-востока и юго-востока в общем направлении на Минск разгромить главные силы группы армий «Центр».

Командованию фронтами предложили высказать свое мнение по существу предстоящего наступления. Начали с меня как «правофлангового». В целом я выразил глубокое удовлетворение идеей и решительными целями этой грандиозной по размаху операции. Одновременно высказал ряд замечаний. Высказались также и другие присутствовавшие на совещании военачальники, приняв активное участие в коллективном обсуждении, как это не раз бывало при разработке оперативных и стратегических замыслов. В результате наиболее четко определилась идея всей операции — окружить значительные силы группы армий «Центр» в районе Минска, не дав им возможности ускользнуть на запад.

Окончательный вариант замысла операции сводился, по существу, к следующему: раздробить стратегический фронт обороны противника, окружить и уничтожить его группировки в районах Витебска и Бобруйска. Сначала предусматривалось разгромить фланговые группировки противника, занимавшие белорусский выступ и сконцентрированные в основном в районах Витебска и Бобруйска. Разгром этих группировок открывал для наступавших войск широкие ворота на территорию белорусского выступа. Распахнув их, войска III и I Белорусских фронтов должны были в последующем охватывающими ударами в общем направлении на Минск окружить минскую группировку противника и освободить столицу Белоруссии. II Белорусскому фронту предстояло фронтальным наступлением в общем направлении Могилев — Минск сковать возможно больше сил из состава группы армий «Центр» и всемерно содействовать осуществлению замысла по окружению и уничтожению минской группировки врага.

В связи с этим состав ударных группировок на I и III Белорусских фронтах решено было значительно усилить.

Серьезно изменилась основная задача, возлагаемая на наш фронт. Если по первому варианту плана мы должны были после выполнения ближайшей задачи — разгрома витебской группировки — наносить глубокий удар в юго-западном направлении на Молодечно, то теперь нам надлежало главными силами наступать в западном и северо-западном направлении, вдоль Западной Двины, отсекая вражескую группу армий «Север» и лишая ее возможности оказать помощь группе армий «Центр». Таким образом, мы должны были принимать активное участие в решительном разгроме танковой армии противника, оперативно обеспечивая с севера действия Белорусских фронтов по окружению многотысячной группировки гитлеровцев восточнее Минска, а затем создать условия для разгрома главных сил армий «Север» в Прибалтике.

На следующий день 22 мая в Ставке, в Кремле, собрался строго ограниченный по составу участников совет, на котором план операции «Багратюн» был окончательно утвержден. Кроме Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, здесь были Г. К. Жуков, А. М. Василевский, А. И. Антонов, командующие фронтами генерал армии К. К. Рокоссовский (I Белорусский фронт), автор этих строк (I Прибалтийский фронт) и соответственно члены Военных советов перечисленных фронтов: генерал-полковник Н. А. Булганин, генерал-лейтенант Д. С. Леонов.

Верховный поздоровался с каждым и пригласил за стол. Когда все уселись, он закурил трубку, встал и, медленно прохаживаясь по кабинету, предложил А. И. Антонову доложить замысел и план операции. Периодически он подходил к разложенной на столе карте и пристально всматривался в конфигурацию линии фронта, задерживая внимание на стрелах, обозначающих направления главных ударов фронтов. Поскольку по плану операции было все ясно, мы лишь еще раз высказались о нем с одобрением. Выступления командующих фронтами сводились в основном к тому, как они мыслят решать фронтовые задачи. Я коротко доложил свое решение по организации прорыва обороны противника и развитию наступления в оперативной глубине.

— Хорошо, — слышался тихий глуховатый голос Сталина, склонившегося над картой. — Только, по-моему, участок прорыва великоват.

Выслушав мои объяснения, он посоветовал по возвращении на фронт еще раз на местности проанализировать этот вопрос.

Г. К. Жуков и А. М. Василевский высказали ряд важных соображений по организации наиболее эффективного первого удара по врагу. В связи с тем, что противник держал свои войска, по сути дела, в одношелонном построении, без крупных резервов в оперативной глубине, Жуков и Василевский предлагали сразу же ввести в сражение максимум сил и средств для того, чтобы быстро расчленил и разгромил основные силы гитлеровцев, растянутые по всему фронту. Это, по их мнению, могло создать благоприятные условия для развития стремительного наступления наших войск вплоть до конечной цели операции.

— Ну что же, ваши предложения вам и надо решительно провести в жизнь, — согласился Сталин и объявил, что Г. К. Жуков и А. М. Василевский назначаются представителями Ставки по координации боевых действий фронтов: первый — I и II Белорусских, второй — III Белорусского и I Прибалтийского.

При обсуждении вопросов использования в предстоящей операции различных родов войск и их материально-технического обеспечения к работе совещания в Ставке привлекались командующие родами войск и начальники служб.

На фронте нас с Д. С. Леоновым ждали с нетерпением. Возвратившись, мы тотчас же пригласили к себе начальника штаба фронта генерал-лейтенанта В. В. Курасова, командующего артиллерией генерал-лейтенанта артиллерии Н. М. Хлебникова, командующего бронетанковыми и механизированными войсками генерал-майора танковых войск К. В. Скорнякова, начальника инженерных войск генерал-лейтенанта инженерных войск В. В. Косырева, командующего 3-й воздушной армией генерал-лейтенанта авиации Н. Ф. Папивина, начальника тыла генерал-лейтенанта интендантской службы Д. И. Андреева, начальника оперативного управления генерал-майора Ф. Н. Бобкова и начальника разведки полковника А. А. Хлебова. Мое сообщение о принятом Ставкой решении на проведение Белорусской наступательной операции было встречено с глубоким удовлетворением.

В общих чертах я изложил предстоящую задачу фронта и сказал, что она будет конкретно указана в директиве Ставки. Началась подготовка к наступлению.

Мы с В. В. Курасовым и начальником оперативного управления генералом Ф. Н. Бобковым тут же приступили к детальной разработке наступательной операции. Работали напряженно. Перед нами было много «подводных камней», о которые мог разбиться наш наступательный порыв, если не предусмотреть необходимые меры. Тревожила нас чрезвычайно невыгодная для наступления лесисто-болотистая местность, изрезанная множеством малых и больших озер, речушек и рек, затруднявших маневр войск. Особенно беспокоила такая крупная водная преграда, как река Западная Двина, которую предстояло преодолеть в ходе наступления.

Облегчало наш удар лишь то обстоятельство, что мы хорошо знали противостоявшего противника и систему его обороны.

В результате большой творческой работы, проделанной штабом и управлением фронта, командующими и начальниками штабов армий и командующими родами войск, были приняты соответствующие обстановке решения и поставлены войскам четкие задачи на наступление.

Огромный вклад в подготовку победы внесли наши партийно-политические работники во главе с членом Военного совета генерал-лейтенантом Д. С. Леоновым, которого я всегда считал образцом политического работника. Партийно-политическая работа в войсках имела четкую идейную направленность и конкретность, благодаря чему к началу операции бойцы и командиры жили одним стремлением — поскорее ударить по врагу.

Накануне наступления во всех частях прошли короткие митинги с выносом боевых знамен. Высокий боевой накал ощущался в выступлениях бойцов. Наиболее яркие выступления распространялись потом в виде листовок среди личного состава дивизий. И они долго не забывались. Жгучей ненавистью к нацистам пламенели сердца советских воинов. Они готовы были беспощадно громить захватчиков.

Мы завершали последние приготовления к наступлению, когда из Москвы позвонил А. М. Василевский и спросил меня, как я смотрю на то, чтобы войскам I Прибалтийского и III Белорусского фронтов начать наступление на один-два дня раньше войск К. К. Рокоссовского. Я выразил согласие. Меня и Черняховского этот вариант вполне устраивал, так как мы надеялись, что в самые трудные первые дни прорыва авиация дальнего действия сможет выделить в интересах наших войск значительно больше сил за счет войск I Белорусского фронта. Так оно и вышло.

Памятная дата для тех, кто пережил войну! Невольно вспомнилось, как ровно три года назад вечером 21 июня я спешил с оперативным отделом штаба Киевского особого военного округа в Тернополь, куда днем раньше выехали командование и штаб округа. Мы тогда не знали, что враг, образно говоря, держит уже палец на спусковом крючке, что всего несколько часов нас отделяют от войны. Знают ли сейчас фашисты, что мы предпримем завтра? Мы сделали со своей стороны все, чтобы они этого не знали. Однако мы должны были, прежде чем двинуть главные силы в наступление, не только убедиться в этом, но и проверить сведения, добытые разведкой об обороне фашистских войск на первом рубеже. Именно поэтому мы наметили провести на рассвете 22 июня разведку боем, выделив для участия в ней по одному усиленному стрелковому батальону от каждой дивизии первого эшелона. Доложив А. М. Василевскому о готовности к проведению разведки боем, я попросил его разрешить начать ее с 5 часов утра.

22 июня, когда чуть рассвело, я с группой командиров прибыл на свой наблюдательный пункт, чтобы руководить боем разведывательных отрядов. Вследствие тумана местность просматривалась плохо. Но вот из-за горизонта прорвалось солнце, и туман начал медленно рассеиваться.

22 июня... Три года назад фашистские полчища наступали нагло, самоуверенно. Сейчас они пытаются отсидеться в обороне. Наша мощь многократно возросла. Мы уже подготовились к тому, чтобы вышвырнуть их из пределов нашего отечества.

К 5 часам видимость была уже сносной.

Я оглянулся на нетерпеливо поглядывавшего на меня командующего артиллерией Н. М. Хлебникова и негромко сказал:

— Пора начинать. Подавайте команду для открытия огня!

Николай Михайлович немедленно подал условный сигнал.

Ровно в 5 часов раздались залпы нашей артиллерии. На шестнадцатой минуте канонада достигла апогея. Командующие 6-й гвардейской и 43-й армий генералы И. М. Чистяков и А. П. Белобородов доложили: батальоны пошли в атаку.

Противник молчал. Что это — то ли нам удалось застать его врасплох, то ли он готовит нам сюрприз? Однако вскоре со стороны переднего края обороны гит-

леровцев раздались первые пулеметные очереди, послышались завывания шестиствольных минометов. Огонь все нарастал, и по его интенсивности мы поняли, что главные силы врага находятся на прежнем месте.

Через час в телефонной трубке послышался радостный голос командующего 6-й гвардейской армией:

— Товарищ командующий! Бойцы Ручкина ворвались на первую позицию и громят врага в трех опорных пунктах! Взяты пленные!

Через некоторое время первые пленные были доставлены на наблюдательный пункт. Допрос их подтвердил имевшиеся у нас данные о группировке врага и начертании рубежей его обороны. Пленные заявили, что артиллерийский налет и последовавшая за ним атака передовых батальонов они приняли за начало общего наступления советских войск. Минут через десять генерал А. П. Белобородов доложил, что и на его участке батальоны 1-го стрелкового корпуса генерала Н. А. Васильева захватили первую траншею врага. К 8 часам утра гитлеровцы оправались от шока. На нашем НП беспрерывно звонили телефоны. То один, то другой командарм докладывал о контратаках врага. Разгорелся ожесточенный огневой бой за первую оборонительную позицию. То там, то здесь он переходил в яростные рукопашные схватки.

На правом фланге участка прорыва противник все же не смог устоять. И тогда командир 22-го гвардейского стрелкового корпуса неизменно спокойный Архип Иванович Ручкин, видя, что вражеская оборона серьезно нарушена, смело ввел в бой свежие батальоны из состава главных сил. Это и решило успех. Фашисты начали в беспорядке отходить. Преследуя их, батальоны Ручкина вклинились в расположение противника на глубину от четырех до семи километров. Первая полоса вражеской обороны в ряде мест оказалась прорванной.

На участках корпусов генералов А. Н. Ермакова³ и Н. А. Васильева бой к концу дня затих на первой позиции. Противоборствующие стороны словно замерли в смертельном объятии, не отпуская друг друга.

Стало темнеть. Враг не ослаблял сопротивления. Не только огнем, но и контратаками он стремился выбить наши вклинившиеся подразделения. Мы понимали, что такой активностью противник может замаскировать отвод своих основных сил на подготовленные позиции в глубине обороны. Чтобы не допустить этого, мы двинули вперед подготовленные для ночного боя подразделения, которые в течение всей ночи держали врага, что называется, за горло. А в это время его боевые порядки подвергались непрерывным ударам наших ночных бомбардировщиков «НО-2».

К утру 23 июня начальник разведки полковник А. А. Хлебков доложил мне, что на отдельных участках прорыва фашистские солдаты стали покидать занимаемые позиции. Перед нами встала дилемма: начинать запланированную артиллерийскую подготовку или, воспользовавшись растерянностью противника, немедленно ударить всеми силами, поддержав массированным огнем артиллерии и авиации?

В 4 часа утра, оценив обстановку, мы решили проводить артиллерийскую подготовку только на тех участках, где оборона гитлеровцев не нарушена, а там, где наши войска вторглись в расположение врага, не теряя времени начать атаку при поддержке огня артиллерии и ударов штурмовой авиации с воздуха.

В 6 часов утра генерал Чистяков доложил, что его 22-й и 23-й гвардейские стрелковые корпуса при поддержке массированного огня артиллерии и штурмовой авиации пошли в атаку.

Часом позднее позвонил генерал Белобородов:

— Васильев и Ляхтиков⁴ после мощной авиационной и артиллерийской подготовки начали атаку и успешно продвигаются вперед.

Судя по донесениям, исход боя на этом участке решался в районе станции Сиротино, которая являлась стержнем всей обороны. О том, что там идет оже-

³ Командир 23-го гвардейского стрелкового корпуса.

⁴ Генерал-майор А. С. Ляхтиков, командир 60-го стрелкового корпуса 43-й армии.

сточенная схватка, я понял по докладам генерала Чистякова. Иван Михайлович докладывал весьма кратко и односложно:

— Части Ермакова атакуют, товарищ командующий!

По опыту я знал: это означает, что войскам не удастся пока ворваться в Сиротино.

Наконец голос Чистякова зазвучал веселее, а его доклады становились пространнее и конкретнее. Вскоре он радостно сообщил:

— Бажов⁵ доложил, что майор Шляпин⁶ со своим полком ворвался в Сиротино. Первую брешь проделал батальон старшего лейтенанта Зайцева, прорвавшийся к станции. Лед тронулся, товарищ командующий!

Через три часа генерал Чистяков сообщил, что главный узел сопротивления противника в центре участка прорыва — Сиротино — под ударами частей 23-го гвардейского стрелкового корпуса и при поддержке правофланговой дивизии 43-й армии пал. Он доложил, что и у Ручкина дела идут успешно. 51-я дивизия, задержанная упорными контратаками в районе деревни Ровное, теперь сломила сопротивление противника и устремилась на юго-запад.

— Ну все, кажется, идет по плану, — радостно произнес Курасов.

За недостатком места я не могу рассказать здесь о всех перипетиях боевой страды на нашем фронте. В тот же день 23 июня на врага обрушили внезапный удар также и воины III и II Белорусских фронтов. На следующий день перешел в наступление I Белорусский фронт. В течение двух дней вражеская оборона рухнула. Севернее Витебска войска наших 6-й гвардейской и 43-й армий генералов И. М. Чистякова и А. П. Белобородова I Прибалтийского фронта, прорвав оборону противника, с ходу форсировали Западную Двину и во взаимодействии с 39-й армией генерала И. И. Людникова окружили в районе Витебска до пяти немецких дивизий. Через два дня эта вражеская группировка перестала существовать. Витебск, который гитлеровцы называли «щитом Прибалтики», был освобожден.

В этих боях воины проявили подлинный героизм, самоотверженность, воинскую предприимчивость. Выходившие к Западной Двине подразделения 6-й гвардейской армии генерала И. М. Чистякова, не ожидая подхода табельных переправочных средств, без промедления приступили к форсированию водной преграды. Первым с ходу на нашем фронте начал переправу учебный батальон 67-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Бажова. Командир батальона капитан И. П. Украдыженко от местных жителей узнал о наиболее удобных для форсирования местах, с их помощью быстро были подготовлены подручные средства для переправы — лодки, плоты и все, что держалось на воде. Первой на берег высадилась группа смельчаков-коммунистов — Тихонов, Рагулин, Романюк, Стеблич и другие во главе со старшими лейтенантами Вербицким, Котляром и лейтенантом Александровым. Пулеметчики Герасименко, Труханов, Мохов и Хмельницкий искусно доставили станковые пулеметы на захваченный плацдарм и совместно с подошедшими к переправе артиллеристами прикрыли огнем переправу основных сил батальона. Через час весь учебный батальон находился уже на противоположном берегу. Коммунисты и комсомольцы были героями переправы. Вот красноречивые цифры: из 16 человек, представленных в этом батальоне к присвоению звания Героя Советского Союза, 10 являлись коммунистами, а остальные комсомольцами. Звания Героя Советского Союза удостоены командиры орудийных расчетов старшие сержанты А. А. Манин и И. Г. Ермак.

Максимум самоотверженности и боевого мастерства при форсировании Западной Двины проявили и воины 43-й армии генерала А. П. Белобородова, особенно отличились передовые подразделения 235-й и 179-й стрелковых дивизий. За мужество, проявленное при форсировании и удержании плацдармов, высокого звания Героя Советского Союза были удостоены капитан А. Ф. Чинков, лейтенант В. П. Симон, старшина Н. Е. Соловьев, старшие сержанты Ф. И. Каменев, В. И. Аверейко, сержант Н. И. Романюк, рядовой И. С. Килюшек.

⁵ Командир 67-й гвардейской стрелковой дивизии.

⁶ Командир 196-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии.

Стремительно развивалось наступление и на III Белорусском фронте. Войска 5-й армии генерала Н. И. Крылова смяли оборону врага и освободили Богущевск. Введенные в прорыв конно-механизированная группа генерала Н. С. Осликовского и 5-я гвардейская танковая армия маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова вышли на Минское шоссе западнее Орши. 27 июня согласованными ударами войск этот важный узел дорог на пути к Минску был взят. Развивая успех, армии фронта преодолели заболоченную пойму реки и овладели городом Борисов.

Войска I Белорусского фронта 29 июня завершили окружение и разгром более шести дивизий 9-й немецкой армии в районе Бобруйска, одновременно глубоко охватив 4-ю немецкую танковую армию с юга. Днем раньше II Белорусский фронт освободил крупный областной центр Белоруссии город Могилев.

Разгромив фланговые группировки в районах Витебска и Бобруйска, советские войска продвинулись вперед на сто — сто пятьдесят километров. «Белорусский балкон» превратился в гигантский мешок, в котором оказались главные силы группы армий «Центр». Войска I Прибалтийского фронта надежно обеспечили основную группировку наступающих советских войск своим ударом на северо-запад, отсекая в Прибалтике группу армий «Север».

Гитлер предпринимал отчаянные усилия, чтобы остановить наше наступление. Командовавшего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Буша он заменил генерал-фельдмаршалом Моделем, которого в вермахте называли львом обороны. Делались попытки усилить фашистские войска в Белоруссии за счет частей, действовавших на Украине и в Западной Европе. Но ничто уже не могло предотвратить катастрофу. Решительно преследуя противника, охватывая фланги его группировки, танкисты III Белорусского фронта утром 3 июля ворвались в Минск с северо-востока, а подвижные части I Белорусского фронта — с юга. К исходу дня столица Белорусской ССР была полностью очищена от оккупантов.

Жители городов и сел Белоруссии с чувством огромной благодарности и радости приветствовали своих освободителей, помогали им всем чем могли. Неоценимыми помощниками они оказывались, когда надо было провести воинов скрытыми путями в тыл или на фланги вражеских войск. Воины 159-й танковой бригады 1-го танкового корпуса с признательностью рассказывали о том, как колхозница деревни Попки Мария Андреевна Кошук, которой было уже в то время более семидесяти лет, с радостью вызвалась вывести танкистов в тыл гитлеровцам. Следуя за славной патриоткой, они быстро преодолели лесисто-болотистый участок местности и перерезали дорогу отходившим вражеским частям. За активную помощь воинам Действующей армии Мария Андреевна была награждена медалью «За боевые заслуги».

После освобождения Минска восточнее города в огромном котле оказалось свыше 100 тысяч фашистских солдат и офицеров. 12 июля войска трех Белорусских фронтов окончательно расчленили и разгромили эту группировку. В ее разгроме большую роль сыграли авиация и партизаны. А вскоре москвичи смотрели понурое шествие шестидесятитысячной колонны гитлеровцев, в том числе 19 генералов, взятых в плен на белорусской земле. Эти фашисты в свое время мечтали промаршировать по улицам Москвы победителями. Теперь они шли под конвоем по улицам нашей столицы побежденными.

Наступление советских войск продолжалось.

Иван Христофорович Баграмян. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Родился в 1897 году. Ныне генеральный инспектор Министерства обороны, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета Союза ССР.

(Продолжение следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

П. КОЗЛОВ



«ИЛЫ» ЛЕТЯТ НА ФРОНТ

Для ведения войны *по-настоящему* необходим крепкий организованный тыл. Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно истреблены противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены...

В. И. Ленин.

I

Тридцатого июля 1972 года в старинном русском городе Воронеже проходил необыкновенный праздник, ознаменованный совпадением трех выдающихся событий.

Главное из них — открытие только **что** рожденного Воронежского моря. Это торжество совпало с днем Военно-Морского Флота. Третье событие уходило в глубь истории города, но о нем не забывают: именно здесь, на реке Воронеж, были построены первые военные морские суда, положившие начало морскому могуществу России.

Давно Воронеж мечтал о большой воде, и вот она пришла, плещется у его новых набережных и на десятки километров разлилась вниз и вверх по пойме реки. На противоположном, левом низменном берегу дамбы и набережные построены заново. Там вода подходит почти к крайним строениям нового большого района. За высокими красивыми домами этого района, его зелеными аллеями я с трудом угадываю место, где стоял мой родной завод, строительство которого началось здесь лет сорок назад. Когда в 1934 году я приехал сюда молодым специалистом, завод представлял собой оазис среди огромного песчаного пустыря левобережья.

Возвращаясь мыслью к тем первым дням, к прошлому города, я все более отчетливо начинаю ощущать историческую связь главных событий.

Воронеж — это родина кораблей русского морского флота, колыбель военно-морского могущества родины.

Но Воронеж — это родина и прославленной штурмовой авиации, гордости советского воздушного флота, и в этом смысле, на мой взгляд, он внес свой весомый вклад в военно-воздушное могущество родины.

Много различных самолетов участвовало в Великой Отечественной войне, но только о некоторых из них можно сказать, что «они делали погоду на фронтах». В числе их достойное место занимает самолет-штурмовик «ИЛ-2», созданный Опытным конструкторским бюро Сергея Владимировича Ильюшина и в большом количестве выпускавшийся заводом, контуры которого я сейчас, в день празднования рождения нового моря, пытался рассмотреть на его левом берегу.

Большую, необычайно важную работу проделал коллектив этого завода в период Отечественной войны, сумев в исключительно трудных условиях обеспечить Красную Армию грозным оружием — штурмовиками «ИЛ-2». Впоследствии эту машину назовут легендарной, а создателя ее, главного конструктора Сергея Владимировича Ильюшина — народным героем.

Вся деятельность, все интересы, вся жизнь нашего завода в годы Отечественной войны была так тесно связана с «Илом», с Ильюшиным, с ильюшинцами, что рассказывать обо всем этом нужно только неотрывно.

Так что же это за самолет «ИЛ-2», что его так прославило?

Мы посчитали, что с историей создания нашего легендарного героя — «летающего танка» — штурмовика «ИЛ-2», по-видимому, лучше всего начать знакомиться по рассказам его главного конструктора, ныне академика, трижды Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича Ильюшина. Интересны они не только своей инженерной стороной, но и тем, что хорошо передают многие особенности своего времени.

В 1944 году Сергей Владимирович, вспоминая, что заботило в предвоенные дни конструкторов, работающих в авиационной промышленности, писал:

«Нам было ясно, что военные воздушные силы в основном будут использоваться в совместных операциях с наземными армиями и военно-морским флотом. Поэтому наша конструкторская мысль нацеливалась на то, чтобы авиационная техника могла наиболее эффективно помочь наземным войскам Красной Армии в ее наземных операциях.

Исходя из вышеизложенного, передо мною встала задача: сконструировать самолет, который бы наиболее полно и эффективно мог быть использован Красной Армией в ее операциях. Из этой ясной и простой установки вытекали условия, в которых должен работать такой самолет, и цели, которые он должен поражать. Такими целями должны быть живая сила и техника врага: танки, автомашины, артиллерия всех калибров, пулеметные гнезда, инженерные сооружения и т. д.

Для этого необходимо, чтобы самолет был вооружен разнообразным вооружением: пулеметами, пушками, бомбами (различных калибров), а также орудиями для ракетных снарядов.

Для того, чтобы разыскать на земле и эффективно поразить такие малые по размерам цели, как живая сила, танки, автомашины, отдельные орудийные и пулеметные расчеты, да к тому же еще замаскированные, необходимо, чтобы самолет летал очень низко над землей — на высоте от 10 до 500 метров... Но при низком полете над землей самолет будет подвергаться сильному обстрелу со стороны наземных войск врага, что вынудит его отказаться от атаки. Отсюда вытекало второе основное требование к самолету: сделать его бронированным. Совершенно очевидно, что забронировать самолет от всех видов оружия, могущего стрелять по самолету с земли, было нельзя, ибо даже танки, имеющие очень толстую броню, пробиваются соответствующими калибрами наземной артиллерии.

Возникла серьезная задача: с одной стороны, выбрать такой толщины броню, которая по своему весу не лишила бы самолет хороших маневренных и летных свойств, и с другой — нужно было, чтобы броня могла защищать самолет от массового огня мелкокалиберного оружия противника, т. е. сделать самолет неуязвимым от огня винтовок, пулеметов и частично от мелкокалиберных пушек. Так в свое время возник самолет-штурмовик — «Ильюшин-2»...».

Один из ветеранов ОКБ Ильюшина, активный участник создания штурмовика «ИЛ-2» Анатолий Яковлевич Левин рассказывал мне:

— Много сил затратили Сергей Владимирович и его помощники на отыскание оптимального решения поставленной задачи о самолете-штурмовике. Для того чтобы аргументированно выступить перед правительством с предложением о создании невиданного, нового самолета, необходимо проделать большой объем проектно-изыскательских работ. На это требуются время и средства. Наш в то время небольшой коллектив имел плановые задания, а на разработку этой новой машины не было ни распоряжений, ни средств. Но Сергей Владимирович сумел так увлечь нас идеей бронированного штурмовика, вызвал такой энтузиазм у всего нашего коллектива, что для многих из нас перестали существовать свободные вечера и выходные дни. Нас как специалистов увлекал поиск правильных решений, примиряющих десятки противоречивых требований этой дерзко-смелой идеи. Мы все были молоды, влюблены в свое дело и отдавались ему целиком.

Все эти обстоятельства, умело направляемые Ильюшиным, и позволили в исключительно короткий срок сверхпланово разработать аванпроект штурмовика «ИЛ-два». Это было сделано, — подчеркивает Анатолий Яковлевич, — на правах инициативного предложения, до выхода решений и приказов.

Да, появился проект самолета небывалого, нового и по степени соответствия назначению, и по смелости принятых конструкторами решений. Но это пока был только проект, у которого все еще было впереди. Конструктору еще предстояло доказать свою правоту, и прежде всего — получить согласие руководства на создание такого самолета, получить разрешение заняться самоотверженным творческим трудом, освободиться от административных обязанностей одного из руководителей авиационной промышленности страны.

И Сергей Владимирович Ильюшин, занимавший в те годы высокий пост начальника Главного управления авиационной промышленности, обращается в правительство со следующим письмом:

«При современной глубине обороны и организованности войск, огромной мощности их огня (который будет направлен на штурмовую авиацию) — штурмовая авиация будет нести очень крупные потери.

Наши типы штурмовиков, как строящиеся в серии... так и опытные... имеют большую уязвимость, так как ни одна жизненная часть этих самолетов: экипаж, мотор, маслосистема, бензосистема и бомбы — не защищена. Это может в сильной степени понизить наступательные способности нашей штурмовой авиации.

Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части бронированы.

Сознавая потребность в таком самолете, мною в течение нескольких месяцев велась работа над разрешением этой трудной проблемы, в результате которой явился проект бронированного самолета-штурмовика, основные летно-боевые данные которого изложены в нижеследующей таблице.

Для осуществления этого выдающегося самолета, который неизмеримо повысит наступательные способности нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные удары врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны, прошу освободить меня от должности начальника Главка, поручив мне выпустить самолет на государственные испытания в ноябре 1938 года.

Задача создания бронированного штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех беру за это дело.

Сер. Ильюшин. 27.I.1938 г.».

Просьбу Ильюшина удовлетворили. Его освободили от высокого административного поста и поручили разработку бронированного штурмовика, создание которого представляло собой невиданную в практике мирового самолетостроения, сложную техническую задачу, точнее — проблему. Все в ней было сложным и невиданным начиная со срока, в течение которого Ильюшин взялся создать новый самолет. Обратите, пожалуйста, внимание — не разработать, не только сконструировать, но и построить опытный образец, отработать и испытать его на заводе и предъявить на государственные испытания.

Обратимся снова к рассказу С. В. Ильюшина:

«Создание самолета-штурмовика явилось делом довольно сложным. Нужно было умело совместить такие компоненты, как вес, броня, оружие и скорость. Как-то, кого не прельстит поставить защитный слой стали потолще да пушку мощнее? Но такой самолет не полетит. А штурмовик требовалось сделать эффективным, боевым, чтобы он мог и поражать врага, и иметь надежную защиту.

К решению этой проблемы наше конструкторское бюро подошло с новой концепцией: заставить броню работать в каркасе самолета, сделать ее рабочим телом. До сих пор конструкторы надевали броню на каркас с целью его защиты. А тут был спроектирован бронекорпус, заключающий в себе все жизненно важные

части боевой машины — мотор, кабину экипажа, системы двигателя и т. п. Корпусу была придана обтекаемая форма.

Штурмовик «ИЛ-2» в буквальном смысле слова предстояло ковать из стали.

Но это просто сказать, а трудно сделать. Сложной задачей оказался выбор толщины стального листа, чтобы зря не перетяжелить машину. Много, конечно, зависело от формы и места расположения брони. На полигоне сутками шла стрельба. Броневой корпус осыпали градом пуль и снарядов. Это исследование помогло получить большой выигрыш в весе самолета.

Сергей Владимирович Ильюшин и конструкторы его ОКБ сдержали свое слово. Штурмовик «ИЛ-2» в 1939 году успешно прошел государственные летные испытания. Результаты этих испытаний подтвердили все заявленные конструктором характеристики самолета. Казалось бы, все ясно, задача решена — создан и всесторонне испытан опытный образец очень нужного Красной Армии самолета, необходимо быстрее запускать его в серийное производство. Но...

«В феврале 1940 года, — вспоминает С. В. Ильюшин, — «ИЛ-2» был готов. Можно было запускать его в серийное производство. Но тут-то и случилась заминка.

— Какая броня? — спрашивали военные.

— Шесть — двенадцать миллиметров.

— Слабая защита. Не годится.

Но они ошибались. Под прямым углом пули и снаряды действительно пробивали такой лист. Но ведь корпус был круглый. К тому же скорость штурмовика 120 м/сек. Все это существенно повышало эффективность брони. За полгода до войны, в декабре 1940 года, началось массовое производство «ИЛ-2»...

Обращают на себя внимание слова Ильюшина «массовое производство». Не серийное, даже не крупносерийное, а массовое производство. Как мы увидим дальше, это сказано далеко не случайно.

Глубокий смысл этих слов раскрывает сам С. В. Ильюшин.

«Самая совершенная, но выпускаемая в малых количествах военная техника не может сыграть значительной роли в такой войне, как нынешняя. Поэтому при конструировании «ИЛа» мною были приняты все меры к тому, чтобы самолет по своей конструкции был прост и приспособлен для массового серийного производства, а также прост и доступен для массовой эксплуатации в боевых условиях.

Трудность заключалась не только в том, чтобы организовать массовый выпуск этих самолетов, но и в том, чтобы наладить новый вид производства сложнштампованной авиационной брони, составляющей основу броневых корпусов «ИЛ-2».

Несмотря на высказывавшиеся сомнения в возможности организовать и освоить производство таких бронекорпусов, директор завода им. Орджоникидзе тов. Засульский и его ближайшие помощники тов. Свет и тов. Скляр с честью справились с технической стороной дела и быстро организовали массовый выпуск броневых корпусов самолета «ИЛ-2».

Освоение и внедрение в серию самолета «ИЛ-2» было в свое время поручено одному из лучших предприятий Наркомата авиационной промышленности — заводу им. Ворошилова» («Правда», 18 августа 1944 года).

Завод № 18 имени К. Е. Ворошилова в дни описываемых событий являлся крупным специализированным предприятием, детищем первых пятилеток. Но следует сказать, что данную Ильюшиным лестную оценку завод завоевал не сразу и далась она ему не легко.

За годы строительства и существования завода его многие работники прошли большую производственную и жизненную школу. Период образования заводских служб и подразделений, становления их совпал с выполнением ответственных заданий по освоению и выпуску самолетов нескольких типов. При этом далеко не всегда все шло гладко, не все исполнители и руководители сразу же справлялись с порученными им работами. Были и срывы и замены людей.

Известно, что в те годы партия с особой настойчивостью проводила курс на тщательный подбор кадров. Лозунг «кадры решают все» являлся не только призывом, но и практическим руководством, одной из главных задач того времени.

Для усиления роли партии, ее влияния на весь процесс организации и становления работоспособных производственных коллективов на крупных предприятиях во главе партийных организаций встали парторги ЦК ВКП(б).

Они имели большие полномочия, их действиями руководил Центральный Комитет партии. Они лично докладывали о своей работе и о делах на своем предприятии секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову.

На наш завод парторгом ЦК назначили Николая Ивановича Мосалова. Тридцатилетний парторг ЦК ВКП(б) прибыл в Воронеж в самом конце 1937 года, сразу же после защиты им дипломного проекта в Московском авиационном институте.

Партийная организация и руководство завода, во главе которого в 1938 году стал Матвей Борисович Шенкман, сумели сплотить вокруг себя людей, искренне желавших быть полезными заводу, и без колебаний отпустили всех, считавших себя временно мобилизованными и мечтавших поскорее покинуть тогда еще не очень благоустроенный заводской поселок.

На руководящие посты смело выдвигались молодые, способные люди, в большинстве случаев оправдавшие доверие и надежды. В то время утвердилась неизбежная традиция: руководящие кадры завода выращивать у себя. Среди многих мер, подкреплявших такую систему, ввели, в частности, последовательное освоение некоторыми, особенно перспективными, специалистами ряда ключевых руководящих постов по восходящей линии. Начальник агрегатного цеха, хорошо его освоив, мог стать начальником цеха главной сборки. Показав себя в течение достаточно длительного времени способным на большее, мог стать заместителем начальника производства, его начальником и т. д.

Успешному становлению завода способствовало большое внимание, которое оказывало ему правительство, Наркомат авиационной промышленности и местные власти.

Не следует забывать и об особенностях международной обстановки того времени. В Европе шла война. Угроза военного нападения на нашу страну становилась с каждым днем все реальнее. Естественно, что нашим правительством принимались меры по укреплению обороноспособности страны.

В «Истории КПСС» записано:

«Партия особо важное значение придавала развитию авиационной промышленности. Возросшая роль авиации, ее рост в армиях капиталистических стран обусловили необходимость резко увеличить мощности советского авиастроения. В сентябре 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «О реконструкции существующих и строительстве новых самолетных заводов»... В результате усилий партии советская авиапромышленность была коренным образом перестроена и подготовлена к запуску в серийное производство новых боевых самолетов».

Реализацию этого решения ЦК мы повседневно видели и ощущали на своем заводе. Расширялись и переоборудовались производственные корпуса завода. Широко развернулось жилищное строительство в заводском поселке — возникло несколько новых улиц, застроенных каменными благоустроенными домами, вырос заводской Дом культуры и стадион, ряд детских учреждений. Благоустроивалась территория поселка, появились тополиные аллеи, асфальтировались дороги, мы уже не увязали в песках, а ходили по нормальным тротуарам. Из города на левый берег — так назывался район завода — проложили хорошую трамвайную линию, построили мост через реку.

В то время для закрепления кадров на авиационных предприятиях правительство ввело единовременную премию за выслугу лет, то есть за работу без перерыва на одном предприятии. В конце каждого года кадровикам в торжественной обстановке преподносили конверты с поздравительными письмами и со-

лидными суммами денег. До сих пор отчетливо помню, с какой гордостью и радостью я подходил к столу президиума торжественного собрания в клубе и получал свой наградной конверт.

И люди не оставались в долгу, работали самоотверженно, здорово работали на всех участках!

К концу 1940 года руководство главными службами завода в основном стабилизировалось. Коллектив, проверивший свои возможности на ответственных делах (он уже поставил Красной Армии значительное количество самолетов-бомбардировщиков «ИЛ-4» и построил солидную партию двухмоторных самолетов «ЕР-2», конструкции Ермолаева), поверил в себя, обрел свой почерк в работе.

Все эти обстоятельства создали на заводе такую, я бы сказал, творческую обстановку, в которой дела действительно спорились.

В этой атмосфере приподнятости, мобилизованности и происходило освоение нашим коллективом строительства нового самолета-штурмовика «ИЛ-2».

Крупный самолетостроительный завод — это целый комплекс цехов самого различного назначения и характера. Именно комплекс, и достаточно сложный.

Железнодорожные составы доставляют с заводов-поставщиков многие тонны черных и цветных металлов, древесину и строительные материалы, жидкости и газы. Все это немедленно вливается в поток, питающий технологический процесс создания самолета. Включаются десятки способов получения самолетных деталей из этого универсального, чуть ли не по всей таблице Менделеева набора материалов; соединений деталей в узлы и агрегаты, уже носящие волнующие авиационные названия: крыло, оперение, шасси...

Наконец встреча с посланцами других, смежных заводов — мотором, оборудованием, вооружением. Нерасторжимые узлы, заключаемые в цехе главной сборки, краткие тренировки — и вот оно, обыкновенное, но всякий раз воспринимаемое как чудо — полет еще одного нового самолета, торжество разума, умения, таланта.

Многогранен и сложен процесс постройки самолетов. И чтобы исключить из него любые случайности, он, этот процесс, непременно должен быть хорошо организованным и четко управляемым.

Вот почему рассказ о жизни и деятельности заводского коллектива в период войны мне хочется начать с группы специалистов — руководителей подразделений, управлявших самим процессом производства.

Под руководством главного конструктора С. В. Ильюшина на заводе постоянно работала группа ведущих конструкторов ОКБ. В непосредственном контакте с ним находился серийный конструкторский отдел (СКО) во главе с Николаем Петровичем Назаренко.

Основными структурными ячейками СКО были бригады, занимавшиеся технической документацией и связанными с ней вопросами конкретных агрегатов самолета.

Бригаду винто-моторных установок возглавлял Анатолий Николаевич Соболев, спокойный, серьезный, постоянно озабоченный человек, обладавший редкой способностью логического убеждения. Долгое время он был секретарем партийной организации СКО.

Под стать своему серьезному начальнику в бригаде подобались ведущие конструкторы — Анатолий Гармаш, Виктор Вишневецкий, Лидия Кривченко, Дмитрий Шабас и другие. От ОКБ Ильюшина этой бригаде помогал Яков Александрович Кутепов.

Французским словом «шасси» (тележка) называют взлетно-посадочные устройства, с помощью которых осуществляется взлет и посадка самолета. Начальником бригады шасси в СКО был Борис Витальевич Павловский. Его бригада также заведовала системой управления самолетом. Из ведущих конструкторов этой бригады в моей памяти остался Виктор Плаксин, с которым в дальнейшем мне

чаще всего приходилось иметь дело, осуществляя наши технические связи с воинскими частями. От ОКБ вопросами шасси-управления в период внедрения «ИЛ-2» в серию занимался Анатолий Яковлевич Левин. Бригадой крыла заведовал Лев Борисович Каганов и его помощник Анатолий Поздняков. Им помогал ведущий конструктор ОКБ Абрам Маркович Македонский. Фюзеляжем, в который входил знаменитый бронекорпус, занималась бригада во главе с Дмитрием Тихоновичем Мачуриным, а ведущими конструкторами бригады в то время работали: Николай Скрипченко, Вера Альянова, Михаил Кляев, Галина Александрова.

Самой беспокойной бригадой — оборудования — руководил Василий Иванович Кривченко. Из его помощников в моей памяти остались художник Саша Агеев и главный специалист по электросхемам Аня Должикова. Вооружением самолета занималась бригада Григория Кирилловича Васильева с помощниками — Сашей Мацкевичем, Костей Киселевым, Юрой Насоновым и другими.

Два ведущих конструктора ОКБ входили в бригаду Васильева — один по бомбардировочному, другой по стрелковому вооружению: Виктор Александрович Федоров и Дмитрий Иванович Коклин.

Вспомним, сколько внимания вооружению самолета уделял С. В. Ильюшин в своих высказываниях о тактико-технических основах самолета-штурмовика. Важность и значимость своей службы постоянно подчеркивали и работники бригады Васильева, и другие представители этой службы на заводе.

Так, полшутя, но с большой настойчивостью военный представитель по вооружению Евгений Архипович Сиваков часто повторял следующую формулу.

— Что есть самолет? — спрашивал он и тут же четко, по-военному отвечал: — Самолет есть машина, предназначенная для доставки комплекта оружия к месту боя и обеспечения применения этого оружия по назначению.

Остается назвать еще две бригады: прочности и веса самолета — ею руководил Андрей Иванович Победоносцев — и технических описаний, которую возглавлял я.

Конструкторы ОКБ и СКО работали в тесном контакте с заводской технологической службой, руководимой главным технологом Виталием Ивановичем Деминым, подвижным, остроумным человеком, который внешне легко нес свою тяжелую нагрузку.

Под управлением Виталия Ивановича находились и работники отдела главного технолога во главе с Дмитрием Владимировичем Доброзраковым, и технологи, работавшие в цехах, и конструкторский отдел, где начальником был Владимир Ильич Марчуков, проектировавший приспособления и оснастку для изготовления самолета, и группа цехов, изготовлявших эту оснастку.

Ко времени запуска в производство штурмовика «ИЛ-2», в конце 1940 года главным инженером нашего завода назначили Николая Дмитриевича Вострова. До этого Николай Дмитриевич в течение нескольких лет был начальником производства, хорошо знал завод, его людей и технику. Выдвижение Н. Д. Вострова на пост главного инженера — один из примеров заводской традиции выращивать руководителей у себя на предприятии.

Ко времени начала строительства штурмовиков «ИЛ-2» дирижерскую папочку начальника производства на нашем заводе вручили Александру Александровичу Белянскому.

Кто он, почему именно он после ухода Н. Д. Вострова на пост главного инженера возглавил столь ответственное дело — управление огромным производством?

Произошло это потому, что А. А. Белянский в течение нескольких лет растил, оснащал, отлаживал это самое производство в должности главного механика завода. Воспитанник крупного предприятия в Днепропетровске, он с юношеских лет познал производственную культуру и размах солидного производства. Став инженером, Белянский прошел большую школу в проектно-институте, участвуя в реконструкции оружейных заводов страны. Собирался ехать в Испанию (как

коммунист считал своим долгом встать в ряды воинов-антифашистов), но его направили на укрепление авиационной промышленности.

В цехах — сотни, тысячи различных станков, механизмов, установок, которые должен постоянно поддерживать в рабочем состоянии главный механик со своей обширной службой. После ухода Белянского на этот пост назначили Леонида Николаевича Ефремова.

Все упомянутые станки и станочки, отопление, освещение, связь и другие коммуникации в цехах и отделах потребляют огромное количество энергии, в частности электроэнергии. Это комплексное хозяйство находилось в ведении главного энергетика завода Алексея Ивановича Шашенкова.

Строительство самолетов на серийном заводе — непрерывное движение. И главный технолог со своими службами, подобно шубертовскому мельнику, озачен непрерывным ускорением этого движения.

Проследим за рождением нового самолета с момента, когда открываются ворота фюзеляжного цеха и в него на специальной тележке вкатывается очередной броневой корпус — носовая часть фюзеляжа.

Митрофан Алексеевич Ельшин, начальник этого цеха, и его коллектив уже подготовились к встрече новичка. Они изготовили вторую половину фюзеляжа, его хвостовую часть и обеспечили соединение этих половинок в цельный, стройный фюзеляж.

В соседнем цехе, где командует Николай Ульянович Статенко, уже готов центроплан — центральная часть крыла.

Центроплан подан в цех Ельшина и в специальном стапеле намертво соединился с фюзеляжем. В контурах образовавшегося агрегата уже начинают угадываться черты будущего самолета. Но он еще очень беспомощен, этот агрегат, — у него пока нет самостоятельности в движениях. Но как только центроплан навечно соединится с фюзеляжем, к нему бесшумно подкатываются две тележки шасси. Изготовленные в цехе Андрея Матвеевича Виленского, шасси уже снаряжены колесами, амортизаторы заряжены специальной гидросмесью, все механизмы отлажены.

Проходят считанные часы, шасси укрепляются на своих местах по бокам центроплана, хвостовое колесо устанавливается в конце фюзеляжа — и будущий самолет уже стоит на своих ногах. Теперь он независим и самостоятельно вкатывается в цех главной сборки — им в то время руководил Николай Григорьевич Яночкин.

Здесь наш агрегат ожидают многие интересные встречи: с крыльями, изготовленными цехом Михаила Васильевича Попова, с оперением, выпускаемым цехом Ивана Павловича Белослудцева.

Но это все еще не самолет. Так его начнут называть только после того, как в бронекорпусе планера займет свое место мотор со всеми системами и воздушным винтом. Об этом заботятся монтажники участка винто-моторной группы во главе с Евгением Герасимовичем Шелатонем.

Одновременно с ними трудятся над установкой оборудования в кабине летчика монтажники участка Константина Васильевича Ананьина. Устанавливают пушки и пулеметы, отлаживают механизмы подвески и сброса бомб оружейники под командованием Дмитрия Васильевича Шатилова.

Двигаясь от участка к участку цеха главной сборки, самолет наконец получает полный комплект снаряжения и вступает в зону контроля и генеральной проверки функционирования всех его систем.

Контрольные мастера придирчиво выверяют работу каждой системы и только после устранения замеченных недостатков предъявляют их военным представителям по специальности. Военные приемщики, в свою очередь, контролируют работу каждого устройства на самолете и, только убедившись в их безотказности, принимают продукцию.

Наконец наступает момент, когда новенький самолет покидает цех главной сборки. По пути на летно-испытательную станцию (ЛИС) он проходит через ма-

лярный корпус. И вот, сверкая свежей краской — сверху зеленой, снизу голубой, — с большими красными, с белой окантовкой звездами на крыльях и хвосте, он появляется на поле аэродрома.

Во главе коллектива ЛИСа в то время стоял опытный летчик-испытатель Константин Константинович Рыков, а его заместителем — Дмитрий Николаевич Сиренко, воспитанник Харьковского авиационного института. Беспорочное детство, трудовая колония, нелегкая студенческая жизнь в 30-е годы сформировали в Дмитрие Николаевиче и волевые качества и недюжинные организаторские способности.

Мы бегло познакомились с пятью агрегатно-сборочными цехами завода. Само название указывает их назначение — сборка агрегатов самолета. Сборка, но не изготовление деталей и узлов, из которых состоят эти агрегаты.

Детали, а их многие тысячи, — это забота другой группы цехов — заготовительных. Подробно об этом я пишу в книге, готовящейся к печати в издательстве ДОСААФ.

Итак, 1941 год застал коллектив завода № 18 имени Ворошилова за упорной круглосуточной работой по развертыванию строительства нового самолета-штурмовика «ИЛ-2».

Особенностью нового задания явилось, пожалуй, то, что на освоение новой, необычной машины отвели чрезвычайно мало времени.

Руководство и партийный комитет завода мобилизовали специалистов всех служб, которые разработали подробный план, могущий обеспечить выполнение правительственного задания. Его обсудили и утвердили на общезаводском партийно-хозяйственном активе.

В подразделениях разгорелось соревнование за честь сделать личный трудовой подарок XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), которая проходила в феврале 1941 года.

Спустя три месяца после получения чертежей штурмовика из ОКБ Ильюшина, в марте 1941 года, начальник лётно-испытательной станции К. К. Рыков поднял в воздух с аэродрома нашего завода первый серийный штурмовик «ИЛ-2»!

Это было значительное событие для заводского коллектива, для ОКБ С. В. Ильюшина, всех смежных предприятий, началом выполнения грандиозной задачи — выпуска большого количества доброкачественных штурмовиков, вооружения ими Красной Армии.

Этот успех был тем более значительным, что его достигли в условиях освоения новой не только для нашего заводского коллектива машины, имевшей ряд существенных производственных особенностей.

Мы уже приводили слова Сергея Владимировича Ильюшина о том, что главной особенностью самолета «ИЛ-2» являлся его бронекорпус, защищавший все жизненно важные части машины. В бронекорпусе смонтированы мотор, кабина летчика со всем находившимся в ней оборудованием, бензиновые и масляные баки, система охлаждения мотора с радиаторами и другие устройства.

Необходимо отметить, что идею бронирования самолета, защиты летчика не удалось бы полностью решить, если бы в фонаре, закрывающем кабину, устанавливались простые стекла или плексиглас.

Специализированные организации и заводы разработали и освоили производство специального бронестекла, которое не пробивали пули и мелкокалиберные снаряды. От попадания пули в стекло происходило растрескивание наружного слоя только небольшого сектора бронестекла, а остальное поле оставалось неповрежденным и обеспечивало защиту летчика и необходимый обзор из кабины.

Как ни быстро осваивал изготовление бронекорпусов специализированный завод, но при параллельном и одновременном с нами развертывании производства он поначалу несколько отставал от наших потребностей.

— Для отработки полного цикла производства штурмовика, — вспоминает главный технолог В. И. Демин, — за неимением настоящего бронекорпуса мы

решили сделать его из толстого котельного железа. И действительно сделали. Построили деревянную болванку в натуральную величину носовой части фюзеляжа и, примеряясь по ней, выколотили железные панели, из которых изготовили «бронекорпус». Это дало возможность не задержать отработку монтажей мотора и его систем, а также выполнить в намеченные сроки сборку и отработку первого серийного штурмовика «ИЛ-два».

— Но, — продолжает эти воспоминания наш парторг Н. И. Мосалов, — пару железных «бронекорпусов» мы сделали, а настоящих корпусов все не поступало. Докладываю об этом Маленкову по телефону. В ответ получаю команду: Шенкману и мне срочно прибыть в Москву. Приехали и были сразу же приняты Маленковым. На приеме присутствовал Хрущев, в то время член ЦК ВКП(б) и первый секретарь КП(б) Украины. Доложили о состоянии дел на заводе, в частности по бронекорпусам, и получили указание немедленно ехать на завод бронекорпусов, где нас ждут. Поехали втроем: Хрущев, Шенкман и я. Директор завода Засульский собрал большое производственно-техническое совещание, на котором Хрущев сделал заявление о том, что Центральный Комитет недоволен ходом развертывания производства бронекорпусов, что требуется резко изменить отношение к такому важному делу и что если завод Засульского не способен выполнить это задание, то он, Хрущев, предложит передать его на украинские заводы.

Совещание было довольно бурным. Специалисты завода говорили о своих нуждах и недостатках и предлагали конкретные меры по ускорению производства бронекорпусов. В общем, — говорит Мосалов, — поездка достигла цели: Завод Засульского вскоре покончил с долгом и всю войну работал образцово. Бронекорпуса поступали в наше производство пустыми. Для крепления различных узлов и кронштейнов двигателя и оборудования в стенках бронекорпуса на заводе-изготовителе заранее делали крепежные отверстия под заклепки и болты. Но из-за изменения отдельных элементов оборудования и введения дополнительных установок появилась необходимость иметь новые крепежные отверстия в бронекорпусе. На первый взгляд простое дело: бери дрель и сверли где требуется. Ан нет — перед нами броня, которую не берет ни одно сверло! С одной стороны, наглядная демонстрация мощи броневой защиты штурмовика. Но для производственников такая мощь обернулась крепким орешком. Что же делать? Инструментальщики развернули поиски сверл, их конфигурации, углов заточки, режимов резания и других технических приемов атаки на броню. Не стояли в стороне и цеховые рабочие и мастера. О рабочей русской смекалке написано много и в разное время — и на этот раз она помогла решить задачу. Один из рабочих применил интересное техническое новшество — сверло с двойным углом заточки. Специалисты сказали, что сверлить бронекорпус следует при малых оборотах сверла, но с большим усилием нажатия на сверло. Монтажники тут же придумали и изготовили специальное приспособление, обеспечивающее выполнение поставленных условий. Попробовали, вроде начало получаться... Кто-то крикнул «ура», и как раз в это время в цехе появился директор. «Ура кричите — значит, одолели броню?» — «Еще не совсем, но одолеем обязательно!» — «Ну а чтобы вам веселее было с ней воевать, договоримся так: просверлил одно отверстие — получи рубль наличными тут же. Еще отверстие — еще рубль. Вот эта девушка будет около вас стоять и все учитывать, а в конце смены в кассе получите свой заработок. Договорились?» Директор ушел, работа закипела. Через несколько дней имевшийся задел бронекорпусов доработали. А тем временем конструкторы разработали уточненную разбивку крепежных отверстий, и проблема отпала.

Этот случай я привел из массы подобных, возникавших ежедневно на различных участках производства. Но большое количество технических вопросов, являющихся для процесса освоения строительства новой машины в какой-то мере нормой, не помешало нам в марте 1941 года выпустить наш первый штурмовик. И если воспоминание об этом событии не звучит в моем описании как большая радость, то объясняется это тем, что в марте сорок первого произошли два приключившихся события, затмивших радость успеха.

18 марта на одном из самолетов «ИЛ-2», находившихся на аэродроме, произошел пожар.

Для того чтобы современному читателю стало яснее, почему такое происшествие, как пожар на самолете, я назвал причиной моральной травмы большого коллектива, очевидно, имеет смысл вспомнить некоторые особенности обстановки того времени.

Одна из них в предвоенные годы — ожидание войны и подготовка к ней. XVIII съезд ВКП(б), проходивший в марте 1939 года, особо отметил военную опасность от империалистических государств. В короткий срок гитлеровская Германия оккупировала ряд европейских государств, подчинив их экономику своей главной цели — созданию мощнейшей армии. Что будет дальше, на кого обрушится эта военная машина порабощения?

Наше правительство, принимая меры по подготовке страны, ее промышленности, армии и населения к будущей войне, серьезное внимание обращало на политико-моральное состояние народа, вело борьбу с проявлением благодушия и самоуспокоенности. Да и вся международная обстановка, повторяю, не располагала к спокойствию. Редкий месяц проходил без крупных событий на мировой арене.

Разъясняя нам причины и ход этих событий, партийные органы, печать, радио, а также служба госбезопасности обращали особое внимание на элементы тайной войны, диверсионные акты и провокации, которыми она изобилвала. Наш завод, вооружавший Красную Армию, представлял собой объект пристального внимания всевозможных наших врагов — это было ясно для нас. И соответствующие службы направляли усилия на то, чтобы опять-таки каждый из нас нес определенную нагрузку в системе защиты завода от возможных тайных вражеских действий. Нам разъясняли, что бдительность во всем многообразии оттенков этого понятия касается не только людей специальной службы, но и каждого работника завода. Только такая монолитная стена не будет иметь щелей для проникновения врага.

Предупреждение справедливое, но оно рождало некоторую настороженность в отношениях. Вот в этой-то обстановке и произошел пожар на самолете «ИЛ-2». Не где-нибудь там, вдали, а у нас на летной станции завода...

Дмитрий Николаевич Сиренко — заместитель начальника ЛИСа — рассказывает, что самолет, на котором произошел пожар, был четвертым экземпляром штурмовика «ИЛ-2», построенным заводом. Он же в числе еще двух самолетов предназначался для проведения сравнительных летных испытаний различных установок стрелково-пушечного вооружения в институте заказчика. На этой машине были смонтированы две наиболее перспективные авиационные пушки конструкции Волкова и Ярцева.

«Четверке» не повезло с самого начала. Первый же испытательный полет на самолете летчик-испытатель Иван Иванович Старчай прервал и посадил самолет вне аэродрома, на большом пустыре недалеко от завода. Причина — внезапная остановка мотора. Представители моторного завода, тут же осмотрев машину, определили, что вышел из строя прибор РПД (регулятор постоянства давления), и заменили его. Опробование мотора показало, что он работает исправно, самолет повреждений не имел, и его перегнали на заводской аэродром.

Д. Н. Сиренко отдал распоряжение закатить самолет в ангар для подробного осмотра. Бригада, за которой числилась «четверка», в составе бортмеханика М. А. Корсунского и мотористов С. Ф. Черемисина и М. И. Бабайцева получила задание тщательно осмотреть все системы моторной установки и установить их исправность.

— Приступая к работе, — рассказывает Матвей Абрамович Корсунский, — я дал указание Бабайцеву осмотреть кабину, а Черемисину — снять крышку топливного фильтра бензосистемы. Выполняя задание, Черемисин не убедился в том, закрыт ли бензиновый, так называемый пожарный, кран, и как только он снял крышку топливного фильтра, откуда хлынула струя бензина. Пока мы перекрыли

бензосистему и прекратили течь, некоторое количество бензина пролилось на бронекорпус и на крыло, а с них стекло на асфальтовый пол под самолетом.

— А сколько приблизительно пролилось бензина, Матвей Абрамович? — спрашиваю я.

— Да литра три, может быть, немного больше... Моторист Бабайцев, желая нам помочь, поторопился вылезти из кабины самолета, где он работал, и при этом уронил на пол переносную лампу. Она разбилась, а от электрической искры вспыхнули пары бензина, и в одно мгновение самолет и мы оказались в огне. Все мы кинулись на огонь, били по нему куртками, чехлами. Кто-то догадался применить пенный огнетушитель. Помню, что когда приехали заводские пожарные — их вызвал дежурный по ангару, — то им уже не пришлось работать, пожар ликвидировали мы сами. Самолет от огня практически почти не пострадал, немного обгорела краска на фюзеляже и крыле. Прибывшие вскоре на место происшествия сотрудники специального отдела, — продолжает Корсунский, — меня тут же, в ангаре, подробно допросили. Они же вызвали врача, и мне перевязали руки — я получил ожоги при тушении пожара. Следствие продолжалось довольно долго. Главная его цель — решить вопрос о классификации происшествия. Признаков диверсии не обнаружили.

«Четверку» быстро восстановили, и К. К. Рыков после нескольких испытательных полетов направился на нашем первенце в дальний путь — в испытательный институт.

Вспоминая об этом полете, Константин Константинович рассказывает, что столь дальний полет для серийного самолета «ИЛ-2» явился новинкой, поэтому решили совершить его с промежуточной посадкой на аэродроме в Рязани. В пути штурмовик сопровождал заводской транспортный самолет, пилотируемый летчиком-испытателем В. Т. Буренковым. Там же летел бортмеханик «ИЛа» А. П. Хлынов. После посадки в Рязани осмотрели машину, дозаправили ее бензином (этого можно было и не делать), после чего благополучно перелетели на аэродром по назначению.

— Едва успел я возвратиться домой, — вспоминает Рыков, — как мне снова пришлось лететь по тому же адресу на втором экземпляре «ИЛ-два». На этот раз полет совершили без промежуточной посадки. Можно сказать, — не без гордости добавляет Константин Константинович, — вот так начинался летный путь легендарных ильюшинских штурмовиков.

Вторым огорчительным событием в марте была авария заводского транспортного самолета, в котором находилась группа руководителей. В результате наш директор попал в госпиталь со сломанной ногой, и после этого случая он уже не расставался с тростью-костылем.

Но как ни беспокойны были наши заводские ЧП, а производство «ИЛов» развивалось успешно. С каждым днем удлинялась цепочка готовых самолетов на участке подготовки к полетам в ЛИСе. Все оживленнее становилось на заводском аэродроме — летали от темна до темна. Принятые военными самолеты улетали в воинские части, начинал устанавливаться определенный производственный ритм.

Однако в эту пору наступил довольно трудный период в нашей жизни, для рассказа о котором придется сообщить некоторые технические подробности.

Мотор АМ-38 конструкции А. Микулина — один из мощнейших того времени, спроектированный специально для самолета «ИЛ-2», — имел систему нагнетания воздуха к карбюраторам с автоматически открывавшимися шторками (лопатками Поликовского). Управлял открытием этих шторок гидроавтомат. В полете при резком движении рычагом управления отдельные экземпляры автоматов запаздывали открыть шторки на необходимую величину, мотору не хватало воздуха для нормального сгорания бензиновых паров в его цилиндрах, и он останавливался. Так случилось в памятном полете И. И. Старчая. Это же повторилось и еще.

Анализировать дефект, находить его причины, а затем и «лечить» моторы поручили группе специалистов моторного завода во главе с Александром Василь-

евичем Никифоровым. Специалисты-мотористы оперативно нашли конструктивное решение доработки узла, от которого зависела безотказная работа упоминавшегося автомата открытия шторок. В скором времени А. В. Никифоров привез со своего завода детали, установка которых на нескольких самолетах не заняла много времени. Но регулировку доработанной системы управления мотором, ее безотказное функционирование необходимо было проверить в полете на различных режимах. Летные исследования по специальной программе поручили К. К. Рыкову и А. В. Никифорову.

Положение осложнялось тем обстоятельством, что самолет был одноместный. Как тут поступить?

Выход подсказала конструкция самолета. Позади кабины летчика, в хвостовой части фюзеляжа, имелся довольно просторный люк, через который человек мог свободно пролезть внутрь хвоста для осмотра монтажей. Нормально, в полете, люк закрывался крышкой. В описываемом случае этот люк и закабинное пространство использовали в качестве кабины бортового инженера-испытателя. Там разместился А. В. Никифоров.

Удобства? О них тогда не говорили. Риск? Безусловно имелся. Но главное — быстрее устранить дефект, снять запрет на полеты, включить зеленый свет штурмовикам, идущим в армию.

Десятки полетов с выполнением различных фигур пилотажа и резких эволюций совершили К. К. Рыков и А. В. Никифоров, отработывая систему воздухозаборника сначала на одном экземпляре самолета «ИЛ-2». Затем то же повторили на втором. Все убедились, что система работает безотказно, мотор не глохнет ни на каком режиме, ни на какой эволюции самолета в полете.

Летные испытания и сдача самолетов в воинские части возобновились. Длинная линейка штурмовиков, которые успели скопиться на ЛИСе, быстро рассосалась. «ИЛы» улетали в воинские части.

— Да, эпопея с воздухозаборниками благополучно закончилась, — подтверждает А. Н. Соболев, — но это не означает, что я и мои ведущие конструкторы ушли из ЛИСа. Шла дальнейшая отработка систем, и основные работники нашей бригады большую часть времени трудились то на аэродроме, то в цехе главной сборки.

II

Итак, наш герой штурмовик «ИЛ-2» — предмет забот многих людей и организаций — уже пошел в жизнь, сделал первые шаги на службе людям. Как всякий начинающий ходить, он вначале был робок, но период детских болезней у него продолжался сравнительно недолго.

Здесь мне хотелось бы сослаться на обстоятельство, отмеченное в воспоминаниях тогдашнего наркома авиационной промышленности А. И. Шахурина:

«К 18-й партконференции, которая проходила в феврале 1941 г., авиационная промышленность работала по суточному графику с ежесуточным отчетом перед ЦК ВКП(б) о выпуске самолетов и моторов по каждому заводу... Наркомат, главки строго следили за тем, чтобы заводы повышали суточный выпуск при нарастании заделов по цехам...»

Такой повседневный контроль в сочетании с деловой мобилизованностью и хорошей подготовленностью производства достигал поставленной цели.

В отчетной справке начальника планового отдела завода Ивана Вавиловича Юдина записано, что в мае 1941 года завод выпустил несколько десятков штурмовиков «ИЛ-2»!

Если вспомнить, что всего только в марте мы отмечали такое событие, как первый полет первого серийного штурмовика, то несколько десятков самолетов, сданных к концу мая, то есть спустя всего полгода после начала освоения машины, можно без ошибки назвать хорошим достижением коллектива завода и всех предприятий, участвовавших в строительстве штурмовиков.

Здесь мне еще раз хочется подчеркнуть, что этот успех явился результатом большого внимания к нашему заводу и к нашим делам руководителей партии и правительства.

В качестве иллюстрации расскажу о следующем событии, имевшем большое значение для нашего завода.

6 июня 1941 года руководство завода вызвали к Сталину для доклада о заводских делах. Поехали Шенкман, Мосалов, Востров и Демиин.

Описание этого события составлено мною по рассказам его участников.

«Совещание назначили на восемнадцать часов, но мы приехали пораньше, — вспоминают товарищи. — Быстро получили пропуска, вошли в Кремль и не торопясь, с любопытством оглядываясь по сторонам — в Кремле каждый из нас был впервые, — проследовали в правительственный корпус. В приемной нас встретил Пускребышев, секретарь Сталина, познакомился с нами, прошел в кабинет и, тут же выйдя, но не закрывая дверь, пригласил нас заходить.

Первым вошел Шенкман. Опираясь на свою палку-костыль, он сделал несколько шагов по кабинету. Сталин, идя навстречу и подавая руку директору, сказал:

— Здравствуйте, товарищ Шенкман. — Затем, указывая на костыль, сокрушенно заметил: — Как же это вы так не убереглись?..

Следом затем он, стоя посредине кабинета, также за руку поздоровался с Мосаловым, Востровым и Деминым, называя каждого по фамилии. Мы, четверо, стояли возле него, а он, улыбаясь, говорил, что, конечно, для знакомства с нашим коллективом ему лучше было бы самому приехать к нам на завод, но это так сложно, требуются всякие решения, разрешения...

За большим столом сидели: Г. М. Маленков, нарком авиапромышленности А. И. Шахурин, командующий ВВС П. Ф. Жигарев и начальник НИИ ВВС И. Ф. Петров. Пригласив нас сесть за стол, Сталин сказал, что собрал всех здесь для того, чтобы посоветоваться по одному вопросу — какие самолеты строить на восемнадцатом заводе в Воронеже?

Жигарев, оперируя названиями воинских частей и численностью имеющихся и потребных самолетов, высказался так, что ВВС нужны оба самолета («ЕР-2» и «ИЛ-2»), которые строит завод, их и надо продолжать выпускать, только увеличив программу. Шахурин уточнил, что Наркомат авиационной промышленности уже вынес решение об увеличении задания заводу № 18 по самолету «ИЛ-2», но требуется подтянуть заводы-смежники...

Неторопливо шагая по кабинету и внимательно, не перебивая, выслушивая каждого выступавшего, Сталин заметил:

— Я полагаю, что сейчас нам очень нужны дальние бомбардировщики. Поэтому считаю, что Шенкману необходимо построить большую партию самолетов «ЕР-два».

Он назвал цифру — количество самолетов «ЕР-2», которое надлежит выпустить в этом, 1941 году, и поинтересовался, как самолеты обеспечены моторами. Шахурин ответил, что моторы будут, их изготовление поручено такому-то (назвал город) заводу.

Затем Сталин обратился к Шенкману:

— Есть у вас затруднения в производстве самолета «ЕР-два»?

— Особых затруднений нет, товарищ Сталин, — ответил Шенкман, очевидно считая, что вопрос о моторах ему еще раз поднимать не следует. — Только вот летные испытания самолета в НИИ ВВС еще не закончены, а по их результатам могут быть различные доводки, переделки.

— Товарищ Петров, когда вы закончите испытания? — последовал тут же вопрос к Петрову.

— В течение ближайших двух месяцев, товарищ Сталин, — по-военному четко отпартовал Петров.

— Завод устраивает такой срок? — Вопрос Сталина вновь адресовался Шенкману.

— Хотелось бы побыстрее, — попросил Шенкман.

— Удовлетворим вашу просьбу. Товарищ Петров, заводу необходимо помочь, ведь «ЕР-два» нам нужны побыстрее... А как у вас на заводе идут дела по ильюшинскому штурмовику? — задал вопрос Сталин и занялся набиванием своей трубки. Закурив, он неслышно подошел к общему столу и встал как раз против Шенкмана и Мосалова.

— По «ИЛ-два» у нас претензий нет, справляемся сами, — спокойно ответил Шенкман.

— Штурмовик у нас хорошо освоен, полюбился коллективу. Его мы будем выпускать сколько потребуется, товарищ Сталин, — несколько сбивчиво, явно волнуясь, проговорил Мосалов.

Сталин улыбнулся и заметил:

— Что ж, учтем заявление парторга ЦК, товарищи... Какие у завода есть еще просьбы или претензии? — задал очередной вопрос Сталин, продолжая неслышно ходить по кабинету.

Все молчали, пауза затянулась.

— Наркомат нас немного обижает, — с некоторым трудом проговорил Шенкман. — Директорский фонд установили слишком маленький, не соответствует нашим работам. — Шенкман назвал цифру фонда.

— Товарищ Шахурин, что вы скажете на эту претензию завода?

— У восемнадцатого завода, товарищ Сталин, фонд директора в том же отношении с фондом заработной платы, как и на других заводах, — ответил Шахурин. — Не больше, но и не меньше.

— А давайте спросим директора завода — какой фонд устраивал бы их? — предложил Сталин.

Шенкман назвал цифру, примерно втрое превышающую сумму, выделенную наркоматом.

— Давайте, товарищ Шахурин, дадим им эти деньги. У них большие дела делаются, — сказал Сталин и на этом закрыл совещание.

Должен сказать, что это событие, несмотря на то, что о нем на заводе не объявлялось, стало известно многим и еще сильнее нас сплотило.

А произошло оно, напомним, всего за шестнадцать дней до начала войны.

III

Под воскресенье, 22 июня мы поехали отдыхать в район Рамони. Такие коллективные вылазки практиковались нашим спортивным обществом и проводились систематически. Люди помногу работали, и руководство завода поощряло организованный отдых в различных видах. Выехали в субботу, часов в восемь вечера.

Часа через два езды по проселочным дорогам и лесным просекам наш автофургон прибыл в назначенное место — на берег старицы реки Воронеж, изрядно поросшей водорослями. Лес местами почти вплотную подходил к воде, местами отступал от нее, образуя уютные лужайки. На одной из таких лужаек и расположилась наша экспедиция, недалеко от стоянки заядлого рыбака, нашего конструктора Юры Насонова. Здесь он с отцом проводил свой отпуск. В садке рыболовов оказалась ранее пойманная рыба.

Уха из свежей рыбы! Ночной костер на берегу реки. Звездное небо над головой, тишина. Все это создавало лирический настрой, и когда запевала тихо, как бы в раздумье, подал первый куплет:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит... —

его дружно и также негромко поддержало несколько голосов:

В той степи глухой
Умирал ямщик.

Песни следовали одна за другой. Пели с удовольствием, можно сказать, с увлечением и пониманием красоты русских и украинских напевов.

Предвижу скептическое замечание: нашел о чем писать — собрались люди у костра, выпили, ну и затянули песню...

Хочу возразить. В компании, о которой идет речь, не пили до умопомрачения и не пели «для громкости». Причем это не в силу какой-то исключительности данной группы людей.

Дорогой читатель, я пригласил вас на рыбалку в компании мужчин, чье детство пришлось на первые годы после Октябрьской революции, чьими школьными песнями были «Варшавянка» и «Мы — кузнецы», «Взвейтесь кострами», «Замучен тяжелой неволей», песни о Волге. Они воспитывали в нас патриотизм, любовь к душевным, красивым, некрикливым мелодиям, учили искать в песне глубокий смысл, поэтическое описание событий. Словом, хороши наши народные песни и большое удовольствие и удовлетворение получает человек, участвуя в их исполнении.

За беседой и песнями у костра время пролетело незаметно. О сне вспомнили, когда забрезжил рассвет. В общем, экспедиция наша прошла весьма успешно. На обратном пути курящие, у которых иссякли запасы, попросили заехать в ближайший поселок, железнодорожную станцию, за папиросами.

Вечерело. Жара заметно спала. Возле ларька-буфета стояли несколько человек:

Лева Соколов, наш организатор, первый подбежавший к ларьку, звонко заказал: пятнадцать кружек кваса для начала, а потом повторить!

Буфетчик, видно не поверивший словам Левы, высунулся на улицу из-за стойки, но увидел надвигающуюся солидную компанию, спрятался обратно и принялся наливать квас.

Человек, утоляющий жажду, вероятно, малонаблюдателен. И мы, прильнув к своим кружкам с холодным крепким квасом, изредка перебрасываясь шуточками, не обращали внимания на осуждающие взгляды, которыми кололи нас отошедшие от ларька люди. Но вот первая порция кваса выпита, оглядываемся вокруг и начинаем чувствовать что-то необычное в поведении людей, кучками стоящих на платформе в ожидании дачного поезда. Народу собралось порядочно — возвращались после воскресного отдыха, — но стояла необыкновенная тишина и чувствовалась какая-то подавленность.

Недалеко от буфета, облокотясь на перила загородки, обнесенной вокруг газона, горько плакала молодая женщина. Другая, постарше, утешая ее, обратилась к нам со странными словами:

— А вас, соколики, не туда ли уже гонют?

— Куда это туда, мамаша?

— Да на войну-то окаянную, куда же еще, — с досадой и горечью уточнила старшая. — Вот наш-то уже воюет, в пограничниках он, там, — махнула она рукой на запад.

При этих словах молодая как-то необычно и очень громко вскрикнула, а затем разрыдалась в голос, уткнувшись в грудь старшей женщины.

Оторопев, ошалело глядя друг на друга, мы, очевидно, загалдели, повторяя какие-то слова о договоре, пакте. — газетные слова, которые для нас составляли правду жизни. То темное, непонятное, что так неожиданно накрыло нас, находилось в таком вопиющем противоречии с нашей действительностью, что хотелось поскорее его сбросить, избавиться от него. Все предупреждения о военной опасности, которые мы многократно слышали, читали, повторяли сами, враз забылись, так не хотелось верить в случившееся.

...На это совещание к директору завода многие из его участников не вызывались и не приглашались — пришли сами. И состав совещания оказался необычный: наряду с руководителями цехов и отделов, обязанных быть здесь по штату, пришли некоторые сотрудники конструкторского и технологического отделов, мастера, рабочие, работники заводоуправления.

Директор сидел за своим столом и что-то горячо обсуждал с парторгом Мосаловым и начальником производства Бемянским. Дверь в кабинет не закры-

валась, и люди один за другим заходили и садились на свободные стулья. В приемной дежурный по заводу непрерывно звонил по телефону — разыскивал по квартирам начальников цехов и других руководителей.

— Товарищи! — Директор поднялся со своего места и оглядел собравшихся. — Товарищи, война, об угрозе которой партия нас учила постоянно помнить, война стала фактом. Для нас с вами, для нашего завода этот факт имеет особое значение. — Директор говорил короткими, резкими фразами. — Каждый из нас должен понять, что война потребует много самолетов. От нас потребует. И мы должны дать эти самолеты, это оружие. Мы арсенал армии. Каждый должен понять и объяснить своим подчиненным, что война идет не только там, где сейчас стреляют, но и у нас здесь. Все мы уже на войне и должны действовать, как на войне. Вот мы подготовили небольшой приказ, суть которого в следующем. Переходим на работу в две удлинненные смены по десять — одиннадцать часов. Все отпуска отменяются. Кто находится в отпусках, вызывайте. Планы цехам по выпуску машин будут пересмотрены — самолетов нужно гораздо больше того, что мы даем сейчас.

Директор сделал небольшую паузу, а затем продолжал:

— И еще одно: вряд ли немец оставит нас без внимания и даст спокойно выпускать боевые самолеты. Нужно в кратчайший срок подготовить завод к обороне. Прежде всего светомаскировка и в цехах и в жилых домах. Это нужно каждому обеспечить и проверить лично, чтобы никакой возможности нарушения!

Затем выступил Николай Иванович Мосалов:

— Я хочу остановить ваше внимание, товарищи, на том месте в обращении правительства, где говорится о необходимости всем нам быть сплоченными и едиными как никогда. — Голос Мосалова звучал неровно, выдавая его волнение. — Это единство и сплоченность всего заводского коллектива должны обеспечить, реализовать мы с вами — руководители, партийные и беспартийные большевики. Конечно, мы получим конкретные указания, что и как делать заводу. Но главное нам ясно и сегодня. Главное в том, чтобы быстрее разбить врага. Для нас это значит — выпускать больше самолетов, не допускать перебоев в работе завода, охранять его, быть предельно зоркими...

С совещания расходились несколько приободренными. А нам, возвратившимся с рыбалки, было рассказано не только о начавшейся войне, но и о первых организованных действиях заводского руководства в новых, военных условиях.

В понедельник, 23 июня в цехах и отделах завода прошли короткие митинги-собрания. На них зачитывался приказ о введении нового, военного режима работы завода, разъяснялась главная задача: обеспечивать Красную Армию боевыми самолетами, выпускать их как можно больше.

Началась новая жизнь. Кроме значительного увеличения производственной нагрузки, война с первых же часов внесла в нашу жизнь ощущение непрерывной тревоги. Она не покидала каждого нигде, чем бы он ни занимался. Война стремительно катилась по нашей стране. Я и мои товарищи, работая на заводе, изготовлявшем боевые самолеты, имея постоянное общение с представителями Военно-Воздушных Сил, считали себя в какой-то степени осведомленными в значительных возможностях наших ВВС. Болезненно переживая неудачи начального периода войны, обсуждая между собою создавшуюся обстановку, мы не находили объяснения малой эффективности действий нашей авиации. В своих рассуждениях мы постоянно приходили к выводу, что задержать нахальное наступление немцев можно. Для этого необходимо организовать ответные массовые налеты нашей авиации на Берлин и другие главные города Германии. Что это технически возможно, мы ни на минуту не сомневались.

Помнится, первое время я с надеждой встречал каждый следующий день, ожидая сообщения о немецких городах, засыпанных нашими авиабомбами...

Только много позже мне стало ясно, что такие рассуждения и вся наша домашняя «стратегия» явилась плодом незнания подлинного соотношения сил сражающихся сторон. В те дни ни я, ни мои товарищи по работе не знали, что в воздухе над нашей территорией изо дня в день летает около пяти тысяч немец-

ких самолетов. Они бомбардируют города, аэродромы, помогают своим наземным войскам и ставят труднопроходимые заслоны для наших бомбардировщиков. Тогда мы не знали, что внезапно заполонившие огромную территорию нашей страны пять с половиной миллионов немецких солдат и офицеров прибыли на четырех тысячах танков и бесчисленном количестве автомобилей и мотоциклов. Они привезли с собой чуть ли не 50 тысяч орудий и минометов. И все это стреляло, ревело, давило, ломало, рвалось в глубь страны.

Что могли сделать мы, живя в глубококом тылу — в Воронеже, где требования светомаскировки и то поначалу казались пустой формальностью? Чем помочь себе и своему народу в страшной беде?

Ответ был один — строить больше «Илов».

Завод работал напряженно, непрерывно наращивая темпы выпуска самолетов.

Июнь 1941-го ознаменовался невиданным для нас итогом: выпущено и сдано воинским частям самолетов-штурмовиков «ИЛ-2» вдвое больше, чем в мае!

Ощущение своей необходимости и монолитной связанности со всей страной, с армией постепенно вытесняло у каждого из нас чувство тревоги, даже страха, рожденного внезапностью перехода к войне от светлых мирных дней.

На двенадцатый день войны — в четверг, 3 июля — по радио выступил И. В. Сталин. В своей речи он довел до сведения всего советского народа основные положения директивы Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома, принятой 29 июня 1941 года.

Сталин без всяких дипломатических уверток подчеркнул особую опасность, нависшую над страной, над каждым ее жителем. Помнится, что на меня наиболее сильное впечатление в его выступлении произвел призыв к созданию народного ополчения, к всемерной помощи армии.

После выступления Сталина стало ясно, что ожидать скорого окончания войны не приходится, что всем нам предстоит тяжелые испытания.

На заводе шла организация объектовых команд самообороны. Гордостью коллектива стала команда зенитчиков. Она оборудовала на крышах корпусов и по периметру завода более 50 стрелковых установок, вооруженных авиационными пулеметами и пушками.

С фронтов шли сообщения, что немцы забрасывают в наши тылы диверсантов, которые наносят большой урон. Поэтому на заводе придавали большое значение общественной команде по охране объекта. Члены этой команды вечерами и ночами дежурили в «секретах» по заводскому периметру, а затем шли на работу — никаких отгулов за дежурство не полагалось.

Кроме объектовых команд, каждый из нас входил в ту или иную дружину местной противовоздушной обороны, организованной в жилых домах заводского поселка.

С первых же дней войны многие работники завода стали осажать военный стол заводского отдела кадров и военкомат с просьбами направить их на фронт. Ситуация при этом сложилась непростая: нельзя было распускать кадры, решавшие важную государственную задачу, но нельзя было и гасить патриотические порывы людей, особенно возросшие после выступления Сталина 3 июля, призывавшего вступать в народное ополчение.

Анатолий Николаевич Соболев, в то время секретарь парторганизации СКО, рассказывает мне:

— На специальном партсоборании мы обсудили вопрос о вступлении в народное ополчение. До сих пор отчетливо помнится тот подъем и единодушие, с которым коммунисты приняли решение стать в ряды защитников родины. Оформив решение партсоборания и получив от каждого добровольца личное заявление, я направился в партийный комитет завода. Парторг ЦК Мосалов, мой однокашник по авиационному институту, очень внимательно меня выслушал, после чего задал один вопрос: «Так, секретарь, значит, все пойдем на фронт, а завод закроем?» Дело, с которым я пришел к парторгу, которое мы накануне так горячо обсуждали, вобрало в себя столько патриотизма, личной самоотверженности и

других высоких чувств, что вопрос Мосалова показался мне даже обидным... Я попытаюсь ему возразить, ссылаясь на призыв Сталина... Пока я говорил, Николай Иванович развязал тесемки толстой папки и показал на солидную стопку лежавших в ней бумаг: «Гляди, это все заявления коммунистов и решения собрания вроде вашего. Все на фронт рвутся, врукопашную с фашистами сразиться хотят...» Обычно спокойный Мосалов нервно ходил по кабинету и резко крикнул: «Занят!» — чьей-то голове, заглянувшей в приоткрытую дверь. «Как вы все не можете понять простой вещи — что мы с вами давно на фронте! — обрушился он на меня. — Никак не можете понять, что противника с его мощнейшей техникой, механизированной армией можно разбить только более мощным оружием, как раз тем, которое делаем мы! Что этого оружия пока еще очень мало и нужны невероятные усилия для резкого, невиданно быстрого увеличения поставок штурмовиков фронту. В это дело требуется вложить все наши знания и умения. А вот те, кто это должен сделать, в частности ты со своими товарищами, говорят нам: ну вы тут сами разберайтесь, а мы уходим на фронт... Картина великолепная, как ты скажешь?»

Парторг все более распался, а я сидел придавленный к стулу его неотразимыми аргументами и мысленно ругал себя за собственную недалечность. «Я тебе скажу по-товарищески и как большевику. — Мосалов присел на стул против меня. — Надо полагать, что нас ожидают трудности не меньшие, чем у фронтовиков. И говорить об уходе со своих постов, с нашего завода, — подчеркнул он, — не равнозначно ли это уходу от трудной жизни?..» Как ни подготовили меня предыдущие соображения парторга к самоосуждению, но подобное обвинение не вязалось с моим состоянием и взорвало меня... Помнится, я вскочил со стула и готов был наговорить Мосалову всяких дерзостей. Но он вовремя меня остановил, сказав, что я не кипятился, а пошел и подумал, как нам действительно и эффективно помочь фронту. «Был сегодня на ЛИСе, — как бы невзначай заметил Николай Иванович, — там все еще жалуются на выбросы масла в полете. Вот где твой фронт, Анатолий Николаевич, пока ты еще не полностью выиграл это сражение. — Мосалов уже улыбался. — Вот так, дорогой, иди и вой, крепче работай сам, да и товарищам посоветуй делать то же самое...» Вскоре нам всем объявили, что мы бронируем, закрепляемся за заводом, где и должны работать на своих местах. Но количество заявлений работников завода о добровольном вступлении в ополчение день ото дня росло.

Много, около 650 товарищей ушли с завода добровольцами и вошли в 4-й Воронежский коммунистический рабочий полк в составе 100-й стрелковой дивизии Красной Армии. За доблесть и героизм, проявленные в боях под Минском, этой дивизии, первой среди стрелковых дивизий, присвоили звание гвардейской.

Во главе наших добровольцев были: первый заместитель секретаря парткома завода Александр Владимирович Чудинов, редактор заводской газеты Николай Степанович Скребов и заместитель начальника цеха № 1 Степан Тихонович Коротких.

Многие заводчане погибли в сражениях с гитлеровцами.

Среди них Герои Советского Союза:

Алексей Иванович Кольцов
Сергей Трофимович Новиков
Николай Степанович Шендриков
Иван Иванович Квасов
Иван Антонович Савельев
Иван Данилович Меркулов
Василий Тимофеевич Сидоров
Николай Ефимович Касимов

Вечная им память!

Несмотря на чувствительную потерю в кадрах, завод продолжал наращивать выпуск самолетов «ИЛ-2». Это мы чувствовали по увеличивающемуся ритму ра-

боты. Это мы видели в цехах — там все меньше оставалось свободных площадей. Это мы видели и слышали на заводском аэродроме, заставленном «ИЛами».

Когда по ходу производства уже можно было твердо сказать, что период освоения строительства «ИЛ-2» пройден, возникла еще одна новая задача. Предстояло освоить серийный выпуск деревянной хвостовой части фюзеляжа.

Дефицит на листы и профили из алюминиевых сплавов стремительно нарастал, так как южные металлургические заводы эвакуировались на восток и не успели еще там развернуть свои производства. Поэтому быстрейшее освоение изготовления деревянных хвостов «ИЛ-2» могло стать определяющим для всей программы завода. Следует отметить, что задача освоения деревянных хвостов для нас оказалась сложной потому, что завод до этого никогда строительством деревянных самолетов не занимался. Не было ни соответствующего производства, ни специалистов. По решению городских властей нам передали местную мебельную фабрику. Ее оборудование и часть работников переехали на завод, где был создан специальный цех деревянных хвостовых частей фюзеляжа.

Как свидетельствуют Анатолий Яковлевич Левин и Дмитрий Тихонович Мачурин, успешно освоению заводом деревянного хвоста способствовало то обстоятельство, что конструкция его была загодя проработана в ОКБ параллельно с металлическим вариантом.

Закончился июль 1941-го. Сухая цифра в справке планового отдела вновь зафиксировала небывалый итог: июльский выпуск «ИЛов» вдвое превысил достижение предыдущего месяца! Цифра свидетельствовала о великолепной работе коллектива нашего завода. Но она же говорила и о том, что где-то на своих местах также хорошо работают другие заводы — участники строительства ильюшинских штурмовиков. Моторы поступают к нам на завод без задержек. Несмотря на резко усложнившиеся условия, своевременно приходят к нам эшелоны с бронекорпусами, металлурги шлют нам многие тонны металлов различных сортов. Воздушные винты и колеса шасси, приборы оборудования и установки вооружения — вся эта продукция длинного ряда специализированных предприятий нескончаемым потоком вливается в заводские цехи для того, чтобы, пройдя в них производственный цикл, превратиться в грозные штурмовики и улететь на войну.

Тяжело было нашему народу в те дни!

Отражать натиск фашистских полчищ на фронте протяженностью несколько тысяч километров, от Черного до Белого морей. Отступая, вывозить ценности, заводы, людей. Налаживать в огромных масштабах новое промышленное и хозяйственное строительство в новых, необжитых районах. Растить новую армию и вооружать ее оружием, лучшим, чем у врага.

При потере огромных территорий развитого сельского хозяйства надо было готовить продукты, кормить армию и весь народ.

А главное, не пасть духом, не впасть в уныние, не потерять веру в нашу победу. И мы не теряли эту веру, не пали духом!

Каждое утро в нашем доме, так же как и у всех, начиналось с прослушивания сводки Совинформбюро. Всех интересовал главный вопрос — как дела там, на фронте? Где, на каком участке нашим удалось задержать лавину противника, какие у него потери? Часто сообщались названия городов, оставленных нашими войсками. Далее шли корреспонденции о зверствах немцев на захваченных ими территориях. И обязательно ансамбль Александрова исполнял «Священную войну».

Неповторимая торжественность и серьезность этой песни на меня всегда производили сильное впечатление:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идет война народная,
Священная война!

На заводе в ряде мест висели карты Советского Союза, на которых флажками и цветными шнурками отмечалась линия фронта на каждый день. Думается, что за всю историю России массы народа не изучали так хорошо географию своей страны, как в прошлую войну. Знали не только крупные города, республики, области — знали такие местечки, которых порой не существовало на больших школьных картах.

Ежедневно, а иногда и по несколько раз в смену на заводе звучали сирены воздушных тревог. Подчиняясь введенному распорядку, мы все оставляли рабочие места и занимали посты по расписанию. Не занятые в командах рабочие цехов и сотрудники отделов уходили в укрытия и пережидали там до конца тревоги...

23 августа 1941 года для завода стало знаменательным днем.

Постановлением правительства завод наградили орденом Ленина за большие успехи в деле вооружения армии боевыми самолетами. Орденами и медалями отметили труд ста работников завода.

На общезаводском митинге, собравшемся по этому случаю, после оглашения Указа о награждении Мосалов зачитал депешу командующего ВВС Балтийского флота, в которой говорилось:

«Ваша продукция, которую мы используем сегодня, дала прекрасные результаты. Уже не одна сотня фашистских танков и солдат сметена с лица земли. Ваш штурмовик хорошо сеет «плоды». На этих машинах уже родились герои Отечественной войны. К ним относится капитан Барабанов, который несметным огнем уничтожает все, что попадает к нему под руку, несмотря на бешенство фашистских солдат.

Ваши прекрасные «ИЛы» заслужили честь и славу наших летчиков и страх для фашистских головорезов.

Давайте больше машин крепких, быстроходных.

Победа за нами!

Честь и слава работникам завода имени Ворошилова и всем коллективам, создавшим машину Отечественной войны».

С глубоким волнением слушали мы, участники митинга, эту депешу. Простыми, искренними словами, пришедшими оттуда, с передовой, давалась оценка нашему напряженному труду. С митинга все разошлись по рабочим местам.

— А вы обратили внимание, как этот командующий, моряк, назвал наш штурмовик — «машина Отечественной войны», шутка ли?

С этими словами Анатолий Соболев появился в кабинете начальника СКО, куда мы зашли, возвращаясь с митинга.

— Обратить-то обратили, но он написал нам и другое — давайте машин больше, — ответил Соболеву Назаренко. — Вот я и пригласил всех вас поговорить на эту тему, посоветоваться. От нас ждут непрерывного увеличения выпуска «ИЛов», они нужны на всех фронтах. При существующей мощности цехов и производительности труда в них дальнейший рост выпуска машин может происходить только за счет снижения трудоемкости, уменьшения трудозатрат на каждую машину. Это ясно всем, но нужны конкретные предложения. Технологи и копровцы над этим работают постоянно и кое-чего добились. У нас бригада Мачурина при переходе на деревянный хвост сократила трудоемкость фюзеляжа на несколько десятков часов, а что по другим бригадам? Пока тихо...

— Николай Петрович прав, — поддержал начальника Соболев. — Я думаю, что следует всем бригадам хорошо рассказать об этой задаче — и результаты будут.

— Вот я и прошу всех вас заняться этим немедленно, — продолжал Назаренко. — Должен вам сказать, что уже в этом месяце мы не дотянем до июльского выпуска штурмовиков — перебои в снабжении материалами, да и за счет тревог потери рабочего времени стали ощутимы...

Этот памятный разговор принес свои плоды, правда не так скоро, как того хотелось.

День 20 сентября 1941 года по началу ничем не отличался от предыдущих дней. Было довольно тепло. Осенью в Воронеже, как правило, долго и устойчиво держится хорошая погода.

В обеденный перерыв этого запомнившегося дня я, как и многие наши сотрудники, поспешил домой обедать. Наша квартира находилась в самом близком к заводу доме. Из окна кухни хорошо просматривался главный корпус заводоуправления и асфальтовая дорожка, обсаженная тополями.

Помнится, что в тот день я пришел на обед раньше своей супруги и стал накрывать на стол, непрерывно поглядывая на дорожку — не идет ли она. Галя тогда заведовала большой лабораторией по контролю приборов самолетного оборудования. Хозяйство большое, приборы из лаборатории поступали прямо в сборочный цех, где неуклонно действовал график.

Видно, задержалась, решил я и приступил к обеду. Как раз в это время и захлопали выстрелы, затрещали пулеметные очереди с нескольких стрелковых точек охраны завода. Я прильнул к окну и тотчас увидел, как из облаков почти над главным корпусом заводоуправления вынырнул немецкий бомбардировщик и низко, на высоте не более двухсот метров, полетел вдоль основных производственных корпусов в сторону аэродрома.

Видел я его несколько мгновений, но очень отчетливо и безошибочно узнал характерные контуры бомбардировщика Хейнкеля — «ХЕ-111».

Сейчас будет бомбить — мелькнула мысль, и я прижался к оконному проему, ожидая, что после взрыва бомб из нашего окна полетят стекла...

Стрельба продолжалась, но с явным удалением — стреляли с дальних точек на аэродроме. Завывали сирены, но никаких взрывов не слышно. Скоро и стрельба прекратилась.

Вероятно, это разведчик, сейчас еще прилетят, подумалось мне, и я поспешил на завод занять место по боевому расписанию нашей объектовой команды. На сборный пункт я прибежал в момент поступления команды: «Оцепить производственный корпус и никого туда не впускать». Нам сказали, что в корпус попали бомбы, но пока не разорвались.

Ясно, решили мы, бомбы с взрывателями замедленного действия. Когда они сработают? Мы знали несколько таких устройств, в которых замедление могло исчисляться и минутами и часами.

Вскоре поступила команда снять оцепление, очистить заводской двор от людей. Работавших в корпусе, куда попали бомбы, вывели из помещения. Осталась небольшая группа дружинников и начальство.

— В этой сложной и опасной операции, — вспоминает А. А. Белянский, — великолепную выдержку и подлинный героизм проявили главный механик Ефремов и заместитель главного энергетика Тимченко, а также товарищи Энтов, Землянский и другие. Они не только четко руководили действиями людей по обезвреживанию гитлеровских «гостинцев», но сами лично выносили из цехов неразорвавшиеся немецкие авиабомбы и осторожно укладывали их на мягкие подстилки в кузова грузовых автомобилей. Бомбы увозили с территории завода в степь для уничтожения.

Их оказалось семнадцать — добротных изготовленных с четкими надписями немецких «игрушек». Шестнадцать весом по пятьдесят килограммов, а одна — двести. И ни одна не разорвалась.

У немцев была принята система дистанционного взведения взрывателей авиабомб перед их сбрасыванием с самолетов. Пока бомба висит в бомбоотсеке самолета, ее взрыватель установлен в положении «пассив», и он не подорвет бомбу даже при ее падении. Перед сбрасыванием бомб на цель штурман или летчик с помощью специального устройства должен перевести их взрыватели из положения «пассив» в положение «актив», при котором уже они взрываются, коснувшись цели.

В описываемом случае экипаж «ХЕ-111», очевидно, растерялся, вынырнув из облаков над заводом, и второпях сбросил свои бомбы с взрывателями в положении «пассив». Бомбы не разорвались. Завод остался цел.

Но эта первая бомбардировка завода все же принесла и первые человеческие жертвы. В сварочном цехе, куда упала одна из бомб, ее стабилизатором были убиты два слесаря — Б. А. Рожков и С. С. Мысков.

Так война стала и для нас непосредственной действительностью.

За мужество и героизм, проявленные при обезвреживании неразорвавшихся бомб, Леонида Николаевича Ефремова наградили орденом Красной Звезды.

Словно нащупав наш завод как нужный ему объект, «Хейнкель-111» пожаловал к нам и на следующий день. На этот раз он выскочил с восточного направления, оказавшись над аэродромом, куда и упала его первая бомба. Не считая вспапанной земли, бомба вреда не принесла. Но серия других упала на жилые дома заводского поселка, разрушив секцию пятиэтажного дома и два барака, повредив водопровод и сеть электропроводки. Стервятник, как и в первый раз, благополучно скрылся.

В дальнейшем тревоги у нас стали объявляться как по расписанию. Около тринадцати часов прилетал «он». Конечно, никто из нас не мог сказать, был ли это один и тот же самолет или каждый раз новый. Но прилетал всегда «ХЕ-111», и всегда в одиночку. Очевидно, где-то южнее Воронежа перелетал он линию фронта и на завод заходил с востока или юго-востока.

23 сентября армейские зенитки, охранявшие железнодорожный узел, к заводу его не пустили, и он сбросил бомбы на соседний поселок.

24-го и 25-го тревоги объявлялись, но налетов не было, может быть потому, что стояла солнечная погода.

26 сентября пасмурный день, и «хейнкель» налетел тем же курсом, что и в первый раз. Только вывалился он из облаков километра за два раньше, и серия сброшенных бомб пришлась на овощную базу и склад горючего, расположенные за территорией завода.

Находившийся неподалеку от нашего дома склад горючего горел всю ночь. Этот налет принес новые человеческие жертвы.

Налеты вражеских самолетов и та свобода, с которой они проникали к заводу, заставили руководство изыскивать дополнительные средства защиты объекта.

К. К. Рыков вспоминает, что как-то раз, придя на летную станцию, директор и Мосалов попросили собрать летный состав и директор обратился к летчикам со следующими словами:

— Нехорошо получается, товарищи: фриц нахально летает, свободно бомбит завод, а мы его отпускаем с миром. Наркомат приказал мне поставить на боевое дежурство несколько машин «ИЛ-два», вооружить их боекомплектами и держать в состоянии постоянной готовности к вылету.

Директор переждал несколько минут, пока улеглось одобрительное возбуждение собравшихся.

— Вот только летчиков для этих дежурных самолетов нам не дают. Специальных летчиков для несения боевого дежурства, — уточнил он. — Говорят: пусть дежурят по очереди ваши заводские летчики, ясно? Прошу обсудить тут это дело между собой, подумать, как его лучше организовать, а делать надо немедленно.

В результате два звена самолетов «ИЛ-2» поставили на круглосуточное дежурство на заводском аэродроме.

— У меня в летной книжке, — продолжает вспоминать Рыков, — записано, что я по боевой тревоге сделал восемнадцать боевых вылетов. Вместе со мной вылетали и другие летчики, чья очередь выпадала на дежурство. Когда в городе объявлялась воздушная тревога, мы вылетали каждый в свой сектор и дежурили там в воздухе, до отбоя тревоги. К сожалению, ни одному из нас не довелось встретиться с немецким налетчиком.

Безусловно, эти налеты и бомбардировки завода отразились на работе коллектива. Кроме чисто физических потерь, времени на перерывах в работе по тревогам, были и моральные потери от напряжения ожидания, неизвестности.

Это не замедлило отразиться на итоговой цифре выпуска штурмовиков. Сентябрьский итог оказался существенно ниже июльского.

Правда, в августе—сентябре завод заканчивал доводку и облет большой партии самолетов «ЕР-2», раёе изготовленных нами. В связи с этим к нам прибыла группа специалистов из Летно-испытательного института ВВС для участия в окончании испытаний и сдачи этих машин. В частности, перед нами поставили задачу — срочно разработать подробную инструкцию по эксплуатации этого самолета и инструкции летчику.

В конце сентября, когда мы подготовили рукописи инструкций, я получил указание выехать в Москву для срочного издания пособий в Военном издательстве.

Сурово, совершенно необычно выглядела военная Москва сентября сорок первого. Маскировочные сети и окраска на Малом и Большом театрах, бумажные кресты на окнах, мешки с песком у больших витрин, малоллюдно...

Поселился я в гостинице «Метрополь», а работал в редакции Воениздата, размещавшейся в одном из домов на Красной площади.

Тревоги и ожесточенная стрельба зениток чуть ли не каждую ночь. Иногда мы, немногочисленные жильцы гостиницы, дежурили на ее крыше, ждали «зажигалок»...

В гостинице, куда я забежал по пути из редакции в наркомат, меня ожидала телеграмма: «Немедленно выезжайте завод». Подпись директора. Дата сегодняшняя — 8 октября 1941 года. 10 часов 05 минут.

Что случилось, почему такая спешка?

В наркомате из отрывочных и уклончивых ответов нескольких сотрудников стало ясно — э в а к у а ц и я! Это нерусское новое слово уже прочно вошло в обиход, но что оно означало?

Многие из нас весьма смутно представляли себе, что такое эвакуация. Знали, что вывозятся заводы, люди и другие ценности из прифронтовой полосы на восток. По этой информации выходило, что эвакуация проводится по каким-то планам, расписаниям.

Но неужели на нашем заводе обстановка так плоха, что надо срочно уезжать? Эта мысль не давала мне покоя весь остаток дня, пока я заканчивал свои дела. Воронеж, думалось мне, середина России, глубокий тыловой город — и эвакуация. Такое не уместалось, не укладывалось в голове.

Наш завод — арсенал армии, где все было нацелено на выполнение директивы ГКО о непрерывном наращивании выпуска самолетов, так необходимых фронту, и прекращение изготовления этого оружия — эвакуация... Понять это в те часы, имея в качестве информации только телеграмму-вызов, было невозможно.

Не знаю, что подействовало на коменданта Павелецкого вокзала — то ли телеграмма, то ли мой расстроенный вид, а может быть, он имел какие-то указания, — но записку в кассу он мне выдал почти без расспросов. Поезд «воронежская стрела», как мы его называли, отошел, помнится, в свое время, но где-то недалеко от Москвы первый раз застрял надолго. В купе мягкого вагона, куда мне достался билет, я оказался в одиночестве и вскоре спал крепким сном молодого уставшего человека.

Видимо, выбившись из графика, наш поезд подолгу стоял на каждой станции, пропуская различные эшелоны. В Воронеж мы прибыли только 10-го, и в середине дня я наконец добрался до дома.

В центре большой комнаты нашей квартиры стояли два заключенных плоских ящика из-под приборов и чемодан. На чемодане записка: «Я на погрузке, вещи упакованы. Галя».

Побежал на завод. Комната, где размещалась моя бригада, пуста. Обрывки бумаг, открытые шкафы и столы говорили о том, что все необходимое уже вынесено. В кабинете начальника СКО сидел Анатолий Соболев и просматривал какие-то списки.

— А вот и ты, очень кстати, — приветствовал он меня. — Твоя Галя нам житья просто не давала расспросами о тебе. Иди на погрузочную площадку, там все наши.

— Постой, Анатолий, ты хоть коротко расскажи, что у вас тут происходит, я ведь ничего не знаю, только что с поезда.

— Что делается? Объявлена эвакуация завода куда-то на восток. Куда именно — неизвестно. Наш конструкторский отдел и технологов отправляют первым эшелон. Вот ты с семьей едешь в двадцать пятом вагоне. Твой посадочный талон у Назаренко. Учти, что с собой разрешено брать только одежду, продукты, посуду. Никакой мебели и других громоздких вещей, так как вагоны в остром дефиците.

— Когда отправляемся?

— Точно неизвестно, может быть, сегодня вечером. Погрузка чертежей и нашего отдельского имущества уже закончена. Сейчас идет подготовка к погрузке семей. Иди на площадку, там Николай Петрович, доложишь ему, что прибыл, и получишь указания, что делать.

Первый эшелон, с которым нам предстояло эвакуироваться, состоял из большого количества товарных вагонов. Для семей сотрудников выделили маленькие, шестнадцатитонные, вагоны, которые тут же на путях своими силами переоборудовались под теплушки. В каждом вагоне устраивались нары и устанавливалась чугунная печка, труба от которой пропусклась через крышу.

Николай Петрович Назаренко выслушал мой краткий рапорт по командировке, выдал мне посадочный талон и прикомандировал к бригаде, которая оборудовала вагоны.

Поздно вечером 10 октября произвели погрузку отъезжающих семей, и первый эшелон покинул территорию завода. Ночь мы простояли на запасных путях рядом с заводским забором, а на рассвете 11 октября тронулись в неизвестный нам путь.

Основная идея плана эвакуации состояла в том, чтобы, осуществляя перебазирование завода на новую площадку где-то на востоке, одновременно продолжать выпускать на старом месте, в Воронеже, очень нужные фронту самолеты «ИЛ-2».

Техническими подробностями плана предусматривалось, что перебазирование цехов и отделов должно осуществляться последовательно, с учетом места, занимаемого подразделением в технологическом процессе постройки самолета. Первыми уезжают конструкторы и технологи с чертежами и другой технической документацией. Вместе с ними едет часть сотрудников отделов главного механика, энергетика, плановый отдел, бухгалтерия. Все сотрудники едут с семьями. Следом за ними отправляются цехи подготовки производства. Эти подразделения должны на новом месте проводить подготовку к развертыванию основного производства.

Но вывозка подразделений, не прекращая работы в Воронеже, еще не гарантировала решения поставленной задачи по обеспечению бесперебойного выпуска самолетов. Цикл постройки самолета достаточно велик, и если на новом месте его выполнять полностью с начальной стадии, то изготовленные там самолеты взлетели бы не скоро. Поэтому почти одновременно с конструкторами и технологами в дальний путь должны были ехать ящики с деталями, узлами и агрегатами самолета «ИЛ-2», изготовленными в Воронеже. Это была часть задела цехов воронежского завода, продолжавших круглосуточно выдавать продукцию.

Коллективы цехов основного производства делились на две части. Одни оставались в Воронеже и до определенного времени продолжали выпуск самолетов. Другие уезжали на новую площадку, где им предстояло начать освоение новой территории и налаживать выпуск тех же самолетов сначала из воронежских агрегатов и деталей, а затем и самостоятельно. По мере выполнения установленной программы заготовительные и агрегатные цехи будут сниматься с воронежской площадки и переправляться на новую. Цех главной сборки и летно-

испытательная станция уедут из Воронежа позднее всех, после выпуска последнего самолета.

Теперь, когда три прошедших десятилетия очистили описываемые события от шелухи «мелочей», план перебазирования нашего завода предстает во всем своем величии и поражает простотой и мудростью. Сейчас и сам план и его исполнение выглядят четкой, ясной, как по нотам сыгранной симфонией.

В те времена, честно говоря, такого ощущения не было у многих из нас. И тем большая заслуга партийной организации и руководства завода, на мой взгляд, заключается в том, что они не допустили в коллективе панических настроений, хорошо продумали многие детали плана эвакуации и твердо возглавили его выполнение.

IV

Утром 19 октября 1941 года наш эшелон остановился на какой-то станции или разъезде с небольшой будочкой, заменявшей вокзал. От свежеевыпавшего снега все вокруг казалось необычно светлым, и люди высыпали из вагонов. Кто-то принес «разведанные»: если пролезть под стоящими рядом составами, то окажешься на станционном базарчике. Там есть ларек, где по карточкам можно получить хлеб. Помнится, это был свежий, теплый хлеб из пшеничной муки простого помола, удивительно ароматный и вкусный. Конечно, выстроилась очередь и ларек быстро опустошили.

На базарчике несколько женщин продавали свежее сливочное масло собственного изготовления. Масло в виде шариков весом полфунта лежало на капустных листьях. Его быстро раскупили, так же как молоко и другую снедь.

А эшелон все стоял, и никто не знал, когда он тронется. Мимо проносились составы и на запад и на восток, а мы стояли. Недалеко от станции начиналась площадка какого-то огромного строительства, обнесенного изгородью из колючей проволоки.

...Прошло не менее двух часов. Мы уже успели запастись топливом для вагонных «буржуек», сварили и съели завтрак, а положение не менялось.

Наконец появились начальник нашего эшелона И. Т. Измалков и Н. Д. Востров. Собрали старших по вагонам и объявили, что мы... приехали.

— Сейчас вагоны с заводским имуществом отцепят от эшелона и подадут на заводскую площадку, — пояснил Измалков, — а что вам делать сейчас, расскажет Николай Дмитриевич.

Он вновь убежал, а мы окружили Н. Д. Вострова и засыпали его вопросами:

— Николай Дмитриевич, отсюда видно, что строители только стены корпусов выкладывают, значит, завода еще нет. Ваше впечатление от нового места? Где мы будем жить?

— Ну, друзья, вы много от меня хотите сразу, — отбивался Востров. — Строительство завода в самом разгаре. Должен вам сказать, что он будет великолепным. Лучше нашего воронежского. Планировка хорошая, корпуса большие, но, повторяю, строительство еще далеко не закончено.

— Так мы-то что здесь будем делать: корпуса строить, кирпичи таскать или самолеты делать? — Вопрос прозвучал явно вызывающе.

Все притихли.

— А все будем делать, что потребуется. Вот сейчас, — возвысил голос Востров, — прежде всего необходимо разгрузить вагоны. Выделяйте мужчин покрепче, человек по десять от вагона, и пойдем со мной. Всем взять посадочные талоны, сегодня они будут вместо пропусков. Остальным ждать нашего возвращения.

Конечно, в поход на новый завод, в первый поход, пошли не по десять человек от вагона, а больше — образовалась целая колонна. Каждому не терпелось поскорее посмотреть, что же это за место, куда так долго ехали и где теперь придется работать.

Мы ступили на асфальтированное шоссе, уходящее в глубь стройплощадки и покрытое толстым слоем глины. Через несколько минут наша группа напоми-

нала большую стаю мух, дружно усевшихся на лист свежей липучки... Как ни тяжело было двигаться, но минут через тридцать мы все же добрались до разгрузочной эстакады, куда были уже поданы первые вагоны нашего эшелона. Началась разгрузка, дело для нас незнакомое и тяжелое.

А наутро команда: работники завода поселятся в бараках близ площадки, семьи — в ближних деревнях.

Следующий день ушел на устройство быта, заготовку топлива. А на третий день мы снова шагали по знакомому шоссе к своему месту работы — разгрузочной эстакаде, куда уже прибыл следующий наш эшелон.

Поселили нас в барак, снабдили матрацами, одеялами. Быт постепенно начал налаживаться.

...Эшелоны из Воронежа с оборудованием цехов и деталями самолетов прибывали регулярно. Приезжали и работники завода с семьями. Все подключались к разгрузке транспортов и размещению оборудования в новых корпусах. Мы забрасывали «новичков» вопросами:

— Как дела в Воронеже, на заводе?

Весточки с родины заставляли сжиматься сердца от боли. На второй день после нашего отъезда, 12 октября, произошел очередной налет немецкого самолета на завод. Крупная бомба попала в крыльевой цех, были жертвы... Но врагу не удалось сломить людей — завод работает, самолеты взлетают с нашего аэродрома и уходят на фронт. Основная идея плана эвакуации завода — не прекращать выпуск «ИЛов» — успешно реализуется, и это нас очень радовало.

К сожалению, мы не могли чем-либо порадовать своих новоприбывших товарищей. Наступала зима, с жильем было архитрудно, в некоторых цехах не закончили возведение стен, в других отсутствовали крыши. Казалось, было от чего прийти в уныние, повесить нос. И, что греха таить, некоторые из нас не выдержали натиска невзгод, захандрили. К счастью, таких среди нас оказалось немного, буквально единицы, и с помощью коллектива они постепенно приходили в себя и по мере налаживания нашей жизни становились вновь полноценными работниками.

Дни и ночи напряженнейшего, самоотверженного труда. Конвейер эшелонов, перевозивших оборудование из Воронежа, действовал непрерывно. Задача всегда была одна и та же — быстрее разгрузить очередные вагоны и платформы ввиду их крайней дефицитности. Затем оборудование перетаскивали в цехи, расставляли.

Со временем руководству завода удалось ввести четкий порядок и хорошую оплату на разгрузке и расстановке оборудования.

Приезжавший в те дни к нам на завод С. В. Ильюшин вспоминает: «Останавливались составы, и тяжелейшее и сложнейшее оборудование словно ветром сдувало с платформ».

А как же и почему С. В. Ильюшин оказался в то время на нашем заводе?

Не случайно при эвакуации из Москвы ОКБ Ильюшина направили именно в тот город, в районе которого разместилась новая площадка нашего завода. Действовало простое соображение: конструкторский коллектив — автор штурмовика «ИЛ-2», должен находиться поблизости от ведущего завода, выпускающего эту машину, чтобы помогать заводу в трудное время.

— Совсем немного вещей захватили мы с собой из Москвы, — вспоминают сотрудники ОКБ Г. Л. Марков и М. Г. Овчинников, — только чертежи, необходимые справочные материалы, чертежные принадлежности да несколько столов, стульев и шкафов. Но когда все это немудреное хозяйство затащили в наши новые апартаменты, то... повернуться там стало почти невозможно. В разгар «вселения», — продолжают вспоминать товарищи, — в нашем доме появился Сергей Владимирович Ильюшин. Он, как всегда, принял самое деятельное участие в общих хлопотах по устройству рабочих мест в новом помещении, напоминая нам народную мудрость, что не место красит человека, а человек место... Помнится, поздно вечером первого дня все мы, смертельно усталые, расстелили на полу комнат нашего нового ОКБ матрацы и так вот, вповалку, и улеглись спать

не раздеваясь. Сергей Владимирович был здесь же, спал рядом с нами, укрывшись своей выдавшей виды меховой кожанкой. Тем временем местные власти прилагали все силы, чтоб облегчить наш быт. Комиссии горсовета с активом и представителями завода выявляли возможности расселения наших семей в городе в частных домах и государственных. Строился заводской поселок.

И вскоре пятерым холостякам ОКБ отвели небольшую комнатку в квартире соседнего дома. Вместе поселились: Г. Л. Марков, М. Г. Овчинников, А. М. Македонский, Н. И. Максимов, В. А. Иванов. И начались рабочие будни.

Эвакуация нашего завода по времени совпала с периодом ожесточенных сражений на подступах к Москве. Как ни скупы были сводки Совинформбюро, но и по ним и другим газетным сообщениям, а также по рассказам встречавшихся нам людей с предприятий, эвакуированных из Москвы, мы могли составить себе хотя бы и самое общее представление о серьезности и напряженности положения на фронтах под Москвой.

Более полная картина военной обстановки вокруг столицы предстанет перед нами значительно позднее. Тогда мы не знали, что по плану «Тайфун» против столицы Советского Союза сосредоточено более сорока процентов немецких войск, три четверти воевавших танков, почти половина орудий и пулеметов и около одной трети самолетов, действовавших на фронтах.

Много времени спустя после окончания войны миру станет известно заявление Гитлера: «Там, где стоит сегодня Москва, будет создано огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа».

Фронт работ на новой площадке непрерывно расширялся. Прибывшие из Воронежа и развезенные по цехам станки и другое оборудование необходимо было скорее заставить работать. Для этого предстояло выполнить как минимум два условия: подать к станкам электроэнергию и закрепить станки на фундаменте. Трудно сказать, какое из этих требований осуществить оказалось сложнее. Капитальную электропроводку к заводским корпусам еще не закончили — значит, необходимо прокладывать временки. Едва станок втаскивали в тот или иной корпус и ставили на место по планировке, как к нему направлялись электрики. И пока несколько работников цеха снимали со станка упаковочную бумагу и обтирали консервационную смазку, электрики подключали к нему временную электропроводку, лапшой свисавшую со стен и потолочных балок.

А как же фундамент и закрепление станка?

Фундамент обязательно будет, ведь без него станок некрепишь, а станина — рама станка — может быть искривлена и станок потеряет точность. Но земляной пол в цехе промерз, его нужно долбить пневмомолотками, которых нет. Бетон фундамента, чтобы не замерз, необходимо прогревать, а как и чем?

Мороз между тем крепчает, станки покрываются инеем. Голой рукой за ручьячки не берись — прилипнет.

Что же делать?

Думаю, что никто из высокого начальства не давал команды разводить костры в цехах. Правилами противопожарной охраны это безусловно запрещено. Но они загорелись, эти костры. В начале робкие, случайные, а затем организованные, в железных бочках, противнях. Конечно, дымные, но вселявшие частицы жизни в промерзшие заводские корпуса, в заснеженные цехи.

Отогрелись руки у костра, вроде бы потеплело в цехе, меньше обжигает металл станка, можно попробовать его запустить.

Щелчок выключателя — и загорелась лампочка освещения, хорошо. Нажата кнопка «пуск» — ожил станок, завертелся патрон, пошел самоход, ура-а, работает! Радостью светятся лица. Растет и крепнет вера в себя, в свой коллектив, в то, что мы все можем!

Но вот прибыл эшелон с кузнечно-прессовым оборудованием. Главным в этом грузе мастодонтов — огромный пресс «бердсборо», который совсем недавно в Воронеже отлично работал. А сейчас он лежал на эстакаде разобранный на ча-

сти, и свежий ветерок, посвистывая, засыпал его безжизненные детали холодным, сыпучим снегом.

Борис Матвеевич Данилов, заместитель главного механика завода, вспоминает:

— Собрались мы тогда на эстакаде, планируем, как организовать транспортировку прессы в цех. Правда, самого цеха тогда еще не было, только фундаменты под прессы и молоты успели положить, стены начали выкладывать. Впрочем, последнее обстоятельство оказалось нам на пользу — проще затащить оборудование. Ведь вес отдельных деталей прессы-гиганта достигал семидесяти тонн. Машина... Пришел на эстакаду директор, — продолжает свой рассказ Данилов, — послушал, как мы собираемся распорядиться, дал команду закрепить за нами второй гусеничный трактор, чтобы тащить детали прессы, а потом задает мне вопрос: «За сколько времени, Борис Матвеевич, собираетесь смонтировать «бердсборо»?» «Обсуждали, отвечаю, мы этот вопрос, Матвей Борисович, и вот что получается по нашим прикидкам. В Воронеже монтаж и наладка этого прессы в свое время заняли полгода при благоприятных условиях работы. Теперь, при нужде, думаем сделать вдвое быстрее, месяца за три, хотя опыта работы в мороз, на открытом воздухе у нас нету». Зашумели мои помощники, как услышали это мое заявление. Еще накануне у нас было много споров по этому поводу. Некоторые доказывали, что промерзшие детали прессы вообще монтировать нельзя: разогревшись, они могут порваться от внутренних напряжений. Ну а чтобы зимой, на открытом воздухе смонтировать пресс за три месяца — да об этом и разговора быть не может... Долго молча слушал директор наши споры, не ввязываясь в них, а когда мы немножко угомонились, сказал, сказал тихо, как бы с трудом выдавливая из себя слова: «Я знаю, товарищи, что требую от вас невозможного, но пресс через месяц должен работать. Понимаете — д о л ж е н!» Повернулся и ушел, прихрамывая, опираясь на палку. А мы молча стояли, глядя ему вслед и постепенно осваиваясь с мыслью: месяц, только один месяц... С того часа работы по перевозке и монтажу прессы шли круглосуточно, не прекращаясь ни на минуту.

Бригаду монтажников возглавил главный механик завода Леонид Николаевич Ефремов, к тому времени приехавший из Воронежа.

— Партийный комитет, придавая очень большое значение этому участку, — рассказывает заместитель секретаря парткома Петр Максимович Федоренко, — рассмотрел на своем заседании график работ по монтажу прессы. Члена парткома Александрова закрепили за столь важным заданием до окончания всех работ. Для коммунистов Ефремова и Александрова по решению парткома монтаж прессы рассматривался не только как производственное задание, но и ответственное партийное поручение. На монтаже гигантского прессы зимой, при сильных морозах и вьюгах, — продолжает Федоренко, — особенно отчетливо проявилась организующая роль партийного звена в группе монтажников. Можно сказать, что это было форменное сражение, в котором коммунисты и комсомольцы поднимали в атаке свои подразделения, были на самых трудных участках, показывали примеры труда. Конечно, заводская администрация делала все возможное для облегчения выполнения задачи. Оборудовали теплушку, где человек мог отогреться, организовали горячее питание на месте работ, подключили в помощь монтажникам необходимые силы смежных цехов — словом, все поставили на службу бригады, на выполнение невиданно тяжелого задания. И люди сделали чудо! Подчас недостаточно тепло одетые, недостаточно сытые, но согретые жаром советского патриотизма, люди свершили чудо: пресс «бердсборо» был смонтирован на морозе и пущен в ход за дв а д ц а т ь п я т ь суток!

Тем временем в цех главной сборки поступили агрегаты самолетов, привезенные из Воронежа.

Не так уж долго, как мы думали, пришлось ждать дня, когда в цех наконец потребовали... конструкторов. И не для перевозки чего-то или оформления транспортного наряда, а для работы по специальности. При сборке само-

летов возникли какие-то вопросы, требующие ответов специалистов, появились неувязки, требующие решения конструкторов. Без этих решений ОТК и военный приемщик не принимали ту или иную операцию. Вновь действует установленный порядок. На старом или на новом месте происходит сборка самолета, плюс или минус двадцать показывает термометр в цехе — законы строительства боевых самолетов одни: все должно быть сделано строго по чертежам. А если, скажем, нет электропровода указанной в чертеже марки, то разрешение на замену его другим электропроводом может дать только соответствующий специалист — конструктор. Причем не просто разрешить, а оформить это разрешение установленным порядком, и это не разгул бюрократии или чья-то блажь. Ведь много тысяч различных деталей только тогда действительно образуют самолет, только тогда все системы и устройства самолета исправно заработают, когда каждая из этих деталей будет изготовлена строго по чертежу. Ну а если все же случилось какое-то отступление от чертежа, то только конструктору, досконально знающему роль этой детали, ее взаимодействие и взаимосвязи с другими деталями, дано право решать, что делать в данном случае. Решать самому или привлекать на помощь других специалистов, ни на минуту не забывая, что наш грозный «ИЛ-2» только тогда и гроза для врага, когда у него исправно работают все системы и устройства.

До телефонов тогда на новом месте еще дело не дошло. Значит, требуется установить непрерывное дежурство, живую связь, принять любые меры, но вопросы решать без задержек.

Трудно, очень трудно давалась сборка первых штурмовиков на новом месте. Мало того что было холодно, но было и голодно. Стационарной столовой, способной накормить большой коллектив работников завода, тогда еще не существовало. В цехах появлялись кухни-котлы (временки), оборудовались буфеты, где можно подкрепиться тарелкой горячего варева, выпить стакан кипятка, заправленного жидким кофе.

Не следует забывать, что в цехах вновь стал действовать военный распорядок рабочих суток — две удлинненные смены по десять — двенадцать часов. А на многих участках восстановилось дополнительное правило: работу не прекращаешь, пока не выполнил задание. Отсюда вытекало требование к столовым и буфетам — обеспечить трехразовое питание каждой смены. Ведь подавляющее большинство работавших в то время не имели возможности позавтракать дома, потому что самого дома в привычном понимании у людей не было. Да и снабжение продуктами по карточкам с каждым месяцем оскудевало.

— Для партийного комитета и лично для меня весь комплекс вопросов, связанных с комплектованием, размещением, обеспечением питанием и устройством быта работников завода, — говорит Николай Иванович Мосалов, — стал главной заботой на новом месте. И в этой связи вспоминается следующее совершенно непредвиденное нами обстоятельство. На завод неожиданно заявила большая группа бывших наших работников, тех самых жителей деревень и поселков из-под Воронежа, по разным причинам не поехавших с нами. Прибыли с семьями. Двинулись они к нам всем миром, когда военная обстановка под Воронежем ухудшилась. Как разместить их?

Много трудностей рождает переселение человека на новое место. Еще больше их возникает при переселении семьи. И в гигантский комплекс проблем превращаются эти трудности, когда перемещаются коллективы, состоящие из многих тысяч семей.

При этом все возникающие проблемы должны решаться одновременно и безотлагательно: обеспечение жильем, питанием, медицинской помощью... Простые житейские дела — помыться в бане, постирать белье, постричься — выросли в проблемы, потому что бани, прачечные, парикмахерские необходимо организовывать заново, с нуля.

У человека порвалась одежда, развалились ботинки — нужна ремонтная служба, ее также необходимо создавать заново.

Кто же все это должен делать, на чьи плечи взваливается организация всех этих служб? Ответ однозначный — на заводской коллектив, его партийную организацию и руководителей завода.

Уже через месяц после прихода первого эшелона в цехе главной сборки на новой площадке были собраны первые штурмовики «ИЛ-2».

В бытовках цеха главной сборки, да и в других цехах стали появляться «спальные места». Люди перестали уходить из цехов после смены, оставались на заводе. На улице лютует зима, в бараках и землянках уюта немного, семья в деревне, куда и зачем уходить с завода? А здесь в бытовках тепло, в цеховом буфете покормят, и работать можно без оглядки, пока задание не выполнишь...

О том, что 6 декабря началось контрнаступление наших войск под Москвой, мы узнали из сводки Совинформбюро только 13 декабря.

А вот о том, что на новой площадке построен и выпущен в воздух первый штурмовик «ИЛ-2», весь заводской коллектив узнал в тот же день, 10 декабря 1941 года.

Мы вспоминаем об этом событии с заместителем начальника ЛИСа, летчиком-испытателем Евгением Никитовичем Ломакиным.

— Первый штурмовик, собранный на новой площадке, — рассказывает он, — готовила к полету бригада бортмеханика Смирницкого. После его доклада о готовности я сообщил директору завода и получил разрешение на полет. Директор сказал, что он сам сейчас приедет на аэродром. Взяв свой парашют со склада, я в сопровождении группы работников летной станции вышел на улицу, направляясь на летное поле. Здесь мы встретились с директором, который подъехал к этому же домику и вышел из машины, так как из-за глубокого снега его «эмка» проехать дальше не смогла. Помнится, что, поздоровавшись с нами и увидев, что я несу на плече парашют, директор возмутился и сделал резкое замечание: «Что это за безобразие, чтобы летчик-испытатель перед полетом таскал на себе парашют! Кто бортмеханик?» Смирницкий тут же взял у меня парашют, и вся наша группа направилась к взлетной полосе транспортного отряда, где стоял наш первенец и откуда мне предстояло на нем взлететь. Около самолета, — продолжает вспоминать Евгений Никитович, — я, как обычно, выслушал доклад бортмеханика, осмотрел машину, надел парашют и собрался влезть в кабину, как директор жестом показал мне, что хочет что-то сказать. Он подошел ко мне и негромко проговорил: «Если у вас все будет в порядке на самолете, то пошумите над заводом, пролетите над корпусами. Надо показать людям, что их тяжелый труд и здесь уже дает плоды». Просьбу директора я посчитал за основную задачу этого полета и постарался ее выполнить.

Некоторым посчастливилось самим увидеть этот исторический полет, многие слышали «голосок» нашего детища. Все находившиеся на заводской площадке знали и горячо обсуждали это огромное событие в нашей жизни. Как же иначе назовешь его, ведь уже здесь, на недостроенной, необжитой площадке, которую чаще зовут строительством, нежели заводом, построен и летает наш самолет «ИЛ-2»!

Его ждали с верой и долготерпением, как ожидают то, что обязательно должно случиться, но произойдет не скоро. Для многих работников завода, занятых, заваленных повседневными заботами на своих рабочих местах, этот полет прозвучал ошеломляюще и в буквальном смысле громоподобно.

Он, этот полет, был не только, да, наверное, и не столько техническим достижением заводского коллектива, а тем моральным фактором, который помог сделать очень важный психологический перелом в сознании многих работников завода.

Мы уже не вырванное с корнем из родной земли перекасти-поле, гонимое ветрами войны неизвестно куда. Нет, мы уже вновь твердо стоим на родной земле, прижились и даем плоды!

Вот что для многих значил первый полет первого штурмовика, собранного на новом месте. Вот о чем пел его мотор в тот памятный морозный день...

А морозы тогда стояли действительно знатные. И не только морозы, но и ветры, и снегопады, и вьюги.

Примыкавшее к заводу поле, на котором началось строительство аэродрома, заносило сугробами снега, а расчищать его нечем. Памятный полет первого «ИЛ-2» готовили на площадке соседнего транспортного отряда. Там не было самолетов с моторами водяного охлаждения, и воду для нашего пришлось греть на костре в каких-то чанах...

Словом, опять беда!

В главной сборке военные представители один за другим принимают законченные монтажи самолеты, а летать им негде. Руководство завода докладывает о сложившейся обстановке в наркомат и получает указание: принятые военпредом самолеты отрабатывать на земле, затем вновь разбирать, грузить на железнодорожные платформы и направлять... в Москву. Организовать это необходимо немедленно, штурмовики очень нужны на фронте!

Команда получена и принята к исполнению. Теперь судьба декабрьской программы завода определена — самолеты уедут по железной дороге...

(Продолжение следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕНРИХ БОРОВИК



МАЙ В ЛИССАБОНЕ*

Записки о первых днях португальской весны

Пластинку с песней «Грандула, вилла морена» («Грандула, моя смуглянка») купить почти невозможно. Обошел десяток магазинов, больших и маленьких: «нет», «неделя, как кончилась», «расхватали в один день», «ждем новой партии» и т. д.

В книжном магазине видел, как продавец ставит на витрину «Мать» Горького и «Капитал» Маркса. А рядом к стене прикрепляет плакат: улыбающийся солдат с гвоздикой на куртке поднимает кверху два пальца — знак победы — и ставит их на месте буквы «U» в слове «Portugal». Очень хороший плакат!

И над всем в Португалии, или внутри всего этого, как тяжелая болезнь, о которой могут не думать только ночью во сне и которая тупым ударом молота бьет по сердцу и по сознанию каждое утро, как только проснешься, — война.

Очень далекая война — где-то в Африке. И очень близкая. Потому что идет она тринадцать лет, потому что страх за гибель близкого человека пронизывает все слои португальского общества.

Иностранному журналисту трудно почувствовать войну здесь, в Лиссабоне. Надо быть португальцем, чтобы услышать ее в звонке почтальона, стоящего у твоей двери.

В газете «Секулу» опубликовано письмо из Гвинеи-Бисау. Пишут два солдата:

«Дорогие наши. Мы хотим сообщить вам, что здесь все солдаты с огромным интересом следят за событиями, которые произошли и происходят в Португалии, хотя часто мы не знаем деталей, подробностей, потому что газеты приходят сюда слишком поздно. Родные наши, мы просим у вас помощи, потому что она может оказаться решающей для нас. Прежде всего мы просим не забыть о нас, потому что нельзя, чтобы семья забыла своих сыновей, которые до сих пор ведут здесь эту бессмысленную войну, убивают и гибнут сами, гибнут от пуль, перестают быть людьми, теряют свое человеческое достоинство. Бессмысленные жертвы в аду — вот что такое колониальная война для нас. У всего этого нет никакого оправдания. Мы просим вас: в тот час, когда к вам придет это письмо, отложите по возможности все второстепенные дела, обратитесь с требованием ко всем, от кого это зависит, чтобы война кончилась немедленно, чтобы мы в конце концов смогли бы вернуться к мирной жизни, снова обрести наши дома, где есть радость и любовь, снова найти наших друзей и ту свободу, которая теперь существует в Португалии. Мы с радостью узнали о ней по тем крохам новостей, которые все-таки приходят сюда. Мы — ваши сыновья, братья и мужья, и мы просим вас сделать следующее. В каждом городе, в каждой деревне, по всей стране объединитесь, наши братья, наши матери, сестры, отцы, организуйте комитеты и группы, кото-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 2, 3 с. г.

рые могли бы просить временное правительство и всех тех, кто близок к патристическим вооруженным силам, о немедленном окончании войны и возвращении всех солдат. Родные наши и все те, кто читает это письмо, используйте все возможности — письма, телеграммы, открытки, телефонные звонки, — просите правительство, просите твердо, требуйте, чтобы немедленно возвратились наши войска из колоний, чтобы немедленно прекратилось кровопролитие».

Их трое. Они сидят в трех углах большой спокойной комнаты. Каждый в своем кресле, каждый у своей лампы.

Зеленое и белое — главные цвета этой комнаты. Кресла старинные — действительно старинные, — ковер дорогой, вытертый. В зеленоватой вазе несколько сухих веток. Электрические свечи под зелеными абажурами. Окна, прикрытые сверху ставнями, будто приспустили веки. Солнечный свет на полу лежит нотными строчками. Тихо. Спокойно. Англия. Эпохи королевы Виктории.

Это тот самый клуб в Лиссабоне, о котором говорил Карлуш и где советовал встретиться и поговорить с официантами.

И течет в этой комнате тихая, негромкая, отчетливо-спокойная беседа. Все трое держат перед собой газеты. Просматривают неспешно. И беседуют тоже неспешно. С паузами. По-английски. Четвертого в комнате не стесняются.

— Получили приглашение на выставку?

— Угм.

— Были?

— Угм.

— Ваша оценка?

— М-м... не сформировалась.

— Выставка?

— Оценка.

— Осторожничаете. Зря. Теперь демократия.

— Я слышал.

— Где он жил все эти годы?

— Кто?

— Ну этот, художник.

— Не знаю. Кажется, во Франции.

— Бедняжка.

— Заметили? Книжки на витринах новые. Карл Маркс. Энгельс. И наш друг

Спинола.

— Попал в компанию!

— Да. А слышали? Собираются дать концерт запрещенных песен.

— Слышал.

— Будет грандиозный успех.

— Возможно.

— Еще говорят, теперь будет расцвет всех искусств и литературы.

— Что ж, интересно понаблюдать.

— Только демократия не полезна искусству.

— Простите?

— Демократия, говорю, искусству не на пользу.

— Опять не понял.

— Опять осторожничаете?

— Господь с вами! Чего мне-то осторожничать? Я действительно не понял.

— Хорошо, объясню. Ну, например, Афонсо. Как композитор он погибнет года через два. Если, конечно, ничего, ну... не случится.

— Почему?

— Ему было достаточно раз в год писать песню, которую запрещали, — и сразу слава по всей стране и песня по всей стране. Теперь он лишился великой привилегии — ходить в запрещенных. Теперь, чтобы быть модным, ему придется писать полсотни песен в год. Отличных песен. Из него выйдет воздух. Поверьте,

свобода — коварная штука. Ею можно, хе-хе, и захлебнуться. Свобода — это ответственность. А далеко не каждый жаждет ответственности.

— Тем не менее они пишут, что наше с вами время прошло.

— Пусть пишут.

— Читал вчера одну статейку. Кажется, в «Секулу». Почерпнул много интересного. Оказывается, наша игра сыграна.

— Названы наши фамилии?

— Нет, только клуб.

— Клуб — понятие растяжимое.

— Пишут, что наш клуб — пристанище реакции. Что здесь ничего не изменилось после двадцать пятого апреля.

— Ну как же не изменилось? У нас теперь новый парадный сервис. Вчера подавали на обеде в честь этого... ну, либерала. Жаль, что вас не было.

— Летал в Мадрид.

— Вон что. Как погода там?

— Отличная.

— Над всей Испанией, так сказать, безоблачное небо?

— Кажется, так.

— Неужели никакого беспокойства?

— Самую малость.

— Это легкомысленно. Пусть побеспокоятся. Беспокоиться полезно... Да, так вот новый сервис был отменен.

— Голубой? Тот, что заказали в Англии еще в марте?

— Совершенно верно. Они оба прибыли из Англии: сервис и наш достопочтенный либерал. Правда, сервис, пожалуй, выглядел получше.

— Были речи?

— Как водится.

— Что-нибудь примечательное?

— Либерал говорил, что в процессе демократизации надеется и на поддержку членов нашего клуба.

— Да? И что же ему ответили?

— Наш президент выразился в том смысле, что мы всегда поддерживали либеральные начинания и что наш клуб, так сказать, главный бастион демократии в Португалии. К концу его речи я себя чувствовал почти якобинцем.

— Значит, речи были превосходны. Очень рад.

— Да, но превосходнее всего, конечно, была треска в тесте. На новом сервисе особенно. Почетный гость уплетал за обе щеки.

— Не пора ли и нам к столу?

— Время?

— Судя по тому, как вы рассказываете о треске, да.

— Ну что ж, сегодня я, правда, ничего не ем. Просто посижу за столом, выпью рюмочку порто. Отдыхаю после вчерашнего.

Все трое поднимаются и, оставив газеты, медленно удаляются из гостиной в обеденный зал. Сиденья глубоких, кожаных кресел некоторое время почтительно хранят форму их задов.

Художник, с которым я встретился в этом клубе, увел меня в небольшую комнату, где мы оказались одни. А по окончании короткой беседы попросил, чтобы я никому не говорил о встрече с ним.

— Почему?— удивился я.

— Встречу с советским журналистом не простят мне мои враги.

— Зачем же тогда вы согласились на нее?

— Отказ от встречи с советским журналистом никогда не простили бы мне мои друзья.

Нет, все очень не просто в Португалии в середине мая 1974 года, через несколько недель после свержения фашизма.

Концерт давали в одном из самых больших залов Лиссабона. И это был удивительный концерт.

Не потому, что он начался в десять часов тридцать минут вечера — все концерты в Лиссабоне начинаются поздно, часов в десять вечера (и если в гости вас приглашают почти к полуночи, то тоже не поражайтесь). Удивительным же концерт был потому, что впервые в тот вечер со сцены открыто звучали песни, запрещенные при фашизме. Их исполнял самодеятельный хор, который существовал и раньше, который и раньше пел антифашистские песни, но только тогда он пел их нелегально. Наверное, многие знали об этом, во всяком случае из тех, кто переполнил в тот вечер зрительный зал. Потому что, когда распахнулся занавес и открылась сцена, на которой полукруглым гребешком стояли люди — женщины и мужчины, молодые и старые, — зал поднялся и долго стоя аплодировал. А когда перед хором появился дирижер — седой маленький человек в сером костюме, шедший на авансцену как-то боком, мелкими шажками, — зал взорвался новой овацией и криками.

Дирижер постоял несколько мгновений перед восторженно приветствовавшей его и хор публикой не то чтобы с сердитым, но с нетерпеливым выражением лица — ему явно очень хотелось как можно скорей начать. И каждому в зале тоже хотелось этого, но просто они не в силах были прекратить восторженные аплодисменты и крики. Это было приветствие не только хору, не только дирижеру. Это было приветствие песне, замечательному созданию человеческого гения, которая жила и выжила при фашизме, которая давала людям силы в трудную минуту, которая объединяла людей и тогда, когда они чувствовали себя одинокими, покинутыми.

Наконец зал притих.

Дирижер повернулся лицом к хору, приподнялся на носки и, подняв обе руки, пальцами поманил песню к себе. И как только раздалась первые звуки — пьаниссимо, — в зале снова не выдержали, снова зааплодировали, закричали, поднялись с мест. Пришлось начать снова.

Некоторым песням зал подпевал. Некоторые слушал заворожено, в полной тишине. На сцене не было никаких инструментов, хор пел *a capella*. И каждая песня поэтому была обнаженной, пульсирующей, как открытое сердце.

Заканчивалась песня, снова и снова вставали люди не в силах оставаться на месте, что-то кричали, тянули руки вверх с двумя пальцами, образующими букву «V» — виктория, победа. А некоторые не поднимались, не кричали, даже не всякий раз аплодировали. Сидели неподвижно и не вытирали слез.

К сцене подбегали женщины и мужчины, молодые и пожилые, бросали тем, кто пел, красные гвоздики. Седой дирижер нагибался к каждому цветку отдельно и нес его к роялю. К последней песне на черной блестящей поверхности вырос холм ярко-красных цветов. Черное с красным — это было как память о тех, кто погиб, чтобы песня звучала открыто.

В крохотной паузе, когда аплодисменты уже стихли, а новая песня еще не началась, где-то в задних рядах зала послышался резкий стук: то ли сломался стул, то ли упал кто-то, не знаю. Но все, кто был в громадном зале — полторы, две тысячи людей, — повернулись в ту сторону, повернулись сильно и решительно, как на звук вражеского выстрела. И если бы там действительно оказался враг, плохо бы ему пришлось сейчас. Очень плохо.

Во время антракта моя соседка, молодая девушка, объясняла мне, что во времена фашизма этот хор тоже выступал в концертах, но со сцены перед публикой пел лишь обыкновенные песни, не запрещенные. И — удивительное дело — публика всегда находила в них скрытый смысл, будто сложенные или написанные иногда еще в прошлом веке песни, веселые и грустные, протяжные и задорные, были все же антифашистскими. Веселая — это, значит, насмешка над фашизмом, грустная — значит, о горе, которое принес фашизм, гневная — значит, в ней призыв бороться против фашизма. Даже любовная песня тоже против фашизма, потому что любовь и фашизм — вещи несовместимые...

В антракте у входа в театр я видел, как рослый молодой нагловатый парень пытался пройти на концерт без билета. Приближаясь к контролю, он засунул руку в карман, будто собирался вытащить и показать билет, но, поравнявшись с дверью, быстро пошел вперед. Вышколенный билетер, низенький пожилой человек, рванулся за ним, остановил, схватил за руку и тут же показал, что разница в возрасте вовсе не является большим преимуществом молодого. Заведя парню руку назад, он повел его к выходу.

— Фашист!— закричал тогда парень громко.— Ты фашист!

Красное от напряжения лицо билетера вдруг побелело, он выпустил руку парня и в растерянности остановился.

— П-почему фашист?— спросил он тихо.

Парень почувствовал себя выигравшим битву.

— Ты фашист!— кричал он, поспешно двигаясь к зрительному залу.— Какое право ты имеешь хватать меня за руки?!

— Т-ты же без б-билета!— оправдывался билетер.

— Мы тебе покажем билет, фашист проклятый!— крикнул еще раз парень и скрылся за поворотом фойе, а билетер все стоял растерянный, у него тряслись губы.

— Я ф-фашист?!— обратился он к своему приятелю, тоже билетеру, и нескольким свидетелям этой сцены.— П-почему фашист? Он хочет п-пройти б-без билета — а я фашист? Это он ф-фашист, раз без билета! Правда, ведь это он ф-фашист?!

Но не так просто в мае 1974 года получить билетеру ответ на свой вопрос.

— Вы русский?! Не может быть! Советский русский?! И вот так, запросто, здесь? У нас, в Португалии?! Боже, ну кто бы мог подумать месяц назад, что я буду здороваться на улице с советским журналистом?! И говорить по-русски? Ну скажите, пожалуйста, что-нибудь. Ну просто так, несколько слов. Я хочу послушать. Так... Так... Так... Еще, пожалуйста. Так... Так... Так. Боже мой, звучит ну абсолютно как португальский язык, абсолютно! Простите, пожалуйста, а спеть вы что-нибудь не можете? Нет, я понимаю, это глупо просить, но какую-нибудь ерунду, любую песню, что на ум придет. Не считайте меня сумасшедшим. Вы же сами знаете, что португальские песни точно такие же, как русские. И вообще нет ближе народов, чем русские и португальцы. Ведь вы же знаете об этом. Ну спойте что-нибудь, прошу вас.

Можете ли вы устоять перед таким простодушным натиском? Я не могу. Результат: несколько раз я пел песни в Португалии. Понемножечку, конечно. Всего несколько тактов. Но пел. Чаще всего «Из-за острова на стрежень», иногда «В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама». Реакция всегда была одна и та же:

— Боже мой, это поразительно! Как будто я в Алентежу! Сижу вечером и слушаю песни наших португальских крестьян!.. Но ведь это неудивительно, вы же знаете, что русские и португальцы самые близкие народы на земле. Они ведь даже похожи друг на друга...

Такое я не раз слышал в Португалии.

Многие португальцы, которых я встречал, искренне были глубоко уверены, что, во-первых, характеры русских и португальцев схожи, что, во-вторых, внешне мы тоже удивительно похожи, что, в-третьих, языки наши звучат одинаково, а уж народные песни, в-четвертых, мы поем ну просто одни и те же.

Мне трудно утверждать или отвергать первое: три недели в стране — слишком малый срок, чтобы вынести суждение о характере народа. Насчет внешнего сходства у меня имеются, мягко говоря, большие сомнения. Что касается языка, то по количеству шипящих португальский, пожалуй, больше напоминает польский язык, а мелодика его скорее схожа с мелодикой венгерского. Но должен чистосердечно сознаться: ни разу у меня не хватило мужества сказать об этом. Всякий раз, когда мне говорили об удивительном сходстве русских и португальцев, я согласно кивал и подтверждаю сие как аксиому. Тем более что песни,

народные португальские песни — особенно в Алентежу, — действительно очень напоминают наши русские песни и манерой исполнения, и мелодикой, и тем, какую огромную роль они играют в выражении духа народа. (Не знаю, может быть, именно этим вызвано то обстоятельство, что большой магазин на одной из главных улиц Лиссабона носит название «Калинка».)

Долго не мог я взять в толк, откуда эта повсеместная в Португалии уверенность в удивительной близости португальцев и русских. А ведь об этом сходстве писал еще португальский историк XIX века. Может быть, от него и пошла легенда?

Впрочем, почему я пишу это слово — «легенда»? Если люди говорят, что они близки, значит, они близки, если люди говорят, что они похожи друг на друга, значит, они похожи друг на друга, и если чужой язык своей музыкой напоминает собственный, то, значит, это так и есть. И пусть сто раз цвет моих волос не похож на цвет волос Гашпара Рибейры, пусть люди, которых я вижу на улице, скорее все-таки напоминают южнофранцузских крестьян, чем крестьян, скажем, Курской области, — это вовсе, поверьте, не имеет значения. А если кто-нибудь сомневается, пусть послушает, что мне по этому поводу говорил писатель Мануэл да Фонсека.

Мануэл да Фонсека — поэт, новеллист и романист. Он начал писать, когда ему было двадцать лет, но никогда не мог жить писательским трудом, хотя считается одним из лучших новеллистов Португалии. Денег, которые давали ему книги, не хватало, чтобы быть литератором-профессионалом. Всегда приходилось где-то подрабатывать. Пробовал быть бухгалтером, журналистом, редактором, конторским служащим, в общем, кем только не работал, чтобы иметь возможность несколько часов в день спокойно посидеть за столом перед листом бумаги. Откуда-то его увольняли, откуда-то он уходил сам. Иногда, получив минимальные деньги за вышедшую книгу, мечтал, что этих денег хватит, чтобы написать другую книгу. Но не хватало. И он снова шел наниматься.

Я был у него дома в Лиссабоне, в маленькой квартирке, состоящей из нескольких крохотных комнатешек, сообщающихся между собой странными запутанными коридорами и коридорчиками. Мы ели удивительно вкусно приготовленную вареную треску, пили, конечно, вино верде — зеленое вино — и разговаривали, естественно, о литературе и о прекрасном чувстве близости к народу моей страны.

— Да, да, это так, конечно, это так. Разве могут быть какие-нибудь сомнения? — удивленно спрашивал маленький энергичный Мануэл.

Я поинтересовался, действительно ли начало этому положил историк прошлого века.

— Нет, нет, что вы! Разве мог бы историк двумя, четырьмя или даже десятью главами доказать, что наши народы близки? Да нет! Просто они действительно близки. Это доказали ваши классики, ваши писатели.

Он встал из-за стола, взял меня за руку и потащил в другую комнату, не смотря на то, что мы еще не кончили есть, а бутылка вино верде стояла лишь наполовину опорожненной.

— Смотрите, вот в этом шкафу, — и он подвел меня к небольшому остекленному книжному шкафу, — мои самые любимые книги, книги, которые я читаю всегда, перечитываю снова, без которых я не смог бы не только писать, но и жить. Посмотрите, кто здесь.

Он начал снимать книги с полок. «Война и мир». Почти весь Достоевский. Почти весь Гоголь. Чехов. «Тихий Дон». Он протягивал мне их и смотрел на меня удивленно: ну как это я мог говорить об историке, когда вот, вот они, те, кто все это доказал. Х у д о ж н и к и!

— В Португалии чтут и читают французскую литературу. Но в Алентежу, откуда я родом, читают русскую литературу больше, чем французскую. Вы думаете, почему?

Писатель сделал паузу, посмотрел на меня и торжественно поднял вверх руку:

— Потому что Толстой пишет про Алентежу! Шолохов пишет про Алентежу! Гоголь пишет про Алентежу! Про нас, про португальцев. Я же знаю Григо-

рия Мелехова. Он живет у нас в Алентежу. И Аксинью знаю. И отца Григория, этого хромого черта, тоже знаю. Прекрасно знаю. Именно такого, хромого. А Иван Иванович и Иван Никифорович! — Он всплеснул руками, потом схватил меня снова и повел в другую комнату. — Гоголь! — кричал он по дороге. — Гоголь!

Мы вошли в крохотную спальню, где на тумбочке возле изголовья кровати лежало несколько потрепанных книг.

— Вы видели там книги в шкафу, — сказал Мануэл. — Они вовсе не новые, но чистенькие и аккуратные. А эту, вот видите, какая она. — Он взял в руки потрепанную и захватанную книгу. — Она разваливается, ее отремонтировать надо. Я уже три раза ее ремонтировал. Знаете, что это? «Миргород!» «Мир-го-род!» — Он поднял книгу над головой, как икону. — Это же про мой город, все абсолютно: и лужи, и свиньи, и латифундисты. Латифундист Иван Иванович и латифундист Иван Никифорович! — Он произнес имена без запиночки. — И ссорятся они точно так же, и голова у одного — редька хвостом вверх, а у другого — редька хвостом вниз. И суд у нас точно такой же. А вы говорите, — сказал он назидательно, — историк! Да разве может быть серьезнее доказательство, чем доказательство Гоголя!

Пока говорил, книгу держал на одной ладони, а другой все поглаживал ее, будто живое существо.

Потом взял с тумбочки другую — уж совсем развалившуюся. Странички из нее с обтрепанными краями торчали вкось и вкривь. И вообще она была похожа на полуоткрытый веер. Но он взял ее привычным жестом и привычно не глядя привел в порядок, так что все странички моментально оказались сложенными аккуратно, веер закрылся. Это были «Мертвые души». И Мануэл, улыбаясь и предвкушая удовольствие, сразу без поисков раскрыл страницу, как фокусник открывает бубнового туза. И посмотрел на меня торжествующе.

— Разве это не про нас? И зять Межуев, и Пабло Чичиков, и Ноздрев, и Коробочка, и Собакевич, и Манилов, и полицеймейстер — все взяты из Алентежу, все до единого. — Он прочел: — «Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синее, и все, что за лесом, все мое». «Да когда же этот лес сделался твоим?» — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой».

И столько удовольствия, столько торжества, веселости и любви было на его лице, в его глазах, в его голосе, что я невольно залюбовался им. Уже давно мы были не одни, в комнату пришла и жена Мануэла, и его друг, и приятельница жены, которые обедали вместе с нами. И они тоже, слушая Мануэла, смотрели на меня с удовольствием торжества, как бы желая сказать: вот видите, какие уж тут нужны доказательства, если Гоголь свидетельствует, если Толстой свидетельствует.

— А Чехов! — закричал Мануэл. — А Чехов! — И он положил обе книжки обратно на тумбочку и взял третью, тоже донельзя растрепанную. Это были рассказы Антона Павловича Чехова. — А Чехов! — повторил он еще раз. — Это вообще всё! Просто — всё! — И он обвел рукой, в которой держал книгу, вокруг себя, давая понять, что все, что есть в этой комнате, и за стенами ее, и за городской чертой Лиссабона, и вообще во всей Португалии, если не во всем мире, все это описано Чеховым, обо всем этом он сказал свое слово. — Этот мальчик, который пишет письмо в деревню дедушке: возьми, говорит, меня отсюда, возьми... Ведь я таких мальчиков сотни знаю, сотни! А тот чиновник, который умер. Чихнул на лысину начальника и умер. Но ведь такой случай — ну почти такой — тоже был в действительности у нас.

Он сказал это даже с гордостью: в его родном Алентежу случилось то, о чем писал Чехов. Сказал и сам рассмеялся. И все засмеялись.

— Достоевский — прекрасный писатель. Но он гимнаст интеллекта, мистики, религии. Он не всегда про нас. А Гоголь и Чехов — всегда. Чехов вообще, наверное, про всех. Маленький кусочек Чехова — это целый мир.

Ну что ж, доказательство близости русского и португальского характеров действительно было стопроцентное. Никаких сомнений уже быть не могло, хотя бы в отношении Алентежу. Я сказал об этом Мануэлу. Он засмеялся радостно:

— Ну какие, какие уж тут могут быть сомнения! Никаких! Подождите, я еще вам песни покажу!

Мы снова перешли в гостиную. Мануэл с приятелем принесли туда два запыленных динамика и старый-престарый проигрыватель. Долго возились с агрегатом, по-моему, не очень хорошо зная, какую вилку в какую розетку включать. Но в конце концов отладили адскую машину, принесли пластинки и поставили одну.

В комнате зазвучала песня. Ее пел мужчина, один, без музыкального сопровождения, а припев исполнял хор.

И могу засвидетельствовать — это была русская песня. Точно такая, какую поют долгим летним вечером за околицей. Про паренька, который любит девушку: «Брошу я лимон к твоему крыльцу. Если докатится он, что скажешь о том, кто бросил его? Выйди на крыльцо, моя любимая, и возьми лимон. Поднеси к лицу — какой он свежий и крепкий. Я поцеловал его. Прижмись губами к нему и вспомни обо мне. И брось лимон в мою сторону. Он прикатится ко мне. Потому что я люблю тебя».

Достаточно было заменить цитрусовый плод на антоновку или даже на любое другое менее знатное яблочко — и песня могла бы прекрасно прижиться, например, в Курской области.

— Вы знаете, — сказал Мануэл, после того как пластинка закончилась, — в Алентежу самая коллективная песня в мире, и в России тоже — самая коллективная. У нас идут на работу — поют хором, после работы возвращаются — тоже поют хором, берутся под руки, идут по дороге во всю ее ширину и поют. По пыльной дороге десятка два людей идут в ногу, не солдаты, нет, но армия рабочих. Они ведь в Алентежу фактически не крестьяне, а рабочие. Земли у них нет. Сельскохозяйственные рабочие. Шагают, шагают, и возникает песня. Как эта вот знаменитая теперь «Грандула, моя смуглянка».

А потом, как водится, меня заставили спеть. Ну что-нибудь. Любую песню, лишь бы русскую. И я пропел несколько тактов «Из-за острова на стрежень», «Есть на Волге утес» и «Подмосковные вечера». «Вечера» пели уже хором, подтягивали все, кто был у Мануэла Фонсеки дома. Окна были открыты, за ними виднелись темные холмики черепичных крыш и низким шатром висело португальское небо с увесистыми влажными звездами.

Потом снова заводили португальские песни, а Мануэл рассказывал мне:

— У нас с женой много друзей, и мы любим, когда они приходят к нам домой. Но можете верить или не верить, а до двадцать пятого апреля мы никогда не сидели с друзьями при открытых окнах. Да и при закрытых боялись сказать что-нибудь лишнее. А Первого мая впервые после революции пришли к нам друзья, мы сидели допоздна, а точнее до утра, пели, веселились, разговаривали. И окна растворили настежь. Все окна! Это было так необычно, так приятно. Почувствовали себя людьми, а не крысами, которым надо прятаться. Казалось бы, мелочь такая — окна открыты: А праздник!

Он переплел пальцы, и костяшки их побелели — так крепко сжал.

— У нас есть друг, — продолжал Мануэл, — прекрасный человек. Его трижды арестовывала ПИДЕ. Последний раз пытали бессонницей. Не спал восемнадцать суток. Ну и сошел с ума. — Он все не расцеплял пальцы рук. — У него самая страшная болезнь, какая может быть у человека, — никому не верит, совершенно никому. Мне он тоже не верит. Иногда смотрит на меня, и я по взгляду вижу — ждет, что завтра донесу на него, что-то расскажу о нем плохое. Он верит в мире только одному человеку — моей жене. При ней чувствует себя человеком. Если она ему скажет: не бойся, здесь все люди свои, все хорошие, — он ей верит и не боится... Ну вот, Первого мая он тоже был у нас. Я говорю — мы пели, веселились, впервые громко говорили обо всем, о чем хотели. Он тоже был весел. Я подумал: слава богу, у него все прошло теперь. Ведь в остальном он нормальный человек. Но вдруг в середине вечера стал белый, вскочил, подбежал к окну, захлопнул. Показывает на потолок, говорит: «Они там, там, под-

слушивают, я знаю, я слышал шорох, они там, замолчите все...» Это было так страшно, так безумно страшно...

Мы стояли у окна, и Мануэл, рассказывая все это, не глядел на меня, смотрел на тихую вечернюю улицу, где четко слышались шаги какого-то запоздавшего прохожего.

— Когда он сказал эти слова, я почувствовал, что и сам испугался: а если правда, если там действительно кто-то нас подслушивает? И испугался этого своего испуга: что, если я тоже схожу с ума? Мои друзья, все, кто был тогда у нас, позже признавались мне: у каждого мелькнула мысль — а если действительно кто-то подслушивает? Разве это не безумие? — Он пошире открыл окно. — Мы все немножко сумасшедшие, нас запугали. Полвека страха, ежедневного, ежечасного. От этого, наверное, будет очень трудно избавиться. Тюрьма — это всегда страшно. Но, наверное, это не самое страшное, даже если в ней прошла вся жизнь. Самое страшное другое — стать узником самого себя.

Мануэл закурил сигарету, несколько раз глубоко затянулся, но не докурив скомкал, бросил в пепельницу.

— Мы успокаивали его, пытались развеселить, но до утра уже разговора не было. А когда хотели открыть окно, его всего затрясло. Так и сидели с закрытыми окнами. — Мануэл усмехнулся. — До сих пор бывает: сидим иногда в компании, кто-нибудь начнет говорить о политике и невольно переходит на шепот. Потом опомнится, стукнет рукой по столу и скажет: да что же я! Противно. Будто в тебя кто-то ржавые гвозди вбил — в сердце, в душу, в спинной мозг. Двинуться свободно не можешь. Все время помнишь о них. Руки не поднимешь, слова не скажешь. Сейчас начинаем постепенно эти гвозди из самих себя выдергивать. Не сразу получается. Иногда разговариваешь с человеком о чем-нибудь, вдруг он замолчит, уставится на тебя и спросит тихо: «Неужели правда?!» И ты сразу понимаешь, о чем он: неужели это правда, то, что произошло двадцать пятого апреля?! Сейчас уже, конечно, легче, шок, в общем-то, прошел. А в первые дни не верилось.

В один из субботних дней второй половины мая журналисты, собравшиеся в Лиссабоне из многих стран мира, впервые пожаловались на отсутствие событий. Город опустел. Телетайпы бездействовали. По радио передавали музыку. История, правда, показала, что музыка по лиссабонскому радио отнюдь не всегда означает, что в Португалии все спокойно, но на сей раз она все-таки свидетельствовала: сносительных событий нет и не предвидится.

В Лиссабоне царила сорокаградусная жара.

У входа в метро стоял слепой музыкант и меланхолично выводил на мандолине грустную мелодию. Рядом с его тенью на стене начинался длинный, в несколько метров, уже сделавший свое дело призыв, написанный черной краской: «Все в аэропорт — встречать Алваро Куньяла, Генерального секретаря ПКП, 30 апреля!»

Под огромной зеркальной витриной мебельного магазина, за стеклом которой величаво покоилась неправдоподобных размеров роскошная кровать под балдахинном, лежал на асфальте тротуара мальчик лет двенадцати и спал.

Спала на солнцепеке толстая продавщица газет и журналов, прикрыв лицо полями мексиканской соломенной шляпы.

Солнце подходило к зениту, и испуганная человеческая тень пыталась уменьшиться до размера подошв, чтобы спрятаться под ними.

В эту субботу Португалия впервые отсыпалась после революции.

Под полуденным солнцем, на ослепительно белом от света и жары пустынным тротуаре возле министерства общественных связей стояли четыре польских кинематографиста и спорили, что снимать, куда ехать. Снимать сегодня было явно нечего, ехать некуда. Впору было махнуть рукой и сказать себе — мы снимаем уже десять дней подряд по двадцать четыре часа в сутки, мы имеем право отдохнуть, поехать на пляж, искупаться или просто полежать в номере гостиницы, почитать, поспать — мы тоже не железные. Но беспокойная душа кинематографистов и печальный пример Фреда Бетчера не позволяли сделать это.

Корреспондент АДН Фред Бетчер, прилетевший в Лиссабон 1 мая, работал как бешеный. Он посылал в Берлин ежедневно по несколько материалов, причем репортажных, а не сделанных по местным газетам. По три, а то и по четыре раза в день он скромно заходил в пресс-центр. Небольшого роста, крепко сколоченный и одновременно элегантный, лет, наверное, сорока трех — сорока четырех, он тихо садился за телекс и безо всяких черновиков, лишь положив перед собой блокнот с записями, «живьем» отбивал на перфорационной ленте очередную корреспонденцию. В такие минуты пресс-центр затихал. Каждый терзался мыслью, какое очередное «перо» вставил адэновец своим коллегам. Всех еще интересовал вопрос, когда Фред спит. Так вот этот самый Фред Бетчер решил три дня назад отдохнуть, поспать подольше, расслабиться. Но журналисту, как и солдату, видимо, нельзя расслабляться. Расслабься, сбрось нервное напряжение — и все, ты немедленно становишься удобнейшей мишенью для подстерегающих тебя болезней. Фред расслабился на несколько часов — и пролежал после этого несколько дней с острым нервным истощением и общим переутомлением. А его коллеги по пресс-центру пришли к единодушному выводу: нет, нельзя журналисту расслабляться!

Вот и стояли поляки под солнцем и спорили. И во время спора оператор ухитрялся немножко снимать — то прохожего, читающего газету, то женщину, несущую на голове огромную корзину с фруктами. Но это ведь так, виньетки. Были два фактора, которые поляков особенно беспокоили, даже молчаливого звукооператора. (Почему это, скажите вы мне, все звукооператоры во всех странах — молчаливые люди? Прислушиваются к звукам? Или настолько устали от записываемых шумов мира, что мудро уговорились не добавлять к ним своих голосов?) Первый фактор: внимательные мальчики из пресс-центра министерства общественных связей, которые никак не могли помочь полякам в смысле организации каких-либо событий, сообщили тем не менее, что группа не то английских, не то французских телевизионщиков собиралась поехать в какой-то маленький городок неподалеку от Лиссабона, где, как они говорили, «возможно, произойдет что-то интересное».

Что интересное? Когда произойдет? Почему произойдет? По какому поводу? Сколько процентов вероятности заключено в слове *в о з м о ж н о*? Что это за городок неподалеку от Лиссабона? На все эти вопросы мальчики из пресс-центра ответа дать не могли. Не могли они также сказать с уверенностью, действительно ли уехали те самые не то англичане, не то французы или только собирались. Все это мучило деятельных поляков уже больше часа.

Второй фактор, постоянно действующий, беспокоил польскую киногруппу круглые сутки: где находятся польские телевизионщики? где эти главные соперники? Сидят в отеле, бродят по городу, спорят на солнцепеке о том, что делать, или — о ужас! — находятся где-то в интереснейшем месте на интереснейшем событии и снимают, снимают, снимают! Последняя мысль, хотя никто из четверых ее не высказывал, приводила веселых поляков в уныние. Можно было бы, конечно, позвонить в отель прямо самим телевизионщикам и узнать. Но тут мешала гордость. Кроме того, звонок в отель не принес бы успокоения. Ну, хорошо, они позвонят и обнаружат, что телевизионщиков нет. Значит, возможно, они что-то снимают. Убедиться в этом, право, страшнее, чем остаться в неведении. Если же телевизионщики в номере и ничего не снимают, то придется тут же куда-нибудь бросаться и что-то снимать (а что снимешь в эту проклятую субботу?!), иначе как же еще обойдешь всемогущее телевидение, которое мало того что делает фильм о событиях в Португалии, но еще и посылает из Лиссабона в Варшаву ежедневные репортажи.

В общем, друзья поляки находились в том сквернейшем состоянии, которое Наполеон считал самым ужасным, — состоянии нерешительности (лучше принять неверное решение, чем не принять никакого, постоянно убеждал великий полководец своих друзей, ссылаясь на собственный опыт). Друзьям полякам был необходим внешний импульс. Нужен был кто-то, кто вывел бы их из состояния мучительной нерешительности и либо поехал вместе с ними в тот самый городок, на-

звания которого они не знали, либо пошел с ними в отель пить холодную сервесу и участвовать в великом и плодотворном процессе журналистского «трепа».

И, кажется, таким импульсом они хотели сделать меня.

Но я не мог пойти с ними в отель пить сервесу. Не мог я и отправиться в тот злосчастный городок — не то Альмадо, не то Дальнадо, — куда не то поехали, не то нет не то французы, не то англичане, не то (будь они трижды неладны) телевизионщики, не то киношники не то снимать, не то просто провести время на лоне природы.

Не мог. Потому что эту субботу я должен был провести в тюрьме Кашиас.

Тюрьма была ослепительной.

Огромное белоснежное здание, стоящее на вершине холма, увеличенное в высоту еще и башней в центре.

Гордость!

Нет, другого чувства, наверное, не испытывали правители Португалии, когда воздвигали на холме под Лиссабоном это новое тюремное здание. Гордость, только гордость.

Да, их называют фашистами. Да, у них есть тюрьмы. Но они не стесняются этого. Комплекс неполноценности не их болезнь. Вот она, главная тюрьма Португалии. Они построили ее у устья реки Тежу. Так что каждый корабль, приходящий с Атлантики, может видеть это гордое здание, похожее скорее на загородную больницу, чем на тюрьму. Да, на больницу, потому что здесь людей лечат. Духовно и, если хотите, физически. Отсюда люди выходят очищенными, с легкой совестью, готовые начать новую жизнь. Сколько энергии положили коммунисты, чтобы оболгать Португалию, сколько говорят и пишут о страшных португальских тюрьмах. Но пожалуйста, пусть Международный Красный Крест присылает сюда любых самых строгих своих представителей, они увидят, что нет тюрем гуманнее, нет тюрем человечнее...

Так или почти так — могу себе представить — рассуждали хозяева Португалии, утверждавшие этот грандиозный тюремный проект.

И действительно, тюрьма блистательна.

Ее камеры заняты солнцем. С одной стороны из них открывается чудесный вид на зеленые холмы, на узкую извилистую дорогу, теряющуюся где-то среди деревушек с черепичными крышами. С другой — на устье Тежу, на паромы, входящие сюда с Атлантики, на другой берег реки, на облака и на океан вдаль. Изумительный вид. Любой горожанин, заматанный суматохой урбанизма, мечтал бы о виде из окна, который имеют политические заключенные тюрьмы Кашиас.

Карлуш провел свой «фольксваген» вокруг тюремной стены. Стена окружала огромный холм у подножья. Склоны холма были покрыты ровной, низкой, аккуратно подстриженной травой. Ни дерева, ни кустика — голое пространство. Каждый человек, появившийся здесь, — на ладони, на мушке пулеметов, которые тут же ударят со сторожевых вышек. Вышки каменные, как и стена. Сделанные на совесть. На столетия. Навсегда.

Карлуш еще раз провел «фольксваген» вокруг стены, будто не в силах свернуть к воротам, будто загипнотизированный величественным видом этого грандиозного сооружения.

— Такую тюрьму могло построить только правительство, для которого тюрьмы — одна из важнейших граней жизни, — сказал он, когда все-таки решился наконец повернуть к воротам по узкой дорожке, отделившейся от кольца. — Я часто бывал поблизости. Тут рядом национальный стадион (нет, не избавиться от воспоминаний о Чили, они подстерегают на каждом шагу!), но сюда старался не заезжать. Никто сюда не заезжал. Слишком страшная дорога, чтобы ездить здесь по своей воле.

Страшная дорога? Нет, честное слово, не было у меня этого ощущения. Скорее торжественная дорога. Но не страшная. Слишком уж ослепительным было здание тюрьмы, слишком солнечным, чтобы казаться страшным.

Я знал, что всех политических заключенных выпустили из этой тюрьмы вечером 26 апреля, что сейчас там находилось около трехсот наиболее важных сотрудников и агентов ПИДЕ.

Чтобы посетить тюрьму в качестве журналиста, необходимо было выполнить несколько формальностей. Но, может быть, потому, что мы с Карлушем пришли сюда в субботу, когда тут меньше всего ожидали журналистов, нас пропустили без задержки. Моряк в бескозырке с надписью «Армада» над абсолютно русским улыбающимся лицом, сидевший в пропускной будке у ворот, позвонил куда-то, получил разрешение и тут же приказал другому моряку, тоже в бескозырке с надписью «Армада», тоже с симпатичным улыбающимся лицом, открыть тяжелые железные врата, выкрашенные такой яркой небесно-голубой краской, что должны были они вести в рай, а не в тюрьму Кашиас.

И вот мы в тюрьме.

Ее показывает нам Давид Жералдуш, двадцатичетырехлетний военно-морской офицер, назначенный в Кашиас 26 апреля заместителем нового коменданта. В тюремном здании четыре или пять этажей. Соединяются они в центральной башне широкой парадной лестницей, которую, честное слово, не стыдно было бы соорудить и в каком-нибудь оперном театре. Я тогда не записал в своем блокноте, из чего сделана эта лестница, но сейчас мне кажется — она мраморная. Добавить только бронзовых красавиц с лампами на лестничных площадках. Ну, и перила обить бархатом. А так во всем остальном вполне оперный вид. Только запах стоит не оперный — запах кислой капусты и хлорки. И еще, может быть, решетка, отделяющая парадную дверь от вестибюля, но совсем театральная. Настоящая тяжелая мрачная стальная решетка. Двери, правда, в ней открыты настежь. И стоят возле два матроса, переминаются с ноги на ногу. Брюки клещ, бескозырки, в руках карабины. На лестничных площадках вместо бронзовых красавиц тоже матросы, и вместо ламп у них в руках автоматы.

Жералдуш показывает тюрьму добросовестно, подробно, устало и, как мне кажется, немного удивленно. Практически с момента его назначения заместителем коменданта 26 апреля он не выходил отсюда, все время здесь, в этих стенах, в которых раньше, к счастью, никогда не бывал и где, к удивлению своему, каждый день открывает для себя что-то новое и страшное.

В обязанности его входит не только сторожить около трех сотен агентов ПИДЕ, которые содержатся сейчас в Кашиас, но и помогать специальной комиссии, составленной из юристов, врачей, инженеров и представителей армии, в расследовании преступлений, совершавшихся в этой тюрьме (здесь находится и часть архивов ПИДЕ, которые изучаются).

— Я с удовольствием пошел бы сейчас на любую другую самую трудную работу, хоть в бой, — признался Жералдуш.

— Вы не говорили об этом начальству?

Жералдуш только покачал головой:

— Нельзя, я здесь уже кое-что знаю. А другому пришлось бы начинать с самого начала. Да и почему, собственно, другому должно быть тяжелее, чем мне?

Показывать журналисту тюрьму самым подробным образом он считал своей обязанностью и своим долгом. И не пропускал даже мелочей. В комнатах для свиданий заключенных с адвокатами или родственниками показал невидимые микрофоны, провода от которых тянулись в кабинеты начальника тюрьмы и следователей. Показал и эти кабинеты, где стояла спрятанная в книжных шкафах надежная записывающая техника. Показал набор магнитофонных пленок с женскими и мужскими криками, с плачем детей, с похоронными маршами, с заунывным церковным пением.

Вот она, современная камера пыток. В ней нет дыбы, нет металлических щипцов и горна, нет стальных обручей, которыми стягивают голову, нет цепей и крюков, нет «железных масок». Вместо них магнитофонные пленки. Но действуют они куда сильнее, чем те старые, примитивные орудия пыток.

В Кашиас не отставали от технического прогресса.

В этой тюрьме заключенных не били, почти не били. Не вгоняли иглы под ногти, не ломали позвоночников. Пытки были здесь изощреннее.

Здесь пытали полной тишиной или нечеловеческим шумом, пытали чередованием одного и другого, пытали ярким светом и полной темнотой, пытали грубостью и, как ни странно, вкрадчивостью. Здесь вводили в организм человека «сыворотку правды». Здесь делали инъекции пентотала и ЛСД, здесь на десятые сутки, проведенные без сна, врач давал заключенному снотворное, а затем сразу вел на допрос. Здесь вообще врачи выполняли особую, может быть, самую подлую в тюрьме функцию. Именно они изображали здесь вкрадчивых, добрых людей, которых посылали к заключенному, чтобы расслабить волю, усыпить бдительность. Врачи часто сами вели допросы и иногда получали от измученного и обманутого узника те откровенные ответы, которых безуспешно добивались обыкновенные следователи.

Только нечеловечески стойкие могли после таких пыток оставаться людьми, которым инспектор Тиноко не решился бы вложить в личное дело белый листочек со словом «смерть».

— Где сейчас Тиноко?— спросил я.

— Здесь,— ответил Жералдуш,— на третьем этаже, кажется, в шестьдесят третьей камере.— И крикнул кому-то громко:— Эй, в какой у нас Тиноко?

И тот, к кому он обращался, подтвердил:

— В шестьдесят третьей.

На столе в кабинете бывшего начальника тюрьмы лежала фотография. Карлуш взял ее в руки.

— Что это?

— Один из доносов,— сказал Жералдуш.— Демонстрация в Лондоне несколько лет назад против колониальной войны. Видите — фигура, обведенная красным кружком? Знаете, кто это?

— Мариу Соареш,— узнал Карлуш.

— Да, Соареш. Эту фотографию прислал Сильве Паишу, начальнику ПИДЕ, один весьма известный в Португалии человек. Не могу пока назвать его имени.

Жералдуш положил фотографию на стол.

— Что будет с ним? — спросил Карлуш.

— С кем?— не понял Жералдуш.

— С тем, кто послал фотографию Паишу?

— Не знаю,— пожал плечами офицер.— Это не в моей компетенции.

— Ну а лично вы что бы сделали с ним?

— Я?..— Жералдуш подумал.— Презирал бы, наверное...

— И все? — продолжал допытываться Карлуш.

— Не знаю,— пожал плечами Жералдуш.— Может быть, и не все...

Мы поднялись на третий этаж. Здесь развозили по камерам суп, и поэтому резче, чем на других этажах, пахло кислой капустой. Суп везли в большом чане, на маленькой тачке с резиновыми колесами. Суп двигался бесшумно, но запах, распространяемый им, лучше всяких звонков сообщал о том, что наступило время раздачи пищи. Двери поочередно открывались. Дежурные наливали суп в миски и протягивали заключенным. Те брали и отходили в глубь камеры, к столу. Я смотрел на этих людей и дивился их обыкновенности. Ничего в их внешности не было, что отличало бы их от людей: от Карлуша, от Жералдуша, от тех португальцев, которых я встречал на улице. Ничего!

А у инспектора Тиноко были печальные добрые глаза. Он взял миску, проникновенно поблагодарил.

— У него заплаканные глаза, мне кажется,— сказал я Жералдушу.

— Он тут часто плачет,— согласился заместитель коменданта.— Сидит на кровати, тихонько плачет и вытирает глаза платком. Претензий от него пока никаких.

В шестьдесят пятой камере помещался Сильва Паиш, всемогущий хозяин ПИДЕ, генеральный директор Главного управления безопасности, человек, распо-

ряжавшийся судьбой любого португальца, а иногда и судьбами людей за пределами страны. Ему уже вручили миску с супом, и я не мог увидеть главу охранки вблизи. Дверь его камеры, сделанная из толстых крашенных досок, была закрыта. Черное металлическое окошечко в ней — тоже. Но показательную тюрьму, видимо, строили в спешке. На окованные железом двери доски пошли хоть и толстые, но, видимо, недостаточно просушенные. И сейчас между ними кое-где образовались маленькие щелки. Я нашел одну и сквозь нее глянул в камеру. Паиш сидел за столом и что-то писал. Миска с супом стояла рядом. Сильва был в домашней шерстяной бежевого цвета кофте и в шлепанцах. Ноги держал под стулом, виднелись пятки в голубых носках. У него был домашний, уютный вид доброго седого дедушки. Солнечный свет, падавший из окна, образовал вокруг лысой головы нимб. Что он писал? В такой комнате человек его возраста должен писать нравоучительные воспоминания — в назидание потомству. А что писал Сильва Паиш, не знаю.

— Вы говорили, что Тиноко не предъявляет претензий, — сказал я Жералдушу. — А есть такие, которые предъявляют?

— Есть разные, — кивнул Жералдуш. — Один, например, пожелал, чтобы ему сменили камеру. Хочет с видом на океан. Другой заявил, что болен клаустрофобией, и потребовал, чтобы его камеру не запирали или разрешили находиться в другом открытом помещении.

Жералдуш говорил это деловым тоном, без тени возмущения, без иронии. Просто информировал.

— Ну и что же вы — удовлетворили требования?

— С видом на океан отказали, — спокойно и серьезно ответил офицер. — А насчет клаустрофобии приняли во внимание. Разрешили находиться в вестибюле. Вот он, смотрите.

Жералдуш перегнулся через перила оперной лестницы и показал рукой вниз. Внизу на первом этаже в вестибюле, выложенном мраморными плитами, взад-вперед ходил человек. Сверху была видна его желтоватая лысина. Ходил от стены до решетки, отделявшей вестибюль от парадной двери, и обратно к стене. Ходил, заложив ручки за спину, короткими мелкими шажками. Когда кто-нибудь появлялся в двери, человек останавливался и с любопытством разглядывал вошедших. Когда позже, спускаясь, мы проходили мимо него, он, увидев фотоаппараты, быстренько отвернулся, отошел к конторке, поставленной специально для него около его кровати, оперся на нее, сложив руки ладонь к ладони, как для молитвы:

— Его болезнь подтвердил врач? — спросил я Жералдуша.

— Нет, врачу мы его не показывали. Не было времени. Хочет жить в вестибюле — пусть живет. Нам безразлично. Вот только специального часового около него пришлось поставить.

— Похож на конторского служащего, — сказал я.

— Один из главных палачей ПИДЕ, — деловито уточнил офицер.

Карлуш ходил со мной молча, иногда только вслух сожалел:

— Ах, проклятье, не взял с собой камеры!

Действительно, пропадали неплохие кадры — одни заплаканные глаза Тиноко чего стоили.

Карлуш был здесь 26 апреля вечером, но не в самой тюрьме, а около — снимал выходивших на свободу политических заключенных.

— Я снял каждого. Крупно лицо — через телевик. У всех текли слезы по щекам. Я не удержался, тоже заплакал. Все там плакали. Плакали и улыбались. Никогда не видел такого...

— Кто охраняет сейчас заключенных? — спросил я.

Жералдуш снова дал точную справку:

— Мы заменили здесь большую часть старой охраны на моряков. Потому что все бывшие тюремщики, конечно, знали в лицо свое бывшее начальство, были знакомы с ним, и неизбежно возникли бы ненужные контакты. Старую охрану перевели в госпиталь, на некоторые другие объекты. Но кое-кто остался. Из самых старых и опытных. Потому что без них мы бы тут не разобрались.

— А в чем проблема? — удивился я. — Здание, по-моему, простое. Большое, но простое.

Жералдуш посмотрел на меня недоуменно.

— Разве вы не знаете?

— Что? — не понял я.

— Но ведь это только часть тюрьмы. Есть еще невидимая.

— Где?

Жералдуш кивнул в сторону холма, лежавшего за окнами белоснежного здания, в котором мы находились.

И мы пошли в другую тюрьму.

Представьте себе кратер на вершине холма. Аккуратный кратер, квадратный, углубленный метров, наверное, на десять. Каждая сторона квадрата длиной метров по пятьдесят — это стена двухэтажного здания с узкими, словно бойницы, окнами, выходящими внутрь кратера. Вся остальная часть четырех зданий — в холме. На крыше земля. Так что если смотреть с кораблей, которые идут по Тежу, или с машин, что катят по дороге у подножья холма, этих зданий в кратере холма не видно. Растет трава, кое-где на ней разбросаны небольшие домики (жилище охраны) — и все. Для того, чтобы увидеть фасад подземной тюрьмы, выходящей своими четырьмя сторонами во внутренний двор-кратер, нужно было приблизиться к краю кратера и посмотреть вниз. Но к краю никого не пускали. Подступы к нему были огорожены колючей проволокой, закрытой кустами шиповника. А на специальных площадках стояли охранники в серой форме с зелеными петлицами, в черных башмаках и черных крагах до колен. Вместе с охранниками, вооруженными карабинами, службу несли и собаки.

При слабом свете лампочек, которые только подчеркивают темноту вокруг, мы в сопровождении Давида Жералдуша обходим каменную внутренность холма, в котором годами, десятками лет содержались люди. Верхние этажи, те, что имеют окна-щели, выходящие во двор-кратер, это большие низкие каменные залы. В дни волнений, антиправительственных демонстраций в них бросали по несколько сот людей, арестованных во время облав.

Жералдуш подносит к стене спичку. И на сырой штукатурке я вижу очертания руки — кто-то обвел карандашом свою ладонь и написал: «Июль 1972 года». Рядом календарь. Его вели, отмечая каждый день черточкой. Одна черточка, вторая, третья. Очень много черточек. Жералдуш все ведет и ведет вдоль стены зажженную спичку, а черточки не кончаются, спичка гаснет, а они все продолжают.

Старая, еле различимая надпись: «Взяли 1 мая 1957 года. Три недели». Той же рукой рядом: «Снова взяли 10 мая 1962 года». И чуть ниже еще: «Снова здесь. 14 апреля 1970».

Я подхожу к окну. Что мог видеть из этого окна тот человек, что ставил карандашные черточки на сырой штукатурке стены? Стена не меньше полутора метров толщиной. Окно — высотой сантиметров в девяносто, а шириной сантиметров в тридцать, не больше, — забрано толстой чугунной решеткой. Перепилить ее нечего и думать. Рукой до решетки не дотянешься — она у внешней части стены, а протиснуться в оконную щель невозможно. Да если бы и перепилить — куда бежать? Прыгать в этот двор-кратер, где стояли охранники и бегали овчарки? Я приседаю, чтобы увидеть небо, но вижу только кирпич над головой. Я подымаюсь во весь рост, чтобы увидеть землю двора, но и ее не видно. Вижу лишь противоположную сторону подземной тюрьмы с такими же узкими окнами-щелями. Я кричу что есть мочи — смогут ли услышать меня там, в каземате напротив? Но звук голоса, кажется, не проходит через окно, его отражает стена и тут же гасят низкие своды громадного сырого зала.

— Здесь подолгу не сидели, — объясняет Жералдуш, — от нескольких дней до нескольких месяцев. Тут сортировали. Некоторых выпускали, других отправляли этажом ниже.

Этажом ниже камеры на четыре-пять человек. Окна здесь поуже и пониже, чем на верхнем этаже. Дневной свет сюда попадал в микроскопических дозах. Деревянные нары из толстых досок, отполированных телами.

Еще этажом ниже — туда ведут сырые ступени, и Жералдуш предупреждает, чтобы шли мы осторожно, можно поскользнуться, — камеры-одиночки.

Здесь окон нет вообще. Этот этаж целиком под землей. Ни одна из стен его не выходит наружу. Каменная могила. Камень, цемент. Железа и дерева почти нет. Неэкономично — ржавеет и гниет. Последний круг? Нет. Есть этаж еще ниже.

Там карцеры. Мы входим в один из них. Кровать из цемента, похожая на бетонный гроб, параша, лампочка под потолком, забранная железной решеткой, — вот все, что здесь есть. Скользкие мокрые стены кажутся ледяными, хотя на вершине холма сорок градусов майской лиссабонской жары.

Жералдуш закрывает дверь и тушит лампочку. Мы остаемся в полной темноте.

Людей держали так месяцами, в полной темноте. Даже отверстие в нижней части двери, через которое охранник просовывал миску с едой, было с наружной стороны прикрыто куском черной материи, чтобы и на несколько мгновений заключенный не мог увидеть света. И полная тишина. Единственный звук, который доносился до ушей узника, это звук, издаваемый алюминиевой миской, когда охранник двигал ее ногой по цементному полу в камеру.

Все остальное время — ни звука, ни лучика света, ни глотка свежего воздуха.

В этой тюрьме пытали стародавними способами. Здесь били дубинками и специальной стальной спиралью, которая обвивала все тело, здесь приковывали к стене, здесь ломали позвоночники, здесь отбивали молотком фаланги пальцев и кисти рук.

Здесь не прибегали к помощи магнитофонных записей. Ни магнитофоны, ни пленки, ни динамики нельзя было держать здесь — они портились, ржавели, окислялись, размагничивались, выходили из строя слишком быстро.

Люди держались дольше. Многие оставались людьми и после карцеров. И тогда их посылали еще ниже.

Тот инспектор с большими добрыми глазами, которого зовут Тиноко и который трогательно плачет теперь в камере № 63, располагал, оказывается, еще одним этажом, еще одним — последним — кругом.

Мы двинулись бесчисленными переходами, узкими тоннелями, которые шли наклонно вниз. Света здесь совсем не было. Жералдуш давно уже израсходовал спички и теперь нес впереди себя в вытянутой руке огонек газовой зажигалки. С низкого потолка свисала и касалась плеч грубо, наспех сорванная электропроводка. Под ногами хлюпала грязная жижа. Я заметил, что Жералдуш держался за бечевку, которая была протянута вдоль стены.

Каменная скользкая лестница, снова наклонный переход, еще лестница, еще, еще...

На одной из ступеней Жералдуш сказал спокойно:

— Стоп.

— Что дальше? — спросил я.

— Дальше вода...

Я взгляделся в темноту. Действительно ступени вели в воду.

— Здесь через десяток ступеней лестница кончается и дальше идет тоннель, а по его бокам одиночные камеры, — продолжал давать пояснения Жералдуш. — Тоннель и камеры всегда заполнены водой. Одним вода была по грудь, другим по шею. Людей здесь держали неделями.

В желтоватом свете зажигалки я вижу черную маслянистую поверхность воды, две или три ступеньки над ней и впереди вдруг яркий оранжевый предмет.

— Что это?

— Надувная лодка.

На этой лодке члены следственной комиссии и моряки исследуют подводные катакомбы. Их не сразу нашли, эти подводные казематы. Не все охранники хотели о них рассказывать. Вот зачем эта бечевка, которую разматывали, когда матросы шли по неизвестным им переходам. Сегодня суббота. Лодка бездействует. А в понедельник снова начнет плавать по камерам, в которых, может быть, кто знает, найдут еще не одно мертвое тело...

Мы долго выбираемся наверх, стараясь не поскользнуться и не упасть в грязную тюремную жижу. Зажигалка светит все слабее и слабее, но мы все-таки успеваем выйти из подземелья до того, как она гаснет окончательно. Увидеть небо над двором-кратером, зажатым с четырех сторон верхними этажами подземной тюрьмы. — большое облегчение после часа, проведенного в тюремном холме.

Двор ровный, квадратный, чисто прибранный. Проволокой огорожен загон в углу, в котором запирали овчарок, когда во дворе находились те, кого не следовало рвать, или когда заключенных выводили на короткую прогулку.

А в центре двора, тоже огороженная колючей проволокой, — к л у м б а с ц в е т а м и.

— Заключенных, не всех, конечно, выводили сюда на прогулку, — рассказывал Жералдуш. — Выстраивали в затылок друг другу, и они ходили по кругу. Из загона на них лаяли собаки. А сверху с холмов их держали под автоматами охранники.

Я посмотрел наверх и вздрогнул от неожиданности. На крышах тюремных зданий, засыпанных землей, молча, неподвижно стояли люди в форме гитлеровских штурмовиков, с автоматами в руках. Дула были направлены в нашу сторону.

— Кто это?

— Охрана.

— Старая?

Жералдуш кивнул:

— Постепенно меняем. Но сразу всю разве сменишь? Пока еще нужна их помощь. — Жералдуш усмехнулся: — Мы и тюрьму-то всю не знаем. Исследуем. Каждый день открываем что-нибудь новое. Каждый день какой-нибудь сюрприз.

По лестнице мы вышли из кратера и оказались рядом с часовыми. Они с любопытством оглядывали нас. Когда я фотографировал одного, он вытянулся и с шутилой торжественностью отдал честь. Другой захохотал. Лица были круглые, гладкие, красные от вечного пребывания на свежем воздухе — эти всегда несли охрану здесь, на вершине холма.

Я сделал несколько шагов вниз по склону и обернулся — кратера как не бывало. Видна была лишь вершина, поросшая сочной зеленой травой. Весело смотрели на меня желтые зрачки ромашек — любит, не любит, любит, не любит. Метрах в ста пониже стояли домики охраны. Оттуда слышались веселые голоса детей. Еще ниже — в нескольких километрах — величественная Тежу, несущая волны в Атлантику.

Те члены Красного Креста, которые приезжали сюда исследовать условия португальских тюрем, могли и не подозревать о подземной тюрьме, существовавшей под холмом.

Подземная тюрьма пуста. Агентов ПИДЕ, тюремных палачей держат в тюрьме «показательной» (она сооружена в 1972 году).

Мы попрощались с капитаном Жералдушем в мраморном вестибюле новой тюрьмы, где стояли моряки с автоматами и мелко шагал человечек в штатском, палач, боящийся закрытого пространства.

Сейчас я очень хорошо понимал желание Жералдуша пойти хоть в бой, но не быть в этих белокаменных стенах.

У дверей ко мне подбежал, запыхавшись, тюремщик в старой форме. Было ему лет пятьдесят.

— Мне сказали, вы из Москвы.

— Да.

— Разрешите сфотографироваться с вами?

Это была немного неожиданная просьба. Но почему я должен отказывать? Карлуш взял фотоаппарат, тюремщик встал рядом со мной, одернул френч, поправил пилотку на голове и неожиданно достал из кармана газету. Это был первый легальный номер газеты Португальской коммунистической партии «Аванте!», вышедший 17 мая 1974 года.

— Газета коммунистов, — счел нужным пояснить тюремщик. — Я всегда был против фашистов.

Он развернул газету так, чтобы название было обращено к фотоаппарату, и приготовился сниматься.

— А редактора этой газеты вы, случайно, не знали? — спросил я.

— Диаш Лоренсо? Конечно! Мой большой друг!

— В какой камере он сидел?

— В третьей. На первом этаже. Очень хороший человек!

— А в старой тюрьме он тоже сидел?

— Ну как же! — оживленно закивал тюремщик. — Сидел, сидел в старой! И в одиночке сидел, и в карцере, и там, знаете, где вода. — Тюремщик радовался, что все так хорошо помнит и может объяснить журналисту, поэтому говорил с улыбкой. — Он ведь был здесь довольно долго.

— Да, он был здесь довольно долго. Он провел в тюрьмах двадцать лет, — сказал я.

— Неужели двадцать? — несколько удивился тюремщик. — Да, да, двадцать... Верно, двадцать...

Карлуш щелкнул затвором фотоаппарата. Тюремщик аккуратно сложил и спрятал в карман френча газету, попрощался и ушел по своим делам. Жералдуш, бывший свидетелем этой сцены, развел руками и сказал серьезно:

— Сразу всех не сменишь.

Мы долго ехали по пустынной в субботний день дороге. С двух сторон стоял лес, поглотивший солнце, и почему-то казалось, что кругом ничего нет, кроме этого леса, кроме тюрьмы, где мы только что были, кроме дороги в лесу и нашей машины на ней. Ничего, кроме этого, нет во всей Португалии. Карлуш сидел за рулем мрачный.

— Странное дело, — сказал он, глядя на дорогу. — Двадцать пятого апреля утром оказалось, что в Португалии никогда не было фашистов. Одни антифашисты. Восемь миллионов антифашистов. Вроде этого тюремщика. Куда же все они подевались? Я иногда просыпаюсь утром в холодном поту: а что, если все обратно, все как раньше, вдруг все это мне приснилось?! И я иду скорей включать радио...

Некоторое время мы ехали молча. Я думал о том, что как часто, встречая в печати и по радио слова «застенки Салазара», я разумом понимал их смысл и значение, но сердцем не чувствовал, вернее — недостаточно чувствовал. Слова стираются от частого употребления. Видимо, надо беречь не только такие дорогие нам слова, как «свобода», «родина», «любовь», но нельзя транжирить и слова, обозначающие ненавистные нам понятия «фашизм», «застенок», «гестапо». Чтобы каждый раз, встречаясь с ними, человек воспринимал их как выстрел врага.

Карлуш сказал, не поворачивая головы:

— Вы помните ту фотографию, которую нам показывал Жералдуш?

— С кружком?

— Да.

— Конечно.

— Вы знаете, кто послал ее в ПИДЕ?

— Нет.

— Ее послал мой друг. Ну, точнее, человек, которого я считал своим другом.

— Откуда вам известно?

— Рядом на столе лежала фотокопия сопроводительного письма. Жералдуш не заметил его. И я прочел.

— Что же в письме?

— Письмо адресовано самому Паишу, директору ПИДЕ. Лично. Я могу процитировать. — Карлуш сидел прямо, держа руль обеими руками. — «Многоуважаемый господин Паиш! Считаю своим долгом передать вам фотографию участников антипортугальской демонстрации, которая состоялась на днях в Лондоне. Обращаю ваше внимание на человека, фигуру которого я обвел красным кружком. Это небезызвестный Мариу Соареш, руководитель социалистической партии. Буду рад, если фотография пригодится в вашей благородной работе по защите интересов нашей родины. С искренним уважением и пожеланиями личного счастья, ваш...»

Карлуш помолчал, затем добавил:

— Если я и напутал в словах, то совсем немного. А за суть ручаюсь.

Он говорил медленно, будто просеивая каждое слово через невидимое сито, а просеив, рассматривал со всех сторон, прежде чем поставить в ряд с другими.

— Он работал в одном очень важном министерстве. И сейчас работает. Занимал и занимает высокий пост. Раньше такие посты получали по связям. По способностям — в редчайших случаях. Способные люди опасны. А он получил по способностям. Тот самый редчайший случай. И пользовался у начальства, ну, если не авторитетом, то расположением. Но я был уверен — и не один я, — что душой он не с ними и не способен на подлость.

— Может быть, это ошибка? — предположил я. — Или компрометирующий документ?

— Вот именно — компрометирующий, — усмехнулся он.

— Нет, вы не поняли меня. Не исключено, что это подложный документ, что это сделали его враги. Письмо написано от руки?

— Нет, на машинке. — В голосе прозвучала надежда.

— Вот видите!

— А подпись? Я узнал его подпись. — Снова голос упал.

— Подпись нетрудно подделать. Даже эксперты не всегда могут отличить поддельную от настоящей. А вы не эксперт.

— Может быть, — сказал Карлуш благодарно. — Мне бы очень хотелось, чтобы это было так.

Лиссабон открылся перед нами сразу, без переходов и полутонов. Вдруг кончился лес и возник город из старой доброй сказки. Дома под черепичными крышами стояли уступами, один над другим. Слева наискосок от шоссе вышагивал на огромных каменных столбах гигантский акведук, сработанный в древнеримском стиле. Но акведук новый, действующий, снабжающий Лиссабон водой. Диктатор обожал величественную старину и не видел греха в стилизации.

В последний год пребывания Салазара у власти один аргентинский журналист спросил его, как он относится к тому, что сельское хозяйство Португалии находится на уровне сельского хозяйства древнеримской империи. Диктатор подумал, потер подбородок, вздохнул и улынулся: «Но до чего красиво!»

Действительно красив Лиссабон. И красива Португалия. Патриархально, нетронутая красива. Только эта девственность не заповедная. Это результат нищеты.

Акведук шагал слева от дороги, а над ним летел спортивный самолетик. Самолетик стремительно несся вдоль акведука, и, наверное, оттуда, сверху, он казался особенно красивым, основательным, нерушимым, как традиции.

Мы въехали в город. Он обступил нас со всех сторон своим все не перестающим удивлять спокойствием. К этому городу с его акведуком, со старыми домами под замшелыми черепичными крышами, кажется, очень трудно отнести термины современной политической борьбы — фашизм, революция, социальные изменения, — наши сегодняшние, резко очерчивающие жизнь слова. Для них го-

род слишком патриархален с виду, слишком пастелен, сказочен, вневременен. И даже Салазар кажется диктатором нереальным, эдаким злым дракошей из сказки. От такого дракона обычно избавляет принц, который отрубает одну за другой все семь драконовых голов, после чего горожане выходят на площадь веселиться, танцевать, петь песни и дарить друг другу цветы. Ну, а там дальше — свадьба героя с первой красавицей города.

Однако только что виденная тюрьма придает этому городу и происшедшим в ней событиям вполне современную, осязаемую конкретность.

— Знаете что? — прерывает мои мысли Карлуш. — Если у вас есть время, давайте заедем в ПИДЕ.

— Не много ли одной темы для одного дня?

— Давайте заедем! — почти просит Карлуш. — Сегодня суббота, все журналы пьют порто. Сегодня нам могут показать то, что мы никогда не увидим в будний день.

Карлушу не просто хочется побывать сегодня в ПИДЕ. Я вижу, что ему нужно побывать там.

В гигантской раскромсанной туше фашизма он обнаружил трагический для себя сюрприз. И теперь, возможно, хочет что-то перепроверить, в чем-то убедиться.

И мы едем в ПИДЕ.

Здание португальского гестапо (гитлеровские нацисты в конце 30-х годов, а потом беглые, спасавшиеся в Португалии после разгрома третьего рейха, весьма активно приложили руку к организации дела в ПИДЕ), о котором столько слышал и читал раньше, оказалось не слишком большим четырехэтажным, если не ошибаюсь, зданием, ничем снаружи не отличающимся от сотен таких же зданий вокруг.

У входа стояли на часах матросы.

И здесь моряки. И здесь эти замечательные ребята в голубых рубашках, в бескозырках. Я уже заметил: где трудно, где дело самое ответственное, там всегда — арм а да. Я не переоцениваю физиономистику, но, честное слово, я не видел среди португальских военных моряков ни одного, у кого было бы несимпатичное лицо! А видел я уже их немало. И чем дальше, тем больше они напоминали мне наших российских матросов где-то в апреле 1917 года, только португальцы носят пулеметные патронташи не накрест через грудь, как носили наши, а на шее, и вовсе не носят тельняшек.

У входа в ПИДЕ их, наверное, человек пять, вооруженных автоматами (в вестибюле на всякий случай и пулемет). Скучать им не приходится. Возле здания ПИДЕ все время толпятся любопытные, как у театрального подъезда после спектакля, чтобы увидеть в жизни тех, кто только что был на сцене.

«Звезд» ПИДЕ, конечно, никто не ждет. Их роль сыграна, но все равно очень интересно постоять возле здания, которое раньше обходил за несколько кварталов. Дух захватывает прикоснуться к входным дверям, которые пропускали Паиша, Тиноко и прочих, и запросто, ничего не боясь, поговорить с нынешней охраной — веселыми матросами, которые нет-нет да и расскажут что-нибудь интересное.

В вестибюле на стене вдоль лестницы висели мемориальные мраморные таблички с именами и фамилиями сотрудников ПИДЕ — инспекторов, субинспекторов, агентов первого и второго классов, погибших «при исполнении служебных обязанностей».

Ничто в этом здании, где совсем по-домашнему скрипят некрашенные половицы, где нет ни следов пожара, ни следов боя и все стекла целехоньки, не напоминает разгромленного гитлеровского бункера в Берлине сорок пятого года. Но меня не оставляет чувство, что я именно там, в том самом подземелье. И, честное слово, не удивился бы я, скажи мне кто-нибудь, что между той берлинской берлогой и лиссабонским зданием ПИДЕ был проложен под всей Европой подземный ход

вроде тех, по которым несколько часов назад мы с Карлушем бродили в тюрьме Нашиас.

Фашизм существует и проявляется по-разному. Его разновидностей не меньше, чем разновидностей рака. Португальский фашизм не был похож ни на германский, ни на итальянский. Когда после нескольких поражений Гитлера на восточном фронте произошел коренной перелом в ходе второй мировой войны, Португалия согласилась предоставить Азорские острова для использования их английскими вооруженными силами. Но до самого конца войны Салазар снабжал гитлеровскую Германию вольфрамом, и когда стало известно о самоубийстве Гитлера, Салазар объявил официальный траур.

Муссолини ненавидел и боялся Гитлера. Но от этого итальянский фашизм не был лучше гитлеровского. Фашизм остается фашизмом независимо от того, как он уничтожает людей: в специально сконструированных печах, душегубках, в колониальной войне или исподволь, уродуя человеческие души. Опухоль фашизма всегда одного — классового — происхождения. Фашизм — детище буржуазии, готовый идти на любые преступления, попирая ею же сформулированные законы, когда речь идет о защите ее привилегий. Фашизм — всегда страдание народа. Фашизм — всегда антикоммунизм.

Заморские территории Португалии были представлены в вестибюле ПИДЕ довольно впечатляюще: на большой карте Европы, висевшей на стене, их спроецировали на европейские государства. Ангола, Гвинея, острова Зеленого Мыса, Мозамбик и крохотное Макао заняли всю Францию, Бельгию, Голландию, Данию, кусок Англии, Западной Германии, Швейцарии, заходили и на территорию ГДР. Оказалось по этой карте, что Португалия вовсе не узкая полоска земли на краю Пиренейского полуострова — пятьсот пятьдесят километров с севера на юг, двести километров в самом широком месте с запада на восток, — а чуть ли не вся Западная Европа.

В разных коридорах и разных комнатах ПИДЕ пояснения нам давали разные люди (в субботу здесь не было человека, который специально занимается журналистами).

Я много слышал о ПИДЕ раньше. В моем представлении ПИДЕ почему-то была организацией, великолепно образом оснащенной технически. Электронно-счетные машины, немедленно выдававшие нужную информацию, концентрация аппаратуры для прослушивания и записи телефонных разговоров, микрофильмотека, шифровальные и дешифровальные установки. Ну и все такое прочее.

Но действительность оказалась проще. Техники почти не было. Самым сложным механизмом оказался восьмимиллиметровый кинопроектор (даже не звуковой), стоявший посреди зала для оперативных совещаний. А экраном служил просто кусок оштукатуренной белой стены. Стены зала были завешаны географическими картами (не снабженными — ай, ай! — занавеской с моторчиком). И еще один механизм обнаружил я в ПИДЕ — машинку для уничтожения документов (вложи бумагу в специальную прорезь, как в копилку, включи, короткое жужжание, ощущаемое скорее рукой, чем ухом, — и листок разрезан на тысячи кусочков мельче, чем конфетки). Машинка эта американского производства помещалась в нижнем ящике стола заместителя Сильвы Паиша и служила теперь развлечением для моряков, заходивших сюда.

Так что в техническом смысле ПИДЕ находилась далеко не на уровне мировых стандартов. Но от этого работа ее, по-видимому, не была менее эффективной.

Главной силой ПИДЕ было досье. Самое обыкновенное, простое, не заложенное в запоминающее устройство компьютеров, не снятое на микрофильм, а примитивно отпечатанное на машинке (очень часто с опечатками и орфографическими ошибками) и разложенное по папкам, по разным ящикам и ящичкам — металлическим, деревянным, картонным. Ими были уставлены все коридоры и почти все комнаты. Досье на школьных и университетских преподавателей, на писателей и владельцев кафе, на служащих мелких фирм и на адвокатов, на издателей и ма-

тросов, на дипломатов и спортсменов, на актеров и рабочих военных предприятий, на колониальную администрацию и кондукторов трамваев, на продавцов газет и членов правительства.

На всех.

В этих поцарапанных от частого употребления ящиках, в картонных папках, в коробках, похожих на обувные, была заключена сила, которая не нуждалась ни в каком техническом обрамлении.

В досье ПИДЕ хранились сведения на четыре миллиона португальцев. Сведения не только о том, где и когда человек родился, где работал, не участвовал ли в антифашистских демонстрациях, но и с подробным описанием склонностей и привычек, с перечислением ближайших друзей, излюбленных тем в разговорах, с копиями личных писем, с самыми интимными подробностями жизни. Четыре миллиона португальцев находились на этих полках. А население Португалии — свыше девяти миллионов человек. Отбросьте детей, подростков до пятнадцати — шестнадцати лет, людей преклонного возраста — и вы получите представление, какой частоты сеть тайных агентов была в руках португальского гестапо.

Сетью вытаскивали все — нужное и, на взгляд постороннего человека, ненужное. Только для ПИДЕ не существовало ненужных сведений. Даже медицинские анализы подшивались к делу. Руководители охраны были неплохими психологами и знали, как действует на человека во время допроса случайная подробность его личной жизни, невзначай упомянутая следователем. Какой всемогущей и всеведущей кажется ему тогда ПИДЕ, каким жалким пигмеем выглядит по сравнению с ней он сам.

Ну, а в том, что каждый человек рано или поздно, полностью или частично, формально или фактически становится под следственным, в гестапо не сомневаются.

— Я нашел здесь фотокопии своих писем к жене, — с еще непрошедшим удивлением рассказывал нам капитан 3-го ранга Виктор Крешпу. — Я писал о нашей дочери, расспрашивал, как живет наша собака, обычные семейные дела. Там нет ничего, абсолютно ничего интересного для ПИДЕ. То, что они вскрывали и читали письма всех офицеров, я знал, был уверен. Но снимать с каждого письма фотокопию — об этом я не догадывался. Аккуратные такие фотокопии, на каждой номер. Жена и то не хранила мои письма так бережно...

— Здесь погиб мой отец, — рассказывал другой офицер. — Его арестовали, допрашивали, а потом сообщили семье, что он «умер от сердечного приступа». Я пытался узнать здесь, как и когда он в действительности погиб, но ничего не нашел. Им не нужны бумаги на мертвых. Зато нашел характеристику на себя. Там написано, что у меня «имеются основания сочувственно относиться к коммунистам». Я согласен с ними.

На стеллажах, которые стоят в комнатах, сведения на людей, за которыми ПИДЕ следила постоянно: возможные члены коммунистической партии из любых слоев, а также школьные преподаватели, университетские профессора, студенты, офицеры, журналисты, редакторы, писатели и т. д. В коридорах же хранилось досье, так сказать, второй очереди. В одном из шкафов я нашел папки с историями арестов. Бесчисленные папки, содержащиеся в отменном порядке. Листок к листочку, обложка к обложке. Прекрасная бумага — ни одна страничка не пожелтела, ни одна не обтрепалась. И шрифт машинописный не потускнел. Все в идеальном порядке, готовое к употреблению. Полки с документами по арестам 20-х годов, 30-х, первой половины 40-х. Со второй половины 40-х и до наших дней папки хранились не в коридорах, а в комнатах: это уже первоочередное.

«Жозе Гомеш Рожери. Арестован 5 сентября 1936 года. Продавал на дорогах газеты. Говорил, что в Испании победят республиканцы...»

«...арестован 7 ноября 1936 года. Распространял слухи о событиях в Испании. Говорил, что Россия поможет республиканцам победить».

«...арестован 2 декабря 1936 года. Контакты с марксистами».

«...занимался коммунистической пропагандой: пел песни...»

Все слова были напечатаны на пишущей машинке черными буквами, а слово «республиканцы», слово «коммунистической», слово «марксист», слово «Россия» — красными. Чтобы сразу бросалось в глаза, сразу раздражало, чтобы сразу было ясно, кто таков.

Где он, тот человек, что пел песни? Где тот, что спешил рассказать людям о помощи советской России республиканцам в Испании? Где тот, которого арестовали за контакты с марксистами? Погибли или живы? Как хотелось бы знать! Но листок в папке не дает ответа. В конце каждого только сноски: «См. дело №...» Но где сейчас найдешь это дело? Да и время где найдешь искать?

Я долго перелистывал страницы с описаниями арестов. Сколько их здесь! Тысячи? Десятки тысяч? Какая же прекрасная характеристика народу эти подлые досье, лежащие на полках в коридорах и комнатах ПИДЕ! Какая мужественная история антифашистской борьбы заключена здесь!

И есть здесь другая биография, другая история, другая характеристика. Досье на самих сотрудников ПИДЕ. Разве они не уничтожены? Оказывается, нет. Списки сотрудников ПИДЕ целы-целехоньки. Вот здесь, в этих папках. И мне показывают полки в одной из комнат. Там списки сотрудников центрального аппарата ПИДЕ в Лиссабоне. Их более тысячи. Арестованы девятьсот пятьдесят. Триста содержатся в Кашиас, остальные в других тюрьмах.

Почему же ПИДЕ не уничтожила списки? Не хватило времени? Нет, время было. Повстанцы взяли здание ПИДЕ только 26 апреля. Так что целый день 25 апреля и ночь на 26-е сотрудники ПИДЕ, находившиеся в здании, оставались хозяевами положения. Конечно, наиболее важные документы они, по-видимому, уничтожили — жгли в каминах, кромсали в этой самой американской машинке, что в столе у заместителя начальника. Но списки сотрудников нет, не уничтожили.

Как объяснить?

Офицер, который рассказывает мне об этом, считает, что есть, по крайней мере, три объяснения.

Первое. Списки секретных сотрудников и агентов все-таки уничтожены. Оставлены списки лишь второстепенных и тех, кого скрыть все равно невозможно (руководство департаментов и т. д.). Цель — пустить следствие и преследование по второстепенному следу.

Второе. В оставленных списках, возможно, содержится дезинформация, дискредитирующая хороших людей.

Третье. Уничтожать списки было бесполезно, так как они дублируются по многим другим документам: медицинские освидетельствования сотрудников, регистрация выдачи новых удостоверений и сдачи старых, адресная книга, списки телефонов и, наконец, характеристики на сотрудников ПИДЕ, хранящиеся отдельно.

Да, на них есть характеристики. Досье на тех, кто составлял досье. Среди секретных агентов были чуть-чуть более секретные, чем остальные. Среди информаторов были чуть-чуть более информированные, чем остальные. А иначе кто бы сторожил самих сторожей? Сколько ярусов было у этого здания страха и доношительства? Офицеры не знают. Но если я интересуюсь, мне могут показать несколько характеристик на самих сотрудников ПИДЕ.

Еще бы, конечно интересуюсь! Разве не любопытно узнать, кто следил за благонадежностью университетских профессоров, кто обладал правом решать, быть человеку живым или мертвым, а если живым, то с белым листочком инспектора Тиноко или без?

«Интеллект среднего уровня Склонен к стереотипному мышлению. В критических положениях чаще принимает неверные решения, чем верные. Решителен. Последователен. Настоячив. Физическая выносливость высокая. Опасности не боится». Это цитата из характеристики на «агента первого класса».

А вот другая — тоже на «первоклассника»: «Интеллектуальные способности средние. Мысли выражает с трудом — и устно и письменно. Восприятие окружающего нечеткое. Старателен и исполнительен. Застенчив и сосредоточен. В критических ситуациях не способен принимать самостоятельных решений. Физически очень вынослив».

Офицер сказал, что такого рода характеристик большинство. Оценку подчиненных интеллектов производили интеллекты начальственные. А нет большего презрения, чем презрение вышестоящей сволочи к сволочи нижестоящей.

Мне показали служебное удостоверение того, «застенчивого». Оно разрешало входить всюду, куда владелец его посчитает нужным, и предпринимать любые действия, которые он, по нечеткому разумению своему, сочтет необходимыми. Оно обязывало всех окружающих оказывать содействие обладателю удостоверения.

Офицер, показывавший характеристики, вывалил передо мной сотни таких удостоверений. Он сложил их карточной колодой и принялся сдавать. На стол ложились валеты, короли, тузы охраны. Были среди обитателей этого казенного дома и дамы — бубновые блондинки, червонные шатенки, пиковые brunettes и крашенные трефы. Все смотрели немного выпученно, с серьезным выражением лица, как смотрят с фотографий на удостоверениях и обыкновенные люди, не крапленые. Некоторые лица мне были знакомы — Сильва Паиш, инспектор Тинок и несколько других, кого видел сегодня в тюрьме Кашиас.

Карлуш долго вертел в руках удостоверение Паиша. Самого Сильвы Паиша! Человека всесильного, человека с неограниченной властью. Удостоверение начальника охраны произвело на Карлуша гораздо большее впечатление, чем сам Сильва Паиш в камере № 65 тюрьмы Кашиас. Там он был для Карлуша знакомым — в домашней кофте, в голубых носках, седой, плешивый, обыкновенный человек. А здесь, на этом удостоверении с собственноручной подписью, Паиш был тем самым начальником ПИДЕ, почти хозяином Португалии, который, если бы пожелал, три недели назад мог одним движением пальца уничтожить моего друга. Сейчас его удостоверение Карлуш держал в руках. Именно сейчас он с особой четкостью ощутил, что страшная власть того человека кончилась.

Чем в быту интересовались люди, смотревшие на меня со своих удостоверений? В их характеристиках не говорилось, что читают агенты, чем занимаются в неслужебное время инспекторы. Частично об этом можно судить лишь по богатой библиотеке порнографической литературы, занимавшей большую комнату от дыха наверху. Была еще в той библиотеке аптечка с разнообразными стимуляторами сексуальной активности. Судя по запасу стимуляторов, не все благополучно складывалось в личной жизни агентов разных классов.

Стояли на полках в той комнате также сочинения Мао Цзэ-дуна, разная ультралевая литература и подшивки журнала, который ПИДЕ выпускала для внутреннего пользования. В последнем номере его с приложением схем и графиков рассказывалось, как 20 декабря 1973 года был убит премьер-министр Испании, как был прорыт из подвального помещения дома тоннель под мостовой, как заложили динамит именно в том месте улицы, где стояла машина премьера, как после взрыва автомобиль поднялся в воздух, перелетел через крышу пятиэтажного дома и упал с другой его стороны (с приложением чертежа траектории полета) и какие выводы следовало сделать агентам ПИДЕ из грустного испанского опыта.

В кабинете у заместителя начальника ПИДЕ (он не арестован, ему удалось скрыться за границей) я увидел искусно вырезанную из дерева небольшую статуэтку, изображающую футболиста с мячом. У основания статуэтки на медной дощечке было выгравировано: «Главному инспектору Кольо Днашу от благодарных черных заключенных Африки. 1970 год».

И еще одна многозначительная деталь: в письменных столах начальства лежали конверты, в которых самым аккуратным образом хранились поздравительные письма, визитные карточки и открытки с пожеланиями счастья и успехов,

адресованные высшим чинам ПИДЕ от известных людей Португалии, от сильных португальского мира сего, в том числе от многих хозяев португальской экономики.

Хозяева дома с привидениями имели, как видно, не только вполне реальных покровителей и доброжелателей в Португалии, но также и чувство черного юмора.

В коридоре послышались голоса. В зал вошла группа матросов и с ними перепуганный человек в штатском. Молоденький офицер, тот, у которого здесь, в ПИДЕ, погиб отец, попросил меня и Карлуша выйти в другую комнату.

— Кажется, привели агента ПИДЕ! — шепнул он, закрывая за нами дверь.

В зале, откуда мы вышли, слышались громкие голоса. Кто-то о чем-то спорил. Чаще всего повторялось слово «но» — нет. Потом голоса вернулись в нормальный регистр громкости. Дверь открылась, и офицер впустил нас. Я рассмотрел штатского. Он был небольшого роста, небритый, в потрепанном пиджаке, в рубашке без воротничка, в пыльных ботинках. В руках держал мятую засаленную фетровую шляпу. Морской офицер, которого я не видел раньше, стоял возле ящика с картотекой и перебирал карточки пальцами. Человек без воротничка внимательно следил за ними. Перебрав так весь ящик, офицер сказал:

— Два раза просмотрел — нет его здесь.

Человек со шляпой прерывисто вздохнул.

— Я же говорю — ну какой я агент. А тот привязался и тащит, и тащит!

— Ну ничего, — примирительно сказал офицер. — Сейчас справку выдадим.

— Какую? — удивился человек.

— Что не агент.

— Зачем? — удивился человек.

— А затем, что раз вас заподозрили, надо полагать, вы похожи на одного из них. Справка, чтобы кто-нибудь второй раз не привел. Времени бы не отнимали у вас.

Человек в штатском закивал радостно.

Офицер сел за стол и принялся отстукивать справку о том, что, «согласно данным проверки, сеньор такой-то в списках агентов ПИДЕ не состоял».

— Таких справок мы выдали уже больше сотни, — объяснил наш приятель-морьяк. — Кому-то кажется, что вон тот прохожий или сосед — агент ПИДЕ. Ненависть к агентам адская, и такого немедленно тащут к нам. Иногда действительно попадают агенты. Но многих приводят по ошибке — похож на кого-то из настоящих агентов, вызывает подозрение, просто плохой человек. Конечно, находят и такие, что думают свести с кем-либо личные счеты. Мы во всех случаях проверяем и, если в списках ПИДЕ нет, выдаем справку. — Он улыбнулся. — Смешная немного справка, сами понимаем. Но что делать? Так и ходит сотня человек по Португалии со справкой «не агент ПИДЕ». И смешно и грустно. Фашизм старался марать людей, приобщал к себе, привязывал общностью преступления.

Человек со шляпой получил свою справку и удалился не то рассерженный, не то счастливый — пойдя определи выражение небритого, в черно-седой щетине лица. Но, надо думать, скорее довольный. Не каждый португалец может похвастаться такой справкой, какую выдали ему.

Когда мы покидали ПИДЕ, моряки на часах у главного подъезда проверили мой кофр с фотокамерами — не унес ли я какие-нибудь документы. Бдительность не лишняя. Не только против охотников до сувениров, но и против сознательного похищения важных бумаг. У Карлуша в руках не было никакого портфеля, поэтому его не проверяли.

Мы не отъехали и двух кварталов от ПИДЕ, как мой друг остановил машину, зажег в ней свет, вынул что-то из бокового кармана пиджака и с торжествующей улыбкой протянул мне. Я увидел прямоугольное розовое удостоверение, вклеенное в полиэтилен. Выпросил все-таки!

— Сильва Паиш! — сказал Карлуш с нескрываемым торжеством. — И повторил: — Сильва Паиш! Глава ПИДЕ!

— Это мне? — удивился я.

— Нет! Себе! Лучшего сувенира не бывает. Мог ли Сильва Паиш думать, что удостоверение его всемогущей личности будет лежать в кармане у какого-то кинорежиссера, оператора! Ха! Смотрите, он меня ненавидит!

Карлуш с великим торжеством разглядывал фотографию Паиша.

— Для вас мне тоже дали сувенир. — И он протянул еще одно удостоверение. — Начальник личной охраны Салазара! Если хотите знать, второй человек после Паиша. Мог упрятать в тюрьму кого угодно. Даже уничтожить. А Паиша я возьму себе. Хорошо?

— Ну конечно, мне и этот-то не особенно нужен.

— Нет, этого оставьте. Это все-таки очень интересно. Очень! Вы представляете, если я кому-нибудь из моих друзей покажу удостоверение Паиша! Вот рты разинут! — Он взъерошил бороду, довольный. Потом сказал серьезно: — Я покажу это и т о м у, другу. Интересно, что он скажет.

Некоторое время он медленно вел машину по узким улочкам, двигаясь за стареньким, разрисованным русалками, будто татуированным трамваем. Под его дугой то и дело рождались и со злым шипением гасли небольшие молнии, и русалочки тела вспыхивали голубым фосфоресцирующим светом.

Вместе с трамвайными русалками фосфоресцировали вполне реальные женщины, стоявшие группами и в одиночку на углах.

— Стоят, — сказал Карлуш. — Как стояли до двадцать пятого, так и теперь стоят. Те же самые. И клиенты те же и сутенеры. Эх!.. Все шьют у того же портного.

Он ударил обеими руками по рулевой баранке. Его кипучий темперамент требовал немедленных перемен, требовал иной жизни, требовал, чтобы сразу все стало по-другому: прекрасно, замечательно, гармонично. Сразу!

— Если бы борьба! Драться! Стрелять! Пожалуйста, — сказал он, — пойду в первый ряд, немедленно. Но я боюсь спокойствия. Я боюсь, что все уйдет в песок. Врага нет. Куда делся враг? Куда делся фашизм? Я вижу только улыбки. Все приветствуют демократию. Но были же фашисты! Неужели только эта сволочь Паиш, президент и премьер?!

Он спрятал удостоверение Паиша в карман, прихлопнул рукой.

— Я все думаю: почему они не уничтожили списки?

— Да, это странно.

— К тем трем объяснениям, которые дал нам офицер, я прибавил бы еще одно.

— Какое?

— Они хотели создать впечатление, что сопротивления нет и не будет. Они хотели успокоить — вот, мол, у вас все карты, мы ничего не скрываем. Они хотели усыпить бдительность.

— Не слишком ли сложное решение для той обстановки, в которой они находились двадцать пятого?

— О, они психологи! Вы не знаете их. Очень тонкие психологи. И этот Паиш и его заместитель. Кстати, он ведь успел бежать за границу. Вы думаете, у него нет связей с теми, кто остался здесь, у нас? Конечно, есть.

Карлуш остановил машину, но не выходил из нее. Сидел за рулем, обернувшись ко мне.

— Тысяча сотрудников! Да ведь это пустяк! Это только центральный аппарат. Лиссабонский. Их действительно невозможно было спрятать. А где еще две с половиной тысячи сотрудников ПИДЕ в колониях? А где пятнадцать тысяч секретных информаторов? А где полтора-два тысяч членов португальского легиона?! Где они все? Растворились в воздухе?! Стали вдруг демократами от рождения?! Ловят на зеленом лугу бабочек сачками?!

Он наседа на меня так, будто именно я пытаюсь убедить его насчет бабочек.

— Вам, наверное, уже говорили о быке, которого мы не закалываем на кориде. Ерунда это! Чушь! Фашизм не имеет отношения ни к быкам, ни к характеру народа. Фашизм перережет горло любому, кто против него. Они готовят нам великое кровопускание. Вот почему я ненавижу это спокойствие и, откровенно говоря, боюсь его.

Он снова двинул машину вперед. Мы поднялись на Байху Алто, в старинный квартал на одном из семи холмов Лиссабона, зашли в небольшой ресторанчик. Карлуш, как видно, был здесь завсегдатаем — официанты приветствовали его по-приятельски. За стеклянной стойкой вареные омары вываливали всем на обозрение красные доспехи. Карлуш заказал по рюмке бегаса, а к омарам вино верде — зеленое вино, — то и другое чисто португальские напитки, столь же славные, как порто.

За соседним столом нешумно пиновала компания. Все они приветствовали Карлуша.

— Кто эти ребята? — спросил я.

— Хороший народ. Актеры, один художник, вон те двое — студенты. Смотрите, сейчас раскроются рты.

Карлуш встал из-за стола, подошел к компании и показал свой сувенир, добытый в помещении ПИДЕ. У «хорошего народа» поползли вверх брови, кто-то ахнул испуганно. Все потянулись рассматривать документ. Карлуш стоял довольный. Сильва Паиш смотрел на собравшуюся за столом компанию, зло напыжвшись. Я вспомнил его сегодня в камере, в простой, совсем домашней кофте.

— Где? — послышались вопросы.

— Как?

— Каким образом?

— Подарок от Сильвы Паиша. — Карлуш таинственно улыбался.

— Как... подарок? — всерьез растерялась одна из девушек.

Карлуш наконец рассказал. Девушка произнесла с облегчением:

— Слава богу, а то я думала, он действительно подарил...

— С ума сошла! — засмеялся Карлуш. — Вот дурочка!

Девушка пожала плечами:

— Сейчас все запутано. Люди меняются на глазах.

Кто-то предложил тост:

— За то, чтобы человека с этой фотографии мы никогда больше не видели! Все выпили. Карлуш рассказал, как сегодня в ПИДЕ выдавали справку тому, небритому, без воротничка. Посмеялись.

— Хорошо бы каждому человеку выдать справку, — сказал актер, — хороший человек, плохой человек. Все было бы ясно в жизни.

— А кто будет определять?

— Пусть моряки, — запальчиво сказала девушка. — Им я верю!

— Влюбилась, — вздохнул актер.

Карлуш вернулся за свой стол. Мы выпили по рюмочке бегаса, водки из виноградных отжимок, похожей на грузинскую чачу.

— При Каэтано я знал одного цензора, — сказал Карлуш. — Зверюга. Недавно встречаю его на улице, спрашиваю, как дела. С торжеством, конечно, спрашиваю: ясное дело — фашист. А он мне отвечает: «Я так счастлив, так счастлив, сеньор! Наконец-то восторжествовала демократия, за которую я боролся всю жизнь!» Я прямо обалдел: подлец, мне в глаза такие вещи! А он: «Я знаю, вы мне не верите, но это действительно так. Я всегда боролся против фашизма». Каким же это, спрашиваю, образом? А он объясняет — спокойно так, даже снисходительно, — что своими действиями специально восстанавливал писателей, журналистов, газетных редакторов, всех, кого мог, против власти. Чем глупее были его действия, чем чудовищнее придирки, тем большего успеха добивался. Правда, говорит, восстанавливал хороших людей и против себя лично. Но что поделаешь — приходилось жертвовать собой.

Карлуш снова помрачнел:

— Вот я и боюсь. Исчезают враги. Кажется, вот взял его, поймал, он у тебя в кулаке, — Карлуш сжал над столом руку в кулак, — снизу ножки торчат. сверху ручки. А раскрыл ладонь — и никого нет. Пусто. Или еще того хуже: оказывается, он тебе давно друг. Как тот тюремщик или этот цензор. Он тебя водил в карцер, бил тебя, когда ему приказывали, но душой, оказывается, всегда был на твоей стороне. И, может, бил сильнее, чтобы ты сильнее ненавидел фашизм. А ты и не знала...

Карлуш поковырял вилкой в своем розовом омаре, но не съел ни кусочка. Только пил маленькими глотками ледяное вино верде.

— Знаете что? — вдруг сказал он. — Я позвоню ему.

Я не сразу понял, о ком идет речь.

— Тому, кто написал письмо Паишу.

— Для чего?

— Расскажу о письме. Если это он, пусть объяснит. Если подделка, пусть знает.

— Но вы, наверное, не имеете права рассказывать. Ведь вы прочли это письмо, насколько я понимаю, незаконно.

— Раз прочел, значит, это уже не секрет.

— Вам решать.

— Я просто не могу! Я должен знать, как он все это объяснит!

И Карлуш пошел к телефону-автомату, который висел у входа. Автомат был открытым, я видел, как Карлуш, набрав номер, заранее прикрыл трубку и половику своего лица ладонями рук, чтобы никто не слышал разговора. Он стоял, напряженно изогнувшись, будто собирался просить своего друга, чтобы тот подтвердил: да, это фальшивка. Ах, как он хотел, чтобы вся эта история с письмом не имела отношения к его другу! Как ему это было нужно!

Но разговор не состоялся. На звонок никто не ответил.

Еще дважды в течение нашего ужина он звонил, но с тем же результатом.

Последний раз — во всяком случае, при мне — он пытался позвонить из «Эм-байшадора», попросив разрешения у Терезы, которая дежурила в тот вечер. Но тоже безрезультатно.

— Ладно, поеду к нему завтра с самого утра...

Карлуш позвонил мне на другой день, сказал, что едет на съемки, спросил, не захочу ли поехать с ним.

Я с охотой согласился. И по дороге Карлуш — не сразу, а только после того, как поговорили о том, о сем, — сказал как бы между прочим:

— Я видел своего друга... ну, того, который написал письмо...

— И что же?

— Это он сделал.

Карлуш не глядел на меня. Не отрываясь смотрел вперед на дорогу, но я не поручусь, видел ли он ее.

— Он сказал, что ему уже говорили об этом письме. Из той комиссии, которая изучает архивы.

Карлуш замолчал. Мы свернули с авенида Либердад на Фонтес Мелу, проехали мимо кинотеатра около американского отеля «Шератон». На фронтоне вешали огромную рекламу кинофильма «Николас и Александра». Я видел этот фильм еще в США. Контрреволюционная мелодрама о последних днях царской семьи. Фильм привезли в Лиссабон как ответ «Броненосцу «Потемкину», как средство сбить его успех и влияние. «Николас и Александра» будут пугать зрителей революцией, жестокостью восставшего народа. Фильм — дешевка, но кассовая дешевка: там и Распутин, и оргии высшего света; и экзотическая роскошь юсуповского дома, и болезнь ребенка — весь инструментарий для того, чтобы вызвать интерес и слезы.

Два фильма, идущие в Лиссабоне в мае 1974 года, — «Броненосец «Потемкин»» и «Николаас и Александра» — самый свежий пример классовости искусства.

Карлуш вел машину на большой скорости, положив подбородок на руки, державшие рулевое колесо. Шел напрямую, не уступая дорогу никому. Машины шаркались от нас.

— Как же он объяснил свой поступок? — спросил я.

— Он сказал, что рассуждал так: Марну Соарешу это фото не повредит. Все, мол, и так знают в глаза, что он участвует в демонстрациях против правительства Португалии. А ему, моему приятелю, такой поступок принесет пользу, может быть, вызовет расположение Паипа, значит, укрепит его позиции в министерстве. И тогда он сможет принести «больше пользы» хорошим людям, противникам фашизма, сторонникам демократии, тому же Соарешу. Вот так...

Машина шла все с большей и большей скоростью.

— Вы думаете, я нашелся, что ему сказать? Нет. Ничего не сказал. Я не могу сказать человеку в глаза, что он подлец. Такой характер. Всегда почему-то допускаю мысль: а если он действовал искренне? Ничего не сказал. Попроцался и ушел. У него и намек не было на чувство вины, смущения или растерянности. Во всяком случае, внешне. А я чувствовал себя так поганно, будто это я, а не он написал письмо. Черт его знает что за характер у меня! Кстати, вы его знаете, этого моего друга. Это сеньор Т. из министерства информации.

Завизжали тормоза, и мы проскочили под самым носом, буквально в десяти сантиметрах, от машины, шедшей поперек. Я увидел перекошенное лицо водителя.

Карлуш не обратил на это никакого внимания...

Поездка в Португалию подходила к концу. Пора было складывать багаж — несколько километров магнитофонной пленки, блокноты, газетные вырезки, кучу фотографий и — укоряющую память о десятках людей, с которыми не смог встретиться, и несчетном числе мест, где хотел побывать, но не побывал. Москва прямо с Шереметьева наполнит дни непортугальскими делами. Но Португалия уже натянута струной в твоём сердце, наверное, навсегда. И каждый встречающий тебя в Москве знакомый или даже незнакомый человек будет трогать эту струну вопросом: ну как у них там? продержатся ли? И ты не сможешь отделаться односложными ответами. От тебя будут ждать, чтобы рассказывал подробно. А потом снова и снова будут тревожно спрашивать: ну а все-таки, не получится ли у них, не дай бог, так, как в Чили?

И тревога совершенно разных людей за судьбу далекой страны будет греть душу, потому что ты уже считаешь себя причастным к португальским событиям, они уже часть тебя, ты всю жизнь будешь теперь пристально следить за тем, что происходит на берегу Атлантического океана, на самом краю Европы, как будто происходит это с близкими тебе людьми.

Перед отъездом журналист зашел в министерство общественных средств связи попрощаться. В пресс-центре было уже пусто — журналисты разъехались. Сенсационная португальская весна заканчивалась. Наступало долгое, жаркое, трудное лето. Журналисты покидали Португалию в поисках иных событий, иных горячих точек. Недвижимо, с отвисшими челюстями стояли телетайпы. Две молодые телетайпистки лениво кокетничали с молодыми чиновниками министерства. На столах аккуратными стопочками лежала недельной давности речь генерала Спинолы.

— Какие новости? — задал журналист классический вопрос.

Чиновники вежливо пожали плечами. Никаких.

Журналист подошел к окну, глянул в п а т и о. Стоявший в центре памятник

профессору Салазару, португальскому диктатору, был с головы до ног накрыт черной траурной материей.

— Старика прикрыли?! — десело спросил журналист.

Чиновники смотрели выжидательно.

— Для чего? Будут сносить?

Чиновники развели руками. Жест этот можно было понять трояко: 1) судите сами, 2) не слишком ли спешат новые власти?.. 3) туда ему и дорога. Но вслух никто из них не вымолвил ни слова. Чиновники явно не хотели высказываться о диктаторе при посторонних. Чиновники проявляли осторожность.

Журналисты одной из лиссабонских газет устроили скромный прощальный обед в дешевеньком ресторане рядом с редакцией в честь советского коллеги, покидавшего Лиссабон. Шумели, шутили, смеялись, расспрашивали, рассказывали. Потом кто-то из португальцев негромко запел «Интернационал». Совсем негромко, в четверть голоса. И все поддержали дружно и тоже негромко. Среди них, насколько я знаю, не было коммунистов. Но все пели и улыбались. От радостного чувства свободы, оттого, что вот можно сидеть не таясь в Лиссабоне вместе с журналистом из Советского Союза и вместе с ним петь эту великую песню. Пели, и губы у всех сами раздвигались в улыбку.

А из-за соседнего столика вся наша компания была расстреляна. Ее расстреляли черные зрачки высокого красивого молодого парня, сидевшего рядом с девушкой. Расстреляли молниеносной короткой очередью. В отдельности каждого, кто сидел за столом. Потом всех вместе. И песню тоже. Прошли очередью. Искромсали. И сразу парень нагнулся и стал разговаривать вполголоса с соседкой.

Май в Лиссабоне стоял счастливый и тревожный.

Лиссабон—Москва, 1974 год.

ПОРТУГАЛИЯ: 7500 ЧАСОВ СПУСТЯ

С тех пор как из иллюминатора-самолета португальской авиакомпании ТАП я в последний раз весной прошлого года видел серые взлетные ленты лиссабонского аэропорта, прошло больше десяти месяцев такого напряженного и насыщенного событиями португальского времени, что, наверное, правильнее исчислять его часами.

Почти семь с половиной тысяч стремительных часов истории, наполненных радостью и горем, успехами и неудачами, надеждой и неуверенностью, верой и сомнениями, движением вперед и попытками вернуть старое. Семь с половиной тысяч часов ежеминутной тяжелой работы, из коей прежде всего — а далеко не только из гвоздик и улыбок — складывается процесс глубоких изменений, который в Португалии зовут революционным.

Попробуй перечисли даже самое главное, что произошло за эти часы. Окончание колониальной войны. Начало процесса деколонизации, отражение бешеных атак реакции в июле и сентябре прошлого года, в феврале и марте этого. Разве угнаться перу за событиями! После 11 марта 1975 года, после провалившейся попытки контрреволюционного мятежа происходящие события полны особого значения.

Движение вооруженных сил создало Революционный совет, который стал конституционным органом, а Совет национального спасения перестал существовать. На первом своем заседании в ночь с 13 на 14 марта Революционный совет принял декрет о национализации всех действующих в стране частных банков (за исключением филиалов иностранных банков). Еще через сутки Революционный совет одобрил закон о национализации всех страховых компаний, зарегистрированных в континентальной части Португалии и на входящих в ее территорию близлежащих островах Атлантики (за исключением компаний, в которых «доля участия иностранного капитала является значительной»).

Все, кому дорога судьба истинной демократии в Португалии, поняли эти меры Революционного совета как весьма серьезные шаги к ликвидации экономического могущества монополий, как демонстрацию твердого намерения Движения вооруженных сил идти вперед по пути подлинной демократизации страны и глубокого изменения ее экономической структуры.

Такое понимание событий было подтверждено еще через несколько дней опубликованием португальским правительством новой программы экономической и социальной политики, в которой четко выражена антимонополистическая стратегия Движения вооруженных сил. Новая программа, в частности, предусматривает: установление государственного контроля над основными отраслями промышленности, имеющими стратегическое значение, и добычей полезных ископаемых; исправление последствий чрезмерной концентрации экономической власти в руках отдельных монополистических группировок; обеспечение деятельности частного сектора в условиях планируемого развития экономики с целью удовлетворения нужд большинства населения; осуществление первой фазы аграрной реформы; защита интересов мелких и средних предприятий от посягательств монополий; запрещение иностранных капиталовложений в оборонную промышленность, а также в банковское дело, финансовые и страховые учреждения, в сферу общественной информации.

Процесс, подобный тому, что происходит внутри Португалии, весьма сложен. Его рано подытоживать — он весь в динамике, — тем более рано предсказывать будущее страны.

Но человеку, наблюдающему прогрессивные политические, социальные, экономические изменения в разных странах, бросается в глаза чрезвычайно тревожащее сходство нынешних действий реакции против народа Португалии с действиями реакции против чилийского народа.

Вспомните кампанию «заботы» буржуазных газет «о чистоте демократии» в Чили при Альенде и сравните ее с подобной антипортугальской кампанией после провала попытки революционного мятежа 11 марта этого года. Слова: «Угроза диктатуры слева», «Опасность экономического хаоса», «Надвигающаяся тень гражданской войны», которыми пестрят статьи реакционных газет Запада и речи реакционных политических деятелей, будто вынуты ими из статей и речей против Чили два года назад.

Идет активная обработка общественного мнения на Западе, чтобы помешать глубокой эволюции, происходящей в Португалии. И вот результаты: резко снижены иностранные капиталовложения в португальскую экономику, ожидается уменьшение числа иностранных туристов, налицо первые признаки экономического спада.

Вспомните, наконец, мифический «план ЗЕТ», по которому левые силы Чили якобы собирались уничтожить руководителей правых партий и высшее офицерство. Этим «планом ЗЕТ» фашистская хунта пыталась «оправдать» свой кровавый переворот. Организаторы неудавшегося путча 11 марта в Португалии уже из эмиграции пытаются «объяснить» свои предательские действия неким планом «пасхальной резни», которую левые силы Португалии собирались якобы устроить руководителям правых партий и высшему офицерству.

Нет, ситуация в Португалии вовсе не та, что была в Чили, скажем, весной или летом 1973 года. Но вот методы международной и внутренней реакции тогда и теперь схожи до омерзения.

И это тревожное сходство требует бдительности.

Два слова о некоторых из тех людей, что упомянуты в моих записках.

Мой друг Карлуш продолжает успешно трудиться на ниве документального кинематографа, воевать с аполитичным хозяином, создавать летопись исторических событий, мечтает показать свои фильмы на фестивале в Москве. Капитан Майа по-прежнему служит в Сантарене, пользуясь уважением и любовью своих сограждан. Гашпар Р — а работает в Анголе специальным корреспондентом од-

ной из лиссабонских газет. Майор Мелу Антувеш назначен в марте министром иностранных дел временного правительства.

Генерал Спинола, не побрезговавший участием в попытке реакционного путча, как известно, бежал в Бразилию вместе со своими сообщниками. Исчез из министерства информации и «курьер истории» сеньор Фейтор Пинто, поведавший мне о том, как стал президентом генерал Спинола. В этом маленьком послесловии, которое я пишу в новом Лиссабоне, я уже могу сказать, что сеньор Фейтор Пинто и «интеллигентствующий фашист» сеньор Т., писавший доносы в ПИДЕ, — одно и то же лицо. Вместе с ним испарились из министерства и некоторые «особо внимательные» молодые чиновники.

Бывший глава ПИДЕ Сильва Паиш и Тиноко, палач с добрыми глазами, пребывают в тюрьме Кашиас.

Процесс развития новой Португалии пока идет безостановочно, укрепляют свои силы демократы. Сбрасывают с дороги тех, кто оказался лишь временным попутчиком, явным или скрытым врагом демократии.

Лиссабон,
7 апреля 1975 года.

Свержение фашистского режима в Португалии 25 апреля 1974 года вызвало огромный резонанс во всем мире. И это не случайно. Рухнул самый «старый» в Европе фашистский режим, рухнул за несколько часов, фактически без кровопролития.

Апрельские события в Португалии явились логическим завершением длительной и упорной борьбы португальских трудящихся и их авангарда — Португальской компартии, всех демократических сил страны, а также национально-освободительного движения в Анголе, Мозамбике, Гвинее (Бисау) против фашизма и португальского колониализма. Эта борьба вызвала к жизни Движение вооруженных сил, отразившее чаяния португальского народа и сыгравшее решающую роль в свержении португальского фашизма.

Уничтожение режима Томаша — Каэтано является, несомненно, одним из наиболее важных событий в жизни послевоенной Европы. Оно с большим удовлетворением встречено советским народом, всей демократической и прогрессивной общественностью мира.

Записки Генриха Боровика — первая в нашей стране крупная работа, рассказывающая о начале «португальской весны». Автор был очевидцем становления новой Португалии, свидетелем тех радостных и тревожных дней, атмосферу которых «вызвал к жизни вновь» на этих страницах. На основе обширного фактического материала, бесед с десятками людей, представляющих разные слои португальского общества, Г. Боровик дает верную характеристику политического положения в Португалии тех дней, расстановки политических сил в стране, раскрывает деятельность и роль Португальской коммунистической партии.

Автор сознательно ограничил время повествования лишь первым месяцем после 25 апреля. Но по очеркам, которые писались летом 1974 года, можно объяснить и даже порой предугадать многие последующие события. Пронизывающая все очерки тревожная мысль о том, что «фашизм просто так не уходит», что реакция еще попытается взять реванш по примеру того, как это произошло в Чили в 1973 году, тоже нашла подтверждение в дальнейших событиях в Португалии. И провокационная роль ультралевых маоистских групп, объективно сомкнувшихся с крайней реакцией во время неудавшегося путча 11 марта 1975 года, убедительно обрисована автором уже летом 1974 года.

Эти записки, правдиво рассказывающие о первых днях новой Португалии (сколько было фальсификаций и лжи в буржуазной печати!), несомненно будут действовать укреплению дружбы между советским и португальским народами.

Уничтожение гитлеровского и итальянского фашизма тридцать лет назад, а весной прошлого года португальского и чуть позже греческого — важнейшие вехи истории, доказывающие, что, как бы ни были сложны и извилисты ее пути, дело независимости, демократии и социального прогресса непобедимо, неистребимо!

Победа португальского народа в апреле 1974 года вновь продемонстрировала, что именно политика мирного сосуществования создает наиболее благоприятные условия для успешной борьбы против империализма, за мир, демократию и социальный прогресс.

В. Владимиров,
кандидат исторических наук.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. БРАЙНИН

★

ИЗ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНУ

Пятьдесят лет назад, в январе 1925 года, в первом номере нового литературно-политического и научного журнала «Новый мир» один из его редакторов, талантливый партийный публицист Юрий Михайлович Стеклов, писал:

«Был момент, когда Ленина знала только небольшая группа его ближайших сторонников. Затем он стал известен всей России. После Октябрьской революции известность его перешагнула через национальные границы и о нем узнал весь мир. На земле нет теперь политически грамотного человека, который не слышал бы имени Ленина, который так или иначе не определил бы своего отношения к нему. И чем дальше, тем популярность его будет расти»¹.

В предлагаемой вниманию читателей публикации приводятся письма, присланные В. И. Ленину в первые два послеоктябрьских месяца, в те дни, когда о Ленине, как писал Ю. М. Стеклов, узнал весь мир. Первые письма граждан к создателю невиданного дотоле государства рабочих и крестьян.

От этой архивной папки веет революцией: на 273 листах — документы, датированные ноябрем и декабрем 1917 года. «Переписка о политическом положении в стране и борьбе с саботажем предпринимателей; письма В. И. Ленину, в СНК и ВЦИК от разных лиц с предложениями различных законопроектов, прошения с просьбами о предоставлении работы и другие» — так озаглавлена эта папка. Вот ее «адрес»: ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 47, что расшифровывается так: Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 130-й (это фонд Совнаркома), опись 1-я, 47-е дело.

Заметим, что документы ноября — декабря семнадцатого года составляют в фонде Совнаркома 91 дело. Тут материалы заседаний СНК (за эти два месяца Совнарком на 37 заседаниях обсудил более 460 важнейших вопросов), проекты декретов, переписка с наркоматами, письма трудящихся... Так что бумаги, отложившиеся в интересующей нас архивной папке, лишь малая толика документов 130-го фонда за ноябрь—декабрь 1917 года. Но в ней отчетливо отразились события тех дней, и потому стоит полистать ее внимательно.

...Победные сообщения из Сибири, с Урала, из южных и северных областей. Повсеместно власть берут Советы. Большевизм шествует из конца в конец громадной страны.

«От имени Селецкой волости, Костромской губернии, Галицкого уезда, от всех граждан приветствуем верховную власть — Совет солдатских, крестьянских и рабочих депутатов и Народных Комиссаров», — писал в Совнарком в декабре 1917 года солдат Николай Потыкин.

Усилить гарнизоны Петрограда, Москвы и других больших городов солдатами-большевиками предлагал в своем письме 6 декабря 1917 года² А. Люсинов. «Затем следо-

¹ «Новый мир», 1925, № 1, стр. 124.

² Даты писем даются по старому стилю.

вало бы Вам,— продолжал он,— принять все меры для того, чтобы большевистская литература проникла бы во все углы нашей Родины».

Трудящиеся выражали в своих письмах чувства глубокого уважения, благодарности и доверия главе Советского правительства В. И. Ленину — «Главному Комиссару Российской Республики», как назвал Владимира Ильича один из его корреспондентов.

«Имею честь послать Вам свой сердечный привет в том, что в историческую грозную минуту Вы взяли на себя великий подвиг — исполнить тот завет, который Вами был начертан много лет назад,— писал Ленину Ефим Иванович Березин (Москва, Николо-Ямской пер., 10).— Я надеюсь, что великая Ваша задача должна [быть] проведена в жизнь русского народа только для блага; и для русского крестьянства, и также рабочего и всей русской промышленности, которая должна встать на высоту своего положения без всякого ущерба, и я надеюсь, что Ваша великая задача — вывести страну на путь справедливый, на путь тот, который мог [бы] соединить все народности в одно целое, нераздельное государство, безо всякого насилия, который мог бы привести к расцвету и культурности русского народа...»

Думами о необходимости самой решительной борьбы с контрреволюционерами делились с Владимиром Ильичем многие его корреспонденты. На пятый день после победоносного штурма Зимнего дворца инвалид Иван Павликов в своем письме просил Председателя Совета Народных Комиссаров «принять как возможно строгие меры» против врагов советской власти, «чтобы нашу большевистскую свободу закрепить крепче, и буржуазию раздавить...».

Почтовая открытка. Сверху надпись: «Срочно». Ниже адрес «Председателю Совета Народных Комиссаров Ульянову-Ленину. Здесь. Смольный институт».

«Дорогой товарищ Ленин! — писал 22 ноября гражданин, расписавшийся неразборчиво.— Убедительно советую Вам арестовать Чернова. Вспомните только, кто вел против вас казаков, кто вдохновляет забастовщиков, кто все время интригует против вас? Все это — Чернов! Надо тоже запретить его газету «Дело народа»...»

Автор настораживает Ленина в отношении партии левых социалистов-революционеров. Эта партия, пишет он, «является для вас очень опасной. Под видом соглашения она подкапывается под вас...».

Автору этой открытки нельзя отказать в прозорливости: он раскусил политического противника большевиков «сахарного сладкопевца» В. М. Чернова, которого Ленин заклеил как ярого контрреволюционера. В написанной Лениным декларации фракции большевиков, оглашенной на заседании Учредительного собрания 5(18) января 1918 года, указывалось, что правозсеровская партия Чернова, называющая себя социалистической и революционной, «является на деле партией буржуазной и контрреволюционной»³. В мае — августе 1917 года Чернов был министром земледелия в буржуазном Временном правительстве и проводил политику жестоких репрессий против крестьян, захватывавших помещичьи земли, а после Октябрьской революции стал одним из организаторов контрреволюционных мятежей. Антисоветскую деятельность Чернов продолжал и за границей, куда эмигрировал в 1920 году.

Центральный орган эсеровской партии газета «Дело народа», о которой упоминает автор открытки, ратовала за соглашение с буржуазией и продолжение империалистической войны, резко выступала против большевистской партии, призывала к вооруженному сопротивлению революционным силам. За антисоветскую агитацию эта газета была 14 (27) января 1918 года Советским правительством закрыта. И в отношении левых эсеров, как показали дальнейшие события, и в частности контрреволюционный мятеж в Москве в июле 1918 года корреспондент Ленина также был прав.

Об исключительном накале классово-борьбы в самом сердце революции — Петрограде писал 7 ноября 1917 года инженер-технолог Петр Алексеевич Кобозев. Он сообщил Совнаркому, что, «будучи делегирован РСДРП (большевиков) в городскую Думу на одно из семи мест, предоставленных нашей партии», увидел, что Дума настроена явно контрреволюционно. Она не признавала власти Совета Народных Комиссаров, «не гнушалась никакими, самыми фантастическими сплетнями, преподносимыми ею в значительной

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 227.

мере ее городским головой». Кобозев обращает внимание на такую отнюдь немаловажную деталь: заседания Думы назначаются в два часа дня, и это делается умышленно, чтобы лишить депутатов-рабочих возможности присутствовать на них; заседания происходят без всякого кворума, и важнейшие решения Думы принимаются ее председателем единолично.

«Все это,— продолжает Кобозев,— превратило «всеобщее, прямое» и т. д. в одно сплошное издевательство над правами восставшего народа вообще и пролетариата Петрограда в особенности и даже, более того, грозит новой попыткой вооруженной авантюры, вроде захвата телефонной станции юнкерами; но уже авантюры более организованной...»

Напомним читателю, что Петроградская дума была избрана 20 августа 1917 года и большинство в ней принадлежало правым эсерам, меньшевикам и кадетам. После Октябрьской революции она превратилась в очаг контрреволюции. Еще одним свидетельством этого и были факты, приведенные П. А. Кобозевым. Недолго, однако, враги хозяйничали в Думе. 16 (29) ноября 1917 года Ленин подписал декрет, в котором говорилось, что «наличный состав думского большинства, утратившего всякое политическое доверие, продолжает пользоваться своими формальными правами для контрреволюционного противодействия воле рабочих, солдат и крестьян, для саботажа и срыва планомерной общественной работы...». А посему «Петроградскую городскую думу распустить...»⁴. 28 ноября состоялись новые выборы в Думу, и почти все места в ней (188 из 200) получили большевики. Председателем Думы стал член партии с 1893 года А. Н. Винокуров, а городским головой (руководителем городской управы) — М. И. Калинин. По мере укрепления Советов надобность в самостоятельном существовании городской Думы отпала, и в конце января 1918 года по предложению М. И. Калинина городская Дума была превращена в отдел городского хозяйства Петроградского Совета.

Несколько слов об авторе письма по поводу положения в Петроградской думе. Сын рабочего-железнодорожника, он двадцатилетним парнем вступил в 1898 году в Коммунистическую партию. Окончил Рижский политехнический институт, был одним из руководителей военной организации социал-демократической партии Латышского края. Затем ссылка, работа на строительстве Мурманской железной дороги. П. А. Кобозев был одним из создателей Оренбургской большевистской организации, а после Февральской революции — комиссаром Ташкентской железной дороги. В мае семнадцатого года Кобозев прибыл в Петроград. Он сразу понял контрреволюционную сущность Петроградской городской думы и городской управы. Через несколько дней после написания уже известного нам письма П. А. Кобозев был назначен чрезвычайным комиссаром ВЦИКа и СНК в Западной Сибири и Средней Азии. Затем он председатель ЦИКа Туркестанской АССР, председатель реввоенсовета Восточного фронта, председатель Совета министров Дальневосточной республики, а в последующие годы — на научно-педагогической работе. Умер П. А. Кобозев в 1941 году.

Далеко не все корреспонденты Ленина были такими же политически закаленными, как Петр Алексеевич Кобозев, но нередко верное чутье помогало им распознать, где друзья, а где враги. Близко принимая к сердцу события, очевидцами которых они являлись, эти люди не оставались сторонними наблюдателями; они участвовали в борьбе и о том, что особенно волновало их, писали в центральные органы власти, лично В. И. Ленину.

О преднамеренной клевете врагов советской власти, об их попытках обмануть и повести за собой некоторых малосознательных трудящихся сообщал Ленину в своем письме из города Кирсанова Тамбовской губернии Филипп Костин — старший унтер-офицер, председатель эскадронного комитета 8-го маршевого эскадрона 15-го гусарского Украинского полка (письмо датировано 20 ноября 1917 года).

«Живя в провинции,— писал Костин,— я вижу, что бедствия народные день ото дня все увеличиваются исключительно лишь благодаря усиленной пропаганде, распространяемой среди темного населения лицами, идея которых идет вразрез с идеей Вашей и Ваших сотрудников. Хотя я считаю себя в политическом отношении вовсе не зрелым,

⁴ «Декреты Советской власти». М. 1957, т. 1, стр. 91—92.

во, между прочим, вижу, что враги свободы и трудящегося народа действительно не спят и не покладая рук и не жалея когда надо материальных средств, совершая свое злое дело... сеют всевозможные слухи, волнующие население, каковые иногда доводящие до ужасной паники. Поверьте, что необходимо принятие неотложных мер по борьбе с сеятелями смуты и врагами свободы пострадавшего от войны и разрухи народа. Промедление в принятии мер к охране революции окончательно опрокинет [много]миллионную Россию в бездну, и пропадет завоеванная свобода. Я отлично понимаю, что враги свободы и бедного народа всевозможными способами стараются втереться в доверие к темным, бедным людям, не стесняясь назвать себя их братьями и спасителями от бедствий и в то же время забрызгивая грязью светлое, как солнечный луч, лицо действительно верно поднявших знамя свободы истинных сынов Родины и революции...»

Быть может, автор этого письма не знал, что как раз в то время в Кирсанове должность начальника уездной милиции занимал злейший враг советской власти А. С. Антонов, который с помощью демагогии и клеветы вербовал крестьян в свою банду, а затем возглавил антисоветский кулацко-эсеровский мятеж в Тамбовской губернии. Но именно о подрывной работе таких, как Антонов и его приспешники, сообщал Костин Ленину.

Костин предлагал, во-первых, применять репрессии против клеветников, а во-вторых, «по всему обширному государству» иметь надежных, преданных людей, «действительно любящих Родину и революцию». В заключение он писал:

«Я извиняюсь перед Вами, Владимир Ильич, в том, что я беспокою Вас своим малограмотным и несложным письмом, но и надеюсь, что Вы мне в этом простите, так как образовательного ценза я вовсе не имею... но нервы мои не выдержали, а потому я и вынужден писать это письмо».

Можно понять беспокойство Филиппа Костина. Он понимал, что скрытый враг, распространяющий клеветнические и панические слухи, не менее, а пожалуй, еще более опасен, чем враг явный, открытый. «Забрызгивая грязью» истинных революционеров-большевиков, враги подрывают в массах доверие к советской власти.

Опасность антисоветской пропаганды, о которой писал Костин, стала особо грозной летом 1918 года — в период наибольшего обострения голода в стране. Тамбовские кулаки, которые, как отметил Ленин в докладе о текущем моменте на IV конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы 27 июня 1918 года, «чувствуют вражду ко всякой рабочей и крестьянской власти»⁵, припрятали хлеб. Не отдавали хлеб голодающим рабочим центра и те из крестьян, кто поддался лживой кулацкой пропаганде.

Предложение Костина о репрессиях против клеветников отвечало требованиям жизни. Он верно понял указания большевистской партии о необходимости самой решительной борьбы с распространителями ложных слухов.

Председателю Совнаркома писали не только доброжелатели, но и явные враги. Их пышущие злобой письма с угрозами в адрес Советского правительства и лично В. И. Ленина отражают сильнейший политический накал первых месяцев революции, «до бешенства, до отчаяния острой классовой борьбы»⁶, как писал в те дни Ленин.

Оставим в стороне письма злобствующих недругов — история вынесла им свой справедливый приговор. Не будем задерживаться и на личных просьбах, хотя и довольно любопытных, свидетельствующих о большом доверии граждан к новой власти, вере в ее силу и авторитет. Обратимся к письмам, в которых трудящиеся, осознав себя хозяевами рожденного Октябрем Советского государства, делились размышлениями о строительстве новой России.

Председатель профессионального союза транспортных рабочих Василий Андреевич Андрианов (Петроград, Херсонская, 1) излагает свои соображения об устройстве органов государственной власти в деревне — таком устройстве, которое, по его мнению, даст крестьянам возможность «организоваться и самообразоваться».

Проекты избирательного закона, законов о труде, о воинской повинности, о духовенстве и другие (25 листов большого формата!) прислал из Перми П. Г. Безукладников.

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 451.

⁶ Там же, т. 35, стр. 192.

«Зная, что Вы всегда стоите за бедных и угнетенных,— писала Ленину гражданка Денисова,— я обращаюсь к Вам с просьбой обратить внимание на квартирный закон, который составлен в пользу домовладельцев...» Далее она пишет о непомерно высокой квартирной плате, установленной в дореволюционное время, и в заключение просит Председателя Совнаркома: «Отмените этот закон и дайте другой, справедливый...»

Житель Полтавы Александр Малыш (служащий крестьянского поземельного банка) предлагает ввести разработанную им систему государственных налогов, с помощью которой, как он пишет, «быть может, суждено осуществиться проведению социализма в жизнь на практике».

В письме, написанном Ленину в ноябре 1917 года, Г. Васильев предлагал «срочно провести» ряд реформ, в том числе такие: «Отделение церкви от государства», «Уничтожение всяких сословий и привилегий с присвоением всем одного названия „гражданин“».

Нам неизвестно, знал ли Васильев о программе большевиков, принятой еще в 1903 году на II съезде партии и предусматривавшей, в частности, и то, что предлагалось им сейчас. Но важно другое: он думал о тех проблемах, которые уже решало рабоче-крестьянское правительство. 11(24) ноября 1917 года ВЦИК и СНК приняли декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», в котором говорилось, что всякие звания (дворянина, купца, мещанина и другие), а также княжеские, графские и прочие титулы и наименования гражданских чинов (тайные, статские и прочие советники) «уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики»⁷. А 20 января (2 февраля) 1918 года Ленин подписал декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», первый пункт которого гласил: «Церковь отделяется от государства»⁸.

Взволнованное письмо написала Ленину 24 ноября 1917 года жительница города Харькова Александра Ивановна Волкова:

«Товарищ Ленин! Обращаюсь к Вам как к самому справедливому и честному гражданину России. Знаю, как любит Вас и чтит русский народ, ибо сама преклоняюсь перед Вашим умом и справедливостью. Свобода — вот связывающий всех порядочных людей лозунг. Скажите, товарищ Ленин, неужели, будучи самыми свободными людьми в мире, мы все-таки не добьемся свободы в своей семье. Я говорю о наших старых, дворянских законах о разводах. Знаете, большего ярма я себе даже не представляю. Почему наш духовный суд должен вершить делами о разводах, и вершить так несправедливо... Поводы им нужны в виде прелюбодеяния, а с остальным они могут мириться. Где же здесь справедливость и свобода?.. Заставьте пересмотреть такие важные дела, как развод, ибо несчастный человек в семейной жизни не может быть хорошим работником для России...»

Вопрос, который так беспокоил А. И. Волкову, был в поле зрения новой власти. В ленинской биографической хронике, относящейся к периоду между 5 (18) ноября и 12 (25) декабря 1917 года, читаем: «Ленин неоднократно спрашивает замнаркома юстиции П. И. Стучку о проекте декрета о расторжении брака, заслушивает его сообщение о многочисленных запросах с мест о судьбе проекта»⁹. А 19 декабря 1917 (1 января 1918) года «Правда» опубликовала подписанный Я. М. Свердловым и В. И. Лениным декрет ВЦИК и СНК о расторжении брака. «Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или, хотя бы, одного из них»¹⁰, — говорилось в декрете. В нем далее объявлялось, что все дела о расторжении браков, находящиеся на рассмотрении в духовных консисториях, в правительствующем синоде и во всяких учреждениях иных христианских и иноверных исповеданий, «признаются силою сего закона уничтоженными»¹¹. Право расторгать брак передавалось, согласно декрету, местному суду или (если согласие на развод обоюдное) отделу записей браков.

Очень важный вопрос затронут в письме группы солдат 295-го пехотного запасного полка.

⁷ «Декреты Советской власти», т. 1, стр. 72.

⁸ Там же, стр. 371.

⁹ «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника», М. 1974, т. 5, стр. 37.

¹⁰ «Декреты Советской власти», т. 1, стр. 237.

¹¹ Там же, стр. 239.

«Неоженимый всемирный борец за мир, свободу, землю и счастье народов товарищ Владимир Ильич! — писали Ленину рядовые Андрей Гончаров, Порфирий Кривенко, Владимир Тарадайкин, Н. Мухин и другие. — Выражая Вам свое доверие, благодарность, любовь и готовность к защите Ваших неоценимых трудов, всепокорнейше просим Вас обратить Ваше высокое внимание на наши маленькие мысли об укреплении и проведении в жизнь всех завоеваний революции...»

Затем следует изложение этих мыслей, которые оказываются отнюдь не маленькими. Корреспонденты Ленина были озабочены тем, что народ не вооружен, «а делов самых важных и трудных очень много». Далее они пишут:

«Когда народ станет брать землю от помещиков, то они при помощи казаков будут делать внезапные набеги на мирные невооруженные деревни и могут принести много вреда народу. То для того, чтобы этого не случилось, мы, обсудив всесторонне этот вопрос, решили:

1) каждый уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов должен организовать свой хорошо вооруженный Революционный красный отряд;

2) этот отряд должен состоять из лиц выборных, пропорционально от каждого села, хуторка или общества;

3) все выборные лица должны служить в отряде по одному или по два месяца по очереди, то есть без особого насилия каждого свободного гражданина.

Тогда Совет, опираясь на свой отряд, будет уверенно, без всяких эксцессов, проводить в жизнь свои постановления.

«Если будет Вам благоугодно, — обращаются солдаты к Ленину, — то поставьте этот вопрос где нужно на обсуждение».

Вопрос о вооружении народа был тогда в центре внимания партийных и советских органов. Выступая 29 октября (11 ноября) 1917 года на совещании полковых представителей петроградского гарнизона, Ленин говорил: «Наша задача, которую мы ни на минуту не должны упускать из виду, — всеобщее вооружение народа...»¹². Четыре месяца спустя, в первых числах марта 1918 года, в черновом наброске проекта программы партии Ленин писал: «Создание вооруженной силы рабочих и крестьян, наименее оторванной от народа (Советы = вооруженные рабочие и крестьяне)»¹³.

Как видите, Андрей Гончаров и его однополчане, излагая свои «маленькие мысли», затронули весьма актуальную для того времени проблему.

Одним из опаснейших методов борьбы контрреволюционеров против советской власти был саботаж. 6 (19) ноября 1917 года было опубликовано обращение Председателя Совета Народных Комиссаров к населению. Сообщая о победе революции в Петрограде и Москве и поддержке нового правительства на местах, Ленин писал далее в этом обращении, что помещики и капиталисты, а также высшие служащие и чиновники, тесно связанные с буржуазией, «встречают новую революцию враждебно, сопротивляются ее победе, грозят прекращением деятельности банков, портят или прекращают работу разных учреждений, мешают ей всячески, тормозят ее то прямо, то косвенно»¹⁴.

Подрывные действия саботажников вызвали справедливый гнев сознательных рабочих, крестьян, служащих. Житель города Баку Филарет Александрович Крашенинников (ул. Гимназическая, угол Персидской, 101/103) писал Ленину 22 ноября:

«Не могу удержаться от чувства возмущения и посылки проклятий всем «превосходительным», «высокородным» и «благородным» саботажникам, тормозящим колеса великой революции... Россия в своей среде имеет немало работников более полезных и здравомыслящих, хотя, правда, не из превосходительных и высокородных и, быть может, даже большую часть без привилегированного учебного ярлыка, но зато их работа может быть куда полезней для революционного народа, чем превосходительных и высокородных приспешников бывшего царя, заботящихся не о нуждах народа, а о своих удовольствиях. Пока еще не поздно, следует безотлагательно разогнать эту сволочь и

¹² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 40.

¹³ Там же, т. 36, стр. 72.

¹⁴ Там же, т. 35, стр. 65.

пригласить на их места [работников] из среды пролетариев, которых найдется в достаточном количестве...»

Так думали о саботажниках многие советские люди. Вместе с возмущением по их адресу они высказывали твердую уверенность, что победивший народ — и прежде всего рабочий класс — найдет достойных представителей для работы в органах государственного управления, хозяйства, финансов... Так оно и было. Рабочие петроградского завода «Сименс-Шуккерт» вместе с моряками Балтфлота пришли работать в Наркомат иностранных дел; путиловцы дали кадры Наркомату внутренних дел; из рабочих Выборгской стороны была подобрана большая часть служащих Народного комиссариата просвещения; профсоюзы металлистов, текстильщиков, железнодорожников обеспечили кадрами Наркомат труда.

А когда рабочие, направленные в один из наркоматов, пришли к Ленину с просьбой отпустить их обратно на завод, потому что у них нет опыта и дело идет плохо, Владимир Ильич сказал:

— Я тоже никогда не управлял государством, но партия и народ поручили мне эту работу, и я должен оправдать их доверие. Рекомендую и вам делать то же самое.

Рабочие на ходу овладевали новым для них делом и оправдали оказанное им доверие.

Отовсюду шли в СНК письма передовых граждан, стремившихся оказать помощь и содействие советской власти, и это нашло отражение в архивной папке, которую мы листаем.

«Будучи сам членом русской пролетарской семьи, я с невыразимой готовностью желал бы принести возможно больше пользы рабочей и крестьянской России,— писал Ленину 11 ноября 1917 года экономист У. И. Вургафт (Петроград, Широкая, 15, кв. 7). На его письме управделами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич написал: «Передать комиссару торговли и промышленности. Может быть, окажется нужным». Во втором письме, присланном Ленину 13 ноября, Вургафт высказывает некоторые соображения по вопросам торговли и банковского дела.

Председатель комитета латышской большевистской организации в Петрограде сообщал в СНК 6 ноября 1917 года, что комитет «рекомендует товарища Александра Тирзита в качестве опытного работника по конторской части».

Мария Ивановна Николаева (Петроград, Знаменская, 28, кв. 2) пишет, что окончила счетоводные курсы и готова работать по счетной части. А ее однофамилец Петр Николаевич Николаев — бывший телефонист штаба 78-й пехотной дивизии — заявлял о готовности работать по этой специальности. Свои услуги предлагал также в письме к Ленину Николай Тимофеевич Савельев (Новая деревня, Хабаровская ул., дом Бикеева, № 21/23), работавший до этого на строительстве Мурманской железной дороги — был рабочим на линии, затем кладовщиком...

«Я предлагаю свою жизнь и знание края в распоряжение Совета Народных Комиссаров,— писал Ленину житель города Кургана Сергей Рязанов.— Как сибирский пролетарий, я должен проводить идеи своего правительства, которое действительно является защитником рабочего класса». Упомянув о том, что в некоторых сибирских селах еще сильно враждебное влияние и потому крестьяне отказываются отдавать излишки хлеба для центральных районов страны, автор заявляет о своей готовности вести там необходимую разъяснительную работу. «Нужно хорошо знать быт и душу сибиряков,— замечает он,— и тогда только можно делать дело, от удачного исхода которого зависит прокормление миллионов граждан...»

Наперекор явным и скрытым саботажникам честные граждане заявляли о готовности приложить свои силы везде, где нужны их квалификация, опыт, знания.

Выполняя волю народа, Советское правительство решительно боролось с саботажем. Строжайшие меры были приняты против спекулянтов, против тех, кто скрывал запасы продовольствия, был повинен в злостной задержке грузов на транспорте. Местным Советам было дано указание принимать по отношению к саботажникам-предпринимателям «все меры воздействия, вплоть до конфискации принадлежащих им предприятий»¹⁵. Выступая 6 (19) января 1918 года на заседании ВЦИКа с речью о роспуске

¹⁵ «Декреты Советской власти», т. 1, стр. 546.

Учредительного собрания, Ленин сказал: «А саботажников мы сломим»¹⁶. И они были сломлены!

В 47 деле 130 фонда оказалось и несколько писем иностранных граждан, которых Октябрь застал в России. Эти письма также представляют немалый интерес как свидетельство отношения их авторов к свершившейся революции. Вот адресованное Ленину 6(19) ноября 1917 года письмо чешских социал-демократов. Они с беспокойством пишут о том, что Русское отделение Чехословацкого национального совета с помощью печатной и устной пропаганды забивает головы военнопленных чехов и словаков буржуазным национализмом, настраивает их против революционной России. Авторы письма просили главу Советского правительства предоставить им возможность обратиться с воззванием к чешским военнопленным в России и чешским добровольцам на русском фронте, чтобы рассказать им правду о политике Советского правительства. И такая возможность была им предоставлена.

«Сердечно поздравляю русский народ с достижениями и завоеваниями революции и свободы...— писал Ленину 5 декабря 1917 года оказавшийся в русском плену поручик турецкой армии Ахид А.— Я, издавна одушевленный социалистическим идеалом, все время мечтал об освобождении народов всего мира из-под ита империализма, монархистов и буржуев и о братстве всех народов. Ныне же вижу, что эти высокие идеалы осуществлены в России...»

Одна сравнительно небольшая архивная папка, но как богато ее содержание! Она донесла до нас яркий колорит той великой эпохи, поведала о чувствах, мыслях, стремлениях очевидцев исторических событий конца семнадцатого года, показала глубочайшее уважение рабочих и служащих, солдат и крестьян к вождю победившего народа Владимиру Ильичу Ленину, огромное доверие к первому в мире рабоче-крестьянскому правительству.

Документы, сохраняющиеся в 47 деле фонда Совнаркома за 1917 год, подтверждают, что в водоворот событий были вовлечены широчайшие массы трудящихся, и еще и еще раз показывают, сколь жалкими выглядят попытки некоторых буржуазных историков представить Октябрьскую революцию как «заговор кучки большевиков». Эти документы — еще одно яркое свидетельство величия Октября, самой народной революции из всех когда-либо свершавшихся на земле.

¹⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 241.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С. С. СМIRHOV



КНИГА МУЖЕСТВА

Когда оглянешься назад и помотришь на пугь литературы о Великой Отечественной войне — путь от бессмертного «Василия Теркина» и до последнего романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого...», — когда оглянешься на этот путь, видишь, как много сделано интересного, важного, большого, запечатлевшего подвиг героев Великой Отечественной войны.

Первый период этой войны был особенно трудным. Он потребовал от нас большого, героического напряжения. Именно тогда, в эти страшные, тяжкие годы, в сорок первом — сорок втором, наш народ как никогда показал себя великим народом, он не пожалел ничего во имя победы.

В эти тяжелые годы во всю широту развернулся организаторский гений нашей Коммунистической партии — в невиданно короткий срок все хозяйство страны превратить в единый боевой лагерь! В эти годы особенно наглядно выявилась крепость нашего Советского государства. Гитлеру казалось, что перед ним колосс на глиняных ногах, но на глиняных ногах оказались надежды и планы врагов человечества.

У нас среди рабочей молодежи сейчас живет замечательный лозунг: «Работать за себя и за того парня». А этот лозунг, если вдуматься, никем не произнесенный вслух, жил в душе у каждого в те трудные годы: «Воевать за себя и за того парня, который погиб, который в силу обстоятельств оказался в плену». Раскрывалось самое дорогое, самое глубинное в людских душах: благородству советских людей на войне дивился целый мир. Раскрылась во всю мощь высокая гражданственность советского народа. И академику, шедшему в народное ополчение, и пахарю, взявшемуся за ружье, было

понятно, что пришла на нашу землю такая беда, рядом с которой личные беды не сравнить. Уже не о том шла речь, будешь ли ты жить или погибнешь, останется ли на земле твоя семья, останется ли на земле твоя деревня или город, — знали: речь шла о том, быть или не быть нашей стране, нашему народу, нашему великому делу строительства коммунизма, которому было столько отдано сил и энергии.

Именно об этом рассказывает миру наша военная литература, тысячестраничная книга мужества.

Совсем недавно я побывал на земле героического Бреста. Земля эта дает с особой силой и остротой почувствовать глубину подвига, совершенного нашим народом. Мы побывали на ковровом комбинате, встречались с рабочей молодежью. Как радостно было глядеть в глаза девушек и парней на земле Бреста! Видишь, каким сильным светом светятся они, когда говоришь о войне, о жертвах нашего народа, о необходимости быть достойными этого подвига...

Я подумал, что земля Бреста — это и вся Белоруссия, которая принимала на себя первый удар врага и последней была освобождена в силу своего географического положения. Три страшнейших года эта республика боролась как несгибаемый боец с оккупантами и совершала удивительные подвиги!

Не случайно столько хороших военных писателей дала белорусская земля — Иван Шамякин, Иван Мележ, Василь Быков... Всех не перечислишь. Назову еще лишь одно имя, не автора — героя книги. Когда я читаю в быковской повести «Дожить до рассвета» о жизни и подвиге лейтенанта Игоря Ивановского, о том, как беззаветно выпол-

янет он свой долг, несмотря на все удары судьбы, сражается до конца с неколебимой уверенностью, делает именно то, что должен делать по долгу своему перед Родиной, я вижу в нем образ всего нашего народа.

Народа, который с такой же стойкостью перенес неудачи первых дней войны, сумел повернуть колесо войны и прошел победным походом от Сталинграда до самого Берлина, до Эльбы

ВАСИЛЬ БЫКОВ



ПРАВДА ВОЙНЫ

Советская литература о Великой Отечественной войне нашего народа против немецко-фашистских захватчиков создала немало замечательных произведений об этом беспримерном человеческом подвиге, значение которого не померкнет в веках. Ее более чем тридцатилетний творческий опыт позволяет на огромнейшем материале сделать некоторые обобщения и попытаться извлечь из них определенные литературные уроки.

Книги о всегда тревожившей народное сознание и неотвратимо надвигавшейся войне создавались и до ее памятного начала в роковое воскресенье 1941 года. Как всегда, это были различной талантливости произведения, предвосхищавшие боевые события и переносящие читателя то на западные, то — чаще всего — на восточные границы страны. В каждом из них действовали вполне симпатичные образы советских людей и вполне несимпатичные фигуры наших противников. Почти все книги прозы, а также созданные по ним кинофильмы оканчивались скорым и могучим контрударом по агрессору при незначительных потерях с нашей стороны, всеобщим ликованием и вполне счастливым исходом. Тогда нам казалось, что иначе не должно, да и не может быть.

Может показаться странным: почему многие из этих произведений, написанные с добрыми намерениями и несомненным талантом их авторов, так скоро канули в Лету? Ведь в них, как бы там ни было, нашли свое определенное отражение наше быстротекущее время и связанные с ним наши надежды и чаяния. Все-таки в них были мы, молодые и постарше, художники, литераторы и просто читатели и зрители. Иногда там были и художественные открытия, характеры современников, всегда много безоблачной веры, преданности и оптимизма...

Первые же дни боевых действий на фронтах великой войны показали несостоятельность многих литературных ситуаций, сюжетную заданность и психологическую анемичность художественных образов. Несмотря на литературные достоинства некоторых из этих книг, они не выдерживали никакого сопоставления с жизнью, с войной, с быстро и кроваво приобретаемым боевым опытом беспощадной войны, войны не на жизнь, а на смерть. В новых изменившихся исторических условиях понадобилась новая литература, иной творческий опыт, а может быть, и иные, чем прежде, читатели — люди с иным жизненным опытом.

Эта литература начала создаваться в трудных условиях войны, тяжелых боев, отступления, в голодном и холодном оборонном тылу. Ее создавали опытные и начинающие литераторы, корреспонденты фронтовой печати, фронтовики, люди различных литературных способностей, но несомненно обогащенные своим собственным, в муках и крови обретенным военным опытом, в различной степени трансформированным в литературные жанры. Именно наличие этого опыта, максимально возможная мера правды и стали определяющей мерой талантливости новых произведений о великой войне. И мы теперь с полной уверенностью можем сказать, что многое из прозы и поэзии тех огненных лет выдержало проверку временем и достойно украшает нашу военную литературу. Некоторые образцы ее и сейчас остаются нашей гордостью. Такие книги прозы, как «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Красная ракета» Г. Березко, «Дни и ночи» К. Симонова, уже в те годы показали нам войну, какой она была, и нас такими, какими мы жили и боролись в этой войне.

Конечно, в массе своей эти книги, газетные рассказы и очерки всегда преследовали

определенные цели, зачастую тесно увязанные с нуждами и задачами данного направления, фронта, армии, и несли на себе ярко выраженную печать военного «прагматизма», что, впрочем, вполне объяснимо, если иметь в виду всю титаническую трудность нашей борьбы и применительно к ней понимаемую задачу литературы. В произведениях той поры нередко отсутствовала настоящая глубина и объемность жизни, наличествовала психологическая упрощенность; при всей верности общему, суженная частность не давала им подняться до традиционного уровня великой русской литературы. Но это были бесценные документы времени, созданные по горячим следам боев их непосредственными, хотя и не беспристрастными свидетелями. Правда, при всех достоинствах произведений, их авторам все-таки заметно недоставало того уникального опыта, который приобретался в жестоких боях, окружениях и госпитальных муках непосредственными участниками войны, практически многими миллионами их читателей, и эта неполнота авторского опыта не замедлила вырасти между читателями и книгами о войне — оказалось, что читатели знали о ней чуть больше.

Чтобы разрушить эту стену отчуждения, потребовалось максимальное овладение материалом и его наибольшее художественное осмысление, что было возможно лишь при условии приобретения авторами полноты всенародного опыта.

В послевоенные 40-е и в начале 50-х годов появились книги тех, кто вернулся с полей войны умудренный беспримерностью ее кровавых четырех лет, кто в свое время не рассчитывал не только написать о ней, но и выжить. Художественное осмысление недавнего, еще очень свежего, только что переставшего быть повседневным будничным бытом прошлого дало нам такие шедевры о войне, как «Звезда» Э. Казакевича, «Белая береза» М. Бубеннова, «Спутники» В. Пановой, «Ночь полководца» Г. Березко и другие. Впервые в литературе о войне зазвучали наряду с другими и весьма драматические ноты, обнаружилась настоящая ценность человеческой жизни и вся полнота выпавших на народную долю страданий. Оказалось, что произведение о войне может иметь и трагическую развязку, и что задолго до победы могут погибнуть все персонажи повести, и что на фронте наряду с мужеством и самоотверженностью уживается шкурничество, карьеризм и даже предатель-

ство. Настоящая правда о войне сделала эти произведения непреходящей литературной ценностью.

Помню, как в 1957 году появилась небольшая повесть до тех пор мало кому известного автора-фронтовика Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Через год — повесть Григория Бакланова «Южнее главного удара» и чуть позже — его же «Пядь земли», сразу вызвавшие страстный восторг одних и не менее горячее осуждение других. Возникли споры об «окопной правде» и «масштабности охвата», будто одно начисто исключало второе. Дело, однако, заключалось не в масштабах охвата военных событий и не в авторском пристрастии к избирательности, а в той масштабности правды, которая явилась в книгах этих талантливых авторов. Некоторая часть критиков, воспитанная на той этике, что требовала борьбы хорошего с лучшим, просто оказалась не в состоянии понять правду в таком объеме, а все непонятое, как известно, не может быть также и принято. Критики эти, едва примирившись с недавней гибелью горстки разведчиков у Э. Казакевича, вдруг оказались свидетелями гибели двух батальонов, гибели, целесообразность которой была весьма спорной, во многом проблематичной. В самом деле, ведь мы победили, немецкий фашизм был разгромлен, и это обстоятельство якобы делало обязательным принцип соотнесенности большой исторической правды и малого факта войны, ее конкретного локального эпизода. Мы победили. Мощная военная машина Германии была повержена вместе с государственной идеологией фашизма. Но мы не забываем, во что обошлась нам эта победа. Мы потеряли в войне больше, чем потеряло в ней все остальное человечество.

Лучшие книги о войне, созданные в конце 50-х, а также в 60-е годы, ни в коей мере не бросили тень на нашу святую борьбу и нашу большую победу, они лишь ярко осветили ее солнечным светом большой художественной правды, явив на своих страницах сложнейший художественный образ войны, не поступаясь при этом ни гуманизмом, ни правдой, целиком основываясь на их незыблемых принципах.

Это, однако, не значит, что вся правда о последней войне нашего народа уже освещена до конца, что это окончательно отрабатанная литературой тема. Считать так — значит не понимать всей несообразности объема войны в ее временном значении с

ее истинно-историческим значением в судьбе человечества. Да, война длилась неполных четыре года, но разве годы ее можно сопоставить с какими-либо годами или десятилетиями до или после нее? Четыре года колоссальнейших усилий народа создали духовный концентрат непреходящей ценности, нравственный сплав, в котором нашло свое наиболее полное воплощение не только наше прошлое, но в определенном смысле и наше возможное будущее.

Не преступая правды истории и духа того грозного времени, лучшие наши художники продолжают упорно разрабатывать этот золотонный пласт нашей истории, открывая на конкретном социальном и национальном материале все новые грани этой замечательной темы. Только за последние годы советская литература обогатилась отличными произведениями национальных авторов: эстонца Куусберга, латыша Бирзе, литовца Авижюса, украинца Козаченко, белорусов Адамовича, Науменко, Пташникова, казаха Нурпеисова и многих других. Завершена и удостоена высокой Ленинской премии трилогия К. Симонова «Живые и мертвые», а еще прежде нее — памятная всем нам «Брестская крепость» С. С. Смирнова. Это разные книги о различных человеческих судьбах, но всем им свойственно главное качество — верность правде великой войны, явившейся кровавым испытанием в жизни народа и всего человечества.

Война многолика, подвиг человеческий в ней многообразен, это известно каждому. Было бы странным поэтому сводить литературу о ней к некоему пусть и блестящему единообразию, всегда губительному для любого искусства. Как невозможно унифицировать опыт всех участников этой четырехлетней драмы, так же невозможно добиться, чтобы все авторы писали об одном и том же и безотлично по языку и стилю. Различие опыта, естественно, предполагает различие тем и содержаний, неодинаковость таланта, разную глубину отображения характеров и явлений. Сознание этой элементарной истины снимает всю остроту пресловутого спора об «окопной правде» и «масштабности охвата». Юрий Бондарев, один из самых талантливых авторов военной темы, в свое время вынесший немало упреков в «узости взгляда», ограниченного сектором обстрела противотанкового орудия, создал потом свой знаменитый «Горячий снег», доказав тем всю бесплодность нашумевшего

противопоставления одного другому. Григорий Бакланов после суженной по охвату «Пяди земли» написал «Июль 41 года», события которого развертываются в широкой полосе обороны стрелкового корпуса. «Живые и мертвые» Конст. Симонова — широкое эпическое полотно о войне, создание которого было под стать только этому маститому мастеру с его отличным от предыдущих авторов фронтовым опытом. Но вот тот же Симонов недавно опубликовал военный дневник писателя, вроде бы «узкий» по изображаемому в нем событиям, от чего он не стал менее интересным и значительным, нежели его эпопея.

Однако все лучшее, созданное литературой, — лишь часть огромного целого, имя которому война. Я думаю, что теперь уже стала совершенно бесспорной та истина, что создать современную «Войну и мир» не дано никому даже из самых одаренных писателей, что тема нашей великой войны столь сложна и грандиозна, что общая ее картина может быть создана лишь коллективными усилиями всей нашей многонациональной литературы.

И эта картина создается, хотя, может быть, и не в таких масштабах, как нам хотелось бы. Более или менее успешные усилия ветеранов, писателей с опытом, сопровождаются попытками молодых, переживших войну в раннем детстве, — у них тоже есть своя, пусть не такая, как у фронтовиков или партизан, но памятная и значительная для них война, о которой они имеют свое художническое право поведать человечеству.

Мне думается, что тема минувшей войны неисчерпаема. В будущем, очевидно точно так же, как в прошлом, на пути развития военной литературы будут свои подъемы и свои несомненные спады, интерес к ней не может быть равномерным во времени. Несомненно, многое из отработанного или неактуального в изменившихся исторических условиях навсегда останется в прошлом. Но и многое появится вновь. Если отважиться на некоторое прогнозирование, то кажется, что самым плодотворным направлением будет новое углубление писательского внимания к психологии и судьбе человека и личности в условиях колоссального столкновения двух столь мощных и взаимоисключающих друг друга систем и мировоззрений, а также извечная проблема выбора. Эти ситуации, всегда чрезвычайно важные для понимания природы человека, равно важны

и для принципов гуманизма. Может быть, искусство будущего обнаружит в нашей войне какие-то новые возможности и новые средства их выражения. Но при всем том следует очень хорошо помнить, чем была война для воевавших, потому что, как очень точно сказал в одном из своих выступлений Константин Симонов, «как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась для нас человеческой тра-

гедией от своего первого и до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. И если забыть об этом, то правды о войне не напишешь».

А ведь для нас нет важнее забот и нет значительнее сверхзадачи, чем отражение этой правды.

Правды войны, в которой так поразительно ярко воплотилась правда нашего века. Гродно.



К 70-летию Михаила Александровича Шолохова

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО



УРОКИ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

Лроза Шолохова — это, конечно, целый мир, а о мире говорить не легко: как всегда в таких случаях, ощущаешь тягостную несоразмерность мысли аналитико-критической с цельной, многомерной, полной живой прелести мыслью художественной. «Как беден наш язык...»

Громадно место, занимаемое творчеством Шолохова в русской, в многонациональной советской литературе; столь же масштабен и международный резонанс «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека». «Из всех русских писателей со времен Чехова он достиг наиболее широкой популярности на Западе... — говорил об авторе этих книг Ч. Сноу. — Я лично уверен, и так же думают многие из моих друзей, что «Тихий Дон» — наиболее прекрасный из романов, написанных кем-либо в течение сорока лет». Отзыв, взятый почти наугад, но типичный для множества читательских и писательских высказываний о великом советском романисте в странах Запада и Востока.

Это тем более очевидно, когда говоришь о разностороннем, явном и глубинном воздействии «уроков Шолохова» на творчество его младших сотоварищей и соратников, пишущих и на русском и на десятках других языков нашей родины. Ибо открытия большого художника — сила всегда активная, живущая в художественном создании своего времени и как мера высокого совершенства и как стимул новых поисков.

Идейная и жизненная насыщенность произведений писателя, их эпическая мощь, изумительное богатство и полнокровие характеров, мудрая и мужественная правда в раскрытии генеральных конфликтов эпохи, глубина социального и психологического

анализа, умение показать широчайший исторический поток, несущий десятки и сотни индивидуально неповторимых человеческих судеб, — все это создает для шолоховской прозы необозримое поле притяжения, влекущее к себе мысль многих и разных художников.

Взять хотя бы масштаб, который приобрела у писателя традиционная, хорошо известная еще по классическим созданиям XIX и начала XX столетия «крестьянская» тема. (Кажется, ни у одного любителя плоских тематических раскладок не поднялась рука причислить Шолохова к так называемым деревенщикам — и благодарение богу за это! — но ведь пишет-то он действительно главным образом о деревне, сельщине, пусть и в ее особом, специфическом «донском» варианте.)

«Мелеховский двор — на самом краю хутора». Мне, украинцу, память сразу же подсказывает (цитирую на языке оригинала): «Удовина хата — край села». Это зачин известного романа А. Головки «Мать», также представляющего собой большое эпическое полотно. Нет оснований выискивать причины этого совпадения в чем-либо другом, кроме бессознательного в данном случае следования традиции, традиции еще фольклорной, еще песенной, повелевающей выделить из общей картины один двор, одну хату, одну семью путем отнесения их на край деревенского массива. На самый его стык, так сказать, с внешним миром.

Нам хорошо известно, какими крутыми, огненными, грозными дорогами повела история жителей этого двора на краю хутора, этой хаты на краю села. А ведь традиционный зачин обещал, казалось бы, обычное течение семейно-бытового, семейно-психоло-

гического и, в общем, локального, внутридеревенского повествования из «крестьянской жизни». Этот локальный и семейный элемент (не говоря уж о психологическом), кстати, бережно удержан Шолоховым. Удержан в сопряжении с таким эпическим разворотом исторического действия, аналогично которому можно смело искать в вершине вершин национального реалистического эпоса — «Войне и мире» Л. Толстого. Как и у Толстого, здесь всем правит «мысль народная», и эпопея, которая «физически» началась и закончилась у крайнего двора на хуторе Татарском, вовлекла в свою сюжетную круговерть представителей всех классов и социальных групп тогдашней России, вместила в себе коллизии, конфликты, проблемы подлинно общенационального и, в конечном счете, мирового значения. «Если Октябрьская революция стала началом новейшей истории человечества, то «Тихий Дон» Шолохова — первая глава этой истории»¹, — как писала в свое время одна из индийских газет. Вот чем стал «крестьянский», «казачий» роман в творчестве замечательного мастера литературы социалистического реализма Михаила Александровича Шолохова!

Источник этой разительной трансформации — в самой революционной действительности, вовлекшей широчайшие массы трудового крестьянства в борьбу, возглавляемую рабочим классом, партией большевиков, — борьбу за разрушение старого и утверждение нового миропорядка. (В «Тихом Доне» изображены, как известно, самые сложные, самые трудные для художественного осмысления моменты этого процесса, включающие в себя резкие колебания среднего крестьянства — в данном случае казачества, группы особой, сословной, в известном смысле привилегированной при царизме — и обусловленные ими трагические личные коллизии.) Но ведь и талант художника требовался «конгениальный» по отношению к жизни, чтобы раскрыть общенародное и общечеловеческое содержание событий и характеров, густо обросших местной, «областной» бытовой и всяческой иной спецификой, чтобы показать социальную и духовную трагедию простого казака Григория Мелехова в свете проблематики эпохально-общемирового значения. Таким талан-

том и оказался колоссальный талант Шолохова.

Еще несколько соображений на ту же тему. В свое время В. Стефаник, один из самых глубоких и трагических художников, писавших о селе в предоктябрьской украинской литературе, как-то сказал, что в своих рассказах он стремился «натянуть струны мужицкой души так, чтобы получилась музыка Бетховена». Бетховенское здесь означает — сильное, яростное, слышное на весь мир, данное средствами такого искусства, чтобы в трудовом человеке, в темном «мужике» узнал, почувствовал себя каждый, кто имеет свои счесть с несправедливым общественным строем. Вспоминается и не менее яркое высказывание советского белорусского писателя К. Чорного, писавшего в дневнике о знакомом крестьянине, что в этом человеке, «кто имеет глаза, увидит и найдет и Эжени Гранде, и Ивана Карамазова, и Андрея Болконского»².

«Стилистически» это к Шолохову, пожалуй, не совсем подходит — ни патетика Стефаника (хоть в своих рассказах он старательно укрывал эту скорбную патетику под видимостью сдержанной, спокойной «объективности»), ни нацеленная на изоциренный, несколько «рациональный» анализ мысль Чорного. Но, по существу, то, о чем мечтали оба писателя, было наиболее полно и победительно — после Горького — реализовано именно Шолоховым, причем как раз на том крестьянском типаже, который традиционно считался наиболее трудным для любых «бетховенских» возвышений. Вспомним, по крайнему контрасту, хотя бы «Землю» Э. Золя или «Деревню» И. Бунина. Правда, была и иная традиция — народническая идеализация «богоносца-мужика», но она никогда не ладилась со сколько-нибудь серьезным социальным реализмом в литературе.

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» действительно принципиально чужд всяким внешним нажимам и «форсажам» то ли возвышающего, то ли плоско-разоблачительного свойства в изображении любого из своих персонажей. Трудового человека — главного героя своего повествования — он с изумительной реалистической объективностью представляет нам таким, каким его вылепила жизнь, жизнь трудная, пестрая, сложная, «горько-сладкая», по одному из

¹ Цит. по кн.: Л. Я к и м е н к о. Творчество М. А. Шолохова. М. «Советский писатель». 1970.

² Цит. по кн.: А. А д а м о в и ч. Горизонты белорусской поэзии. М. «Советский писатель». 1974.

его пронзительных определений. И вместе с тем какие душевные глубины, какую силу страстей и мощь характеров открыл он в народной массе, до дна переворошенной бурными событиями революционной эпохи: в современной мировой литературе он «копнул» в этом отношении глубже, чем кто-либо другой из самых одаренных художников. Вот где подтверждаются слова К. Чорного об умении увидеть и выявить — не в интеллигенте, не в «образованном», а в обыкновенном, часто неграмотном по тем годам человеке труда — черты Эжени Гранде, Ивана Карамазова, Андрея Болконского как типов общечеловеческих, ни в чем не отступающих от социально-исторической, бытовой, психологической и языковой конкретности изображаемой среды!

Уже много существенных наблюдений и справедливых выводов сделано в этой связи исследователями и критиками по поводу прежде всего главных фигур «Тихого Дона» — Григория, Аксиньи, Натааля. (Сопоставление, скажем, Аксиньи с Анной Карениной стало уже общим местом в шолоховедении, и пусть оно не всегда удовлетворяет в смысле аналитического мастерства авторов, но ведь писатель дал для такого сопоставления главное — реальную основу, уровень, масштаб образного обобщения.) А разве не встает с такой же определенностью — как художественный тип мирового значения — Семен Давыдов и, может быть, еще более Андрей Соколов? Издавна существуют эпитеты «шекспировское», «толстовское», «бальзаковское» для определения высшей степени «человековедческой» проникновенности и артистического совершенства литературного образа или картины. Слова, запретные для легкого их произнесения, но они невольно просятся на уста, когда читаешь у Шолохова описания, например, предсмертной тоски Ильинишны «по младшенькому», или сокровенную историю возницы Ивана Аржанова, вдруг открытую им Давыдову, или сцену прощания Нагульнова с Лужкой после убийства Тимофея Рваного...

Удивительны свобода, естественность, поразительная достоверность, с которыми говорят, мыслят, действуют на жизненной сцене герои Шолохова, как будто бы и не было на свете творца, который их создал, использовав для этого лишь один «материал» — чудодейственно пластичное слово. И если порой обнаруживались у нас довольно кучье и плоские представления о том, ка-

ким должно быть типическое в современном искусстве, то поистине мудрые и всегда актуальные уроки дает в этом отношении искусство Шолохова, великого мастера высвечивать общее, закономерное, социально существенное, сохраняя в своих образах вольную и могучую игру жизни со всеми ее обильными «чудинками». Но высвечивать обязательно точно и глубоко, с ясных идейных позиций, изображая жизненный процесс в буйном движении и развитии, в определяющей исторической перспективе: творчество Шолохова — образец партийности и народности, осознанного историзма художественного мышления; именно благодаря этому оно и стало одной из вершин литературы социалистического реализма.

Говорить о влиянии мастера, даже такого большого, как создатель «Тихого Дона», на искания и свершения его современников всегда сложно: очень трудноуловимы «кванты» этой индукции, идущей от одного писателя к другому, — не огрубить бы ее внешними, поверхностными сближениями, не обеднить бы феномен творческой самобытности литературного явления, воспринявшего эту индукцию. Ведь проза Шолохова воздействует на художественную мысль уже просто тем, что она есть — со всей ее силой, мощью и обаянием, с глубиной постижения людей и событий нашей эпохи.

Я-то, во всяком случае, могу уверенно сказать, что на Украине этого художника любят действительно нежной и понимающей любовью. «Соучастие» шолоховского опыта в решении украинскими романистами важнейших тем современности, особенно в освещении путей украинского села в годы революции, коллективизации, Великой Отечественной войны, — факт очевидный и несомненный. Достаточно сослаться хотя бы на цикл «деревенских» романов М. Стельмаха («Большая родня», «Хлеб и соль», «Кровь людская — не водица», «Правда и кривда»). Шолоховская традиция здесь — в лепке «глубистых», своевольных народных характеров, в осознании права писателя на изображение сложности судеб людей и их внутреннего мира, хоть стилистически все дано здесь в ином, более лирическом, более песенном ключе.

Или другой, еще более выразительный пример — «Водоворот» Г. Тютюнника, повествующий о селе предвоенных и первых военных лет (роман остался незаконченным). По всему видно, что Шолохов занимал осо-

бое, исключительное место в писательской душе своего молодого украинского собрата («О, то мудрый вешенец. Великий знаток своего народа», — говорил он, по свидетельству близких, указывая на портрет писателя в своей скромной учительской квартире под Львовом, где писался роман). Конечно, придирчивый критик мог бы обнаружить в «Водовороте» — первом романе автора — и элементы известной подражательности шолоховскому эпосу, но это, по сути дела, только внешние наплывы, потому что роман Г. Тютюнника примечателен как раз свежестью и самостоятельностью наблюдений, которые откриссталлизовались в целый ряд жизненных и ярких фигур, интересно разработанных конфликтов. И вот здесь обнаруживается то глубинное, истинно плодотворное, которое обретает писатель, опираясь о шолоховское плечо: смелый и трезвый реализм, не боящийся «противоречивой» правды подробностей (и не только подробностей), но ясный, мужественный, целеустремленный в своих конечных выводах. Да и вообще — поэтика реалистической достоверности, точной жизненной «наблюденности» достаточно важная, на мой взгляд, для современного украинского романа.

Шолоховское знание народа, знание трудогового человека и любовь к нему (вспомним собственные слова писателя о том, что в «Тихом Доне» ему хотелось передать «очарование человека», — это в «Тихом Доне» с его картинами жесточайшей борьбы, тяжелых заблуждений и рожденных ими человеческих трагедий!). Шолоховская полнота правды о жизни, включающая смелый, отнюдь не упрощенный показ ее конфликтов и противоречий, но правды такой зрелой и оптимистической, «что горечь жизни, как бы даже ужасна она ни была, перевешивается, преодолевается волею к счастью, желанием достичь из радостью достижения» (К. Федин)³. Шолоховские эпичность, историзм, точность и глубина социального зренья, масштабность, крупность его художественных решений...

Свет всего этого, если воспользоваться выражением Ю. Олеша, можно увидеть «на дне» не одного из хороших произведений сегодняшней многонациональной нашей литературы. («Порой на дне творчества Хемингуэя, — писал упомянутый автор, — видишь свет Толстого — «Казакон», «Севасто-

³ Цит. по кн.: Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова. М. «Советский писатель». 1970.

польских рассказов», «Войны и мира», «Фальшивого купона»... Если сказать точнее, то этот свет есть любовь Хемингуэя к Толстому»⁴. Очень подходящее образное определение того, что мы иногда слишком прямолинейно называем влиянием, воздействием и прочее.)

Едва ли можно обойти вниманием в этом смысле такие, скажем, книги, как «Полесская хроника» белоруса И. Мележа или «Потерянный кров» литовца Й. Авижюса. Книги талантливые, самобытные, по-новому осветившие ряд «старых» тем, по-настоящему современные и в то же время прочно связанные с большими традициями советской литературы, среди которых на первое место по эстетической значимости следует поставить в данном случае именно шолоховскую традицию.

Конечно, Василь Дятел не Григорий Мелехов, а для второго немаловажного лица «Полесской хроники» — Алейки — и вовсе не найдешь параллели у Шолохова (как, впрочем, и для многих мележевских героев — автор ведь никого не собирался повторять). И все же, даже если не говорить об определенном социально-психологическом родстве Василя и Григория, здесь ясно чувствуется общий эстетический принцип: найти ответы на коренные вопросы своего времени в повседневной жизни такого вот Василя, такой вот Ганны, такого вот Миканора, которые по своей человеческой значимости для автора столь же содержательны и сложны, как для Тургенева или Толстого их герои из «высшего», образованного общества. Шолоховский свет «на дне» этой книги — в особо пристальном, многогранном и, можно сказать, неторопливом, чуждом всякой заданности анализе народных характеров во времена крутого исторического перелома (коллективизация). Анализе, в котором сочетаются и социологическая точность, и проникновенная человечность, и поэзия, подчас вырастающая из самой трезвой будничной прозы...

А сколько «шолоховских» ассоциаций рождает произведение, написанное на совершенно ином историческом, национальном, бытовом материале и в резко отличных стилевых традициях, — «Потерянный кров» Й. Авижюса! Здесь и мелеховская тема иллюзорности, невозможности «третьего пути», взятая на этот раз в общенациональном масштабе и направленная против ги-

⁴ Юрий Олеша. Избранное. М. «Художественная литература». 1974.

бельных мифов буржуазного национализма. Здесь и удивительно многоликий коллективный портрет литовского крестьянства, где почти каждое лицо — отдельный социально-психологический и нравственный тип. Писатель открывает в крестьянской среде, говорит по этому поводу критик, «и напластования патриархальщины, и то консервативное, косное, что обусловлено веками эксплуатации, обстановкой буржуазного режима, и то передовое, способное к росту и преобразованиям, что связано с традициями освободительной борьбы, с укоренением социалистического идеала»⁵. Здесь и раскрытая до дна внутренняя эволюция многих персонажей — отвратительного падения одних (Адомас Вайнорас), мучительных блужданий других (Гедиминас Джюгас), сложного переплетения гуманного и собственнического, благородного и низменного у третьих (Пеликкас Кяршис), беззаветного героизма

четвертых, — которые в ходе борьбы с фашизмом тоже в чем-то изменяются: становятся душевно зорче, богаче, по-человечески мудрее (Красный Марюс).

Тонка и трудноуловима связь новых художественных свершений с им предшествующими, но она существует объективно. Так в данном случае обстоит дело и с «уроками Шолохова», оказывающими свое плодотворное воздействие на развитие всей советской литературы наших дней. Воздействие, которое осуществляется в разной форме, которое может восприниматься осознанно и неосознанно, но которое является реальным фактом уже потому, что творчество великого мастера во многом определило масштабы и критерии художественного «человековедения» и «народоведения» в искусстве социалистического реализма.

Киев.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ



ПЕРЕЧИТЫВАЯ РОМАН

Ранняя слава — нередкая гостья в литературе. Любой внимательный читатель мог бы без труда назвать немало имен, удостоенных ею. Как не вспомнить, к примеру, Владимира Маяковского: «Иду — красивый, двадцатидвухлетний». Это не просто стихотворная строка. В этом возрасте он был автором поэм «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и многих стихотворений, ставших классикой нашей поэзии.

Когда я впервые увидел Михаила Шолохова, у него уже была народная слава. Но ему тоже было двадцать с небольшим. Вспоминаю я тот далекий день, когда в небольшом кругу писателей мне довелось слушать новые главы из романа «Тихий Дон». Помнится, было это не то в июне, не то в июле, потому что воспоминание это у меня всегда связывается с летом, с хорошим теплым днем. Словно сквозь туман гляжу я в то уже ставшее легендарным время. Много в памяти размылось, но невысокого,

ладно сложенного юношу вижу ясно. Громкая и, возможно, неожиданная для него слава не вскружила ему голову. Держался он так, будто слава эта и восторженно принятая всеми первая книга знаменитого романа имела к нему малое отношение.

Последний раз «Тихий Дон» я перечитал года четыре тому назад. Перечитал с прежним интересом, хотя неплохо помнил его содержание, характеры и судьбы героев. Было это в больнице, свободного времени для размышлений хватало, и стал я гадать: с каким же произведением можно поставить рядом этот роман? Нет, не «Войну и мир» Толстого вспомнил я в этот раз, хотя такое сравнение вполне правомерно, — вспомнил «Слово о полку Игореве». Сравнение неожиданное, если не сказать произвольное, но думал я о нем.

Как знать: пройдут долгие века, язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, будет уже малопонятен, потребуется перевод с него. И не выпадет ли «Тихому Дону» такая же судьба, как тому немеркнущему творению, с разницей лишь, что имя — Михаил Шолохов — будет известно и тогда.

⁵ Л. Терракопьян. Пафос преобразования. М. «Художественная литература». 1974.

ЮРИЙ РЫТХЭУ



ТАЛАНТ ВДОХНОВАЛЯЮЩИЙ

Первый том романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» на Чукотку привезли челюскинцы.

Студеной зимой 1934 года, когда весь мир наблюдал затаив дыхание за небывалыми по размаху спасательными работами, организованными молодой еще тогда Советской республикой, по эвакуации со льдины потерпевших бедствие полярников, в эту памятную пору уже существовала, жила и делала свою работу книга Михаила Шолохова, ставшая непревзойденной классикой советской литературы.

В том, что среди буквально считанных книжек, оказавшихся на дрейфующей льдине, была именно книга Михаила Шолохова, есть своя жизненная символика, смысл которой в том, что молодая Страна Советов начинала свой путь уверенно не только в строительстве новой, социалистической экономики, не только в дерзком освоении окраин, забытых и брошенных царским правительством, но и в том, что новая, советская культура, и в частности советская литература, начиналась с такого крутого стремительного взлета!

Не уверен, что именно этот том я потом видел в библиотеке узленской полярной станции в ряду других книг, привлекавших меня и моих сверстников, тогда еще неграмотных мальчишек, таинством строго очерченных ровных строчек, за которыми прятался новый, еще неизвестный для нас мир.

До книг Михаила Шолохова, о которых в годы моего школьного детства уже говорилось как о замечательном явлении советской литературы, лежал долгий путь через освоение русского языка.

И вот долгожданные дни наступили.

Я читал «Тихий Дон» в пустом вельботе на берегу Ледовитого океана. Чтобы меня никто не видел и не нагрузил какой-нибудь работой, я забирался в деревянное суденышко, пропахшее кровью морских зверей, просоленное морем, и погружался в совершенно иной мир, где люди, несмотря на то, что жили в невообразимой дали от меня и во времени и в пространстве, жили в необычных для меня жилищах, занимались совсем другими делами — возделывали землю, пахали, сеяли, воевали, — несмотря на то, что природное окружение их тоже резко

отличалось от того, к чему с детства привык мой глаз, эти люди, герои романа Шолохова, чем-то были мне очень близкими, почти родными... Их жизнь становилась частью моей жизни, как бы продолжаясь в жизни моих земляков, в их обыденных делах. Та великая правда, которая обнажалась в романе Шолохова, поражала меня до боли в сердце, заставляя вглядываться в самого себя, в свое окружение.

Как и все великие книги, «Тихий Дон», несмотря на определенно очерченный круг действия, очень многое говорил даже таким далеким от всеобщей мировой культуры людям, которые совсем недавно начали постигать умение читать и писать. Ведь первый букварь на чукотском языке вышел только в 1934 году...

Близость шолоховского романа далекому читателю, кроме многих свойственных ему достоинств, объяснялась еще и тем, что «Тихий Дон» продолжал и развивал лучшие и благородные традиции великой русской литературы, выразительницы мыслей и чаяний русского народа, отличающегося, по словам Ф. Достоевского, способностью ко всемирной отзывчивости. И эта «всемирная отзывчивость» выразилась в романе Шолохова, во всем его творчестве с особенной силой и пронзительностью.

Творчество Михаила Шолохова оказало такое могучее влияние на всю последующую советскую литературу, что после появления и «Тихого Дона» и «Поднятой целины» невозможно было писать по-старому. Эти книги сообщали свежий взгляд не только на природу литературного творчества, но и на тот новый жизненный материал, который был с такой силой осмыслен и художественно воплощен Михаилом Александровичем Шолоховым.

Произведения Михаила Шолохова способствовали расцвету многонациональной советской литературы, в которой ныне работают писатели, представляющие и большие народы и малые народности.

Мне часто приходится отвечать на вопрос: как получилось так, что народы и народности, ранее, до революции, не имевшие не только письменности, но в силу этого и традиций письменной литературы, смогли освоить метод современной литературы как

явления общественного художественного сознания на современном уровне развития человечества? На это есть простой ответ: классикой для младописьменных народов является прогрессивная русская литература, а точнее — современная советская литература, представленная, в частности, такой величиной, как Михаил Шолохов, чье творчество стало воистину главным маяком всей многонациональной советской литературы.

Много лет назад мне выпала честь переводить на чукотский язык «Поднятую целину» Михаила Шолохова. Это была нелегкая, но благодарная работа, ибо я не только перевел — я и учился мастерству, постигая удивительную способность таланта Михаила Александровича создавать настолько живые, выпуклые характеры, что они как бы выходят за грань того, что может сделать просто талант, способность создавать живые, полнокровные образы, которые сродни тебе и твоим близким. Именно эта всече-

ловечность героев романа Шолохова, при всей их яркой и неповторимой индивидуальности, как бы проецировалась на тех людей из моего чукотского окружения, которых я хорошо знал.

Не каждому писателю выпадает при жизни такое безоговорочное признание и любовь читателей. И объяснение этому — величие и подлинный демократизм таланта, верность писателя своему народу, делу партии. Высокому чувству гражданственности, ответственному отношению к своему труду учит нас яркий пример Михаила Александровича Шолохова.

Как и сегодня, в дальнейшем восхождении единой многонациональной советской литературы ярким маяком для нее будет творчество и личность великого советского писателя Шолохова.

Бухта Провидения, Чукотка.

АНУАР АЛИМЖАНОВ



ПЕВЕЦ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», автора замечательных рассказов и повестей, писателя, чьим именем, чьими творениями ныне гордятся не только советские читатели, но и поклонники литературы всех стран, мне посчастливилось увидеть впервые летом 1954 года.

Будучи студентом и членом литературного объединения Казахского университета, я попал на IV съезд писателей республики. В тот день с трибуны съезда выступал Михаил Александрович Шолохов.

И хотя с тех пор прошло много времени, в памяти сохранились слова, сказанные им в тот день. Так, наверное, бывает всегда, когда проникаешься огромной любовью и уважением к могучему таланту человека. Если бы не было такого чувства, то, я уверен, не запомнилось бы его выступление. Ибо он говорил вещи, казалось бы, совсем простые.

Конечно, в этой простоте заключалось многое...

«От себя лично, — начал он свою речь, — мне хотелось бы через ваше посредство пе-

редать великому казахскому народу мою сердечную признательность за те гостеприимство и ласку, которые были оказаны моей семье в трудные годы войны, когда я служил в армии, и которые в течение десяти лет оказываются мне, когда я ежегодно месяц или полтора летом бываю на ваших просторах. За это время среди простых людей Казахстана — табунщиков, колхозных бригадиров, чабанов — я нажил много друзей и полюбил ваш народ за его простоту, трудолюбие и скромность».

С присущим ему юмором, а порой и едкостью Михаил Александрович говорил о текущих делах литературы, о критике и критиканстве, о том, как бережно нужно относиться к труду писателя.

Особенно мне, тогда еще начинающему литератору, и не только мне, понравилось то место в его речи, где он говорил о воспитании молодых.

«...в отношении их должна быть проявлена и отцовская требовательность и заботливость. Здесь мне рассказывали, как беркут воспитывает своих птенцов, когда они начи-

нают летать. Подняв их на крыло, он не дает им опускаться вниз, а заставляет набирать высоту и гоняет их там до полного изнеможения, заставляя подниматься все выше и выше. Только при таком способе воспитания повзрослевший беркут научится парить в поднебесье и оттуда свистящим вихрем стремительно низвергаться вниз и без промаха бить добычу. Своих молодых писателей мы должны учить таким же беспощадным способом. Мы должны их заставлять подниматься все выше и выше, чтобы впоследствии они были в литературе настоящими беркутами, а не мокрыми воронами, не домашними курами.

Но беркут не ломает крылья своим птенцам, на первых шагах не умеющим или боящимся подняться на должную высоту.

Наша критика не должна и не имеет права «ломать крылья» начинающим писателям. Однако, к сожалению, бывает и так: какой-нибудь ретивый критик шархнет по молодому писателю дубиной, лишит человека уверенности в своих силах, и поднимется ли такой молодой — это еще неизвестно».

С тех пор как были произнесены эти слова и состоялась та встреча с Михаилом Александровичем, прошло уже более двадцати лет. И я сегодня с полной уверенностью могу сказать, что этот совет классика советской литературы, слова нашего любимого писателя на съезде казахских литераторов сыграли немаловажную роль для воспитания, для гражданского становления нового поколения поэтов и прозаиков Казахстана.

Почти ежегодно приезжает Михаил Александрович в нашу республику — в Западный Казахстан. Он бывает в тех же местах, где некогда бывали Лев Толстой, Владимир Даль, Александр Пушкин. Конечно, различие двух эпох разительно. Однако связь с казахской землей мастеров великой русской литературы, разделенных многими десятилетиями, говорит о преемственности культурных традиций. Отрадно сознавать и другое: в той частичке вдохновения, которое родила в этих талантах земля казахов, присутствует любовь и уважение ее народа к великим сынам России. Ведь плоды этого вдохновения — их творчество стало достоянием не только русских читателей, а всех нас, всего советского народа, да и не только наших соотечественников.

Поклонников шолоховского дарования ныне можно встретить повсюду. Я это говорю уверенно. За те же двадцать

с лишним лет мне удалось побывать почти в сорока странах мира. И всюду я видел шолоховские книги, поклонников шолоховского таланта.

Совсем недавно я вернулся из поездки по арабским странам, где слышал рассказы иракских, палестинских, сирийских, ливанских и египетских писателей о том, какое влияние на их творчество оказали произведения М. А. Шолохова.

«Творения Михаила Шолохова стали великим вкладом в сокровищницу мировой литературы» — так говорили весной минувшего года делегаты первого в истории тысячелетней бенгальской литературы съезда писателей молодой республики Бангладеш.

«Без Шолохова нельзя представить современную литературу мира» — это слова Касми, выдающегося писателя Пакистана.

Я не говорю о том, насколько велико было влияние Шолохова как мастера на развитие национальных литератур Советского Союза (не хочу отнимать хлеб у наших критиков и исследователей литературы), а привожу на память слова, которые слышал во время зарубежных поездок.

Кстати, любой серьезный разговор о современной литературе, где бы он ни происходил — у нас или за пределами страны, — невозможен без знания творчества М. А. Шолохова. И сам этот факт уже свидетельствует о месте и значении писателя в мировой литературе.

Но во время бесед иногда случаются и казусы. Однажды — это было лет пять или шесть назад — в Шри Ланке во время встречи с писателями островного государства один мой коллега, пишущий на сенегальском языке, вдруг спросил:

— Шолохов ныне самый великий писатель современности. Значит, он самый богатый человек в мире? Скажите: сколько у него золота?

Встреча была официальной. Речь шла о работе афро-азиатской Ассоциации писателей, и неожиданный вопрос, не имеющий прямого отношения к проблеме, поставил меня в тупик. Зал притих. И я понял, что если я отвечу честно и скажу: «О каком золоте идет речь и на что оно нужно ему?» — то мне не поверят. Если я начну смеяться над вопросом, меня не поймут. Парадокс. Но в тот миг и в той мимолетной ситуации, как в капле росы отражается мир, оказалось то различие общественных систем — социалистической, которая формирует весь строй наших понятий, и бур-

жуазной. И я ушел от прямого ответа, вернее ответил вопросом на вопрос: «Разве талант измеряется количеством золота? Разве любовь и уважение народа завоевывается количеством денег?»

Но все это к слову.

Впрочем, из истории известно, что вокруг великих имен всегда бывает немало различных, не относящихся собственно к творчеству преданий и легенд.

У нас в степи старые чабаны часто с любовью и уважением рассказывают о Шолохове не только как о великом писателе, но и как о великом охотнике и знатоке бивальцин и часто прибавляют, что он не из «донских казаков», а из «уральских казаков», друг Мухтара Ауэзова и Сабита Муканова. Затем непременно расскажут, что где-то в

степи под Актюбинском в табуне драмодеров красуется могучий белый верблюд Михаила Александровича Шолохова. И что белому красавцу ныне исполнится десять лет, и что он был подарен «нашему Шолохову» в день его шестидесятилетия аксакалами края, когда верблюжонку было всего два месяца от роду.

А это уже сущая правда.

Традиция дарить белого верблюжонка идет из глубин веков. Но дарят его очень редко, дарят не всем, а лишь тем, чьи заслуги велики перед народом; дарят тем, кто завоевал великое доверие и любовь соотечественников своими добрыми делами; тем, чей талант умножил духовное богатство простых и честных людей земли.

Алма-Ата.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. Люди в огне.— Вяч. Саватеев. Один из многих.— И. Салимон. Новь венгерской литературы.— А. Нуйкин. Фантомы модернизма.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Шишник. Как работал Ленин.— Р. Португальский, В. Назаренко. Через всю войну...— Вл. Кузнецов. Унификация прессы.

Литература и искусство

ЛЮДИ В ОГНЕ

Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник. Я из огненной деревни. Авторизованный перевод с белорусского Дм. Ковалева. «Октябрь», 1974, №№ 9, 10; «Неман», 1974, №№ 10, 11.

Читая эту книгу тяжело. Невыносимо тяжело. Даже такие слова, как «ужас», «ад», «зверства», «чудовища», кажутся неподходящими, слишком уж спокойными, «обкатанными» житейским обиходом и литературой, чтобы передать то, чему посвящена книга... Какими словами рассказывать об этом?!

«А они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, что дитя кричит (ребенку было четыре месяца.— Л. Л.), а на меня он не подумал, что живая: волосы у меня понесло, и платок, и тут кровь... В ребенка бахнул и мне пальцы прострелил. Как держала я его за личико, так и мои пальцы он прострелил. И дитя стихло, кровь на мне, чувствую, хлещет на лицо...»

«Назавтра в десять часов немцы приехали, забрали мать мою и дитя. Она еще им песенки пела, маленькая... Четыре года девочке было. И тут ее расстреляли вместе со всеми. Тринадцать душ тогда убили, старших женщин и детей...»

«...а еще и до боя (до расстрела.— Л. Л.) издевались: и вилами пороли, и ногами ходили, и били — ой!.. Детей малых били, по живым ходили... А некоторые знали, что немцы яйца любят, несет которое дитя ему

яичек да просит, чтоб не убили. А он как даст ему ногою, дак оно и перекувыркнется — и с ногами по нему пошел...»

«А некоторые живьем дети горели, которые малы — их даже не стреляли. Ой, я и не припомню, сколько нас побили в наших Переходах.»

И так на каждой странице книги. На каждой странице льется кровь — детей, женщин, стариков. На каждой странице гитлеровцы убивают из автоматов, пулеметов, пистолетов безоружных, беспомощных, ни в чем не повинных людей, бросают в них гранаты, сжигают живьем. На каждой странице рассказывается о том, что находится за пределами человеческого воображения.

И рассказывают об этом чудом уцелевшие, вставшие из могил — расстрелянные, истекавшие кровью, но не убитые, задыхавшиеся в дыму, обожженные огнем, но не сгоревшие, кочневшие от стужи, обмороженные, но не замерзшие...

Этих людей разыскали белорусские писатели Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник. Четыре года они ездили по деревням, разделившим судьбу Хатыни, и записывали их рассказы, составившие

книгу «Я из огненной деревни», разные главы которой опубликованы в журналах «Октябрь» и «Неман»...

Когда-то, в первые дни мира, в июне сорок пятого года, Илья Эренбург писал: «Недавно Франция отметила трауром годовщину уничтожения Орадур-сюр-Глан. Президент Бенеш выезжал на пепелище Лидице. Я думаю о наших Орадурах, о наших Лидице. Сколько их? Если пойти из Москвы на запад, к Минску, или на юг, к Полтаве, или на север, к Ленинграду, увидишь повсюду развалины, пепел, могилы и, сняв шапку, больше ее не наденешь. И повсюду уцелевшие жители будут рассказывать о том, как качались на виселицах старики, как матери пытались спасти младенцев от палачей, как горели дома с живыми людьми».

Тогда еще не были известны цифры. Сегодня все знают Хатынь, она стала символом, но сел, в которых фашисты уничтожили жителей, было в Белоруссии шестьсот, шестьсот Орадуров, шестьсот Лидице. Всех жителей — грудных детей и глубоких стариков, мужчин и женщин — убили. А сами деревни сожгли.

Шестьсот Хатыней... Впрочем, я боюсь в этом случае цифр. Боюсь, не начинаем ли мы с годами, по мере того как отдаляется от нас война, невольно воспринимать ее прежде всего как некую статистику (численность войск, процент потерь, количество выпущенных и уничтоженных танков и самолетов и т. д. и т. п.), как описание сражений, в которых участвовали десятки, а то и сотни тысяч людей? Споры нет, все это необходимо было выяснить и нужно знать... Но при этом надо иметь в виду: масштаб истории таков — ничего здесь не попишешь, — что она не может запечатлеть на специальной странице бой за деревню Борки и ту карательную экспедицию гитлеровцев, которая уничтожила деревню Хвойню. Никакая статистика не открывает нам, что чувствовала женщина, на глазах которой в ее хате убили ее детей и родню, а она лежала на полу в их и своей крови... Или переживаний недостреленного мальчишки, которому довелось провести несколько часов в яме, ставшей братской могилой, рядом с убитыми отцом и матерью... Надо услышать их рассказ, чтобы понять по-настоящему, что это была за война, против кого и за что мы сражались.

В ста сорока семи деревнях побывали

белорусские писатели, разыскивая свидетелей. Мало их осталось — в некоторых, даже больших, селах после того, что оккупанты называли «акциями», «экспедициями», «фильтрацией», «операциями», не уцелело ни одного человека. Это не были эксцессы, вспышки жестокости, а именно «операции», планомерно осуществляемые, тщательно подготовленные, продуманные в подробностях (кстати, в акциях иногда участвовали и армейские части).

«Привожу численный итог расстрелов. Расстреляно 705 чел., из них мужчин — 203, женщин — 372, детей — 130. При проведении операции в Борках было израсходовано: винтовочных патронов 786 шт., патронов для автоматов — 2496 шт.» — так доносил начальству командир роты карателей обер-лейтенант Мюллер. Авторы книги столкнули этот документ с рассказами очевидцев — четырех оставшихся в живых жителей села Борки Малорички, и перед нами возникнет картина того, что произошло тогда в селе. Но и сам почти «бухгалтерский» отчет карателя помогает понять, что это такое — фашизм и фашисты.

Мы уже прочитали о фашизме массу книг — мемуарных и документальных, художественных, исследований историков. И все-таки «Я из огненной деревни» не просто еще один сборник; есть в этой книге нечто такое, что делает ее явлением из ряда вон выходящим. И объясняется это, как ни странно, прежде всего тем, чего авторы не стали делать: они удержались от какой-либо литературной редактур и ретуши. Они относились к записываемым рассказам не как журналисты или редакторы, а как историки, для которых самое ценное качество свидетельских показаний — точность.

Но этот подход им подсказало писательское чутье, именно оно. Только художникам дано было понять, что сила таких рассказов в их первозданности, непосредственности, невыстроенности — любые попытки как-то «укрепить» их литературно пошли бы во вред. Создатели книги не пересказывают, не шлифуют, подаввшись соблазну стилизации, — они добросовестно воспроизводят. И это был единственно верный путь. «Свою задачу мы видели в том, чтобы сберечь, удержать, как плазму, невыносимую температуру человеческой боли, недоумения, гнева, которые жили не только в словах, но и в интонациях голоса, выражении глаз, лица, удержать все то,

что, как воздух, окружает человека, который рассказывал нам...» — так пишут авторы. Свою трудную задачу они выполнили с помощью монтажа и кратких, самых необходимых комментариев. Они словно бы боятся слов не только лишних или громких, но просто слов, потому что нелегко найти слова, которые выдерживают соседство с обжигающей правдой рассказов об огненных деревнях.

Можно было бы сказать, что книга, созданная белорусскими писателями, один из самых страшных, самых беспощадных обвинительных актов, предъявленных фашизму, но разве есть в этих верных и справедливых словах та «невыносимая температура человеческой боли, недоумения, гнева», которая заключена в каждом из ее рассказов? Если бы речь шла лишь об одном, всего об одном из множества рассказанных в книге эпизодов, и тогда бы общество и строй, повинные в содеянном, отвечающие за него, должны были быть безоговорочно осуждены, прокляты, а тут ведь была целая система «обезлюживания», еще только, как считали гитлеровцы, отработывающаяся в белорусских селах, в лагерях уничтожения. Пророческими оказались сказанные в 1937 году, во время войны в Испании, слова Хемингуэя о фашизме: «...когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств».

Есть немало серьезных причин, почему очень сильная немецкая армия потерпела поражение; наиболее глубокая, пожалуй, заключалась в том, что «новый порядок», который пыталась утвердить эта армия, предполагал уничтожение самих нравственных основ человеческого бытия, лишал цену жизнь человека.

Фашистские акции у их жертв вызывали не только гнев и ненависть, но и удивление (до сих пор уцелевшие жители огненных деревень словно бы не могут до конца поверить, что такое было возможно), и это есть выражение не просто беспомощности незащитных людей, а их нравственного превосходства над своими палачами.

В книге «Я из огненной деревни» поражают картины фашистских злодеяний. А то, что в нечеловеческих обстоятельствах люди, которых истязали фашисты, продолжали сохранять человечность, — разве это не удивительно? Старались спасти детей — своих и чужих. Чем могли старались помочь более слабым; а как часто какая-ни-

будь картофелина, глоток воды, тряпка для перевязки, сто шагов, которые на себе тянули раненого, были поистине бесценными и, равными подаренной жизни и пожертвованному последнему шансу выбраться самому...

В этом кровавом водовороте люди все-таки продолжали думать и заботиться о других, сохраняли отзывчивость, не закрывали глаза на то, что происходило вокруг них. Ольга Минич, раненная и обожженная (к тому же она была беременна, два месяца до родов оставалось), выбравшись из деревни, тащила в лес тяжело раненного мужа. Она была без сил, почти в беспомощности. Но до сих пор она не может ни забыть, ни простить себе: «Я тащила мужика, уже вечером это, и знаете, вот так, метрах в тридцати от меня шли они назад, за руки побрались хлопчики и шли назад в село. И почему у меня ума не хватило, ей-богу, ну прямо непростительно! Почему мне было не сказать: «Детки, вернитесь назад!» Мне как-то на ум... Просто я растеряна была. А потом уже, назавтра, я опомнилась. И вот и сегодня где увижу двое деток таких, дак обязательно вспомню тех детей. И я вот на себя вину беру: почему я их не вернула, тех деток?..»

Живая совесть людей — то, с чем не могли справиться фашисты. Они могли «обезлюживать», но им не удавалось «расчеловечить». И уже одно это было предпосылкой их неминуемого поражения.

Нельзя не обратить внимания и на то, что нигде в книге, ни в одном рассказе, ни разу не возникает ни малейшего упрека, ни тени укора «хлопцам», партизанам, А ведь каратели и полиция, «бобики», чтобы «переадресовать» гнев населения, создать вокруг тех, кто в лесу, выжженную страхом, непреодолимую полосу, твердили одно: это вам за партизан! Но люди не очень грамотные, лишенные какой-либо информации, кроме слухов, понимали, что это не так, что это гнусное вранье. Нравственное чувство безошибочно подсказывало им, что ничем нельзя оправдать убийство детей, что не может быть никаких причин для поголовного уничтожения мирных жителей. Они твердо знали, что только партизаны, если им удастся, смогут их защитить и спасти. И чем больше зверствовали фашисты, тем больше людей уходило в лес к партизанам, брало в руки оружие.

Партизаны благодаря народной поддержке становятся действительно грозной силой,

с которой не может справиться регулярная, до зубов вооруженная армия. Когда народ поставлен перед необходимостью защищать свое право на жизнь, свое будущее, он готов на любые жертвы, его не могут сломить самые жестокие испытания. Вчера, казалось бы, рассеянные карателями, обескровленные в «блокировках», завтра партизанские отряды становятся многочисленнее и сильнее. И эта «подпочва» партизанской борьбы за правое дело отчетливо проступает во всех рассказах, воспроизводимых в книге «Я из огненной деревни». Книга о страданиях народа, о жертвах стала книгой и о мужестве, о нравственном противостоянии народа захватчикам, о его неиссякаемой духовной силе.

Перед нами открылась еще одна страница Великой Отечественной войны. Читая книгу «Я из огненной деревни», убеждаешься, что мы знаем вовсе не все о войне, особенно о том, какой она была для множества людей из самой гущи народной...

Недавно я был свидетелем спора двух литераторов о военных мемуарах. Один из них, в прошлом фронтовой журналист, с благородной горячностью говорил о том, что в нашей литературе есть существенный пробел, который необходимо срочно заполнить: мало воспоминаний солдат, младших офицеров. Второй, воевавший в противотанковой артиллерии наводчиком, опираясь на свой опыт, утверждал, что солдатские мемуары — дело невысказанное: кому интересно читать о том, как выдвинулись на танкоопасное направление, отбили атаку немцев или отошли, потеряли оружие, получили пополнение людьми и техникой или отправились для этого на перформировку, как доставили или не доставили харч и снаряды и т. д. и т. п. Оба они, как затем выяснилось, почему-то считали, что воспоминания солдата должны представлять собой увесистый том, подробное жизнеописание, охватывающее все четыре года войны. А таких книг действительно нет, и вряд ли они вообще возможны (эти ненаписанные солдатские мемуары давно уже переплавились в повести, в которых так много от солдатского и офицерского дневника, — Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Богомолова, А. Адамовича, В. Астафьева и других).

Однако воспоминания рядовых участников о каком-то одном эпизоде войны, одном сражении, конечно же, могут быть

очень интересны, содержать подробности, важные для понимания духа того времени и психологии людей. Примеры отыскать нетрудно. Недавно вышел вторым изданием сборник «Солдатами были все», посвященный обороне Могилева, — здесь есть и рассказы красноармейцев и командиров, в петлицах которых были «кубари», о пережитом и увиденном в те дни; и как много они дают для понимания и сложившейся тогда ситуации, и накала битвы за этот город. Назову еще одну книгу — «Оборона Ленинграда. 1941—1944 гг.», в которую составители включили воспоминания врачей, учителей, заведующего производством фабрики-кухни, секретаря партбюро хлебозавода, начальников эвакуационных пунктов и некоторых других рядовых участников обороны города. Таких воспоминаний могло и, по моему, должно было быть много больше, потому что и те, что есть, раздвинули картину жизни осажденного Ленинграда, дополнили ее неизвестными нам, поразительно достоверными деталями. Третья работа — «Штрихи эпопеи», о тыле: это записанные Константином Симоновым рассказы рабочих и инженеров Таштекстильмаша о том, как они эвакуировались из Ростова, Ленинграда, Кировограда, Запорожья, как под бомбежками вывозили оборудование своих заводов, как на окраине Ташкента на пустырях строили новый завод, работали до изнеможения...

И об этом тоже заставила вспомнить книга «Я из огненной деревни», она подсказывает, где нужно искать новые материалы о войне, она раскрывает еще не исчерпанные возможности документальных жанров...

В годы войны создатели книги «Я из огненной деревни» — все трое — были партизанами (даже самый младший из них, А. Адамович, в пятнадцать лет ушел в «лес»). Трагедия белорусских сел опалила им душу, хотя в нелегких боях, да и по молодости лет вряд ли они могли ее до конца осознать. Как писал один из поэтов военного поколения:

Но даже смерть — в семнадцать — малость,
В семнадцать лет — любое зло
Совсем легко воспринималось,
Да отложилось тяжело.

Теперь уже зрелыми людьми они вновь и более глубоко пережили ту давнюю трагедию. Именно пережили: такую книгу иначе нельзя создать. Они выполнили свой

долг перед прошлым, перед святыми могилами. Но не одно это двигало ими...

В той статье Эренбурга, которую я уже цитировал, написанной в самые первые, такие безоблачные дни мира, есть слова предостережения благодушным и беспечным: «Нужно помнить, что путь в Освенцим лежал через Мюнхен... Мало уничтожить фашизм на поле боя, нужно уничтожить его в сознании, в полусознании, в том душевном подполье, которое страшнее подполья диверсантов. Нельзя уничтожить эпи-

демию снисходительностью к микробам». Три послевоенных десятилетия не раз давали нам возможность убедиться в справедливости этих слов. Вот почему авторы книги «Я из огненной деревни» думали не только о прошлом, но и о будущем...

Невыносимо тяжело читать эту книгу. Но ее должен прочитать каждый, кто по-настоящему осознает человеческую ответственность за будущее.

Л. ЛАЗАРЕВ.



ОДИН ИЗ МНОГИХ

Виктор Тельпугов. Все по местам! Повести и рассказы. М. «Советский писатель». 1973. 342 стр.

Виктор Тельпугов. Полюнь на снегу. Повесть. «Нева», 1974, № 8.

Виктора Тельпугова не назовешь писателем одной темы. И все же военная тема занимает в его творчестве особое место: война — часть биографии самого писателя, с войной связана и биография многих его персонажей. Ей посвящены рассказы, написанные в разные годы, повести «Парашютисты», «Все по местам!» и недавно опубликованная «Полюнь на снегу».

Впрочем, термин «военная тема» не совсем точен по отношению к названным здесь произведениям; скажем, повесть «Все по местам!» в равной степени может быть отнесена и к книгам о рабочем классе. Это лишний раз доказывает относительность тематических определений: они способны указать лишь на самое общее направление творческих поисков писателя.

Главный герой военных рассказов и повестей В. Тельпугова — рядовой человек, с первого дня войны принявший на свои плечи ее тяжесть. Где бы этот герой ни оказался, он отдает все свои силы для победы над врагом.

Большинство героев В. Тельпугова молоды, они еще недоучились, недолюбили. Армия становится для них трудной, но важной школой воспитания, повзрелости. Они учатся стрелять, прыгать с парашютом, водить танки в бой, управлять самолетом, но что особенно важно — духовно мужают, приходят к осознанию своей личной ответственности перед народом, родиной.

Писателя привлекает в своем герое то, что он один из многих. Однако это не может быть основанием для упреков в создании некоего усредненного, обезличенного

образа. Речь идет о первейшей потребности героя быть в общем, едином строю со всеми, чувствовать плечо друга и в то же время быть опорой ему. Как все — это значит во что бы то ни стало побороть страх и совершить все-таки свой первый прыжок с парашютом. Это значит вынести все тяготы и лишения отступления, в самых тяжелых, порой невыносимых условиях сохранить мужество, веру в победу.

«Ему (Слободкину. — В. С.) вдруг представилось, как миллионы людей проводят ночи в заиндевевших стенах, обжигают губы об алюминий, как делают последнюю щепотку махорки и крошки сахара, а утром полураздетые идут по снегу к своим станкам. И так вся Россия, вся страна».

Ощущение своей судьбы как частички судьбы народа — не только черта характера персонажей, но и эстетическое кредо самого писателя.

Вынуждены отступать и укрываться в белорусских лесах герои повести «Парашютисты». Но какие образцы мужества и стойкости показывают они, пробираясь к своим, ведя при этом небезуспешные бои с противником «всеми имеющимися средствами», хотя эти средства так ничтожны!

«Все по местам!» — этот сигнал вместо обычного «воздушная тревога» передают по радио в маленьком приволжском городке, в котором происходит действие повести В. Тельпугова. И герои повести — рабочие военного завода — всегда на своих местах. Они мерзнут, недоедают, завод ежедневно бомбят фашисты, но работа продолжается, потому что приборы, которые здесь дела-

ются, нужны летчикам, фронту. Не случайно Слободкину, центральному герою повести, кажется, что многие из тех, кого он узнал за год своей работы на заводе, — «чудо-богатыри из сказки».

Впрочем, и сам Слободкин совершает поступки, которые иначе не назовешь как героическими. Когда во время очередного налета фашистских самолетов на завод в морозильной камере образовалась брешь и разгерметизация грозила сорвать испытание автопилотов, Слободкин прикрыл дыру собственным телом, как дзот...

Страстно мечтает об исцелении, прозрении раненый солдат Сысоев (рассказ «Сысоев»), ему хочется после войны вернуться в деревню, пахать землю. Но Сысоев окончательно слепнет. И каким же мужеством духа, желанием жить надо обладать, чтобы не отчаяться! «А землю ковырять я все-таки буду, старик,— говорит он.— Хоть впотьмах, хоть как, а буду... Мы под Ельней, помню, ночью копали — ровно, как по шнуру, а на небе и звезды не было. Можно приноровиться...» «Можно приноровиться» — в этих словах не смирение, а утверждение духовной, нравственной силы людей, прошедших через горнило войны.

Писатель стремится найти и запечатлеть героизм в делах и поступках людей на первый взгляд негероических. Своими произведениями Тельпугов утверждает: всякий, кто добросовестно делал свое дело во время войны, заслуживает нашего уважения и благодарности.

Когда один из героев рассказа «Возле Старых дорог» обещает поведать своим товарищам-фронтовикам про пекаря, ему возражают: «Про пекаря? Нам бы про героя...» Однако, как выясняется, «пекаря, они тоже разные бывают» — такие, например, как «пекарь-десантник», который буквально под носом у врага пек хлеб для отряда и едва не поплатился за свою дерзость жизнью. Юная лыжница (рассказ «Снежные горы») ежедневно уходит в горы, возвращается к вечеру усталая, измученная: она тренирует лыжные батальоны, которые должны отправиться на фронт. «Тыл — это тоже фронт», — скажет Слободкину его мать. Эта фраза могла бы быть эпиграфом ко многим произведениям В. Тельпугова.

В самые первые дни, еще не зная, «длинная она будет или короткая», эта война, герои Тельпугова свято верят в нашу победу. Командир роты из повести «Парашю-

тисты» уверен, что скоро на фронте «период погоды» будет, потому что, шутит он, у него «ноги гудят». «Тот немецкая внезапность была... Потом наша внезапность пойдет. Пусть отведают...» Парашютисты живут в ожидании «большого десанта», уверены: «Мы и над Берлином дернем еще колечко».

Вера в победу сил добра и жизни над силами зла и смерти пронизывает атмосферу произведений писателя. Она живет в людях. Ею же будто дышит природа — каждая травинка. Картины вечно живой и обновляющейся природы неоднократно появляются на страницах рассказов и повестей В. Тельпугова.

Вот лапки полыни на снегу, казалось бы, все должно было вымерзнуть за дни и месяцы долгих страшных морозов. Но пришла весна — и растеньице ожило: снизу, из еще не оттаявшей земли, по невидимым капиллярам начала подниматься новая, упрямая сила. «Полынь на снегу» — так и названа повесть. Образ сохранившего жизнь и силу растения органично входит в проблематику этого произведения, служит своеобразным ее камертоном.

Сходный мотив встречается и в других произведениях Тельпугова. При этом писателю крайне важно утвердить мысль о противостоительности земному всего, что несет с собой фашизм.

В рассказе «Пихта Доватора» жители села Лихова, как о живом человеке, говорят об «обезглавленном» во время вражеского налета дереве, «раненой» пихте... Думали, погибнет, а она «под весенним солнцем выбросила светлые перышки побегов»...

И думаешь: писателю мало одного профессионального умения. Важна «обеспеченность» литературного материала — и прежде всего собственным жизненным опытом автора, его внутренней эмоциональной культурой.

О лучших рассказах и повестях В. Тельпугова можно сказать, что они написаны на одном дыхании — их отличает ясность авторской мысли, позиции, композиционная собранность, целеустремленность.

Интересно, что повести «Парашютисты», «Все по местам!», «Полынь на снегу», созданные в разное время и существующие как самостоятельные произведения, в то же самое время оказываются частями единой трилогии. Возможность такой «стыковки» обеспечивается не только «формальными» признаками (одни и те же ге-

рой — в том числе центральный из них, Слободкин, — переходят из повести в повесть), но прежде всего единством понимания сущности героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны, единством авторской концепции характеров, изображаемых событий.

Композиция трилогии значительно раздвигает «горизонт» каждой из составляющих ее повестей, позволяет расширить панораму действий и, что особенно важно, предоставляет возможность проследить эволюцию некоторых героев. Пожалуй, в наибольшей степени эта возможность реализуется в образе Слободкина.

В «Парашютистах» этот герой еще во многом наивен и неопытен; формирование его и нравственно и социально зрелой личности как гражданина, по сути дела, только начинается. В повести «Все по местам!» происходит обогащение его жизненного и духовного опыта, углубление осознания Слободкиным своего долга перед родиной, своего места в общей борьбе. Тревожны и радостны «парашютные сны» Слободкина. В них герой видит и трассирующую, летящую навстречу пулю, и ребят, поднявшихся вместе с ним, готовых ринуться в атаку на врага... Во сне, лежа «спиной к земле, лицом к небу», он всем своим существом ощущает: «За его плечами было все — вся Россия, вся Земля...» Это чувство «расширения вселенной» не исчезает бесследно вместе со сном, оно остается в душе героя.

В третьей повести — «Польнь на снегу» — Слободкин чувствует себя «на вышке», которая, по его словам, «намного выше любой парашютной». Речь прежде всего идет о «вышке» внутреннего самосознания героя, более глубокого понимания им людей, событий, жизни...

В. Тельпугов рассказывает о своем герое неторопливо, обстоятельно, однако, при всей неспешности действия, читателю передается ощущение драматизма и напряженности. Удачны авторские отступления, которых немало в повестях, — то краткие, сдержанно-напряженные, то лирические, задушевные. Автор знает цену емким, лаконичным деталям. Некоторые из них приобретают значение символа, обладают магией емкой и выразительной формулы.

Однако далеко не всегда В. Тельпугов тщательно взвешивает и выверяет слово, образ, сравнение.

Вот Слободкину, многие часы стоящему

за станком, кажется, что «в глубине его сознания был спрятан автопилот, безошибочно ведущий на цель». И этот образ следует признать оправданным. А вот утверждение о том, что герой чувствует себя «почти превратившимся в металл», звучит неправдоподобно, надуманно.

В произведениях В. Тельпугова не так уж редки фразы, лишенные эмоциональной нагрузки, информационно-описательные. К примеру, едва ли способна захватить внимание скоротечная, которой начинается одна из главок повести «Все по местам!»: «По-разному подействовали последние события на людей. Кое-кто смалодушничал, опустил руки. Другие еще настойчивей стали работать. Таких было больше. Они продолжали задавать тон на заводе». Аналогичный пример из повести «Польнь на снегу»: «Там, на работе, девчата как-то держались, старались забыть о личном и забывали, увлеченные делами, долгом». Кстати, можно ли быть увлеченными... долгом?

К сожалению, писатель иногда однозначно показывает связь между внутренним состоянием героя и внешними проявлениями этого состояния. В повести «Парашютисты» заходит разговор о любви, и... на щеке Ины — героини повести — вдруг возникает ямочка, которая «медленно поползла под прядку волос возле уха», а «глаза... сузились, превратились в две щелочки». Эти не ахти какие мудрящие находки в художественном образе настойчиво связываются автором с душевными движениями героини. «При слове «любят» Ина вздрогнула, и ямочка на ее щеке снова медленно поползла под прядку волос, сквозь которые просвечивало заалевшее ухо». Что-то сдвинулось в душе героини — она глубоко вздохнула, и вновь: «прядка волос на миг отлетела в сторону. Ямочки под ней больше не было. И глаза были совсем не узкими, как минуту назад». Едва ли все это способно обогатить образ героини, дать реальное представление о ее духовной жизни.

Конечно, все это издержки стиля, но тем более досадные, что они вкрались в хорошие произведения писателя о людях чистых и ясных в помыслах, делах, совестливых, самоотверженных.

Самоотверженность этих людей, будь то в тылу или на фронте, — выражение того лучшего, что воспитано в них всем строем нашей жизни.

Вяч. САВАТЕЕВ.

НОВЬ ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Вопросы литературы», 1974. № 12.

Часто нам приходится встречаться с венгерскими писателями. Но такой представительной, такой многолюдной встречи, как та, что состоялась на страницах журнала «Вопросы литературы» в декабре прошлого года, еще не было. Редакция журнала, продолжая добрую традицию, в прежние годы познакомила советского читателя с литературной жизнью ГДР, Болгарии и Монголии. И вот теперь посвятила свой двенадцатый номер за 1974 год целиком литературе братской Венгрии.

Примечательно, что специальный номер журнала вышел в канун знаменательного события в жизни венгерского народа — тридцатилетия со дня освобождения Венгрии от фашистского ига. Именно освобождение явилось той отправной точкой, с которой начинается новый отсчет в экономической, политической, общественной, идеологической и культурной жизни страны. С этого момента по новому пути пошло развитие венгерской литературы, развитие сотрудничества между советскими и венгерскими писателями.

Венгерская литература живет сегодня напряженной творческой жизнью — многообразие проблематики, стилей, писательских индивидуальностей для нее характерно в высшей степени. На страницах журнала «Вопросы литературы» пятьдесят венгерских и пятнадцать советских литераторов — прозаиков, поэтов, драматургов, литературоведов, критиков — рассказывают советским читателям о сложном, порой тернистом пути венгерской литературы за тридцать лет, о традиции и нынешних идейно-творческих исканиях, о наиболее значительных явлениях в общественной и культурной жизни Венгрии.

Если внимательно взглянуть в лица участников этого необычного «круглого стола», собравшего друзей и товарищей, исповедующих единое марксистско-ленинское мировоззрение, то нетрудно будет заметить, что они представляют писателей разных поколений, писателей разных по своим творческим манерам и пристрастиям, по эстетическим ориентирам и по жизненному опыту. Кто же они, эти писатели, о чем они говорят со страниц журнала, чем обогащают наши познания, нашу информированность о венгерской литературе?

С напутственным словом к читателям обращается генеральный секретарь Союза венгерских писателей Имре Добози. Имя его хорошо известно советским людям. Но, пожалуй, мало кто знает, что выходец из бедной крестьянской семьи, лейтенант хористской армии Имре Добози в конце 1944 года вместе со своей ротой перешел на сторону Советской Армии и рука об руку с советскими солдатами сражался за полное освобождение родины от фашистского ига. Этот факт его биографии явился решающим, навсегда определившим жизненный путь.

В своей статье Имре Добози сразу же оговаривается, что он не литературовед и не собирается анализировать весь ход развития венгерской литературы за прошедшие тридцать лет, — в напутственном слове он делится с читателями сокровенными мыслями о тех огромных переменах, которые произошли на его родине, вступившей на путь социалистического развития; рассказывает, как неузнаваемо изменился экономический и политический облик страны, идейный и духовный облик нового человека — хозяина своей судьбы. «Мне кажется, растущее социалистическое самосознание — это самое главное, решающее завоевание в борьбе за новую действительность», — пишет Имре Добози.

Вместе с обществом росла и мужала социалистическая литература Венгрии. Она помогала решать сложные вопросы социалистического строительства, формировать социалистическое сознание людей. Сегодня все здоровые силы венгерской литературы, говорит Имре Добози, объединены «на социалистической основе, и интерес к социализму, сочувствие социалистическому строительству и признание его перспектив... характерны и для тех писателей, которых можно отнести к литературе общегуманистической по своей сущности, и даже для иных приверженцев авангардистских школ». Венгерская литература вступила после освобождения в новый период своего развития, неизмеримо расширился ее творческий диапазон. Все это стало возможным, подчеркивает автор, только благодаря принадлежности Венгрии к мировой социалистической системе, благодаря нерушимой братской дружбе и сотрудничеству с Советским Союзом.

Подлинный расцвет венгерской литературы приходится на конец 50-х — начало 60-х годов, когда лучшие писатели Венгрии все свое внимание сосредоточивают на духовном воспитании человека, на становлении новой личности — активного и сознательного борца за социалистические идеалы. В литературе происходит глубокое осмысление исторического прошлого и настоящего, появляются произведения, написанные с подлинно партийных позиций, такие, как «Пьяный дождь» Йожефа Дарваша, «Холодные дни» Тибора Череша, «Двадцать часов» Ференца Шанты, «Смерть врача» Дюлы Фекете и другие.

Именно поэтому первый раздел журнала «Вопросы литературы» посвящен обобщению послевоенного опыта развития венгерской прозы, поэзии, драматургии.

Известные венгерские литературоведы и критики Миклош Белади, Дьердь Боднар, Иштван Герман, Деже Тот, Эрне Гондош, Иштван Б. Сабо в своих статьях и очерках знакомят советского читателя с основными явлениями венгерской литературы, с ее течениями и тенденциями развития. «Литература Венгрии, — пишет Миклош Белади, — живет вместе с литературой других народов, стремясь идти с ней в ногу, в первую очередь с литературами братских стран». Авторы статей, как правило, дают широкую историческую перспективу, помогающую лучше и глубже понять нынешнее состояние литературной жизни Венгрии. В этом же разделе читатель найдет статьи, посвященные творчеству молодых писателей. Критик Иштван Б. Сабо считает, что у ищущей молодой литературы «склонности определились; пришло время серьезной работы, и чувство общественной необходимости собственного писательского труда сегодня, решение сложнейших проблем социалистического обновления жизни помогут каждому литератору обрести свое место в литературном строю».

В разделе, анализирующем отношение литературы к проблемам научно-технической революции, венгерские литераторы — Миклош Алмаши, Габор Гаран, Эндре Иллеш, Пал Миклош, Дюла Фекете, Шандор Чоори, Иштван Шимон и Ференц Юхас, — полемизируя с буржуазными теориями НТР, говорят о глубоком различии в самом характере и результатах научно-технической революции в условиях разных социальных систем, размышляют о проблемах литературы в связи с развитием средств

массовой коммуникации. Не могу не привести в этой связи некоторые из высказываний венгерских друзей. Вот они.

«Преимущество социалистического строя в том и состоит, что он способен учитывать весь комплекс последствий технического прогресса, способен заставлять его служить интересам человека... Сила этого искусства — в социально-осознанном взгляде на мир. Оно исполнено чувства исторического оптимизма. Оно указывает человеку пути к торжеству духа, ставит перед ним высокие задачи творческого преобразования мира на началах добра и справедливости. Оно исходит из того, что в условиях прогрессивного, социалистического, общественного порядка техника может и должна вступить в нерасторжимый союз с человеком, должна служить человеку» (М. Алмаши).

«Я уверен: пока поэзия существует на земном шаре, она всегда будет основываться на открытии нового в жизни, в человеке... Поэтому-то нам, поэтам, следует вернуться к... постоянно меняющемуся человеческому. Только через него мы сможем — если сможем — выразить наш век с его научными взглядами и с его острыми социальными противоречиями» (Г. Гаран).

«Истинное искусство всей земли не забывает о своей великой ответственности: напомнить человеку о том, что он — человек, и озарить его жизнь светом великого идеала, указать ему пути совершенствования социальной и духовной структуры мира» (Д. Фекете).

Как видим, мысли венгерских литераторов обращены к важным сторонам современного общественного и эстетического развития. При этом едва ли не в каждом выступлении подчеркивается, что в условиях социализма научно-техническая революция открывает широкий простор для творчества, что возможности литературы в воспитании человека, в формировании его духовного облика поистине безграничны.

Активное творческое обсуждение актуальных проблем социалистической литературы Венгрии продолжается и на страницах раздела, озаглавленного «Теория: проблемы и размышления». Читатель найдет здесь статьи крупнейших венгерских литературоведов Миклоша Саболчи, Белы Кепеци, Пала Панди и Андраша Диосеги, в которых их авторы, исходя из основных

положений документа Рабочей группы по вопросам культурной политики при ЦК ВСРП о состоянии литературной и художественной критики (1972), прослеживают краткую историю развития теории социалистического реализма в Венгрии, рассказывают о сегодняшнем научном подходе к этой важной области марксистской эстетики, о разнообразных тенденциях в венгерской эстетической теории последних лет. Миклош Саболачи в своей статье «От истории — к современности» подчеркивает: «...при обращении к истории социалистической литературы мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о ее месте внутри целостной системы явлений национальной художественной культуры». Естественно, что каждый из авторов высказывает свою личную точку зрения на то или иное явление литературного процесса, поэтому не удивительно, что зачастую их позиции не совпадают. В этом проявляются именно те искания, которые характерны для сегодняшнего дня венгерской критики и литературоведения.

Пожалуй, самый представительный раздел журнала тот, что посвящен дружбе братских литератур. И это вполне понятно. Ведь дружба наших литератур, их взаимосвязь и взаимодействие имеют давнюю историю — сегодня о ней ярко рассказывают советские и венгерские переводчики и писатели: Пал Э. Фехер, Лайош Галамбош, Ласло Кардош, Имре Макаи, Ласло Немет, Жужа Раб; А. Гершкович, Г. Абашидзе, В. Аминский, К. Ваншенкин, С. Зальгин, Л. Мартынов, С. Сартаков, Б. Слуцкий, О. Смирнов. Рассказывают о зарождении этой дружбы и ее плодотворных результатах, о поездках и знакомствах, о личных впечатлениях и связях...

Вот что пишет, например, прозаик и драматург Лайош Галамбош: «Наряду с классиками и живыми замечательными мастерами венгерской литературы еще в годы отрочества советская литература помогла мне правильно увидеть мир, осознать свой долг перед людьми труда. И выполнять этот высокий долг я буду, пока жив, пока хватит сил».

Писатели говорят о разном, но в то же время об одном и том же — о нерасторжимых узах дружбы, связывающих навечно наши страны, наши литературы.

Литературой накоплен богатый опыт, задача нынешних поколений писателей взять на свое вооружение все ценное в тради-

ции, все непреходящее, что может и должно способствовать нашему движению вперед. На разных материалах, но как бы дополняя друг друга, Иштван Кирай, Иштван Шетер, Олег Россиянов и Юрий Гусев анализируют вопрос о традициях, о подлинно историчном, марксистском подходе к классическому наследию, говорят о культурной политике Венгерской Советской Республики 1919 года и о традициях крупнейшего венгерского прозаика-реалиста Жигмонда Морица в наши дни, об общих тенденциях развития венгерской национальной поэзии, о наследии величайшего революционера-демократа поэта Шандора Петефи.

Читатели журнала «Вопросы литературы» словно побывают в творческой мастерской Ласло Беньямина, поэта, прозаика, переводчика, дважды лауреата премии имени Кошута и премии Йожефа; о собственном творчестве и творчестве коллег по перу им расскажет наш большой друг и товарищ Антал Гидаш, крупный романист Лайош Мешгергази; читатели встретятся с Иштваном Эркенем, чья пьеса «Семья Тоттов» идет в наших театрах. Узнают, как сложилась творческая судьба этих литераторов, что они думают о литературном процессе, каковы их планы, мечты...

В последние годы в Венгрии вышли две книги прозаика Булчу Берты, в которых он собрал свои интервью с многими венгерскими писателями. Конечно, полностью опубликовать эти книги на страницах журнала не представлялось возможным, поэтому редакция пошла по пути «выборочного опроса» некоторых писателей. Перед нами «мини-интервью», отвечающие на вопросы, что думают Йожеф Дарваш, Тибор Дери, Золтан Зелк, Дюла Ййеш, Мартон Калас, Эмиль Коложвари-Гранпьер, Ласло Надь, Иштван Паколиц, Карой Сакони, Тибор Тьюкеш и Тибор Череш о влиянии писателя на происходящие в мире события, об издании их книг за рубежом, об общественной ответственности писателя, о роли поэта и поэзии в современном обществе, о методе творческой работы, о путях современной прозы.

В разделе «Публикации, воспоминания, сообщения» представлены «Автобиография» Атилы Йожефа и его же рецензия на сборник произведений известного венгерского прозаика Лайоша Нады «Урок», статья Дюлы Юхаса «Послание Горького» и рецензия Петера Вереша на шолоховский «Тихий Дон». Интересны рецензии, в ко-

торых советские литературоведы Н. Дьяконова, Ю. Павлов, Л. Сувиженко и М. Ульрих анализируют книгу «Европейский романтизм», подготовленную совместно ИМАИ имени Горького и Институтом литературоведения АН Венгрии, «Идея, история, литература» Бела Кепеци, «Венгерская литература» Иштвана Шимона и «Король гольф» Булчу Берты.

В заключение читатель, ознакомившись с эссе Дьердя Хамоша и литературными пародиями Тамаша Бараня, прочитав информацию Золтана Фабиана о широко развернувшемся в Венгрии движении «За читающий народ», окажется перед литератур-

ной картой, которая поведаст ему, какие литературные газеты и журналы существуют сегодня в Будапеште и на периферии, в каких издательствах публикуют свои произведения венгерские писатели. Он узнает не только их названия, но и их историю возникновения, их планы...

Журнал «Вопросы литературы» сделал большое и полезное дело. Он внес достойный вклад в дальнейшее укрепление творческих связей советской и венгерской литератур, в сближение художественных культур наших социалистических стран.

И. САЛИМОН.



ФАНТОМЫ МОДЕРНИЗМА

И. С. Куликов а. *Философия и искусство модернизма*. М. Политиздат. 1974. 160 стр.

В книге И. С. Куликовой затрагиваются многие аспекты взаимодействия модернизма с социальной жизнью. Но название, бесспорно, указывает на самый главный из них. Он, собственно, и окажется в центре нашего внимания.

Художники-модернисты чаще всего свысока поглядывали на теоретические умствования. Почему — на этот счет существует немалое количество очень красивых теорий. Не касаясь их существа, стоит указать на одну не очень афишируемую причину. Понять мир во всей его сложности, разобраться во взаимодействии его элементов, в движущих силах и путях развития, в смысле жизни и назначении искусства — это требует времени, терпения, труда — «пота», по фразеологии вольных художников, а также ответственности («рабской зависимости от внешнего мира»). По сравнению с такими каналами проникновения в тайны мироздания, как озарение, вдохновение, интуиция, философское познание слишком обременительно. Стоит, к примеру, объявить, что главная задача художника — выражать «пластическое осознание нашего инстинкта» (определение французских теоретиков кубизма А. Глеза и Ж. Метценже), и можно не утруждать голову ни «вечными», ни «проклятыми» вопросами бытия. Многие ли из модернистов всерьез изучали Фрейда, не говоря уж о Шопенгауэре или Бергсоне? Как герой Мольера удивился, узнав, что всю жизнь говорил прозой, так и они уди-

вились бы, узнав, что их смутные воззрения на жизнь и искусство представляют вполне определенную систему философских идей, называемую идеалистическим интуитивизмом. Ничего не поделаешь, вопросы «что такое искусство? зачем оно людям?» — вопросы философские. И каждому художнику приходится на них отвечать, притом не только словами — всей своей жизнью, всем своим делом.

С момента зарождения модернизм не утаивал удивлять человечество многообразием ликов один чуднее другого: кубизм, футуризм, орфизм, ташизм, супрематизм, неопластицизм, дадаизм, сюрреализм, искусство абсурда, поп-арт, оп-арт, боди-арт, «мобили», «хэппенинги», «роботное искусство»... И у каждого «изма», каждого «арта» своя оригинальная манера, свой особый художественный «конек», свое неповторимое «кредо». Что же их объединяет? Внешне — смелость и бунтарство, иступленные поиски нового, необычного. И. С. Куликова детально описывает течение, ставшее одним из первых шагов в сторону модернизма. Речь идет о молодых французских художниках-фовистах, поразивших в 1905 году зрителей резкостью и смелостью сочетания красок. Объединило этих новаторов презрение ко всем формам социальной активности — к анархии, к социализму, к филантропии... Поиски нового обязательны для каждого художника, но автор вполне точно указывает ахиллесову пятю

нового направления: «Они стремились к новому и искали новое, но не в природе, не в обществе, не в людях, а в области отвлеченного формотворчества».

Что же фовисты предложили человечеству взамен «социализмов и филантропий»? «Оркестровку красок» и цветковые диссонансы. Однако для фовистов еще существовала проблема выразительности художественных средств. Сменившие их кубисты пытались «активностью души» регулировать уже только «динамизм формы» самой по себе, безотносительно к чему бы то ни было. Задача художника, по их утверждениям, состоит в том, чтобы «установить соотношения между кривыми и прямыми», изобразить «цветной объем на плоской поверхности» и т. д. Где-то на уровне поп-арта модернизм достигает почти «идеала». Представители его конструируют свои шедевры из утильсырья при полном, демонстративном игнорировании «всякой идеологии», всякого социального смысла. Собственно говоря, при отсутствии идеологии в искусстве любая форма одинаково годится. В этом отношении «самоуничтожающееся искусство», в котором хитроумные технические сооружения на глазах почтенной публики сокрушаются молотками, пламенем и взрывами, говорят нашему восприятию ничуть не больше, чем неряшливые пятна ташистов или гробики «кибернетического искусства».

Экстравагантные формы модернистского искусства бросаются в глаза, одних они восхищают, других ужасают. Естественно, все бесконечные дискуссии о модернизме, не затухающие ни на миг вот уже почти семьдесят лет, ведутся именно вокруг формы, вокруг приемов, средств... Дескать, о чем же еще говорить, если ничего, кроме них, и нет?

Наша критика модернизма ничего общего с марксизмом не имела бы, если бы мы позволили втянуть себя в этот спор о форме в отрыве от содержания, начали бы противопоставлять их (плохим) приемам свои (хорошие) приемы, их (плохим) формам свои (хорошие) формы. Формализм наизнанку — тоже формализм. Одним из очень вредных следствий вульгарного социологизма стала боязнь откровенного социологического подхода к явлениям художественной культуры. И. С. Куликова совершенно правильно при оценке модернизма во главу угла ставит не форму, а содержание. В связи с этим вполне уместной в

книге о модернизме выглядит глава о «массовом искусстве», искажающем жизнь во вполне жизнеподобных формах, но внутренне, идейно неразрывном с модернизмом.

Формалистическое трюкачество не причина, а следствие, так сказать, изысканный способ «марзамирования» искусства. Революции начала века показали силу народа, его готовность к борьбе за власть. Всякий непредвзятый научный и идеологический анализ убеждал в неизбежности и нужности народовластия, сколь бы тяжелей и трагическим ни оказывался порой путь к главному «перевалу» человеческой истории. И уйти от данной исторической неизбежности, данной беспощадной борьбы можно было, только спрятавшись наглухо от самой действительности. Тут вот и следует искать корни, сущность модернизма — в сознательном или неосознанном уходе от социальной реальности, от социальной борьбы. Однако в отражении общественной жизни, в служении тем или иным общественным идеалам — смысл искусства, его специфическая функция, ведь даже самые бескорыстнейшие из эстетических ценностей в конечном счете не что иное, как квинтэссенция нашей социальной пристрастности.

Представителей модернизма не смущало почему-то, что, начав отрицать «низкую» действительность во славу «высокого» искусства, они с неизбежностью вынуждены были начать отрицать и искусство. Характерны в этом отношении приводящиеся в книге слова манифеста дадаистов: «Больше не надо художников, не надо литераторов, не надо музыкантов, не надо скульпторов, не надо религии, не надо республиканцев, не надо роялистов, не надо большевиков, не надо политиков, не надо пролетариев, не надо демократов, не надо армий, не надо полиции, не надо родины, хватит, наконец, всех этих глупостей, не надо больше ничего, больше ничего, ничего, НИЧЕГО, НИЧЕГО, НИЧЕГО».

Что ж, действительно, чтобы искусство перестало служить обществу, единственному пути — превратить его в «неискусство», убить его. Сделать это, однако, не легко. Ведь даже жреческое служение абстрактной красоте, демонстративно игнорирующее утилитарные нужды людей и какую бы то ни было политику, в конечном счете все-таки влияло на социальное развитие. Закономерно и знаменательно,

что идеологам модернизма, поклонникам внесоциальных добра и красоты оказалось недостаточным увести искусство от прямого служения социальным идеалам в мир линий, плоскостей и цветowych пятен, в мир биологических темных инстинктов и мистического тумана. Пришлось-таки начать борьбу и с красотой и с добром, сперва реабилитировать, потом поэтизировать безобразия и жестокость.

Отнюдь не случайно буржуазия была всегда снисходительна и даже благосклонна к модернизму с его архинепримиримым «бунтарством» и бесконечными выпадами против буржуазности. С готовностью буржуа поддерживали их «революцию» — сюрреалистическую. Потому что под этой «революцией умов» понималось прежде всего освобождение личности от всякой социальной ответственности. В книге приводится на этот счет целый ряд убедительных высказываний. Осуществить такую «революцию», по понятиям сюрреалистов, должно искусство, которое для художника является мощным средством массового гипноза, а для толпы — убежищем, где она может спрятаться от отвратительной действительности. Искусство, уводя в мир сумеречного подсознания и произвольного фантазирования, сублимирует недовольство реальностью. Симулируя сумасшествие, оно спасает от него, давая выход животным инстинктам. Можно ли напугать капиталистов подобной «революцией»? Совсем наоборот. И. С. Куликова предлагает задуматься над словами английского социолога С. Мелмана, подчеркивавшего, что при помощи произведений современного буржуазного искусства «готовится человеческий материал, способный вести термоядерную войну, не ощущая ни вины, ни угрызений совести». Эти вот социальные моменты, а не теоретические изыскания в области философии и эстетики определяют характер буржуазного искусства XX века. Философские учения и идеи уже как бы подбираются под эту социальную заданность. В разных условиях — разные, но главная социальная цель — увести людей от реальных общественных проблем — обеспечила устойчивый преимущественный интерес к идеалистическим учениям. Среди них на первом месте учение А. Шопенгауэра. В свое время оно не получило широкого распространения — капитализм победно шествовал и не ощущал потребности прятаться от действительности. Но вот почти через

сто лет идеи о том, что жизнь — только видимость, что рациональность обманчива, что только искусство способно интуитивным путем проникать к «истинной сущности бытия», пришлось ко времени и сразу же были подняты на щит. Хорошо дополняли Шопенгауэра аргументы А. Бергсона в пользу элитарного, иррационального характера искусства, в защиту особой «вышей», пророческой миссии художника. Насколько решающим был «социальный заказ», а не убедительность философских доводов, показывает тот факт, что когда буржуазному искусству нужно не увести в туманные миры, а доходчиво внушить толпе удобные эксплуататорам взгляды на жизнь, то тотчас же на передний план выдвигались совсем другие философские тезисы. Представители массового искусства, к примеру, подчеркивает И. С. Куликова, предпочитали опираться на более доходчивые, образно-конкретные теории, в частности на учение Ф. Ницше с его «супергероем», стоящим по ту сторону добра и зла. Когда требовалось, к интуитивизму добавляли биологизм и асоциальность З. Фрейда, аполитичность и безнадежность экзистенциалистов...

Важно подчеркнуть только, что однажды выбранное в соответствии с социальными установками философское учение не оставалось пассивным компонентом творчества.

Немало по-настоящему талантливых художников, искренне стремившихся к служению красоте и добру, но не искушенных в философских тонкостях, запутывались в словесных хитросплетениях, модных теориях и вполне серьезно думали, что «оркестровкой красок» можно спасти мир, воспринимавшийся ими вслед за Шопенгауэром как «сутолока измученных и истерзанных существ, которые живут только тем, что пожирают друг друга...». Полужнания в философии губительны как нигде.

Картина, нарисованная в книге И. С. Куликовой, суммарна. Пользуясь ее рабочим методом, трудно объяснить индивидуальные творческие искания того или иного художника, дать исчерпывающую оценку социальной эстетической ценности конкретного произведения. Автор явно таких задач перед собой и не ставил. В жизни всегда существуют и ведут между собой борьбу разные тенденции, создавая массу неповторимого, не укладывающегося ни в

одну схему, порождая исключения из правил, полутона, нюансы и т. д. Естественно, создавая общую схему того или иного явления, вобрать их все и объяснить невозможно. Да и не нужно. У метода широких обобщений своя специфика, свои задачи, свои критерии истинности. Общая схема взаимоотношения искусства модернизма и философии, предложенная в книге И. С. Ку-

ликовой, верна, а нюансы, связанные с преломлением философских теорий и учений в сознании конкретных художников, нюансы, которые тоже очень важно понять и учитывать, надо надеяться, будут с необходимой тщательностью прослежены в других работах на интересующую нас тему.

А. НУЙКИН.



Политика и наука

КАК РАБОТАЛ ЛЕНИН

М. П. Ирошников. Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин). Очерки государственной деятельности в 1917—1918 гг. Л. «Наука». 1974. 448 стр.

Новая монография ленинградского историка М. П. Ирошникова охватывает широкий круг вопросов, относящихся к государственной деятельности В. И. Ленина в первый год пролетарской диктатуры, в период становления советского социалистического государства в России. Как известно, именно в 1918 году Ленин считал главным «звеном цепи», за которое необходимо ухватиться, укрепление и совершенствование Советского государства, организацию его аппарата управления. Это ленинское положение и определило характер, содержание и структуру рецензируемой книги.

Автор рассматривает в ней вклад Ленина в развитие марксистского учения о сломе буржуазного и создании социалистического государственного аппарата, исследует организационно-практическую деятельность Председателя Совнаркома, его роль в образовании и укреплении первого Советского правительства, функционировании пролетарского аппарата управления, руководстве внутренней и внешней политикой РСФСР в 1917—1918 годах. Значительное внимание уделено также изучению того, как под руководством Ленина решалась острейшая в то время проблема кадров для нового аппарата управления страной. Глубоко и всесторонне, с использованием многочисленных архивных данных М. Ирошников детально раскрывает всю титаническую деятельность Коммунистической партии и Ленина по руководству Советом Народных Комиссаров в 1917—1918 годах.

Грандиозность стоящих перед первой страной диктатуры пролетариата задач и

сложность организации управления Россией потребовали от большевистской партии после ее прихода к власти напряжения всех сил, мобилизации всех преданных делу социализма работников. Вот как характеризовалась труднейшая обстановка того времени в воспоминаниях одного из членов первого Совета Народных Комиссаров, Г. И. Опшкова (А. Ломова): «Наше положение было трудным до чрезвычайности. Среди нас было много прекраснейших высококвалифицированных работников, было много преданнейших революционеров, исколесивших Россию по всем направлениям, в кандалах прошедших от Петербурга, Варшавы, Москвы весь крестный путь до Якутии и Верхоянска, но всем надо было еще учиться управлять государством. Каждый из нас мог перечислить чуть ли не все тюрьмы в России с подробным описанием режима, который в них существовал. Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели управлять государством и не были знакомы ни с банковской техникой, ни с работой министерств».

В монографии М. Ирошникова хорошо показано, как благодаря гению Ленина, его умению точно определять деловые качества товарищей по революционной работе уже первый состав Совнаркома, созданного в 1917 году, даже по свидетельству одного из зарубежных дипломатов, «был выше любого кабинета министров в мире».

Характеристику ленинского Совнаркома автор подкрепляет тщательным анализом партийного состава его членов, их участия в революционном движении, приводит точные данные о возрасте, партийном ста-

же, социальном происхождении и образовании членов Советского правительства в 1917—1918 годах. Эти данные позволяют автору сделать документально обоснованный вывод о том, что все советские государственные деятели во главе с Лениным, принимавшие активное участие в работе СНК в эти годы, из ученых им девяноста двух лиц за исключением двух являлись большевиками, подлинными выразителями интересов и чаяний трудового народа, а по своему образованию, знанию иностранных языков, количеству книг и статей, опубликованных ими, работоспособности и самоотверженности действительно превосходили любое из существовавших тогда буржуазных правительств.

Как работал Председатель Совета Народных Комиссаров? Каковы были практические приемы и методы, с помощью которых он осуществлял руководство своими соратниками и сотрудниками советского правительственного аппарата? На все эти вопросы читатель найдет ответ в книге М. Ирошников, который произвел скрупулезное изучение замечательного опыта ленинского государственного руководства, основных форм, методов и стиля повседневной работы первого Председателя Совнаркома.

Ссылаясь на свидетельство народного комиссара юстиции Д. И. Курского, принимавшего самое активное участие в работе ленинского СНК, М. Ирошников приводит поразительный факт, что сочинения Ленина (теоретические, политические труды и публицистика), несмотря на их громадный объем, составляли «лишь 1/20 его работы, его наследства. Главная часть его творчества происходила повседневно в телефонных разговорах, в личных указаниях, в коротеньких записках, где несколько строчек являлись иногда ясным и сжатым трактатом программного вопроса».

В поле зрения автора в одном из разделов книги как раз и находится эта «скрытая» от большинства изучающих сочинения Ленина сторона деятельности руководителя РКП(б) и Совнаркома. М. Ирошников последовательно выявляет особенности руководства Лениным народными комиссариатами, показывая выдающуюся его роль в становлении таких, например, ведомств центрального государственного аппарата, как Народный комиссариат по иностранным делам. Руководство это начиналось с подбора ведущих работников НКВД до определения

стратегической и тактической линии. Республики Советов во всех внешнеполитических вопросах, разработки платформы советской делегации на переговорах с Германией в Брест-Литовске, выдвижения предложений, направленных на установление, нормализацию политических и экономических связей с рядом государств.

В монографии приводится свидетельство одного из американских корреспондентов, посетившего Советскую Россию в первые годы после победы Октябрьской революции, о том, что рабочий день Ленина длился не менее пятнадцати — восемнадцати часов в сутки. Автор задался целью воссоздать два его обычных рабочих дня — 18 ноября 1917 года и 14 мая 1918 года. Проследившая деятельность Ленина в эти дни по часам и даже по минутам, М. Ирошников сумел показать поистине немислимую работоспособность Председателя Совнаркома, которому приходилось решать важнейшие и сложнейшие вопросы жизни страны — военные, экономические, политические, дипломатические, культурные, четко и оперативно просматривать все текущее делопроизводство, принимать решения, давать указания, писать записки десяткам работников, принимать посетителей, выступать на совещаниях, председательствовать в Совнарком, в повестке дня которого нередко значилось до двадцати вопросов, и т. д.

Особое внимание М. Ирошников уделяет участию Ленина в грандиозной в то время правотворческой деятельности Совнаркома, а также таким сторонам его работы, как прием, переписка и выступления председателя СНК, забота о совершенствовании советского аппарата управления. Каждый из этих аспектов государственной деятельности автор анализирует с привлечением громадного количества источников: произведений Ленина, архивных материалов, воспоминаний. Они позволяют сделать выводы о главных чертах ленинского стиля руководства Совнаркомом: деловитость, четкость и краткость постановки обсуждавшихся вопросов; твердое соблюдение регламента заседаний; чуждость всякой риторике и пространным рассуждениям; умение, по удачному выражению Е. Д. Стасовой, «раздваивать и даже разтраивать свое внимание» (то есть делать во время заседаний сразу несколько дел); умение отсеивать вопросы второстепенные от первостепенных и перенаправлять их на рассмотрение других

учреждений; коллективный принцип руководства; и, наконец, скромность и тактичность, внимательное отношение к мнению других участников заседаний.

При характеристике ленинского стиля работы, связанного с организацией приема посетителей, перепиской и выступлениями, М. Ирошников столь же обоснованно и документально показывает, что доминирующим в этой сфере государственной деятельности руководителя Советского правительства было стремление к неразрывной связи с массами, повседневному общению с трудящимися. Обязанностью коммуниста, и тем более руководителя, Ленин считал:

«Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать все.
Понимать массу.
Уметь подойти.

Завоевать ее абсолютное доверие»¹

Только соблюдение этих обязанностей позволяло, по мнению Ленина, правильно принимать те или иные решения по различным вопросам экономической и политической жизни государства. И именно это обстоятельство, как подчеркивается в монографии со ссылкой на свидетельство А. Р. Вильямса, привело к тому, что рабочий кабинет В. И. Ленина сначала в Смольном, а затем в Кремле стал «величайшей в мире приемной».

По подсчетам автора рецензируемой книги, оговорившего далеко не полный характер приводимых им данных, общее число бесед Председателя Совнаркома с рабочими, солдатами, матросами, крестьянами только за десять месяцев первого года его деятельности на этом посту составило около трехсот.

Наряду с отмеченными аспектами государственной деятельности большое внимание в своем исследовании М. Ирошников уделил конкретно-историческому анализу ленинского понимания процесса слома буржуазной государственной машины и замены ее новым, пролетарским государственным аппаратом.

В третьей, последней части монографии хорошо показано, какое значение придавал Ленин статистико-социологическим методам изучения общественных явлений, и государственного аппарата в частности. Автором проделана колоссальная пионерская

работа по выявлению и обработке ценнейшего, но разрозненного материала, результатом чего явилось воссоздание спустя более чем через пятьдесят лет итогов переписи служащих советского центрального государственного аппарата, проведенной по указанию В. И. Ленина в 1918 году.

М. Ирошников обнаружил в одном из фондов Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР свыше шести с половиной тысяч анкетных листов служащих советских центральных государственных учреждений, заполненных в связи с переписью, проведенной в августе 1918 года. Итоги этой переписи, по-видимому, в связи с начавшейся гражданской войной в свое время подведены не были, да и само ее проведение либо ускользнуло от внимания историков, либо ставилось ими под сомнение.

Подвергнув сплошному обследованию и анализу весь этот первичный материал, автор рецензируемой монографии сделал подсчеты, которые позволили ему дать впервые в нашей исторической литературе четкую конкретно-историческую характеристику не только численности советского центрального государственного аппарата к концу его становления в 1918 году, но и, что еще более важно, его состояния. На основе анализа анкет М. Ирошников выявил картину социального состава, партийной принадлежности, места прежней службы, времени поступления на работу служащих и т. д.

Поскольку методика изучения социального состава служащих советских центральных государственных учреждений, предложенная автором для анализа анкет, хорошо обоснована и не вызывает каких-либо возражений, полученные им данные имеют совершенно уникальный характер и позволяют с полной достоверностью оценить состояние советского центрального государственного аппарата к концу первого этапа его становления.

Результаты этого исследования М. Ирошникова сведены в двадцать одной таблице и, вне всякого сомнения, явятся ценным источником для всех, кто интересуется вопросами становления советской государственности.

Представляется также, что эта сторона монографии — один из первых шагов в советской исторической литературе на пути

¹ Ленинский сборник, XXXVI, стр. 389.

конкретно-исторической разработки такой общей и малоизученной проблемы, как оценка степени преемственности или изменений между старым и новым социальным порядком в результате социалистической революции. В частности, автор устанавливает, что в ходе слома старого и создания нового государственного аппарата (процесс единый и взаимосвязанный) преемственность в использовании некоторых частей и элементов прежнего государственного механизма, и в особенности его кадров, носила гораздо более широкий характер, чем это представлялось накануне Октября.

Разумеется, в монографии имеются некоторые недостатки. Из них следовало бы отметить увлечение автора второстепенными делопроизводственными материалами и их обильное цитирование, приведение одnorod-

ных примеров, расширительное толкование результатов ответов служащих на отдельные вопросы анкетных листов переписи 1918 года.

Однако все эти недостатки носят частный характер. В целом же прекрасно документированная и в своей значительной части основанная на новых архивных материалах фундаментальная монография М. Ирошникова написана на хорошем научном уровне. Она дает яркое представление о деятельности Ленина во главе советского государственного аппарата в первый год пролетарской диктатуры, о состоянии этого аппарата, о тех проблемах, которые приходилось решать.

В. ШИШКИН,
доктор исторических наук,
профессор.



ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ...

М. Е. Катук о в. На острие главного удара. М. Воениздат. 1974. 429 стр.

Гремящие сороковые... Сколько будет жить наше старшее поколение, обожженное их горячим огнем, оно не знает того, что довелось перенести начинающая с горькой, трагической даты — 22 июня 1941-го до радостного, солнечного утра 9 мая 1945 года. Об этой поре уже написаны горы книг. Кажется, все сказано и пересказано: и о событиях, потрясших мир, и о людях, которые вынесли на своих плечах всю невероятную тяжесть вражеского нашествия. И все же молодежь, вступающая в жизнь в седьмом десятилетии нашего века, часто с трудом представляет себе: как возможно было совершить такое? и что это за люди, принесшие Победу, Освобождение, Мир?..

Людам этого опаленного суровым дыханием войны поколения, прошедшим через многие трудные испытания и завоевавшим победу, посвящена книга «На острие главного удара». Герои ее — бойцы, командиры и политработники 1-й гвардейской танковой бригады, а затем 1-й гвардейской танковой армии, те, кто начинал свой ратный путь в боях под Москвой, а закончил во вражеском логове — фашистском Берлине. О них, своих боевых товарищах, и рассказывает бесценный командарм гвардейской танковой маршал бронетанковых войск М. Катук-

ков, чье имя хорошо известно в нашей стране.

Все, кому довелось пройти тяжелыми дорогами войны, помнят о них, как очень точно пишет автор, глубокой памятью сердца, а не только холодной памятью рассудка. С первых же страниц мы как бы ощущаем саму атмосферу начального периода войны, проникаемся теми же тревогами и заботами, что волновали тогда советских людей, воинов Красной Армии.

Осень 1941 года. Вражеские полчища рвутся к Москве. Но в решающий момент в числе других соединений им преграждает путь 4-я танковая бригада. Ее люди, проявляя чудеса храбрости, не только выстояли под натиском превосходящих сил противника, но и нанесли ему существенный урон. За две недели немецкого «генерального» наступления бригада уничтожила 106 вражеских танков, 69 орудий и минометов, до трех полков противника, разбила 13 дзотов, 27 пулеметных гнезд. Здесь, под Москвой, и зародилась советская танковая гвардия — 4-я бригада была переименована в 1-ю гвардейскую.

Неистребимые моральные силы советских воинов, сознание ответственности за судьбу отчизны принесли им успехи в кровавой борьбе с фашистами. Танкисты-гвардейцы, о подвигах которых идет подробный рас-

сказ на страницах книги, сочетали в своих решениях и действиях здравый расчет с исключительной стремительностью, дерзостью и лихостью. «За эти грозные дни,— вспоминает М. Е. Катукон,— мы не знали, что такое трусость, паника. За все это время не было у нас случая, чтобы части, подразделения и даже отдельные экипажи отошли с занимаемого рубежа без приказа командования». Сплоченному, дружному боевому коллективу бригады было под силу вести бой с противником, превосходившим гвардейцев и по количеству активных штыков, и по техническому оснащению.

Волнующи строки воспоминаний о первых наступательных боях танкистов в декабре 1941 года. Многие страницы читаются с неослабевающим интересом.

Подробно рассказывает автор и о рождении первого танкового корпуса, о трудных боях в составе Брянского фронта летом 1942 года, ярко воспроизводит картины напряженных сражений на сталинградском направлении, описывает деятельность штаба, политотдела корпуса при подготовке к контрнаступлению, результатом которого было окружение трехсоттридцатитысячной фашистской группировки на берегах Волги.

Курск. Лето 1943 года. Здесь войны только что сформированной 1-й танковой армии стояли насмерть. Они прикрывали особо опасное обоянское направление. Более тысячи танков, поддержанных авиацией, сосредоточил здесь противник, готовясь к броску на Курск. Боевые порядки вражеских танков не имели интервалов, и казалось, что это движется стальной смерч, готовый смести все на своем пути. Танковая дивизия на каждый километр фронта! Не бывала доселе плотность боевой техники. Здесь наступало больше танков, чем их было во всей армии Гудериана под Москвой. Как остановить врага? Что предпринять? И вот на пути гитлеровцев выросли мощные оборонительные заслоны, которые внезапным огнем с коротких дистанций ошеломили противника, нанеся ему огромные потери. Жесткую оборону важных в тактическом отношении объектов танкисты-гвардейцы подкрепили внезапными контратаками. А затем в контрнаступление перешли целые корпуса. Противник был жестоко бит, и отнюдь не числом, а умением воинов.

Не дав ему опомниться, танкисты устремились на позиции врага, открыв дорогу на

Днепр. Танковая армия участвует в Проску-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской.

Много теплых слов сказано в этой книге о войнах-танкистах — А. Ф. Бурде, А. Х. Бабджаняне, В. М. Горелове, И. И. Гусаковском, В. И. Мусатове, А. М. Темнике, В. Н. Подгорбунском и других героях. Широким планом дается обстановка на советско-германском фронте в различные периоды войны. Показана работа штабов, деятельность политических органов, партийных организаций. На страницах воспоминаний мы встречаемся с Г. К. Жуковым, Н. Ф. Ватутиным, И. С. Коневым и другими видными военачальниками.

Без прикрас, но с искренним уважением говорит автор о героях сражений, о солдатах и офицерах, бесстрашно смотревших в глаза смерти.

...Поучительны мысли автора о тактическом мастерстве командира, его умении принимать оптимальные, обоснованные решения, позволяющие уничтожать противника с наименьшими потерями сил. Известно, что для военачальника очень важно не только видеть динамику боя, но и предугадывать его исход, понимать роль в нем каждого подразделения, каждого танкового экипажа.

Хочется отметить еще одну характерную особенность воспоминаний и размышлений М. Катукон. Он много и обстоятельно пишет о партийно-политической работе во фронтовой обстановке, показывая ее действительность на всех этапах боевой деятельности войск, раскрывая ее роль в обеспечении боевой готовности частей и подразделений, высокого наступательного духа воинов. Хорошо сказано о том, как необходимо для командира любого ранга, особенно в сложной обстановке, уметь находить слова одобрения, рождающие уверенность у каждого бойца. Все эти качества позволяют командирам и политработникам управлять войсками и безошибочно определять те мгновения и те, казалось бы, неумовимые детали сражения, которые позволяют добиться победы. Когда автор пишет о командирских качествах офицеров, о том, из чего складывается успех в бою и операции, его слова звучат особенно убедительно, так как отражают то, что он лично испытал и проверил на собственном боевом опыте...

М. Катукон объясняет и то, чем руководствовался он, приступая в послевоенные го-

ды к нелегкому труду мемуариста. В перовско-Черновицкой операции, Львовские дни победы, пишет он, «я решил, что обязан, просто не имею права не рассказать о том, как жили, сражались и умирали за Родину наши гвардейцы».

Закачивая чтение книги маршала М. Ка-

тукова, можно утверждать: свой долг перед товарищами по оружию автор воспоминаний выполнил с честью.

Р. ПОРТУГАЛЬСКИЙ,
полковник, кандидат исторических наук.
В. НАЗАРЕНКО,
подполковник-инженер,
кандидат военных наук.



УНИФИКАЦИЯ ПРЕССЫ

Г. Гляйсберг. О концентрации печати и манипулировании общественным мнением. Перевод с немецкого. М. «Прогресс». 1974. 167 стр.

В одном из январских номеров 1975 года гамбургский еженедельник «Цайт» так характеризует положение на газетно-журнальном рынке ФРГ: «Германская пресса пережила еще один кризисный год. Цены на бумагу поднялись примерно на 60 процентов, доходы от публикации рекламных объявлений упали на 20—25 процентов. Последствия: все больше слияний газет, прекращение изданий, монополии».

Анализу этого процесса и его последствий посвящен коллективный труд западногерманских марксистов — исследователей печати под редакцией известного ученого Герхарда Гляйсберга. Книга вышла во Франкфурте-на-Майне в 1972 году, и, естественно, жизнь внесла свои коррективы, подновила и освежила факты и цифры, которыми насыщено это исследование. Но его выводы нисколько не подверглись эрозии временем. Наоборот: наблюдения, прогнозы авторов, вскрытые ими тенденции в развитии западногерманской прессы предстают сейчас еще более рельефно, обретают документальное подтверждение.

Экономический кризис, охвативший ныне весь капиталистический мир, не обошел и его полиграфическую базу, газетно-издательскую сферу. Пресса, еще в прошлом столетии ставшая отраслью промышленности, при всей своей специфичности, подчинена тем же процессам концентрации, как и всякое другое индустриальное производство. Как указывается в книге, концентрация обусловлена целым рядом объективных факторов: удорожанием средств полиграфического производства, усилением конкурентной борьбы, стремлением к техническому совершенствованию и так далее. В то же время в этом процессе проявляются и факторы субъективные, а именно политические амбиции некоторых газетно-издательских королей, в первую очередь таких, как

Шпрингер и Бертельсман. В сфере средств массовой коммуникации ФРГ явственно обозначились тенденции к формированию некой «тотальной информационной империи завтрашнего дня», по определению бывшего главного редактора «Шпигеля» и нынешнего руководителя представительства ФРГ в ГДР Гюнтера Гауса.

Горстка крупных газетных концернов и издательств, по существу, захватила ведущие позиции на печатном рынке. За последние двадцать лет число изданий уменьшилось с 2500 до 1300, из которых примерно 150 еще сохраняют свою самостоятельность. Уже в 1970 году 5 крупнейших газетных концернов издавали 81 процент общего тиража всех ежедневных газет ФРГ. Остальные 19 процентов приходится на какой-нибудь десяток других издательств. Во главе списка крупнейших газетных концернов стоит шпрингеровский, который контролирует, по различным подсчетам, от 60 до 80 процентов ежедневного тиража западногерманской прессы.

Примерно такая же картина складывается и в издании журналов. 4 самых мощных концерна выпускают 34 журнала, что составляет 56,4 процента общего тиража всех изданий такого рода. Остальные 43,6 процента распределяются между 208 наименьшими.

Итак, с одной стороны, «газетный мор», с другой — монополизация прессы, сосредоточение практически необъятной власти в руках немногих газетно-журнальных воротил. Процесс концентрации принял такие формы и форсируется такими темпами, которые вызывают беспокойство широких кругов западногерманской общественности. Положение тем более тревожное, что этот процесс идет в ущерб демократической прессе. Как справедливо отмечает в предисловии кандидат исторических наук П. А.

Наумов, наиболее тиражные газеты находятся в руках той группировки западно-германского капитала, которая не спешит выбраться из разрушающихся под ветром перемен окопов «холодной войны». Мощный пропагандистский аппарат, по-прежнему находящийся в руках монополий, серьезные позиции, занимаемые в ФРГ консервативной и реакционной печатью, представляют и поныне немалую опасность для происходящих благоприятных процессов в отношениях ФРГ со странами социализма. Что касается социал-демократической партии, стоящей во главе правящей коалиции в Бонне, то она не располагает ежедневной прессой крупного масштаба и влияния. У СДПГ есть еженедельник «Форвертс», центральный орган партии, несколько журналов и изданий помельче. Поэтому у СДПГ не столь уж много возможностей влиять на общественные настроения.

Оппозиционный же блок ХДС/ХСС старается использовать все рычаги формирования общественного мнения, опираясь главным образом на прессу Шпрингера. Помню, как в 1970 году, когда шли переговоры о заключении советско-западногерманского договора, эта печать бомбардировала читателей то подлинными, раздобытыми через тайные и, видимо, хорошо оплаченные каналы конфиденциальными документами, то препарированными а ля Шпрингер материалами, а то и откровенными фальшивками с единственной целью — помешать нормализации отношений. Затем все эти годы прессы правого картеля непрерывно атаковала реалистический курс правительства Бонна. Неблаговидную роль сыграла она и в обстоятельствах, побудивших Вилли Брандта подать в отставку.

Вот и теперь шпрингеровские и прочие реакционные органы печати продолжают массированную кампанию, пытаются в преддверии выборов в бундестаг осенью 1976 года скомпрометировать внешнюю и внутреннюю политику правящей коалиции, подорвать доверие к ней избирателей. Спекулируя на недовольстве части населения экономическими неурядицами, ростом дороговизны и безработицы, что отразилось и на неблагоприятных для правящей коалиции результатах выборов в ряде земель ФРГ, враждебная социал-демократам пресса жупльнически передергивает эти факты, пытается представить их как свидетельство полного недоверия общественности не только к внутренней, но и к внешней политике

нынешнего кабинета. И это вопреки тому, что курс на нормализацию отношений с Востоком был одобрен населением страны и в ходе бурной ратификации договоров с социалистическими государствами, и на внеочередных парламентских выборах осенью 1972 года. На страницах реакционных изданий запорхало новомодное словечко «тенденцвенде» («смена тенденции»): мол, кончилась пора увлечения разрядкой и нормализацией отношений с Востоком, рассеялось «левое поветрие» и на смену ему идет «здоровая и солидная» консервативная волна. Этот трюк — типичный прием тех, кто долгие годы пытается манипулировать общественным мнением с помощью различных ходовых «клише» и «стереотипов».

Все послевоенные годы газетно-журнальные «властители дум» внушают немцу, о чем он должен думать, что читать, что делать. После военной разрухи ему подсказали: теперь ты можешь хорошо поесть, наступила «фресс-велле» («волапа жратвы»). Вслед за этим его снова надумили: ты стал богаче — путешествуй; накатила «райзе-велле» («волна путешествий»). Потом всю страну захлестнули «секс-велле», «Гитлер-велле» («ренессанс» нацистской литературы). И вот сейчас хотят сделать модной «консервативную волну». Было бы близорукостью недооценивать всю опасность продукции, которую изо дня в день штампуют на шпрингеровских и им подобных конвейерах. И если правому картелю удастся ввести в заблуждение наименее защищенные слои населения ФРГ, потеснить социал-демократов и их партнеров по коалиции — свободных демократов, то это во многом будет, как мне представляется, делом рук газетно-журнальной «мафии».

Особая опасность концентрации в издательском деле, подчеркивают авторы книги, состоит в ущемлении свободы печати, в ее унификации. Хваленый «плюрализм» «свободной прессы» все более уступает серому, казарменному однообразию.

Конституция ФРГ провозглашает право каждого «свободно выражать и распространять свое мнение устно, в печати и изобразительными средствами». «Беспрепятственно получать информацию от общедоступных источников». Федеральный конституционный суд провозгласил: «Поскольку гражданин должен принимать политические решения, ему необходима исчерпывающая информация, знакомство с различными мне-

ниями и возможность их сопоставления».

Однако на практике все выглядит иначе. «Свобода печати» оказывается привилегией узкого круга лиц, располагающих капиталом, необходимым для издания газеты или газет. «Свобода печати — это не что иное, как свобода распространять свое собственное мнение, которой пользуются около двухсот богачей. Издание газет и журналов требует все больших капиталовложений. Поэтому круг лиц, способных издавать эти органы печати, становится все уже и уже... Свободен лишь тот, кто богат». Эта характеристика принадлежит не марксистским исследователям печати — авторам рецензируемой книги, а крупному буржуазному журналисту, многолетнему сотруднику «Вельт» и «Франкфуртер альгемайне» Паулю Зете.

Печать накрепко окована «золотыми цепями» рекламодателей: без такого источника дохода, как реклама и объявления, газета или журнал практически не могут существовать. Зависят они и от «общедоступных источников» информации, число которых непрерывно сокращается. И все чаще случается, что региональные газеты, за исключением раздела местной хроники, чуть ли не целиком формируются из материалов, изготовленных тем или иным агентством печати. Возможность собирать и обрабатывать информацию из всех частей света и по всем отраслям знаний предоставлена в ФРГ ничтожному меньшинству «доверенных лиц» капитала. «Концентрация в печати, — подчеркивается в книге, — не только ограничивает осуществление права на выражение и распространение мнений все более узким кругом лиц, она уменьшает и число доступных гражданину источников информации, лишает его возможности получать исчерпывающую информацию, ознакомиться с различными мнениями и сопоставлять их».

В этих условиях печать становится орудием, а читатель — объектом самой беспардонной манипуляции. Читателю «предлагается пестрый, сбивающий с толку ассортимент печатных изданий, которые на первый взгляд охватывают все области жизни. В действительности же эти издания направляют мысли, представления, интересы читателя в «безопасные» области (порнографию, например) или же навязывают ему интересы власть имущих, как это делает, скажем, газета «Бильд» (шпрингеровский боевик бульварного пошиба. — В. К.). Такие важ-

ные в жизни общества понятия, как «просвещенность», «информированность», «ориентированность», отдаются, в сущности, на откуп монополиям слова.

Монополизированная пресса либо прибегает к тотальному замалчиванию неугодных явлений и фактов, либо вовсю раздувает и муссирует то, что представляется выгодным ее хозяевам. Массовое огульное и обольщение части населения, дезориентация общественного мнения, проповедование аполитичности, «утробных» интересов, бездумного отношения к событиям, диффамация инакомыслящих, приклеивание им устрашающих ярлыков — таковы излюбленные методы фабрикантов слова. Характеризуя эти и подобные приемы, авторы книги вскрывают всю подноготную прессы, которая извлекает «прибыль из сенсаций и мелкотравчатой занимательности, из облагораживания предрассудков, сеяния иллюзий и поощрения полуобразованной публики, не желающей читать и размышлять и довольствующейся заголовками и фотографиями». Вот как определил сотрудник главного правления профсоюза металлистов Фриц Вильмар «кредо» фабрикантов общественного мнения: «Навязываемый образ жизни, несамостоятельность, лишенная живого, выходящего за рамки кроссвордных знаний контакта с эстетической, духовной и религиозной культурой «христианского Запада»...»

Всем содержанием своей книги авторы подводят читателя к выводу: буржуазная печать теряет последние остатки своей «свободы». Журналисты монополизированной прессы «не могут свободно писать о том, что они считают важным и необходимым», вынуждены отказываться от самостоятельной служебной и политической позиции, приспособляться.

«Вымирание» газет, концентрация средств массовой коммуникации в руках горстки манипуляторов общественного мнения и «законодателей» читательской «моды» вызывают беспокойство и в правящих сферах Бонна. В годы правления социал-демократов и свободных демократов появилось несколько проектов, имеющих целью хотя бы ослабить угрозу свободе печати в результате тотальной концентрации. Однако все эти проекты остались только проектами. «Боннское правительство бессильно против концентрации прессы», — резюмирует «Зюддойче цайтунг».

Книга Г. Гляйсберга и других авторов — книга большой разоблачительной силы. Она вводит читателя в «святая святых» буржуазной печати, освещает лучом марксистского анализа самые темные и тщательно скрываемые ее углы. Богатство фактического материала, обилие глубоких и тонких наблюдений — таковы достоинства этого коллек-

тивного труда, который, безусловно, поможет советскому читателю составить ясное и объективное представление о сложных процессах развития современной западногерманской прессы.

Вл. КУЗНЕЦОВ,

кандидат филологических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВИКТОР СТЕПАНОВ. Венок на волне. Повести. М. Воениздат. 1974. 215 стр.

Виктор Степанов, несомненно, служил во флоте. Это угадывается по его повести. И в том, как любовно живописует он морское дело, как умеет скупое, но выразительно передать события флотских будней, настроение начинающего службу моряка.

Осенью двадцать второго года я сам был матросом двадцатипятилетнего буксира «Лифляндия». Он таскал за собой длинные и широкие плоты. По свистку капитана мы бросались в ночную осеннюю холодную воду, ныряли, ловя концы каната, и связывали расплывающиеся в стороны бревна — баланы. Думаю, этот давний опыт помог мне уловить ту особую достоверность повести В. Степанова, которую дают писателю непосредственные наблюдения.

А вот горизонты пошире — вслушайтесь в небольшой отрывок из повести «Венок на волне»:

«Это море начинается с флага. И не голосом вахтенного офицера — голосом пробудившихся волн по утрам звучит над всеми четырьмя флотами:

— На флаг, смирно!

Смирно, Краснознаменный Тихоокеанский! Смирно, Краснознаменный Северный! Смирно, дважды Краснознаменный Балтийский! Смирно, Краснознаменный Черноморский! Четыре флота — четыре части света... И как снежные взрывы взметнулись чайки — над таежными сопками Приморья, над льдистыми скалами Заполярья, над сосновыми дюнами Балтики, над солнечным взгорьем Севастополя.

— Флаг поднять!»

Мне кажется, это выразительно и темпераментно.

Пишет Виктор Степанов просто, склонности к литературному щегольству не обнаруживает. Его книга напомнила мне морские рассказы К. Станюковича и А. Новикова-Прибоя своими точно переданными ощущениями происходящего, желанием основательно, в подробностях рассказать о морской службе, об особенностях военного «ремесла» моряков

Повесть «Венок на волне» — о послевоенном времени, о буднях флота, о морской службе. Написано обо всем этом так, что ты с увлечением следишь за маневрами и учениями боевого судна СКР. И вдруг даже начинаешь понимать, что морская специаль-

ность едва ли не самая увлекательная, а жизнь молодого человека во флоте по-особому значительна, полна интересных, захватывающих событий. И в этом большой и серьезный смысл повести В. Степанова.

Повесть, как я уже говорил, посвящена послевоенному времени, но дыхание войны, сражений на морях и суше доносится до нас буквально с каждой страницы. Бойцы помнят, какой ценой досталась им победа. Особенно это ощущается в другой повести В. Степанова, «У Бранденбургских ворот», герой которой сержант Семен Каштанов, оказавшись в туристической поездке в ГДР, остро вспоминает давние события военных времен.

Читатель не может не почувствовать симпатии к героям В. Степанова, людям простым, добросердечным, гуманным, готовым прийти на помощь, даже рискуя собственной жизнью. Читатель отметит и мастерство командиров кораблей, силу и ловкость матросов, изощренное искусство штурманов, работающих со сложными навигационными приборами. И хотя некоторые страницы книги больно и грустно читать — память о павших стучит в наши сердца, — в целом повести звучат мажорно и светло, как добрая дань мужественным и доблестным людям, как торжественный салют им.

Евгений Крягер.



ВАСИЛИЙ ВАНЮШИН. Повесть о комсаре Груданове. М. Воениздат. 1975. 294 стр.

Участникам Великой Отечественной войны порою кажется — таково уж свойство человеческой памяти, — что гул сражений, в которых им довелось участвовать, утих совсем недавно. Для молодого поколения события военных лет — история. Но и те и другие с большим интересом встречают каждую новую книгу, посвященную героическому подвигу советского народа и его воинов, в особенности если она вышла из-под пера участника войны: они ждут, что такая книга добавит еще один штрих в летопись забываемых дней. Василий Ванюшин, участник ожесточенных боев на дальних подступах к Москве, разгоревшихся осенью 1941 года, рассказал в своей повести о посланцах ленинской партии в вой-

сках — о комиссарах, политработниках, коммунистах, сыгравших огромную роль в достижении победы над врагом.

Дивизия, в которой служил старший батальонный комиссар Груданов, вступила в бой в памятные дни октября 1941 года, когда гитлеровское командование бросило свои главные силы в наступление на Москву. В бою у старинного русского города Алексина, на берегах Оки, приняли бойцы первое боевое крещение. Свою задачу — не дать врагу прорваться к Туле — они выполнили, хотя далось это нелегко: у врага было превосходство в силах, а личный состав дивизии не имел еще опыта боевых действий.

В повести В. Ванюшина правдиво показано, как в ходе сражений учились воевать и уничтожать врага бойцы дивизии, ее командиры и политработники, какую огромную роль играли коммунисты, подавая пример отваги и бесстрашия. Поставив в центр повествования комиссара Груданова, автор нарисовал и образы его верных помощников — работников политотдела, комиссаров подразделений, рядовых коммунистов, которые воодушевляли бойцов страстным партийным словом, в бою были впереди, увлекающая за собой бойцов. Таковы инструкторы политотдела Тебнев и Филяев, комиссар полка Кошелев, комиссар батареи Канашкин. Они, в свою очередь, учились у комиссара Груданова. Образ его написан автором повести с большой теплотой и любовью.

Требовательный, справедливый, мужественный, скромный — таким предстает перед нами со страниц повести комиссар Груданов. Самая главная его забота — о бойцах, о людях. Запоминаются его слова, сказанные комиссару полка Кошелеву: «Вы слышали, как говорят штабные командиры? В батальоне осталось столько-то активных штыков. Не человек, а штыков... Когда говорят о штыках, видится цифра. А надо о людях думать». Сам он думал о них постоянно. Переживал, когда читал сводки о потерях. Заботился о том, чтобы бойцы были одеты и накормлены, чтобы боевые операции проводились с наименьшими потерями. Он шел на передний край обороны, чтобы вручить солдатам, принятым в партию, кандидатские карточки, хорошо понимая, какое огромное значение имеет это для поднятия морального духа воинов. «Запомните этот день, товарищи, — говорил он, пожимая руки коммунистам. — Мы пройдем трудными, тяжелыми дорогами к победе. После можете гордиться: не где-нибудь, а на фронте, на переднем крае выдали этот документ. На фронте не просто бойца, а лучшего из лучших, самого храброго приняли в партию, и это никогда и никем не будет забыто».

Шли дни и недели. Остановив гитлеровцев, Советская Армия перешла в наступление. Она разгромила вражеские войска под Москвой, отбросив их на сотни километров от столицы. Двинулись вперед и бойцы дивизии, остановившие в октябре врага под городом Алексинем. В эти дни погиб на поле боя комиссар Груданов. Бойцам,

которые бросились к нему, он успел только прошептать: «Что вы... стоите? Надо... вперед». И в свою последнюю минуту он думал не о себе. Поэтому так глубоко символична заключительная сцена повести: начальник политотдела Журавлев вручает бойцам кандидатские карточки и партийные билеты, подписанные Грудановым за день до гибели. Комиссар передавал эстафету коммунистам, пришедшим ему на смену.

Книга В. Ванюшина называется «Повесть о комиссаре Груданове», и образ комиссара занимает в ней центральное место. Но рамки повести шире — она о том, как в ожесточенных боях с врагом мужали советские люди, как становились они солдатами, как вели их в бой те, которые первыми поднимались в атаку, когда над полем боя раздавался призыв: «Коммунисты, вперед!»

В. Бродер,
подполковник в отставке.



Н. ЗЛОТНИКОВ. Ночные стрельбы. М. «Молодая гвардия». 1973. 104 стр.
НАТАН ЗЛОТНИКОВ. Забытая музыка. Стихи. М. «Советский писатель». 1974. 119 стр.

Передо мной лежат две небольшие книги стихов. Даже внешне они похожи одна на другую — скромны, непритязательны, в темных обложках. Автор обеих — поэт Натан Злотников.

По сути дела, это одна книга, разделенная на две части в хронологическом порядке. «Забытая музыка» продолжает и развивает почти все линии, сюжеты, мотивы и даже конкретные строфы «Ночных стрельб». Мне кажется, что и читать и отзываться на обе эти книги следует едино.

Злотников — поэт сосредоточенный и внимательный. Он работает на карте-двухверстке вроде тех, по которым ищут геологи. Каждая возвышенность, речушка, рошица, отмечены на такой карте.

В русской литературе поэтика эта имеет глубокие корни и исторические и филологические традиции, связанные, собственно, со словесностью. Эта поэтика таилась уже в стихах «громоподобного» Державина, она прошла через стихи Карамзина, Вяземского, Тютчева, Полонского, Фета — не главная, а как бы вторая, «двоюродная» линия русской лирики.

По-своему стремится быть верным этой традиции и Натан Злотников. В его стихах все конкретно, сказано словом, которое буквально по пятам следует за явлением, за памятью.

В первой книге много стихов посвящено армии, далекому северному гарнизону, учениям, солдатским будням. Строфы о военном деле, описание ночных стрельб не выпадают из общего рисунка поэзии Злотникова.

На первый взгляд «армейские» стихи поэта выглядят принципиально будничными. Их масштаб совпадает с жизнью маленького северного гарнизона. Однако при внима-

тельном чтении в этих строфах открывается своеобразная подтянутость и сосредоточенность. Материал солдатского быта и военного бытия диктует поэту слово точное и суровое:

Как будто бабочка ночная,
Вплывало белое пятно
В прицелы, отделясь от края,
Шло к перекрестью, как на дно.
И отблеск близкого пожара,
И бледная звезда над ним,
И черный силуэт радара,
И неподвижный низкий дым —
Все становилось на мгновение
Потусторонним, и стрельба,
До боли обостряя зренья,
К нам приближалась, как судьба.

В стихах .Н. Злотникова — память, раздумье, ежедневный ход жизни, передоженный на язык лирического размышления. Правда, некоторые строфы при первом чтении кажутся излишними, легко устранимыми (и такие действительно есть). Но читая книги во второй и в третий раз, начинаешь понимать, что протяженность его поэзии естественна, что она точно следует за сутью темы, за тем, что сам поэт назвал забытой музыкой.

«Ночные стрельбы» и «Забытая музыка» — третья и четвертая книги поэта. Они несравненно сильнее и совершеннее первых его книг.

Злотников много пишет, немало печатает. Он из породы плодovitых поэтов. Есть удачи и есть стихи, как говорится, проходные.

Все-таки я посоветовал бы Натану Злотникову быть порой поэкономнее, порой реже варьировать знакомый образ, порой избавляться от сомнительных неологизмов. Однако это частности. Перед нами две интересные, наполненные музыкой и пульсом жизни книги.

Евгений Рейн.



ЕМИЛИАН БУКОВ. *Дерево жизни. Перевод с молдавского. Кишинев. «Карта молдовенияск». 1974. 223 стр.*

Одно четверостишие вынесено на обложку новой книги известного молдавского поэта Эмилиана Букова:

Кто сказал, что разные наречья
Разделяют нас? Не верно, нет!..
Мы сильны одной могучей речью,
Нам один в веках сияет свет!

Четверостишие верно характеризует и идейную и поэтическую задачу книги, посвященной дружбе советских народов.

Конечно же, разговор здесь не о каком-то одном из языков, на которых говорит огромная многонациональная страна, хотя в книге можно найти прочувствованные строки и о «говоре Украины — мужественном, ласковом», и «Думы о русском языке»: «Дерево, шелестящее тысячами ветвей, корнями уходящее в самую глубь полей... чудо великое — русский язык». Речь о единстве в стремлениях, в помыслах, в работе, оно для Эмилиана Букова залог силы и прочности этой дружбы.

В том, как построены (и, конечно, в том,

как написаны) разделы книги, каждый из которых рассказывает об одной советской республике, об одном из народов Советского Союза, нет заданного единообразия. Книга выросла вольно и неторопливо. Стихи, сложившие ее, рождены впечатлениями и давних лет и недавних дней, впечатлениями сильными и надолго запавшими в душу:

Это видел в сорок первом
Я в Туркмении тревожной.
С той поры частичей сердца
Моего стал край далекый,
Но такой родной и близкий!

То, что стало частичей жизни, то и воплотилось в стихи и вошло в книгу. Отсюда разнообразие ее мотивов. В книге нет равнодушных зарисовок. Стихотворения, где «Латвии нежные краски» и «горные снега Кавказа», «голубой бездонный кубок» Арала и «орошенная плачем поляна» Хатыни, написаны горячо и взволнованно.

Естественно, что в «Дереве жизни» много человеческих портретов. Это и деятели культуры — друзья и соратники автора: Самед Вургун, Айбек, Саломер Нерис, Леонид Соболев, Сарьян, Мирзо Турсун-заде; и революционеры-подпольщики, ученые, герои военных и трудовых будней: шахтеры Караганды, виноградари Севана, строители нового Ташкента, партизаны Белоруссии.

Одна из самых близких и волнующих Букова тем, проходящая через всю книгу непрерывающейся нитью, — тема воинского братства. Ей отданы многие строки его стихов. И здесь — портреты, воспоминания, полные незажившей горечи утрат и непреходящей гордости за многонациональный советский народ, победивший грозного и смертельно опасного врага.

«Дерево жизни» почти целиком перевел В. Краско (отдельные стихотворения переведены Н. Захаровым, В. Леванским, В. Любиным и П. Пархомовским). К сожалению, в переводах его порой гостят невнятица, гладкопись, резкое несоответствие стихотворного размера содержанию переводимого произведения (так случилось, например, со стихотворением «Крещатик» — его драматический зачин передан едва ли не танцевальным ритмом). Это не может не понизить идейный и эмоциональный накал такой нужной читателю книги.

Ю. Ляхов.

Переяславль-Залесский.



СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. Редакторы-составители Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М. «Просвещение». 1974. 509 стр.

«Словарь литературоведческих терминов» вышел невиданным для этого рода издания тиражом — 300 тысяч! Издательство «Просвещение» поступило совершенно правильно, выпустив словарь столь большим тиражом. Составители его — член-корреспондент АН СССР и действительный член АПН Л. И. Тимофеев и доктор филологических

наук С. В. Тураев — замечают, что, рассчитанный прежде всего на учителей-словесников, словарь есть «первый опыт справочника по литературоведению». Правда некоторый опыт уже был: под редакцией Л. Тимофеева и покойного Н. Венгрова четыре раза выходил «Краткий словарь литературоведческих терминов» для учащихся старших классов; сравнительно недавно появился «Поэтический словарь» А. Квятковского. Но составители действительно создали новую и очень нужную книгу.

Они решили дать читателю некоторое общее представление о природе художественной литературы и, главное, о том значении, которое она имеет в жизни общества и каждого из нас. Все больше крепнет потребность осознать, как книги пишутся, по каким законам они образованы, как, наконец, называются те их особенности, которые по необходимости крайне скупомынаются в школьных пособиях. Для возможно более полного удовлетворения этой потребности привлечен большой круг авторов. Кроме составителей, взявших на себя написание ряда ответственных основных статей, в работе участвуют также известные ученые — специалисты по вопросам текстологии и библиографии, стиховедения, по общим вопросам теории литературы и методологии, фольклора... Под одной крышкой переплета нашло пристанище много сведений, умело и компактно представленных.

Разумеется, состав словаря не мог не оказаться пестрым. Материалы по-разному построены и выдержанны в лучших традициях словарной манеры кратчайших сообщений (например, статьи М. Гаспарова), и полемические заметки (например, статья «Стиль»), и статьи пространные, посвященные конкретным периодам литературного развития. Кстати, едва ли оправдан непомерный объем обзорных статей по индийской, китайской, корейской и японской поэтике: даже в практике учителя-словесника они не обязательны...

Позволю себе сделать еще одно замечание. На мой взгляд, статья «Научно-фантастический жанр» (а есть ли такой?) продумана не совсем удачно. По статье получается, будто Жюль Верн в своих опытах освоения «жанра» потерпел фиаско.

Но, в конце концов, подобные издержки неизбежны в столь обширном издании, как «Словарь литературоведческих терминов».

Книги такого рода, представляющие собой справочный, «подручный» материал, все еще редкость в нашем литературоведении.

В. Сквозников,

кандидат филологических наук.



Л. Г. ФРИЗМАН. Поэзия декабристов. М. «Знание». 1974. 64 стр.

Новая книга о поэтическом наследии декабристов сочетает популярризаторские задачи с исследовательскими, с попыткой ответить на вопросы, еще не получившие

удовлетворительного решения. Поэзия декабристов рассматривается как закономерный этап в истории русской литературы XIX столетия. Важным представляется исходный тезис книги: «Декабристская поэзия — это не только стихи членов тайных обществ. Относя к ней то или иное произведение, мы прежде всего принимаем во внимание не биографию его автора, а идейно-художественный смысл и общественное звучание этого произведения».

Поэзия К. Рылеева, В. Кюхельбекера, А. Одоевского анализируется автором в становлении и развитии ее идейных и эстетических принципов, показан процесс формирования ее политической тенденциозности, сочетающейся со вдумчивым подходом к миру с позиций дворянской революционности.

Характеризуя своеобразие декабристского романтизма, автор соотносит поэзию дворянских революционеров как с наследием русского классицизма, так и с творчеством поэтов-романтиков — Жуковского и Батюшкова. Страницы, посвященные декабристам и Жуковскому, несомненно, привлекут особое внимание, поскольку автор брошюры, отходя от установившейся традиции, не ограничивается противопоставлением декабристов и Жуковского, а указывает на то, что роднило обе поэтические системы, и подкрепляет свое мнение продуманной аргументацией.

Несомненной удачей книги является раздел о декабристах и Пушкине. Хотя на эту тему существует большая литература, Л. Фризману удалось показать, что же именно сближало декабристов и Пушкина и что развело великого поэта с деятелями декабризма, нередко целиком подчинявшими свое творчество решению ближайших задач.

Интересны страницы, посвященные жанровым исканиям декабристов. Автор работы наглядно демонстрирует, как новое содержание, внесенное в поэзию декабристами, вело к обновлению традиционных жанров и выдвигало еще неизвестные русской поэзии жанровые формы. В то же время из поля зрения автора не выпадают и закономерности творческой эволюции наиболее значительных поэтов-декабристов. Существенное место отводится становлению декабристской поэмы.

Глава «Нет подвигам забвенья» — попытка осветить вопрос о традициях декабризма в последующей литературе XIX века. Здесь автор стремится показать, что эстетические и этические идеи декабристов сохраняют актуальность и в дальнейшем (для Некрасова, В. Курочкина, Н. Морозова, В. Маяковского). К сожалению, этот раздел работы отмечен печатью торопливости. Работа много бы выиграла, если бы жизненность традиций декабризма была прослежена на более широком материале.

Примечательная новинка ждет читателя на последних страницах книги: традиционная для выпусков данной серии рекомендательная библиография выполнена не тра-

диционно — она открывается краткой, но содержательной информацией о том, как в нашей стране шло изучение наследия декабристов, и далее материал систематизируется по разделам, указываются сборники-антологии, важнейшие работы советских литературоведов о декабристской поэзии.

К приближающемуся юбилею — столетию десятилетия восстания декабристов — читатель получил интересную историко-литературную работу.

И. Усок,
кандидат филологических наук.



ЛЕСЬ ТАНЮК. Марьян Крушельницкий. («Мастера советского театра») М. «Искусство». 1974. 224 стр.

В 1924 году талантливый украинский режиссер Лесь Курбас приглашает в созданный им новый, революционный театр, носивший в то время название «Березиль», молодого Марьяна Крушельницкого. И это событие стало для Крушельницкого, в будущем народного артиста СССР, профессора, одного из основателей украинского советского театра, решающим и основополагающим. За свою долгую творческую жизнь М. Крушельницкий сыграл более ста ролей; многие годы он руководил харьковским Театром имени Т. Г. Шевченко, был главным режиссером киевского Театра имени Ивана Франко.

Книга Лесь Танюка «Марьян Крушельницкий» — первая монография о выдающемся актере и режиссере.

Когда-то Остап Вишня в юмористическом очерке о Марьяне Крушельницком писал: «Ну что, ежели нашелся бы такой человек, который взял бы на себя труд детально проанализировать артистическое творчество Крушельницкого? Который проследил бы и зафиксировал все приемы, которые он использует, чтобы подать роль так, как подает ее Крушельницкий? Только не общими фразами, а детально? Ох, как долго человеку этому пришлось бы исследовать и как много пришлось бы писать!»

Сегодня мы с удовольствием можем констатировать, что такой человек «нашелся», «взял на себя труд» и «проанализировал» не только артистическую деятельность Крушельницкого, но и режиссерскую, осветив параллельно процесс становления украинского советского театра, утверждения метода социалистического реализма на украинской сцене. В книге Лесь Танюка полнота изложения соединена с точным отбором документального материала, а эстетические проблемы вытекают из морально-этических и социально-общественных.

Л. Танюку выпало счастье быть учеником М. Крушельницкого в Институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого, слушать его лекции по режиссуре, истории театра, актерскому мастерству. «И главным оружием Крушельницкого, — отмечает Л. Танюк, — было не слово, а он сам. У него была изумительная способность

дать характеристику человеку, явлению, вещи, событию, даже целому историческому периоду одним штрихом».

Монография Л. Танюка отличается прежде всего точностью характеристик ролей М. Крушельницкого. Не отступая от фактов, наоборот — прочно опираясь на них, приводя в стройную систему все, что было зафиксировано его предшественниками, автор монографии подает их интересно и увлекательно, по-своему интерпретируя сыгранные Крушельницким роли, «беллетризуя» известные события жизни великого актера.

Книгу Л. Танюка не следует рассматривать только как биографию выдающегося мастера сцены, как воссоздание творческого пути. Это и раздумья о путях современного театра с собственной трактовкой таких проблем, как новаторство, традиции, партийность и гражданственность искусства. Книга представляет любопытный пример анализа, в котором важно отметить принцип наследования (учитель — ученик) с безусловным и безоговорочным почтением и в то же время с некоторым искушением ревизии, не скепсиса, конечно, но иногда с моментом сомнения, результатом чего и является столь необходимая в подобных работах объективность взгляда.

Лесь Танюк не обходит стороной сложные и противоречивые моменты в биографии своего героя. Эволюция взглядов М. Крушельницкого особенно четко прослеживается в главах монографии — «Действие второе» и «Эпилог». «Эволюция его оценок определялась, разумеется, не только временем, — отмечает автор, — не только процессом развития театра, но и личными качествами Крушельницкого-художника, Крушельницкого-гражданина. Нам важен именно этот конечный вывод, ибо он суммирует мнение не одного Крушельницкого, а целого ряда его современников, соратников».

Со страниц первой, по существу, монографии о Марьяне Крушельницком, написанной живо, с пафосом, с тяготением к конкретному и доказательному анализу, перед читателем предстает выдающийся актер, вдохновенный постановщик лучших произведений украинских советских драматургов, неутомимый искатель новых форм выражения, человек, имевший значительное влияние на духовный мир нашего современника.

Киев.

Павло Мовчан.



Т. А. МОТЫЛЕВА. Первый антифашистский роман. «Верноподданный» Генриха Манна. М. «Книга». 1974. 124 стр.

Первым немецким антифашистским романом автор называет «Верноподданного» Генриха Манна. Несмотря на очевидную парадоксальность такого утверждения, оно

справедливо, ибо писатель-сатирик в самом зачатке заметил и разоблачил шовинизм законопослушного германского бюргера.

Мелкий буржуа, который мечтал о сильной единоличной власти и жаждал всемирных агрессивий, безусловно, был предтечей и опорой фашистов. Известный роман-памфлет Г. Манна увидел свет в годы первой мировой войны, когда фашизм еще не оформился в организованное движение. Гротескное повествование строилось на постоянном сопоставлении главы германской империи и ее рядового подданного, истово обожающего своего кайзера и норовящего ему во всем уподобиться. Между провинциальным дельцом и монархом Г. Манн пронизательно установил взаимную связь. Писатель наглядно доказал, что власть в пору империализма формирует верноподданных по своему подобию. Их ничтожество тождественно. Это стало подлинным открытием, не только художественным, но и социальным.

В предисловии к переизданию «Верноподданного» накануне национальной катастрофы 1933 года Г. Манн предупреждал, к каким опасным последствиям приведет массовое верноподданничество. Определение его тупой сути стало здесь своего рода социально-психологическим диагнозом: «Признак верноподданного—это по-прежнему отказ от личной ответственности. От того, чтобы его совесть участвовала в решении, произойдут или не произойдут те или иные события».

Страшные события случились, и типы, подобные верноподданному Дидериху Геслингу, вырвались в лидеры толпы горлопанов и демагогов. Весь необходимый реестр нацистских «доблестей» у Геслинга налицо. Это он, Дидерих, кичился своей арийской родословной, ненавидел и страшился рабочих, он был наделен инстинктом стадности, презирал низшие звания и раболепствовал перед всякой властью. Воистину Г. Манн, шаржируя характер обывателя, сделал четкую проекцию на будущее.

Дидерих Геслинг ненавидел книгу; даже самое поверхностное обращение к художественному слову претило его натуре. Стоит, например, припомнить, насколько скоропалительно сбыл он букинистам своего Шиллера. За такого рода частной деталью стоит закономерность. Не случайно нацистские геслинги препятствовали печатанию и распространению сатирического романа Г. Манна. Очерк Т. А. Мотылевой вышел в серии «Судьбы книг». За те годы, которые прошли после написания, роман познал славу и попал под запрет, он пылал вместе с другими шедеврами немецкой литературы на костре гестаповских «культуртрегеров». Подобно своему автору, роман пребывал в изгнании и был заново открыт вместе с послевоенными антифашистскими произведениями, созданными за пределами Германии. У «Верноподданного» были и свои собственные, почти невероятные приключения на пути к читателю. О них обстоятельно и увлеченно рассказывает Т. Мотылева. Примечательно, что первое полное издание появилось в России, тогда как в Германии удалось частным образом напечатать всего деся-

ток именных экземпляров. Биография книги в нашей стране прослежена очень подробно, но Т. Мотылева рассказывает и о том, как воспринимался роман в разных странах мира, становясь зачастую после новой публикации злободневным произведением.

Судьба книги — это ее жизнь в читательском сознании. Т. Мотылева обращается к этому трудодоступному аспекту современной культуры, анализируя динамику тиражей, суждения критиков и рядовых читателей. Нелегкий, вовсе не подходящий для «рассеянного» чтения роман «Верноподданный» стал одной из самых нужных книг нашего века, потому что Генрих Манн первым дал возможность увидеть подлинный масштаб всякого рода «сверхчеловечков» и заставил разглядеть трусливую классовую подоплеку их агрессивной идеологии.

В. Прохин.



А. КАМЕНСКИЙ. Вернисажи. М. «Советский художник». 1974. 526 стр.

«Направление поисков» называется первый раздел книги А. Каменского. Так можно было бы определить и «сверхзадачу» всего сборника. В нем собраны статьи А. Каменского, опубликованные на протяжении последних десяти—двенадцати лет и в искусствоведческих изданиях и на страницах «Литературной газеты». Впрочем, если не обращаться к примечаниям, где указана первая публикация, трудно определить, кому адресована работа. А. Каменский не делит свою аудиторию на читателя-профессионала и рядового читателя. Автор книги предполагает в читателе если не профессиональное знание искусства, то, во всяком случае, постоянство и серьезность интереса. Для А. Каменского не существует «малых тем» в искусстве: он не отделяет большую работу «Революция и искусство» (она впервые публикуется в предлагаемой книге) от лаконичной статьи о книгах Паустовского, как не отделяет собственно искусствоведение от критики, от оперативного отклика на сегодняшние события. Ему важно во всех жанрах найти, раскрыть «направление поисков» художника, направление исследования, будь то работы Константина Коровина, или живопись Корина, или графика Эйзенштейна. Ведь для того, чтобы писать об искусстве прошлого и современности, мало быть профессионалом в искусстве — необходимо быть профессионалом-литератором; знающим цену слова, знающим и опасности бойкого пересказа сюжета, беллетризации образа и биографии художника. Прав Каменский: «Самый чистый, вдохновенный полет воображения критика не приносит добрых результатов, если он не раскрывает подлинных качеств работы художника и подменяет их причудливыми узорами произвольных ассоциаций и выдумок, сколь бы они ни были заняты. Это — измена своему делу, своему профессиональному долгу». «Вернисажи» — книга, верная своему долгу, своему делу.

Каменский исследует живопись, пластику, архитектуру, кино как изобразительное искусство, не отделяя их от мира современной культуры, но, что не менее важно, и не растворяя искусство изображения в общем круге эстетических ценностей. Параллели, ассоциации, экскурсы в литературу у Каменского вовсе не часты, больше необходимы, чем эффектны. Это не означает, что все в его книге бесспорно, напротив — она вызывает на размышления и споры, на продолжение разговора о судьбах художников и об эволюции их искусства в наши, 70-е годы. Но отойти от мнений и оценок Каменского, не заметить их в будущих исследованиях нельзя, будь то мнение о плакате революционных лет или о «живописных ораториях» молодых художников.

В «Вернисажах» пластические искусства предстают эволюционирующими во времени, выражающими время и отношение к не-

му человека-художника, человека, воплощенного художником.

Автор пишет о явлениях бесспорных и о явлениях забытых, значение которых приходится напоминать. Пишет о людях ясных путей и путей труднейших, о художниках России, Молдавии, Азербайджана, Прибалтики, трагедийном Борисе Пророкове и улыбчиво-зорком Леониде Сойфертисе. Но пишет так, что перед нами всегда именно путь, поиски себя, своего места в мире и в искусстве. Автор предисловия А. Чегодаев верно сказал о книге А. Каменского: «Эта книга — не столь уж часто, к сожалению, встречающийся образец настоящего профессионального мастерства». Хочется разделить и это сожаление и это утверждение маститого искусствоведа по отношению к книге «Вернисажи».

Е. Полякова,
доктор искусствоведения.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Письмо к американским рабочим. 24 стр. Цена 3 к.
В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 19 к.
В. И. Ленин. Марксизм и ревизионизм. 16 стр. Цена 3 к.
Большевистская партия и революция 1905—1907 гг. Коллектив авторов. 142 стр. Цена 25 к.
Во главе защиты Советской Родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны. Коллектив авторов. 407 стр. Цена 1 р. 3 к.
И. Ворожейкин. Очерк историографии рабочего класса СССР. 288 стр. Цена 1 р. 23 к.
М. И. Калинин. Советы партийному работнику. Составитель А. В. Толмачев. 272 стр. Цена 55 к.
Первая русская революция и ее историческое значение. 519 стр. Цена 1 р. 61 к.
М. Хундт. Как возник «Манифест». Перевод с немецкого. 167 стр. Цена 25 к.
К. Цеткин. Заветы Ленина женщинам всего мира. 72 стр. Цена 8 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Воспоминания о Константине Паустовском.** Сборник. Составитель Л. Левницкий. 463 стр. Цена 1 р. 15 к.
Е. Журбина. Повесть с двумя сюжетами. О публицистической прозе. 295 стр. Цена 87 к.
Е. Пермяк. Яггород. 367 стр. Цена 60 к.
Н. Тарасенкова. Все как у людей. 255 стр. Цена 56 к.
А. Ткаченко. Моя окраина. Повести и рассказы. 527 стр. Цена 98 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Ивашева.** Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. 460 стр. Цена 1 р. 32 к.
В. Лидин. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 3. Рассказы 1967—1968. Люди и встречи. 717 стр. Цена 1 р. 45 к.
Перес Гальдос Б. Хуан Мартин эль Эмпеснадо. Сражение при Арапимах. Романы. Перевод с испанского. 495 стр. Цена 98 к.
Современная монгольская повесть. Перевод с монгольского. Составление Г. Матвеевой. 288 стр. Цена 77 к.
А. Тарновский. Стихотворения. Предисловие М. Алигер. 286 стр. Цена 82 к.
Н. Шелгунов. Литературная критика. Вступительная статья и составление И. Соколова. 415 стр. Цена 93 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Имена на поверке.** Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Составитель Л. Ковалев. Предисловие С. Наровчатова. 303 стр. Цена 53 к.
Р. Островская. Николай Островский. Издание 2-е, исправленное. («Жизнь замечательных людей»). 236 стр. Цена 72 к.

«СОВРЕМЕННОК»

- В. Багров.** Ветровая сторона. Стихи. Предисловие П. Нефедова. 103 стр. Цена 62 к.
Н. Буханцев. Испытание жизнью. 143 стр. Цена 34 к.
Ю. Васильев. Право на легенду. Повесть. 183 стр. Цена 27 к.
А. Вознесенский. Выпусти птицу! Стихи и поэмы. 247 стр. Цена 62 к.

ВОЕНИЗДАТ

- А. Кешоков.** Сломанная подкова. Роман. Перевод с кабардинского В. Солоухина. 510 стр. Цена 1 р. 10 к.
П. Лунницкий. Сквозь всю блокаду. Предисловие Н. Тихонова. 477 стр. Цена 1 р. 13 к.
Б. Мясников. Световой день. Повесть и рассказы. 271 стр. Цена 63 к.
Н. Панов. Орлы капитана Людова. Повести. 389 стр. Цена 90 к.
П. Рогозинский. Настоящие товарищи. Новеллы о войне. 182 стр. Цена 50 к.
Э. Фейгин. Солдат, сын солдата.— Часы командарма. Повести. 319 стр. Цена 63 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- О. Берггольц.** Лирика. Составитель Е. Путилова. 190 стр. Цена 37 к.
В. Берестов. Что всего милее. Стихи. 64 стр. Цена 18 к.
Х. Гюльназарян. Дорога дней. Роман. 256 стр. Цена 54 к.
Дагестанские народные сказки. Перевод, обработка и предисловие Н. Капиевой. 159 стр. Цена 71 к.
Б. Заходер. Русачок. Сказки. 31 стр. Цена 9 к.
А. Кузнецова. Повести. Предисловие А. Алексина. 416 стр. Цена 91 к.
В. Николаев. Путник, шагающий рядом. Очерк творчества Р. Фраермана. 175 стр. Цена 56 к.
Е. Озеречная. Звонит слава в Киеве. Историческая повесть. 158 стр. Цена 78 к.
В. Пинуль. Мальчики с бантиками. Повесть. 207 стр. Цена 61 к.
В. Савин. Юванко из Большого стойбища. Повести и рассказы. 238 стр. Цена 54 к.
В. Танасийчук. Под землей с фотоаппаратом. Рассказы спелеолога. 94 стр. Цена 1 р. 32 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- С. Вишневский.** Рождение песни. Стихи и поэмы. Перевод с марийского. 142 стр. Цена 38 к.
Н. Грибачев. А это мы! Рассказы. 79 стр. Цена 70 к.
А. Обрывапин. Серебряные молоточки. Повесть. 96 стр. Цена 14 к.
Ю. Оклянский. Константин Федин. Встречи с мастером. 167 стр. Цена 33 к.
С. Подъячев. Деревенские разговоры. Составитель и автор вступительной статьи А. Ланщиков. 336 стр. Цена 68 к.
В. Семенов. Алексей Чапыгин. («Писатели Советской России») 96 стр. Цена 19 к.

В. Соколов. Открытые сердца. Рассказы. 109 стр. Цена 14 к.

А. Твардовский. О самом главном. Составление и предисловие В. Деметьева. 104 стр. Цена 21 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Вальзер. Дуб и кролик. Господин Кротт в сверхнатуральную величину. Черный лебедь. Пьесы. Составитель Н. Павлова. Предисловие И. Млечиной. 239 стр. Цена 70 к.

Г. Граф и Г. Зайлер. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. Перевод с немецкого. Под общей редакцией и вступительной статьей Н. Сидорова. 295 стр. Цена 1 р. 19 к.

А. Ла Гума. Скитания в ночи.— И нитка, второе скрученная. Каменная страна.— В конце сезона туманов. Повести. Перевод с английского. Предисловие А. Софронова. Составитель В. Коткин. 541 стр. Цена 1 р. 74 к.

П. Стайнов. Правовые вопросы защиты природы. Перевод с болгарского. 350 стр. Цена 1 р. 66 к.

Х. Юнтало. Окаянный финн. Роман. Перевод с финского В. Богачева. Предисловие А. Рекемчука. 176 стр. Цена 48 к.

«ИСКУССТВО»

Т. Алексеева. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18—19 веков. 421 стр. Цена 8 р. 39 к.

В. Беляев. До последней минуты. Повесть для кино. 143 стр. Цена 35 к.

Ф. Хохвельдер. Пьесы. Составление и перевод с немецкого Н. Бунина. Вступительная статья Ю. Архипова. 287 стр. Цена 87 к.

С. Юткевич. Кино — это правда. 24 кадра в секунду. 328 стр. Цена 2 р. 68 к.

«НАУКА»

В. Жирмунский. Тюркский героический эпос. Избранные труды. 727 стр. Цена 3 р. 52 к.

Е. Калининкова. Англоязычная литература Индии. 246 стр. Цена 1 р. 38 к.

М. Османов. Стиль персидско-таджикской поэзии. 560 стр. Цена 3 р. 88 к.

Смена литературных стилей. На материале русской литературы XIX—XX вв. 388 стр. Цена 1 р. 83 к.

«ЭКОНОМИКА»

Л. Бейлин. Экономические основы социалистического соревнования (Вопросы теории). 159 стр. Цена 25 к.

Совершенствование механизма соревнования в условиях развитого социализма. Коллектив авторов. Под редакцией Н. Е. Дрогинского. 319 стр. Цена 1 р. 47 к.

«МЫСЛЬ»

И. Бушмарин. Развитие капиталистических стран. Использование трудовых резервов. 269 стр. Цена 1 р. 12 к.

В. Ельмеев. Методологические основы планирования социального развития. 167 стр. Цена 55 к.

Э. Мурзаев. Очерки топонимики. 382 стр. Цена 1 р. 49 к.

В. Мурманцева. Советские женщины в Великой Отечественной войне. 272 стр. Цена 1 р. 19 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Абашидзе. По следам Руставели. Стихи. Перевод с грузинского А. Межирова. Предисловие Н. Тихонова. Тбилиси. «Мерани». 110 стр. Цена 40 к.

Я. Брыль. Витражи. Миниатюры и лирические записи. Авторизованный перевод с белорусского Д. Ковалева. Минск. «Мастацкая литература». 270 стр. Цена 47 к.

Н. Думбадзе. Белые флаги. Роман. Перевод с грузинского З. Ахведиани. Тбилиси. «Мерани». 213 стр. Цена 32 к.

П. Пертту. Теплые ветры Севера. Повести и рассказы. Перевод с финского. Петрозаводск. «Карелия». 199 стр. Цена 44 к.

В. Тарас. Ни минуты раскаяния. Рассказы. Минск. «Мастацкая литература». 223 стр. Цена 41 к.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Тауриц, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва. К-6. Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 11/III 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 14/IV 1975 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 02266. Тираж 175 000 экз. Заказ 888.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва. Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47. Врест-Литовский проспект. 94. Зак. 02295

Цена 70 коп.

70636